

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ОБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

СЕРИЯ
ОБРАЗЫ ИСТОРИИ



АКВИЛОН

Москва 2017

THE EVENT IN HISTORY, MEMORY AND NARRATIVES OF IDENTITY

Editor
Lorina P. Repina



АКВИЛОН

Moscow 2017

СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ, ПАМЯТИ И НАРРАТИВАХ ИДЕНТИЧНОСТИ

Под редакцией
Л. П. Репиной



А К В И Л О Н

Москва 2017

ББК 63.3

Издание подготовлено в рамках проекта
«Историческая память как фактор национальной идентичности»
Программы ПФИ РАН «Историческая память и российская идентичность» и
при поддержке РГНФ (проект № 14–01–00357)

СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ, ПАМЯТИ И НАРРАТИВАХ
ИДЕНТИЧНОСТИ / Под ред. Л. П. Репиной —
М.: Аквилон, 2017. — 400 с. — (Образы истории).

Как люди воспринимали события свидетелями или участниками которых они были? Каким образом они хранили и передавали информацию об этих событиях? Как представляли себе эти события их потомки и как их интерпретировали историки? Интерес к прошлому составляет часть общественного сознания, а крупные события и сдвиги в жизни социума порождают переоценку прошлого и изменение этого сознания. Данный процесс захватывает не только память о пережитом участниками событий, но и глубокие пласты культурной памяти общества, обращенной к отдаленному прошлому. Эти вопросы, в числе других, не менее интересных, рассматривают авторы книги.

The Event in History, Memory and Narratives of Identity. —
Moscow: Aquilo, 2017. — 400 p. (Images of History).

How did people view events which they took part in? How did they record and transmit information about those events? And how their descendants conceived them and historians interpreted? The interest to the past makes an important part of social consciousness, which is changed by major events and shifts in social life. This process concerns not only 'live' social memory of the events but also deeper layers of cultural memory that is turned to the remote past. These and other questions of great interest are considered by the authors of this book.

Научное издание

- © Л. П. Репина, общая редакция, составление, 2017
- © Коллектив авторов, 2017
- © Институт всеобщей истории РАН, 2017
- © Издательство «Аквилон», 2017

ISBN 978–5–906578–23–5

СОДЕРЖАНИЕ

От РЕДАКТОРА.....	7
<i>Л. П. Репина</i>	
Память и знание о событиях прошлого в историческом сознании и нарративах идентичности.....	9
<i>М. Ф. Румянцева</i>	
Историческая память и презентация истории: неоклассическая vs классическая – неклассическая – постнеклассическая модели исторической науки.....	18
<i>К. К. Султанов</i>	
“Человек вспоминающий” в литературе: историческая память как регулятив национальной идентичности.....	49
<i>Н. В. Карначук</i>	
Формирование национального самосознания англичан второй половины XVI – первой трети XVII века.....	96
<i>М. П. Айзенштат</i>	
События прошлого в политической и исторической культуре Британии середины и второй половины XVIII века.....	120
<i>О. В. Заиченко</i>	
Между «Немецкой» войной и Французской революцией: немцы в поисках национальной идентичности.....	148
<i>Б. Г. Доронин</i>	
Кризис конфуцианской монархии и судьба классического китайского историописания в XIX – начале XX в.....	189
<i>Н. А. Селунская</i>	
Новое Средневековье и медиевисты после Великой войны.....	211
<i>О. Б. Леонтьева</i>	
Как реформа стала Великой: отмена крепостного права как “место памяти” в исторической культуре императорской России.....	244
<i>А. В. Святославский</i>	
Понятие “советский” как культурный идентификатор и идеологический маркер.....	266
<i>Л. Н. Мазур</i>	
События советского прошлого в исторической памяти современной молодежи: механизмы формирования, поддержания и трансформации.....	309
<i>М. В. Кирчанов</i>	
Историческая политика в Грузии: грузинская историография и политическая память между “изобретенными традициями” и “большими нарративами”....	341
<i>Е. Ю. Ванина</i>	
“Третья жизнь” средневекового героя: Махарана Пратап в нарративах национальной идентичности.....	383
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.....	398

CONTENTS

PREFACE.....	7
<i>Lorina Repina</i> Memory and knowledge about events of the past in historical consciousness and narratives of identity.....	9
<i>Marina Rumyantseva</i> Historical memory and presentation of history: neoclassical vs classical – non-classical – post-non-classical models of historical science.....	18
<i>Kazbek Sultanov</i> “A person recalling” in literature: historical memory as a regulator of national identity.....	49
<i>Natalia Karnachuk</i> Formation of national self-consciousness of the English of the second half of the 16th – the first third of the 17th century.....	96
<i>Marina Ayzenshtat</i> Events of the past in the political and historical culture of Britain in the middle and second half of the 18th century.....	120
<i>Olga Zaichenko</i> Between the “German” war and the French Revolution Germans in search of national identity.....	148
<i>Boris Doronin</i> Crisis of the Confucian monarchy and the fate of classical Chinese historiography in the 19th and early 20th centuries.....	189
<i>Nadezhda Selunskaya</i> The New Middle Ages and medievalists after the Great War.....	211
<i>Olga Leontieva</i> How the reform became Great: the abolition of serfdom as a “place of memory” in the historical culture of Imperial Russia.....	244
<i>Alexey Svyatoslavsky</i> The notion of “Soviet” as a cultural identifier and ideological marker.....	266
<i>Ludmila Mazur</i> The events of the Soviet past in historical memory of today’s youth the mechanisms of formation, maintenance and transformation.....	301
<i>Maksym Kyrchanoff</i> Historical politics in Georgia: Georgian historiography and political memory between “invented traditions” and “great narratives”.....	341
<i>Eugenia Vanina</i> “The third life” of the medieval hero Maharana Pratap in the narratives of national identity.....	383
THE AUTHORS.....	398

ОТ РЕДАКТОРА

Предлагаемый читателю сборник статей посвящен проблемам, занимающим центральное место в пространстве “memory studies”, а еще точнее – в той его части, которая составляет исследовательское поле современной «истории памяти».

Уже в первой половине XX века в социально-гуманитарном знании память начинает рассматриваться в культурном измерении, но только в конце столетия идея основоположника “memory studies” Мориса Хальбвакса о том, что образ прошлого социально конструируется, оказалась по-настоящему востребованной и послужила стимулом для создания новых теорий памяти (социальной, культурной, исторической) и появления в историографии на рубеже XX–XXI вв. т.н. “мемориальной парадигмы”. За прошедшие несколько десятилетий в фокус внимания историков попали вопросы, связанные с соотношением истории и памяти, памяти и идентичности, с изучением форм сохранения и трансляции социально значимой информации и историко-культурных способов обращения с прошлым, типов исторического сознания, феномена “мест памяти”, ритуалов коммеморации, “исторической политики” и др. Соответственно, возник вопрос и о специфике практик историописания, структурирующих серии разрозненных событий в разным образом упорядоченные нарративы, в рамках которых отобранные значимые события прошлого изображаются в соответствии с господствующей в обществе или в социальной группе оптикой. Подразумевается, что восприятие и сохранение прошлого зависит не только от культурного пространства, но также от исторического момента, в котором прошлое осмысливается. Вместе с тем, нельзя не отметить, что конкретные исследования, рассматривающие данные проблемы в историческом измерении, отстают от их активной теоретической и концептуальной проработки.

Исходя из убеждения в необходимости многостороннего анализа “события” как культурного и интеллектуального конструкта, авторы настоящего сборника сосредоточили свои усилия на исследованиях, в которых проблематика памяти и идентичности переплетается с комплексом ключевых вопросов исторического познания, а также способов презентации исторического знания, включая типы исторических нарративов. В этом контексте апробируются новые подходы к изучению факторов и процесса исторического конструирования

национальной и других коллективных идентичностей. Проблема трансформации механизмов формирования исторической памяти / коммеморации при смене типов рациональности / моделей науки рассматривается в контексте источниковедения историографии и исследования нарратива. Особое внимание обращено на детерминирующую роль идентичности и исторической памяти, как доминирующей формы репрезентации прошлого, в становлении национального самосознания и национальной литературы.

Значимость конструирования основополагающих мифов в классическом историописании, памяти о переломных событиях прошлого в исторической культуре для формирования национального самосознания и в качестве основы национальной государственности, а также в ракурсе «конфликтов памяти» показана на материале разных стран (России, Англии, Китая, Германии) и периодов (от раннего Нового времени до начала XX века). В жанре case studies интеллектуальных биографий историков разных школ представлен анализ их участия в деконструкции и реконструкции концептов «национальной идентичности» и «исторической памяти».

Специальному анализу в аспекте культурной идентичности подверглась история формирования понятия «советский» как этнонима и проблема его корреляции с этнонимами «русский» и «российский» в разные периоды истории СССР. Изучены механизмы меморизации в коллективной памяти событий прошлого (коллективизация и освоение целины), включая воздействие художественного кинематографа на этот процесс. Показано, как историческая политика в современной Грузии, используя ряд мифологизированных нарративов для легитимации современных процессов, содействует маргинализации профессионального исторического сообщества, политизации и идеологизации исследований. Пути трансформации образа средневекового героя в «партийных» нарративах новейшего времени исследованы на материале альтернативных моделей национализма в современной Индии.

Авторы, не ставя перед собой глобальных задач, сосредоточили внимание на причинах закрепления, поддержания или изменения того или иного образа прошлого в общественном сознании, на том, как в исторических мифах и символах отражаются социальный и культурный контексты времени. Журнальные версии статей были опубликованы в разных выпусках альманаха «Диалог со временем».

Л. П. Ретина

ПАМЯТЬ И ЗНАНИЕ О СОБЫТИЯХ ПРОШЛОГО В ИСТОРИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ И НАРРАТИВАХ ИДЕНТИЧНОСТИ

С конца прошлого века в мировой историографии активно обсуждается проблема соотношения истории и памяти, исторической / культурной памяти и идентичности, и сами эти понятия приобрели невероятную популярность у историков, культурологов, социологов, политологов, философов, представителей практически всего спектра социально-гуманитарных наук. Несмотря на существование значимых разногласий по поводу ключевых концептов и особенно вокруг понятия «историческая память», тема роли памяти о разделяемом прошлом в конструировании коллективной идентичности заняла заметное место в междисциплинарном поле «мемориальных исследований» и в более обширном пространстве культурно-интеллектуальной истории¹. В это поле «падают» не только процедуры выработки общих (принятых в данной общности) значений и смыслов, воспринимаемых и усваиваемых индивидом в процессе межличностной коммуникации («коммуникативная память»), но и механизмы распространения и трансляции из поколения в поколение социально и культурно дифференцированных «образов прошлого», культурных символов, когнитивных схем.

Будучи важнейшей составляющей самосознания индивида и группы, коллективная идентичность опирается на принятие и усвое-

¹ Подробнее о теоретических разработках и конкретных исследованиях в области исторической памяти, в т.ч. в России, см.: *Репина Л.П.* Историческая память и современная историография // Новая и Новейшая история. 2004. № 5. С. 33–45; *Леонтьева О.Б.* «Мемориальный поворот» в современной российской исторической науке // Диалог со временем. 2015. Вып. 50. С. 59–96; *Леонтьева О.Б., Репина Л.П.* Образы прошлого, мемориальная парадигма и «историография памяти» в современной России // ЭНОЖ «История». 2015. Т. 6. Вып. 9 (42) URL: <http://history.jes.su/s207987840001259-3-1>; *Repina L.* Indywidualne i ponadindywidualne w konceptualizacji pamieci: od dychotomii do syntezy // Sensus Historiae. 2013. Vol. XI. No. 2. S. 43–56; *Repina L.* Historisches Gedächtnis und kollektive Identität: Schwierigkeiten der Konzeptualisierung // Erinnerung an Diktatur und Krieg. Brennpunkte des kulturellen Gedächtnisses zwischen Russland und Deutschland seit 1945 / Hrsg. v. A. Wirsching, J. Zarusky, A. Tschubarjan, V. Ischtschenko. München: Walther de Gruyter GmbH, 2015. S. 3–15.

ние совокупности представлений, ориентаций, идеалов, норм, ценностей, форм поведения той социальной общности (семейно-родственной, локальной, этнической, конфессиональной, профессиональной, национальной и т.д.), с которой данный индивид себя отождествляет, что предполагает и разграничение «своих» и «не-своих», «чужих»; без такого различения нет и идентичности. Разделяемая соответствующей группой «картина мира» включает представления о соотношении прошлого, настоящего и будущего («связи времен» или разрыва между ними), а также образы общезначимого прошлого (эпох, событий, героев и пр.), которые конструируются и варьируются, не в последнюю очередь, в зависимости от *времени*. О том или ином событии помнят только тогда, когда оно размещается в концептуальных структурах, определенных сообществом. Множественность идентичностей, наличие конкурентных версий памяти, или «историй» об одних и тех же событиях требуют разработки теоретических моделей, способных поставить изучение соотношения триады «память / история / идентичность» на научную основу².

Историческая память, содержащая актуальный набор культурных символов, понимается как постоянно обновляемая структура или непрерывный процесс, в котором идентичность социума поддерживается посредством реконструкции воображаемого прошлого (путем нейтрализации противоречивых и даже конфликтующих версий этого прошлого), а смена схем организации исторического опыта происходит, если социум сталкивается с действительностью, не укладывающейся в рамки привычных представлений, и потому требуется кардинальная реорганизация памяти о минувшем, пересоздание целостного образа прошлого³. Тезис о «реконструктивном характере» исторической памяти, подчеркивающий роль имплицитованных в ней ценностных идей и связь транслируемого ею «знания о прошлом» с ситуацией настоящего момента, получил развитие в теории культурной памяти, но роль «культурной амнезии» в стереотипизации и мифологизации представлений о *недавно пережитом* опыте при радикальной смене идейно-ценностных ориентиров социума, как и противо-

² Наиболее развернутый анализ этого соотношения принадлежит Аллану Мегиллу. См.: Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 133–169.

³ Подробнее об этом см.: Репина Л.П. Социальные кризисы и катаклизмы в исторической памяти: теория и практика исследований // Труды Отделения историко-филологических наук РАН. 2008–2013 год. М.: Наука, 2014. С. 206–231.

стоящую ей стратегию активации эмоционально-окрашенных образов прошлого, историкам еще предстоит исследовать.

Социокультурные факторы длительной временной протяженности и краткосрочные исторические ситуации образуют подвижный контекст, в котором социальное конструирование идентичности выступает как сложный процесс, подверженный воздействию разнонаправленных сил и многочисленных случайностей. Исследование этого процесса включает анализ соотношения мировоззренческого, ценностного, психологического и прагматического аспектов формирования и трансформации исторической памяти / воображаемой «картины прошлого», всех компонентов социального конструирования исторической преемственности, включая набор категорий и знаний, дающих материал для сознательной рефлексии и интерпретации транслируемых образов прошлого «воображаемого сообщества» в исторической мысли и профессиональном историческом знании. В этой связи стоит еще раз подчеркнуть, что, рассматривая в прагматическом ключе механизмы сохранения и передачи исторической памяти, социальное бытование представлений о прошлом и «нарративов идентичности», нельзя забывать о когнитивной роли исторической памяти, что предполагает принципиальную исследовательскую установку на синтез прагматического и когнитивного подходов к ее изучению.

П. Рикёр подчеркивал, что неразрывная связь между памятью и идентичностью (индивидуальной и коллективной) не вызывает сомнений, поскольку «память превращается в критерий идентичности», «становится временной составляющей идентичности наряду с оценкой настоящего и планированием будущего»⁴. Столь же определенно по данной проблеме (причем с акцентом на регулятивную роль идентичности в этой связке), высказывался Э. Калер: «...История предполагает понятие идентичности, причастности к национальному или общечеловеческому. Понятие идентичности... не позволяет представить, чтобы история была всего лишь беспорядочным, хаотичным нагромождением событий, конфликтов, взлетов и падений, которые люди наполнили своими мечтами и иллюзиями»⁵.

Метафора исторической / культурной памяти, в которой сквозь призму и потребности современности концептуализируются пред-

⁴ Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 118–119.

⁵ Калер Э. Смысл истории // Избранное: Выход из лабиринта. М., 2008. С. 14.

ставления индивида / группы / социума об «общем прошлом» («картина прошлого») и своем единстве во времени, оказалась чрезвычайно востребованной именно в изучении процессов формирования идентичности, основанной «на участии в общем знании и общей памяти» и использовании «общей системы символов»⁶. Историческая память, а также история как форма памяти о прошлом (коллективного рассказа сообщества о себе), или культурная память, направленная на фиксированные моменты в прошлом и обосновывающая через обращение к этому прошлому идентичность вспоминающей группы, последовательно характеризуется как связанная «с особым сознанием принадлежности и сплоченности, с мы-сознанием»⁷.

Рикёр предложил рассматривать два претендующих на альтернативность подхода – феноменологию индивидуальной памяти и социологию коллективной памяти – как взаимодополнительные. Его гипотеза исходит из наличия «промежуточного плана референции, где конкретно осуществляется взаимодействие между живой памятью индивидуальных личностей и публичной памятью сообществ, к которым мы принадлежим», «а именно: *плана динамических отношений между “я” и другими* (курсив мой. – Л.Р.)»⁸.

Формирование идентичности – сложный и непрерывный процесс. В плотной сети интерактивных коммуникаций происходит отбор событий, в результате чего некоторые из них подвергаются забвению, в то время как другие сохраняются, обрастают новыми смыслами, выходят на первый план и – в результате процесса своеобразной сакрализации – превращаются в символы групповой идентичности. Главная роль в конституировании коллективной идентичности принадлежит памяти о «культурных героях» и переломных событиях прошлого, будь то в модели «национального триумфа» или «национальной катастрофы». Причем, если процедура групповой идентификации в синхронном измерении включает разграничение «своих» и

⁶ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 149.

⁷ Рикёр П. Память, история, забвение. С. 169.

⁸ Там же. С. 174. Речь идет о распространенном в социальных науках представлении об обществе как системе или сети коммуникаций и о том, что прошлое конструируется в коммуникации. – Фиштов А.Ф. Конструирование прошлого в контексте коммуникации: теоретическая логика социологического подхода // Феномен прошлого / Отв. ред. И.М. Савельева, А.В. Полетаев. М., 2005. С. 96–120.

«чужих», то в диахронном измерении в этот комплекс включается признание тождественности изменяющихся во времени ««мы»-образов»⁹. Диахронная идентичность строится на основе интерпретации и репрезентации значимых *исторических* событий как последовательности, ведущей от «общего прошлого» к переживаемому настоящему и ожидаемому будущему ««мы»-группы». Как актуализация памяти о прошлом, так и своеобразный процесс «историзации» идентичности связаны с планированием будущего, при этом в построении коллективной идентичности заметны существенные поколенческие различия, проистекающие из противоречий между, с одной стороны, транслируемой *старшими* социальной памятью и, с другой, жизненным опытом взаимодействия с изменившейся реальностью, который формирует представления *младших* и, соответственно, их «проектирование» прошлого и будущего.

Проблемы изучения коллективных идентичностей (групповой, этнической, конфессиональной национальной и т.д.) сложны и многогранны, они связаны со всем комплексом социальных проблем, с судьбами народов, стран, цивилизаций, с истоками многих конфликтов и потрясений, которые пришлось пережить человечеству за время своего существования. Сегодня в российской историографии, помимо корпуса многочисленных публикаций, посвященных проблемам этно-конфессиональной и этно-национальной идентичности, представлены масштабные исследования, в которых сделана попытка рассмотреть социально и культурно обусловленные исторические представления, зафиксированные в письменных традициях и практиках коммемораций, а также стратегии нарративизации событий (как отдаленного, так и недавнего прошлого) в максимально широких пространственно-временных рамках (на материале разных эпох, регионов, цивилизаций) и в компаративной перспективе¹⁰.

Что касается темы настоящей книги, то она возвращает нас к вопросу о соотношении понятий «память», «идентичность», «наци-

⁹ См.: Social Memory and History: Anthropological Perspectives / Ed. by J. J. Climo, M. G. Gattell. Walnut Creek (California): Alta Mira Press, 2002.

¹⁰ См., напр.: История и память: историческая культура Европы до начала нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006; Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2008; Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2010.

ональный нарратив». Авторы исходят из того, что социально сконструированные исторические мифы, культурно-исторические символы, «места памяти», или образы прошлого («историческая идентичность») составляют важнейший компонент любой коллективной идентичности (социальной, политической, конфессиональной, этнической, национальной) и играют важную роль в поведении индивида, в формировании и поддержании коллективной идентичности и трансляции этических ценностей. При этом выбор индивида на пересечении идентичностей делается каждый раз в конкретной ситуации времени и места. В отношении группы справедлив постулат: «чем меньше сообщество укоренено в существующих и хорошо функционирующих социальных практиках, тем более проблематична его идентичность, тем более *конститутивным* (курсив мой. – Л.Р.) является для него его “вспоминаемое” прошлое»¹¹. Обращение «мы» индивидуальных исторических акторов в условное «коллективное единственное число», которым оперирует как сказитель, писатель, философ, публицист, так и историк, приводит к неизбежной антропоморфизации общности, судьба этого «человекоподобного» коллективного субъекта истории становится основным сюжетом исторического нарратива – квазибиографического повествования о его происхождении, славном или трагическом прошлом, окрашенном отношением автора к настоящему и его видением будущего¹².

Итак, *историческую* идентичность формируют не только представления о прошлом, но также отношение к настоящему и образ желаемого будущего. При этом прошлое оказывается не менее проективным, чем будущее, по существу, «сила памяти определяет черты идентичности и делает прошлое проекцией будущего»¹³, однако не менее важно, с учетом современных тенденций бурного развития так

¹¹ Мегилл А. Историческая эпистемология. С. 147.

¹² Размышляя об этнической / национальной перспективе классической историографии, В. Вжосек справедливо отмечает, что «нация, или государство, или династия становятся героями драмы <...> Другие участники истории оказываются для нее лишь фоном, контекстом. Это, собственно, предопределяет тот факт, что национальная история этноцентрична. В результате национальные историографии состоят в многовековом диалоге (споре, иногда конфликте) этноцентризм». – Вжосек В. Классическая историография как носитель национальной (националистической) идеи // Диалог со временем. 2010. Вып. 30. С. 11–13.

¹³ Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // Цепь времен: проблемы исторического сознания / Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2005. С. 49.

называемой «политики памяти», подчеркнуть, что это проектирование все более становится целенаправленным, а точнее сказать манипулятивным: создаваемая таким образом “жизненная история” (страны, народа, сообщества, человека) становится важным фактором самоидентификации. Активно навязываемый аудитории образ прошлого становится нормой ее собственного представления о себе и формирует ее реальное поведение. В частности, в этом состоит залог успеха правильно организованной «политики памяти».

Век «нынешний» вовсе не ищет аутентичный образ минувшего, а все с той же целью самоидентификации создает новый образ единого *национального* прошлого, соответствующий запросам времени, подчас – намеренно формируя этот образ (с явным прицелом на свой проект будущего), в соответствии с позитивным прогнозом – как непременно «светлого», или же с гиперболизированно негативным – как угрожающей сообществу катастрофы – в случае следования по выбранному в настоящем и критикуемому данной социально-политической программой пути. В условиях динамичных общественных сдвигов апелляции к «корням» (часто – в форме отказа от доминирующего исторического нарратива) и концепции неизменной идентичности способны укрепить представление о национальной «самобытности» и даже исключительности (в т.ч. по линии «цивилизация» – «варварство», или же в актуализированной форме «столкновения цивилизаций»). Этническая (этноцентрическая) и национально-государственная (с разной степенью «национализма») история, выступающая в логике традиционных «мастер-нарративов», поддерживает стратегию негативных различий и акцентирует «образ врага», противостояние, напряженность или открытый конфликт¹⁴.

Важным аспектом изучения идентичности является анализ способов формирования и изменения представлений о содержании понятий «я» и «мы» (противопоставляемых понятию «они»). На разных уровнях в эти представления входят: а) память о пережитом, то есть представления, сформированные на основе жизненного опыта индивида; б) бытующие в данном сообществе представления, выработанные обобщенным групповым опытом предыдущих поколений и усва-

¹⁴ О развитии стратегии негативных различий в «национальной истории» как ответе на вызовы процессов глобализации и культурной унификации см.: *Rüsen J. How to overcome ethnocentrism: Approaches to a culture of recognition by history in the twenty-first century // History and Theory. 2004. Issue 43. P. 118–129.*

иваемые индивидом в процессе социализации (роль в этом контексте пересказов семейных и местных историй невозможно переоценить) создается эмоциональная и другая приверженность человека определенной общности. В этом комплексе признанных и разделяемых в сообществе представлений есть место и для *старых исторических мифов*, и – на определенном этапе – для элементов научного исторического знания, транслируемого через систему образования и преобразуемого обыденным сознанием в *новые образы прошлого*.

Национальная идентичность исторична, нация, по сути, тождественна истории нации, т.е. нарративам национальной истории. Прошлое народа или нации не сводится лишь к совокупности «фактов» или даже к сцепляющим их «объективным» связям: в нём прежде всего раскрывается смысл исторического существования, воплощается система ценностей. Формирование национального сознания может происходить разными путями, но *историческое знание и образование* (преподавание истории на всех уровнях) играют в этом процессе немаловажную роль. Так, французы, подчеркивает А. Про, «единодушно полагают, что их идентичность и чуть ли не само их существование как нации пролегают через преподавание истории», и университетская история многие десятилетия «выполняла совершенно очевидную социальную функцию, заключающуюся в формировании героического эпоса и самосознания нации»¹⁵. Взаимосвязь научного знания, системы образования и национального сознания, роль транслируемых в учебную литературу интеллектуальных конструктов исторической науки Нового и Новейшего времени в процессе формирования общегосударственной идентичности, идеологии национализма, в мобилизации национальных движений и буме нациестроительства эпохи Модерна – весьма важный предмет исследования.

Марку Ферро и его последователям по всему миру, удалось убедительно показать, что учебные тексты, используемые для обучения молодежи в разных странах, изобилуют этноцентристскими стереотипами и трактуют одни и те же исторические факты по-разному – в зависимости от национальных интересов¹⁶. И речь идет не только о педалировании триумфального прошлого или ситуаций исторических

¹⁵ Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 16, 308.

¹⁶ Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М.: Высшая школа, 1992. См. также: Phillips P. History Teaching, Nationhood and the State: A Study in Education Politics. L., 2000.

трагедий и национального унижения, в том числе в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах национальной истории¹⁷, но также о *блокаде* пластов памяти относительно позорных событий минувших эпох и использовании значимых умолчаний для конструирования приемлемой картины прошлого. Показательными примерами являются многочисленные оправдательные или обличительные мифы территориальных завоеваний¹⁸. По замечанию П. Рикёра, те же самые события «для одних означают славу, для других – унижение. С одной стороны – восславление, с другой – проклятие. Именно таким образом в архивах коллективной памяти накапливаются реальные и символические обиды»¹⁹.

Именно в структуре коллективной памяти исторические события, служащие в научном знании вехами-маркерами периодизации региональной и мировой истории, подвергаются своеобразной сакрализации, или мифологизации, и становятся историческими символами идентичности. Особый интерес, в этой связи, представляет исследование мифологической составляющей *современного* исторического сознания, всей системы культурных символов, формирующих основу национальной идентичности, изучение опыта «работы с прошлым» и «преодоления прошлого» в XX веке.

¹⁷ О структуре видов национальных нарративов см.: *Маловичко С.И.* Национально-государственный нарратив в структуре национальной истории долгого Десятилетия // Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 83–119.

¹⁸ См., в частности, сравнительный анализ различных версий «мифологии завоевателей» в монографии: *Day, David.* Conquest: How Societies Overwhelm Others. Oxford, 2008; или исследования о практиках мемориализации кризисов идентичности в книгах: *The Memory of Catastrophe / Ed. by P. Gray and K. Oliver.* Manchester, 2004; *Кризисы переломных эпох в исторической памяти / Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2012.* См. также: *Репина Л.П.* Событие в истории и коллективной памяти: Казус-1066 // Диалог со временем. Вып. 56. 2016. С. 39–46.

¹⁹ *Рикёр П.* Память, история, забвение. С. 120.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИСТОРИИ (неоклассическая vs классическая – неклассическая – постнеклассическая модели исторической науки)

1. Формирование исторической памяти как функция исторического знания: исследовательская гипотеза

Ситуацию постмодерна последней трети XX века характеризуют два факторно связанных явления: кризис доверия к историческому метарассказу и кризис идентичности, которую в течение XIX–XX столетий и обеспечивало, по преимуществу, историческое знание, выстроенное в соответствии с нарративной логикой историописания и презентированное в форме нарратива. Именно исторический нарратив формировал историческую память, служившую основой консолидации социума и обеспечивающую идентичность индивидуума. Проблематизация исторической памяти в исторической науке в период постмодерна и при переходе от постмодерна к постпостмодерну на рубеже XIX–XX вв. является доказательным свидетельством как кризиса идентичности (постмодерн), так и начала поиска выхода из этого кризиса (постпостмодерн). Поскольку потребность в самоидентификации относится к первичным социальным потребностям индивидуума¹, тот или иной выход из ситуации кризиса идентичности был неизбежен.

Отсюда актуальная функция исторической науки – предложить социуму наиболее эффективный и адекватно отвечающий его потребностям способ конструирования идентичности / формирования общей социальной памяти на основе исторического знания в новой социокультурной и теоретико-познавательной ситуации. Но не поспешила ли я с этим утверждением? Должен ли вообще историк-исследователь вмешиваться в формирование социальной памяти или же его задачи ограничиваются лишь ее изучением – причем, преимущественно в исторической ретроспективе? Вопрос, на мой взгляд, остается не решенным научным сообществом.

¹ Здесь я ориентируюсь, главным образом, на концепцию Эриха Фромма (1900-1980), изложенную по преимуществу в книге «Бегство от свободы» (Escape from freedom, 1941; рус. пер. 1975).

Показательна в этом плане позиция современного американского историка Аллана Мегилла, который, стремясь вывести историю из-под влияния идеологии, утверждает: «Критическая историография должна находиться на некотором расстоянии от памяти, во всех смыслах последней...» Продолжая размышления о функциях критической (научной) истории, А. Мегилл пишет: «Критическая историография ничего не предписывает настоящему. Она только показывает то, что было иным и удивительным – даже поразительным – в прошлом. Если в историописании утрачивается это качество удивлять, то оно одновременно утрачивает и свое академическое, научное оправдание»². Таким образом, задача современной исторической науки формировать историческую память здесь и сейчас, то есть у своих современников подвергается сомнению. При этом бесспорно признается, что историческое знание «всегда» (историк не может не взять это слово в кавычки) формировало историческую память. Мне видится в таком подходе некоторая противоречивость.

Более ста лет тому назад схожий подход³ – в рамках позитивизма – прокламировал Н.И. Кареев. Утверждая необходимость различать «науки чистые» и «науки прикладные», он относил историю к несомненно «чистым наукам»: «Задача истории не в том, чтобы открывать какие-либо законы (на то есть социология), или давать практические наставления (это – дело политики), а в том, чтобы изучать конкретное прошлое без какого бы то ни было попользования предсказывать будущее <...> Если данными и выводами истории воспользуются социолог, политик, публицист, тем лучше, но основной мотив интереса к прошлому в истории, понимаемой исключительно в качестве чистой науки, имеет совершенно самостоятельный характер: его источник в том, что мы называем любознательностью, на разных ее ступенях – от простого и часто поверхностного любопытства до настоящей и очень глубокой жажды знания»⁴.

² Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: «Канон+» РОИИ «Реабилитация», 2007. С. 132.

³ На всякий случай все же замечу, что принципиальное различие, на мой взгляд, не в самом подходе двух разделенных столетием историков, а в том, что задачи исторической науки А. Мегилл формулирует уже явно под влиянием антропологического поворота в историческом познании.

⁴ Кареев Н.И. Историка (Теория исторического знания). 2-е изд. Пг.: тип. М.М. Стасюлевича, 1916. С. 29.

Но, как утверждает старинная мудрость, «свято место пусто не бывает». И если профессиональный историк-исследователь ограничивает свои профессиональные функции лишь изучением исторической памяти, то ее формирование отдается на откуп историкам-нарраторам, обладающим весьма разными уровнями профессиональной квалификации. Профессиональных работ, в которых разрабатывается актуальный механизм формирования исторической памяти, крайне мало. Не расценивать же всерьез в качестве попытки «скорректировать» историческую память, сделать ее «правильной» раздающиеся время от времени призывы соблюдать «принцип объективности» и противостоять «фальсификациям истории».

Поэтому в начале наших рассуждений сформулируем актуальный, – если не сказать злободневный, – вопрос: сколь волен историк в конструировании исторической памяти?

Перед тем, как отвечать на вопрос о «полномочиях» историка в деле формирования исторической памяти социума, сделаем одно лингвистическое разъяснение. Вопрос не случайно поставлен: «сколь волен...», а не «сколь свободен...» Не вдаваясь в философское обсуждение проблемы *свободы*, сошлюсь здесь на Гегеля, который, рассматривая исторический процесс в его целокупности, писал: «Всемирная история есть дисциплинирование необузданной естественной воли и возвышение ее до всеобщности и до субъективной свободы»⁵.

Можно уточнить/ужесточить формулировку: как избежать произвола историка в формировании исторической памяти?

Транспонировав выше приведенную мысль Гегеля применительно к историографическому процессу, заявим *исследовательскую гипотезу*: наррация в рамках *неклассической модели* науки являет по преимуществу «естественную волю» историка, тогда как исследование в рамках *неоклассической модели науки* позволяет историку преодолеть «необузданную естественную волю» и обрести «субъективную свободу»⁶.

Поиски ответа на вопрос о функции научной (и в целом – профессиональной) историографии в формировании исторической памяти неизбежно выводят нас на проблему нарратива и шире – спосо-

⁵ Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. С. 147.

⁶ Сразу же оговорю, что оставляю за пределами настоящей работы проблематику социологии знания, которая со своей стороны также решает вопрос о границах «естественной воли» историка (и вообще ученого).

бов позиционирования исторического знания в социуме, обусловленного, в свою очередь, формами презентации истории.

Основу идентичности в обществе с историческим типом социальной памяти обеспечивает коммеморация на основе исторического знания, но подчеркнем: исторического знания определенного типа. Ю.М. Лотман характеризовал тип памяти, присущий европейской культуре как исторический по характеру, письменный по механизму фиксации и казуальный по содержанию⁷. Ранее мы, преимущественно в связи с источниковедческими штудиями, акцентировали внимание на *письменной фиксации* социальной памяти исторического типа и соответственно на особой роли письменных исторических источников в историческом познании⁸. Теперь же сделаем акцент на *казуальности*. Сформулируем предположение: именно казуальность социальной памяти исторического типа делает ее пластичной, изменчивой и, в конечном счете, порождает проблему нарратива, точнее – его верифицируемости / неверифицируемости, – в историческом познании.

На мой взгляд, вывод исторического знания из-под власти идеологии предполагает не заточение историка «в башне из слоновой кости», а изучение механизмов не только «добывания» / конструирования исторических фактов, не только констатацию неверифицируемости нарратива, но и поиск способов репрезентации и корректного позиционирования научного исторического знания в социуме.

Логика исследования и схемы интерпретации

Если принять логику приведенного выше рассуждения, то очевидно, что рассматривать проблематику исторической памяти, в том числе и как основания конструирования идентичности, необходимо в связи с трансформациями исторического нарратива, его кризисом и начавшимся процессом ренарративизации. Если же принять, на уровне аксиоматики, что обеспечение идентичности – инвариантная / наиболее устойчивая функция исторического знания, то из этого следует, что при рассмотрении проблемы стоит попытаться применить ключевые схемы интерпретации / понимания исторического знания и

⁷ Лотман Ю.М. Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культуры? // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера. М.: «Языки русской культуры», 1996. С. 344-356.

⁸ См.: Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 105-109.

его функций в социуме. При этом необходимо учесть, как минимум, два обстоятельства: первое – понятие исторического знания шире, чем понятие исторической науки, второе – историк не может не подходить к самому историческому знанию исторически. Первое обстоятельство заставляет нас востребовать методы источниковедения историографии⁹ и аналитически (в целях исследования) разграничить собственно научное знание и социально ориентированное историописание, соотношение которых меняется в зависимости от типа рациональности / модели науки. Второе обстоятельство провоцирует нас рассматривать трансформации исторического знания и его функций как раз в связи со сменой типов рациональности / моделей науки. Очевидным образом, взаимоотношения между исторической наукой и социально ориентированным историописанием зависят от соотношения процессов получения нового знания в исторической науке и его позиционирования в социуме, а это соотношение, в свою очередь, факторно определяется типом рациональности / моделью науки.

Можно предположить, что смена типов рациональности / моделей науки в качестве интерпретационной схемы работает, главным образом, в процессе анализа получения нового научного исторического знания, а разделять собственно научное историческое знание и социально ориентированное историописание в структуре исторического знания целесообразно, по преимуществу (но именно преимущественно, а не жестко), при анализе процессов позиционирования исторического знания в социуме, и в частности процессов влияния исторической науки на формирование исторической памяти, – через прояснение воздействия (или отсутствия такового) исторической науки на социально ориентированное историописание. И важно подчеркнуть, что реализация инвариантной функции исторического знания – обеспечение идентичности происходит именно в результате его позиционирования в социуме. Соответственно на этой проблеме будет сосредоточено наше внимание.

Поскольку в качестве базовой схемы рассмотрения проблемы исторического знания как фактора формирования идентичности я предлагаю смену типов рациональности / моделей науки, то необходимо сделать еще одно предварительное замечание. Важно подчерк-

⁹ Теория и методология исторической науки: терминологический словарь / отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. С. 203-204.

нуть, что методология истории рефлексивна, а не нормативна, она вторична по отношению к самому историческому знанию. В начале XX века немецкий неокантианец Баденской школы Генрих Риккерт (1863–1936), приступая к эпистемологическому анализу исторической науки, писал: «...это само собой понятно: тот, кто хочет добиться ясного решения вопроса [о сущности исторической науки, ее логике и методе – *М.Р.*], прежде всего руководствуется при этом всеми признанными трудами великих историков, устанавливая сначала те особенности, которыми историческое мышление *отличается* [выделено автором – *М.Р.*] от мышления других наук <...> сначала следовало бы понять логическую структуру уже имеющихся исторических наук...»¹⁰ В конце XX века Франклин Анкерсмит высказывается гораздо более радикально: «...философ никогда не станет реальным помощником в производстве знаний <...> Скорее он начнет размышлять о способах модификации традиционных философских тем, концептов и проблем в свете новых результатов, полученных наукой. <...> Поэтому философия не должна быть фундаменталистским и априорным анализом того, что происходит в точных науках и социально-гуманитарном знании, но должна стать апостериорным анализом; должна задавать некие общие вопросы только после того, как ученый или историк выполнит свою работу»¹¹.

Основной предмет настоящего исследования – *возможности неоклассической источниковедческой концепции исторического познания в репрезентации истории*. Сделать это целесообразно в соотношении со сменой моделей науки от классической – через неклассическую – к постнеклассической, для чего необходимо эксплицировать, хотя бы схематично, историографический контекст, ту его составляющую, которая связана не столько с проблемой получения нового научного знания, сколько с проблемой позиционирования исторического знания – нарратива и репрезентации истории.

В качестве еще одной схемы интерпретации трансформаций исторического знания используем смену «словарей» исторической

¹⁰ Риккерт Г. Философия истории // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре: пер. с нем. М.: Республика, 1998. С. 136.

¹¹ Анкерсмит Ф. [Интервью], Франклин Анкерсмит; беседу вела Эва Доманска // Доманска Э. Философия истории после постмодернизма / пер. с англ. М.А. Кукарцевой. М.: Канон+, 2010. С. 105-106. (Гуманитарное знание – XXI век).

науки – модель, разработанную Ф.Р. Анкерсмитом¹². На мой взгляд, не будет некорректным соотнести *словарь описания и объяснения с классической моделью науки, словарь интерпретации – с неклассической моделью, словарь репрезентации – с постнеклассической*. Конечно, хронология рассматриваемой нами смены моделей науки не совпадает с «хронологией словарей» Ф.Р. Анкерсмита, но у Анкерсмита речь идет о рефлексии над историописанием, а я применяю предложенную им схему интерпретации к анализу самого историографического процесса.

Подход Анкерсмита выбран постольку, поскольку он, по моему мнению, позволяет наиболее строго сопоставить две линии методологической рефлексии и особенно – выявить различия в подходе к проблеме презентации исторического знания в разных моделях науки. К тому же, этот подход вполне корреспондирует с проанализированной Баденской школой неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) оппозицией номотетики и идиографии в научном познании, что важно для рассматриваемой нами проблемы, поскольку именно в разных версиях неокантианства обнаруживается исток расхождения неклассической и неоклассической моделей исторической науки.

Если смена типов рациональности / моделей науки выступает в качестве общенаучной схемы интерпретации трансформаций исторического знания, то концепция «словарей» исторической науки переводит нас на конкретно-научный уровень – уровень рефлексии исторического знания.

Классический тип рациональности. «Естественная» коммеморация

Классический тип рациональности, в рамках которого и происходило становление национально-государственных нарративов в XIX в., не предполагает, или же предполагает в минимальной степени, но не проблематизирует, разграничение собственно научного знания от иных типов исторического знания, участвующих в формировании социальной памяти. Сredo «естественной» коммеморации в рамках рациональности классического типа – классическое же высказывание Л. фон Ранке: изучать, «как было на самом деле». Позицию: классический тип рациональности не проводит жесткого разграничения между исторической наукой и иными формами

¹² Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 213-258.

исторического знания, – можно радикализировать и высказать предположение, что именно становление исторической науки как науки в рамках классической модели, обретение собственно научного метода, в частности филологической критики, депроблематизировало на какое-то время тему формирования исторической памяти. Например, российские историки XVIII в., рассматривая историю, скорее, как искусство, чем как науку, четко видели свою задачу в прославлении отечества. XIX век – это эпоха одновременного становления и исторического метода, и формирования мастер-нарративов. Соотношение этих процессов неоднозначное, шли ли они параллельно или взаимозависимо, каков механизм их взаимодействия, – эти проблемы требуют специального рассмотрения¹³.

Но сошлемся здесь на П. Нору, который в рамках исследования проблематики памяти, отметил: «...сразу же после Революции и Империи, в эпоху романтизма в 1820–1840-е гг., такими либеральными историками, как Огюстен Тьери, Гизо, Мишле, была создана *национальная история* [выделено автором – М.Р.] <...> Принцип и динамика ее состояли в том, чтобы выбирать из прошлого только факты, объяснявшие развитие “нации”. История превратилась в непрерывное повествование о бытии этой коллективной личности-нации...»¹⁴ Нора конкретизирует эту мысль: «Было время, когда могло показаться, что с помощью истории и вокруг идеи нации традиция памяти кристаллизовалась в идее политического синтеза Третьей Республики, если следовать самой общей хронологии, от “Записок об истории Франции” Огюстена Тьерри (1827) до “Искренней истории французской нации” Шарля Сеньобоса (1933). История, память, нация претерпели тогда нечто большее, чем просто естественное взаимопроникновение: дополнительное распространение, симбиоз всех уровней, научного и педагогического, теоретического и практического»¹⁵.

Обратившись к российской историографии, мы можем выстроить этот ряд от «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина

¹³ См., напр.: Маловичко С.И. Непонимание как форма сосуществования разных типов исторического знания // Диалог со временем. 2014. Вып. 46. С. 129-145.

¹⁴ Нора П. Предисловие к русскому изданию // Франция–память. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. С. 7.

¹⁵ Нора П. Между памятью и историей: проблематика мест памяти // Там же. С. 23.

(1816–1829), через «Историю России с древнейших времен» С.М. Соловьева (1851–1879) до «Курса русской истории» В.О. Ключевского (1904). В этот ряд входят и многотомные нарративы по русской истории: «Русская история» Н.Г. Устрялова (в 5 ч. СПб., 1837–1841), «Исследования, замечания и лекции о русской истории» М.П. Погодина (в 7 т., 1846–1857), «История России» (в 5 т., 1876–1905) Д.И. Иловайского и др. Ряд можно было бы завершить «Очерками по истории русской культуры» (в 4 т., 1896–1903) П.Н. Милюкова, если бы не авторское название – «Очерки...», заставляющее предположить, что этот труд отчасти разрушает классический линейный метанарратив¹⁶.

Сопоставим целеполагание трех классиков российской историографии. М.В. Ломоносов, целиком принадлежащий XVIII веку, в «Древней Российской истории...» (1751–1764, опубликована в 1766) пишет: «Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу, и пренося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долгою времени разделила. Мрамор и металл, коими вид великих людей изображены всенародно возвышаются, стоят на одном месте неподвижно, и ветхостию разрушаются. История повсюду распростираясь и обращаясь в руках человеческого рода, стихии строгость и грызение древности презирает»¹⁷. М.П. Погодин так характеризует назначение учебника для гимназий (1835): «Учебная история должна изложить все главные события в связи и последовательности, не сказать ничего ненужного, не употребить ни одного слова лишнего, не пропустить ни одного важного события. Ни об чем прочем ей нечего заботиться. Все то предоставляется учителю, который передает ученику знание посредством учебной книги, оживляет ее, раскрашивает находящийся в ней очерк картины. И потому учебная книга без учителя есть драма не разыгранная актерами, не полное сочинение. Всякий судья ее вот что должен иметь в виду. Совсем другое есть История, назначаемая для чтения. Туда живость, и искусство, и патриотизм, и вся личность

¹⁶ О видовой классификации историографических источников см.: Источниковедение... С. 525-559.

¹⁷ *Ломоносов М.В.* Древняя Российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава первого или до 1054 года // *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч.: в 11 т. М.; Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1952. Т. 6. С. 171.

автора. Та может иметь целью не только показать, но и представить живо, возбудить охоту, ибо ей нельзя надеяться на живую помощь. Истина историческая, разумеется, и в учебной, и всякой другой»¹⁸. Позиция М.П. Погодина примечательна еще и тем, что начинал он как ученик М.Т. Каченовского, признанного главы «скептической школы», но затем перешел на охранительные позиции. Н.М. Карамзин, находящийся на рубеже историографии XVIII–XIX вв., сформулировал целеполагание исторического повествования весьма афористично: «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству»¹⁹.

Примечательно, что классический тип рациональности порождает и такой вид исторического письма как мемуары-современные истории²⁰. Цель мемуариста – не просто оставить память о тех событиях, которым он был свидетель, но оставить *правильную* память. Основоположителем данного жанра по праву считается Филипп де Коммин, чьи «Мемуары», написанные в конце XV в., были впервые опубликованы в 1524 г. Сам автор следующим образом определял цель создания своих мемуаров и свое понимание особенностей этого жанра: «Монсеньор архиепископ Вьеннский, удовлетворяя Вашу просьбу, с коей Вы соблагволили ко мне обратиться, – вспомнить и описать то, что я знал и ведал о деяниях короля Людовика XI, нашего господина и благодетеля, государя, достойного самой доброй памяти (да помилует его господь!), я изложил *как можно ближе к истине* [здесь и далее выделено мной – М.Р.] все, что смог и сумел вспомнить <...> Хронисты обычно пишут лишь то, что служит в похвалу тем лицам, о которых они говорят, и о многом умалчивают или же подчас не знают правды. А я решил, невзирая на лица, говорить только о том, что истинно и что я видел сам или узнал от достаточно важных персон, которые достойны доверия»²¹.

В России произведения, написанные с аналогичной целью – запечатлеть в памяти историческое событие, появляются в XVII в.

¹⁸ Погодин М.П. Начертание русской истории: для гимназий. 2-е изд. М.: Университетская тип., 1837. С. XIV–XV.

¹⁹ Карамзин Н.М. Предисловие // Карамзин Н.М. История государства Российского: в 12 т. М.: Наука, 1989. Т. 1. С. 13.

²⁰ Термин – калька с английского.

²¹ Коммин Ф. де. Мемуары. М.: Наука, 1987. С. 5, 191.

Сильвестр Медведев – современник и участник событий периода регентства Софьи Алексеевны – создал труд с примечательным названием «Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же, что содеяся во гражданстве». Самоназвание источника – «созерцание» – свидетельствует о намерении описать то, чему автор был свидетелем, а сам он так понимал свою задачу: «...Подобает нам содеявший в наша времена какие-либо дела не придавать забвению <...> Писанием оставити вежество, ибо мнози о тех делах глаголют и соперство между себе творят... абаче инии истинствовати не могут...». Младший современник Сильвестра Медведева А.А. Матвеев также пишет записки с аналогичной целью: «...Сей автор не за любочестие свое и не праздную себе хвалу, но для общей всех памяти о том потщится сей малый труд принять, дабы всегда в Российском государстве благоразумные и любопытные читатели, вразумляющиеся полезно, к будущему известию своему, для познания родящихся сыновей своих от род в род оставляли незабвенно...»²².

В Европе в XVII в. рассматриваемый вид источников личного происхождения вполне сформировался. В Англии к этому времени относится «История мятежа и гражданских войн в Англии» («The History of Rebellion and Civil Wars in England») Эдуарда Хайда графа Кларендона, повествовавшая о событиях 1642–1660 гг., в которых автор участвовал на стороне короля. В конце XVII в. епископ Солсберийский Гилберт Бёрнет (1643–1715) написал произведение с символичным названием «История моего собственного времени» («The History of My Own Times»). Бёрнет постоянно перерабатывал свой труд и готовил его к публикации. Классикой данного вида являются мемуары французского вельможи Л. де Рувруа Сен-Симона, который не только создал обширное произведение о событиях, современником которых он был, и о людях, в них участвовавших, но и дал пример осмысления задач «современной истории». Предисловие к своим мемуарам (июль 1743 г.) Сен-Симон недвусмысленно назвал «О дозволенности писания и чтения исторических книг, особенно тех, что посвящены своему времени» и обосновывал потребность в такой истории следующим образом: «Частной я именую историю, если она относится к временам автора и его стране, повествуя о том, что про-

²² См.: Чекунова А.Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII–XVIII вв.: опыт источниковедческого анализа. М.: РГГУ, 1995.

исходит у всех на глазах; и, будучи более узким по охвату, подобный исторический труд должен содержать гораздо больше мелких подробностей и вводить читателя в гущу действующих лиц <...>. Такой жанр требует щепетильной точности и достоверности каждого сюжета и каждой черты <...> особенно же важно, чтобы, описывая события, сочинитель опирался на источники, личные впечатления или рассказы своих близких друзей; в последнем случае самолюбие, дружба, неприязнь и собственная выгода должны приноситься в жертву истинности даже наимельчайших и наименее важных подробностей...»²³.

Очевидно, что всех этих очень разных авторов объединяет идея, близкая к целеполаганию историографии в рамках классической модели науки, – запечатлеть событие, «как оно было на самом деле», дабы оставить потомкам «правильную» память о нем. Наверное, не будет сильным преувеличением сказать, что нарративная история XIX века заместила память. Или, как пишет П. Нора, произошло «искоренение памяти под захватническим натиском истории»²⁴.

Если использовать разработанную Ф.Р. Анкерсмитом схему смены словарей исторической науки, то, как уже отмечалось, классическому типу рациональности соответствует *словарь описания и объяснения*, который Анкерсмит характеризует следующим образом: «Важное допущение здесь подразумевало, что прошлое есть по сути своей море исторических феноменов, которые должны быть описаны и объяснены. Прошлое понималось как множество феноменов, лежащих перед историком, ожидая, чтобы его описали и объяснили»²⁵. В подтверждение того, что схема Анкерсмита может быть распространена за пределы обозначенной им хронологии приведем слова Н.И. Кареева из его «Историки», впервые опубликованной в 1913 г.: «Первая задача историка, действительно, состоит в восстановлении фактов прошлого, но не для их созерцания, а для их понимания»²⁶.

Если же мы согласимся с А. Мегиллом, который пишет: «Нарратив соединяет дескрипцию и объяснение»²⁷, – то вынуждены бу-

²³ Сен-Симон А. де. Мемуары: избранные главы: в 2 кн. М.: Прогресс, 1991. Кн. 1. С. 42-62.

²⁴ Нора П. Между памятью и историей... С. 19.

²⁵ Анкерсмит Ф.Р. История и тропология... С. 216.

²⁶ Кареев Н.И. Историка... С. 27.

²⁷ Мегилл А. Историческая эпистемология... С. 222.

дем признать, что словарь «описания и объяснения» выводит нас на проблему нарратива.

В этой схеме источниковедение, еще не обретшее дисциплинарной автономии, встроено в структуру методологии истории в качестве базовой процедуры научного исторического исследования, призванной обеспечить качество *описания*, не вмешиваясь в процедуру *объяснения*. Дисциплинарное оформление источниковедения, — и впоследствии, в результате процесса институционализации и перерастания его в научное направление, его претензия не только на оригинальный способ получения исторического знания, но и репрезентации, а, возможно, и позиционирования последнего, — связано с кризисом классической рациональности и с началом расхождения неклассической и неоклассической моделей науки, соответственно — баденского и русского неокантианства.

Неклассический тип рациональности.

Разрушение «естественной» коммеморации

В неклассической модели науки происходит разрушение «естественной» коммеморации. Логика простая и схематизируем ее совсем уж упрощенно (хотя, надеюсь, вполне корректно): неклассическая модель науки предполагает учет воздействия исследователя на результат исследования; отсюда — понимание, что история — это не то, «как было на самом деле», а то, что для нас написали историки, конечно, не произвольно, руководствуясь научным методом и следуя этическим нормам своей профессии, но все же это не сама воспроизведенная «объективная реальность» истории, а рассказ историка. Хорошо известно высказывание П. Нора, приобретшее уже характер афоризма: «история целиком вступает в свой историографический возраст, достигнув своей деидентификации с памятью»²⁸. Анализируя ситуацию во Франции (которая, на мой взгляд, не является настолько специфической, чтобы ее общую характеристику нельзя было применить к европейской историографии в целом), П. Нора замечает: «...одним из наиболее ощутимых знаков <...> отрыва истории от памяти является начало истории истории, совсем недавнее пробуждение во Франции историографического сознания»²⁹. И тут же подчеркивает, что во Франции «история истории не может быть

²⁸ Нора П. Между памятью и историей... С. 23.

²⁹ Там же. С. 21.

невинной операцией. Она осуществляет внутреннее превращение истории-памяти в историю-критику»³⁰.

Неклассической модели науки явным образом соответствует «словарь интерпретации», характеризую который, Ф.Р. Анкерсмит пишет: «Традиционная герменевтическая теория – это теория способа интерпретации значения. Сущностное допущение интерпретационной теории поэтому состоит в том, что прошлое, в принципе, – это полное значений целое, и задачей историка является интерпретация значения исторических явлений»³¹. При этом Анкерсмит подмечает особенность исторического знания XX века: «Историография двадцатого века предпочитает смотреть на прошлое с точки зрения, отличной от точки зрения самих исторических агентов...»³² Наверное, трудно согласиться с этим утверждением Анкерсмита в полной мере (мы не можем игнорировать антропологический поворот в историческом познании), но приверженность историков (и не только) XX века к разным вариантам презентизма заставляет нас признать, что в значительной мере это утверждение справедливо.

Превращение исторической науки в «историю-критику», а именно на это был нацелен проект «места памяти», не мог не привести к расхождению – и в дальнейшем к разрыву исторической науки и социально ориентированного историописания. Но в контексте настоящего исследования уделим внимание не истории истории как имманентному признаку неклассической модели исторической науки, а другому, возможно менее яркому, но весьма масштабному и – что не менее важно, вызвавшему на рубеже XX–XXI вв. оживленные дискуссии – маркеру новой ситуации – оформлению краеведения в отдельную область знания, призванную формировать локальную социальную память и, соответственно, локальную идентичность³³.

³⁰ Там же. С. 22.

³¹ Анкерсмит Ф.Р. История и тропология... С. 218.

³² Там же. С. 219.

³³ Проблема статуса локальной истории и ее места в структуре исторического знания в соотношении с разными типами рациональности / моделями науки была подробно рассмотрена нами ранее в соавторстве с С.И. Маловичко: *Маловичко С.И., Румянцева М.Ф.* История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки // *Регіональна історія України: збірник наукових статей.* Київ, 2012. Вип. 6. С. 9-22; *Маловичко С.И., Румянцева М.Ф.* История локуса в классической, неклассической и постнеклассической

Сразу же хочу подчеркнуть, что не имею ни малейшего намерения вступать в полемику с краеведами, чье стремление удревнить собственную сферу изучения вполне понятно³⁴ и корректно объясняется как раз с позиций формирования исторической памяти и групповой идентичности. К тому же краеведение, несомненно, наследует местному/провинциальному историописанию. Отмечу только один момент: понятие *краеведение* появляется в русском языке не ранее начала XX в. Оно отсутствует во всех наиболее известных толковых словарях XIX – начала XX в.: В.И. Даля, Брокгауза и Ефрона, а также в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, братьев Гранат и зафиксировано лишь в академическом «Словаре русского языка» (под ред. А.А. Шахматова, 1891–1916 гг.).

Конституирование краеведения как особой области исторического знания – один из показателей выхода локальной истории из-под влияния мастер-нарратива и начала процесса фрагментации единого пространства истории³⁵. Видимо, здесь уже можно говорить о переориентации локальной истории, в ее краеведческом варианте, на формирование локальной исторической памяти, что вполне согласуется с утверждением П. Нора: «Конец истории-памяти умножил число отдельных памятей, которые потребовали своей истории»³⁶.

«Умножение числа отдельных памятей» в социально ориентированном историописании коррелирует (хотя, вероятно, и несущественно) с фрагментацией исторического знания в исторической науке³⁷. Не могу не согласиться с А. Мегиллом в его характеристике фрагментации как фактически имманентного качества современной

моделях исторической науки. Статья вторая // Регіональна історія України: зб. науков. ст. Київ, 2013. Вип. 7. С. 39-54.

³⁴ См., напр.: *Пашков А.М.* Историческое краеведение Карелии конца XVIII – начала XX века как социокультурное и историографическое явление: дисс. ... д-ра истор. наук. М.: РГГУ, 2011. 678 с.: ил. РГБ ОД, 71 13-7/27.

³⁵ Здесь мы оставляем за рамками рассмотрения роль губернских ученых архивных комиссий в становлении как научной локальной истории, так и краеведения (см.: *Писарькова Л.Ф.* Губернские ученые архивные комиссии. 1884–1923 гг.: аннотированный указатель содержания изданий. М.: Новый хронограф, 2015. 944 с.), а также специфические условия расцвета советского краеведения как в 1920-х, так и в 1970–1980-х гг. (см., напр.: *Шмидт С.О.* Краеведение и документальные памятники: учеб. пособие. Тверь., 1992. 86 с.).

³⁶ *Нора П.* Между памятью и историей... С. 33.

³⁷ Подробнее см.: *Мегилл А.* Историческая эпистемология... С. 255-313.

исторической науки. Фрагментация, в числе прочих факторов, ведет к невозможности когерентности научной истории³⁸, а, следовательно, и к невозможности формирования на ее основе идентичности. Таким образом, задача формирования единой исторической памяти в границах сколь-либо обширной социальной общности (главным образом, одной страны) в социально ориентированном историописании транспонируется в проблему поиска возможностей/способов обеспечения когерентности исторического знания.

На мой взгляд, именно неоклассическая модель исторической науки, в частности в ее источниковедческом варианте, может предложить решение этой проблемы.

Источниковедение: неоклассическая модель науки

Изменение типов рациональности / моделей науки – это многофакторный процесс, экспликация факторов, его обусловивших, анализ характера и степени воздействия их на историографический процесс происходят *post factum*. Но при переходе от классической к неклассической модели науки, при осознании релятивного характера научного знания возникает потребность обеспечить его строгую научность, начинается становление неоклассической модели науки, которая разворачивается параллельно с неклассической и постнеклассической моделями, носит, хотя бы отчасти, нормативный характер и, соответственно, требует специальной разработки с точки зрения возможных перспектив исторической науки. Именно поэтому я сочла возможным в названии статьи противопоставить неоклассическую модель науки последовательно сменявшим друг друга моделям: классической – неклассической – постнеклассической.

В литературе существуют и иные точки зрения на формирование неоклассической модели³⁹. Не вступая здесь в полемику, отмечу, что для меня реперной точкой в становлении неоклассической модели науки является публикация программной статьи Э. Гуссерля (1859–1938) к международному журналу «Логос» «Философия как строгая наука» (1911)⁴⁰. В сторону неоклассической модели науки двигалась теория исторического познания русской версии неоканти-

³⁸ Там же. С. 270-302.

³⁹ См. напр.: *Лубский А.В.* Альтернативные модели исторического исследования. М.: Изд-во «Социально-гуманитарные знания», 2005. С. 256-339.

⁴⁰ *Гуссерль Э.* Философия, как строгая наука / Э. Гуссерля // Логос: международный ежегодник по философии культуры. М.: «Мусагетъ», 1911. Кн. 1. С. 1-56.

анства⁴¹. Атрибутивным признаком этого движения является специальное внимание к *эмпирическому объекту* гуманитарного познания (в системе исторического знания – историческому источнику), тогда как представители Баденской школы, в частности, Г. Риккерт, принципиально отказывались от проблематизации объекта, сосредоточив свое внимание исключительно на логике исторического познания.

Интерес к эмпирическому объекту гуманитаристики мы находим у основоположника русской версии неокантианства А.И. Введенского (1856–1925), поставившего вопрос: «...имеет ли душевная жизнь объективные (извне наблюдаемые) признаки» – и предложившего ответ: «...наблюдать саму чужую душевную жизнь мы не можем, а должны лишь заключать об ней по ее внешним, материальным, то есть, объективным обнаружениям, следовательно, при каждой попытке решать подобные вопросы мы уже должны быть уверены в том, какие именно материальные явления служат признаком, обнаруживающим присутствие душевной жизни, и какие проходят без ее участия»⁴². Далее этот подход был реализован в разработанной А.С. Лаппо-Данилевским (1863–1919) концепции методологии источниковедения в структуре методологии истории. Обратим на последнее обстоятельство особое внимание: А.С. Лаппо-Данилевского часто позиционируют как автора методологии источниковедения как особой дисциплины. Но, на мой взгляд, это некорректно. Действительно, А.С. Лаппо-Данилевский разработал целостную и системную концепцию методологии источниковедения, но – и это принципиально важно – в структуре методологии истории, которую он разделил на две части: методология источниковедения и методология исторического построения.

Акцент на методологии источниковедения при обращении современных исследователей к творческому наследию А.С. Лаппо-Данилевского во многом закономерен, но отчасти и случаен. Закономерность интереса именно к методологии источниковедения обусловлена тем, что эта часть концепции, во-первых, наиболее ориги-

⁴¹ Подробнее см.: *Румянцева М.Ф.* Русская версия неокантианства: к постановке проблемы // Ученые записки Казанского университета. Сер. Гуманит. науки. 2012. Т. 154. Кн. 1. С. 130-141.

⁴² *Введенский А.И.* О пределах и признаках одушевления: новый психофизиологический закон в связи с вопросом о возможности метафизики. СПб.: тип. В.С. Балашева, 1892. С. 7.

нальна, а, во-вторых, получила дальнейшее развитие на протяжении всего XX и начала XXI в. Случайность (на первый взгляд – случайность) проявилась в том, что методология исторического построения не вошла в фундаментальную (и обычно известную историкам) публикацию «Методологии истории» А.С. Лаппо-Данилевского 1910–1913 гг.⁴³ Спустя сто лет, в 2010 г., нам удалось впервые издать полный текст «Методологии истории» Лаппо-Данилевского, задействовав литографированный текст лекций 1909 г.⁴⁴, и в этом новом издании архитектура авторского замысла очевидна в полной мере⁴⁵.

Преследуя задачи данной работы, особо подчеркну, что в методологии исторического построения А.С. Лаппо-Данилевский, на мой взгляд, не вышел за пределы методологии неокантианства, что, – в пределах рассматриваемой нами проблемы, – не дало перспективы развития этой составляющей наследия русского методолога.

Но есть и другое обстоятельство, заставившее исследователей сосредоточиться именно на методологии источниковедения, – это дальнейшая судьба концепции: в специфических условиях идеологизации исторической науки в Советский период российской истории источниковедение выделилось из методологии истории сначала в самостоятельную субдисциплину исторической науки, а затем и в научное направление. Именно это обстоятельство и позволяет в настоящее время, в 10-х годах XXI века, поставить вопрос о возможности автономного использования феноменологической концепции источниковедения для репрезентации истории.

Развитие феноменологической концепции источниковедения шло, по преимуществу, по линии усложнения представления об объекте: от исторического источника как «реализованного продукта человеческой психики»⁴⁶ – через систему видов исторических источников – к «эмпирической реальности исторического мира» (понятие

⁴³ *Лаппо-Данилевский А.С.* Методология истории: пособие к лекциям, чит. Студентам С.-Петербур. ун-та. СПб.: Студ. изд. ком. при Ист.-филол. фак., 1910–1913. Вып. 1-2.

⁴⁴ *Лаппо-Данилевский А.С.* Методология истории. СПб.: Лит. Богданова, 1909. Ч. 2: Методы исторического изучения, отд. 2: Методология исторического построения: лекции, чит. Студентам С.-Петербур. ун-та в 1908/09 акад. г. 249 с.

⁴⁵ *Лаппо-Данилевский А.С.* Методология истории: в 2 т. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. Т. 1-2.

⁴⁶ Там же. Т. 2. С. 38.

введено О.М. Медушевой (1922–2007) в работах, опубликованных в 2008 г.)⁴⁷.

Мои размышления по поводу репрезентации истории на основе неоклассической феноменологической концепции источниковедения исходят из двух предположений/утверждений.

Первое: развитие источниковедения сначала как структурной составляющей в системе методологии истории, затем его оформление в научную дисциплину (1950–1970-е гг.) со своим объектом исследования⁴⁸ и, наконец, – в научное направление (рубеж XX–XXI вв.), т.е. особый ракурс рассмотрения исторической реальности⁴⁹, – коррелирует с ведущими направлениями европейской исторической науки XX века. Заметим, что аналогичные процессы – движение от субдисциплины исторической науки к научному направлению – переживает примерно в эти же годы или чуть раньше социальная история, о чем свидетельствует дискуссия в немецкой исторической науке⁵⁰. Этот пример тем более показателен, что как социальная история (в варианте Вернера Конце), так и источниковедение этого периода, при всем их колоссальном концептуальном различии, нацелены на выявление структур и дают свои варианты «структурной истории». Схожие тенденции можно выявить и в трансформациях «Школы “Анналов”».

При попытке соотнести развитие источниковедения с неклассической моделью науки мы обнаружим, что оно конституируется в качестве самостоятельной *субдисциплины исторической науки* со своим *объектом исследования* – системой видов исторических источников и начинает перерастать в *научное направление*, когда система видов исторических источников воспринимается не только как автономный объект исторического исследования, но и как *особый способ репрезентации социокультурных образований*. На этом этапе расхождение описанного Ф.Р. Анкерсмитом «словаря интерпрета-

⁴⁷ Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 358 с.; *Ее же*. Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в системе гуманитарного знания: материалы XX междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. — 2 февр. 2008 г.: в 2 ч. М.: РГГУ, 2008. С. 24-34.

⁴⁸ Определение понятия «дисциплина (субдисциплина) исторической науки» см.: Теория и методология исторической науки... С. 96.

⁴⁹ Аналогично «научное направление» см.: Там же. С. 319-320.

⁵⁰ См., напр.: *Зидер Р.* Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении социального // THESIS: альманах. 1993. Зима. С. 163-178.

ции» и интерпретации как основной процедуры в структуре источниковедческого анализа обусловлено, в первую очередь, различием объекта интерпретации: исторический факт, встраиваемый в нарратив (или нарративная субстанция, если использовать терминологию Анкерсмита) vs эмпирически реальный исторический источник, интерпретируемый с точки зрения принципа «признания чужой одушевленности», но уже с учетом контекста культуры, фиксируемого системой видов исторических источников.

Постнеклассический тип рациональности.

Искусственная коммеморация

Характеризуя переход к постнеклассическому типу рациональности, необходимо отметить два знаковых и существенно взаимосвязанных явления: кризис доверия к историческому метарассказу⁵¹ и проблематизацию нарратива.

Концептуальные основания проблематизации нарратива, т.е. той формы, в которой историки представляют социуму полученное ими историческое знание, обнаруживаются частью в неклассической модели науки (конструирующая роль историка в построении исторического повествования), но частью и в неоклассической модели (анализ языка исторической науки, в частности теория нарративных предложений А. Данто)⁵².

Дабы не отвлекаться от основной мысли данной работы, не буду останавливаться на проблеме нарратива, отмечу только, что в данном случае ориентируюсь на таких признанных теоретиков, как Поль Вен⁵³ и Франклин Анкерсмит⁵⁴. Но не могу не акцентировать один момент – связь проблематизации нарратива и той характеристики исторической памяти, которую дал ей Ю.М. Лотман, подчеркнувший ее *казуальный характер* (это отмечалось в начале работы – при формулировке исследовательской гипотезы).

Несмотря на то, что проблема нарратива в историческом познании едва насчитывает несколько десятилетий (книга П. Вена опубли-

⁵¹ См., напр.: *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. С. 9-10 и след.

⁵² *Данто А.* Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. 289 с.

⁵³ *Вен П.* Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М.: Научный мир, 2003. 393 с.

⁵⁴ *Анкерсмит Ф.* Нарративная логика: Семантический анализ языка историков. М.: Идея-Пресс, 2003. 360 с.

кована в 1971 г., классический труд по этой теме Х. Уайта «Метаистория» – в 1973 г., «Нарративная логика» Ф.Р. Анкерсмита, наиболее глубоко исследовавшего эту проблему, – в 1983 г.), уже в 2007 г. А. Мегилл смог, размышляя над вопросом, «обладает ли нарратив собственной познавательной ценностью», вполне правомерно утверждать: «Ответ “нет”, с его скептическим отношением к красивым иллюзиям нарратива <...> до сих пор для большинства историков это был наиболее убедительный ответ»⁵⁵.

Но как только мы переакцентируем внимание из области поиска «объективной» научной истины (фактически в границах классической модели науки) на исследование субъективности историка (неклассическая модель науки) или же в область «социального конструирования реальности»⁵⁶ (постнеклассическая модель науки), ответ на вопрос о познавательной ценности нарратива становится скорее положительным, чем отрицательным.

И А. Мегилл, проанализировав эту проблему применительно к новой теоретико-познавательной ситуации, приходит к выводу: «На вопрос “имеет ли нарратив собственную познавательную ценность” нужно ответить “Да” [здесь и далее выделено автором – М.Р.]. Конечно, нарратив имеет собственную познавательную ценность в том смысле, что связность нарратива есть связность возможного мира. Независимо от того, имеет или нет образ, проецируемый нарративом, действительное существование в том мире, каковым этот мир является сейчас или будет в будущем, он существует в нарративе и в сознании, которое задумывало этот нарратив»⁵⁷. Утверждая, что «связность нарратива есть связность возможного мира», А. Мегилл фактически демонстрирует присущий нарративной логике способ обеспечения когерентности истории.

Однако, отстаивая научность истории перед лицом опасности, грозящей ей, как считает американский историк, со стороны массового исторического сознания (а именно в этом пафос его книги), Мегилл утверждает: «Но одновременно и, возможно, более решительно [здесь и далее выделено мной – М.Р.], мы должны также ска-

⁵⁵ Мегилл А. Историческая эпистемология... С. 172.

⁵⁶ Понятие, разработанное П. Бергером и Т. Лукманом, в их знаковой книге 1966 года: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.

⁵⁷ Мегилл А. Историческая эпистемология... С. 198.

зать, что *нарратив не имеет собственной познавательной ценности. Он обладает, скорее, соблазняющей властью* – властью, которая может быть слишком легко реализованной, для того чтобы представить нарративное *возможное* [выделено автором – М.Р.] видение как видение действительное»⁵⁸.

Очевидно, что водораздел между двумя ответами на вопрос о познавательной ценности нарратива, во-первых, проходит по границе между классическим и неклассическим типами рациональности и, во-вторых, разделяет социально ориентированное историописание (ответ «Да») и собственно историческую науку (ответ «Нет»). Последнее утверждение нельзя признать оригинальным. Фактически мы здесь солидаризируемся с А. Данто и Ф.Р. Анкерсмитом, транспонируя проблему нарратива в вопрос о разделении исторической науки и социально ориентированного историописания, обеспечивающего формирование социальной памяти исторического типа. Постулируя новую логическую сущность» – «субстанцию нарратива»⁵⁹, Анкерсмит определяет ее следующим образом: «субстанция исторического нарратива есть множество его утверждений, которые вместе осуществляют репрезентацию прошлого, предложенную в рассматриваемом историческом нарративе»⁶⁰. И далее Анкерсмит пишет: «...Данто был прав, требуя *различных познаний для репрезентации и науки* [здесь и далее выделено мной – М.Р.]. Репрезентация предполагает постулирование существования логических моделей, подобных *нарративным субстанциям*, которые в случае чисто научного исследования являются избыточными. Эти логические модели придают языку репрезентации непрозрачность, неизвестную науке: каждое утверждение, которое мы делаем о прошлом, поглощается гравитационным полем рассматриваемой нарративной субстанции и обязано ему своим нарративным значением. В науке мы заинтересованы только в истинности или законности утверждений; в исторической репрезентации истинность утверждений о прошлом более или менее считается само собой разумеющейся <...> Логические модели, требуемые в соответствии с теорией замещения репрезентации, символизируют дистинкцию науки и репрезентации»⁶¹.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Анкерсмит Ф. Нарративная логика... 140-346.

⁶⁰ Анкерсмит Ф.Р. История и тропология... С. 241.

⁶¹ Там же. С. 242-243.

Естественно, что ответ «Нет» на вопрос о познавательной ценности нарратива не затрагивает значимость нарратива как объекта научного исследования. При этом способность нарратива выдавать *возможное* за *действительное* составляет основу механизма формирования исторической памяти в рамках социально ориентированного историописания. Этому выводу не противоречат и размышления А. Мегилла о причинах «живучести» нарратива. Автор, вполне определенно заявив, что современные историки, не чуждые методологической рефлексии, вполне однозначно и солидарно отрицают познавательную ценность нарратива, констатирует «вездесущность нарратива – его сверхъестественную способность возрождаться после обрастаемой слухами смерти...». Поставив вопрос: «Почему же нарратив постоянно возвращается <...>? Почему нарратив “естественен” для людей?», – Мегилл утверждает: «Ответ кажется ясным: нарратив глубоко связан с теми процессами, с помощью которых индивидуумы и их группы придают смысл самим себе и даже определяют себя»⁶².

Любопытно соотнести размышления Анкерсмита и Мегилла с идеями, высказанными О.М. Медушевской, исследователем с совершенно иным *back ground* (причем исследование Медушевской публикуется практически одновременно с книгой Мегилла: работа завершена в 2007 г., опубликована в 2008 г.). Утверждая сосуществование и противоборство на рубеже XX–XXI вв. двух парадигм исторического познания, О.М. Медушевская характеризует одну из них как парадигму «строгой науки, стремящуюся выработать совместно с науками о природе и науками о жизни общие критерии системности, точности и доказательности нового знания», а описывая вторую, утверждает, что эта парадигма, «неотделимая от массового повседневного исторического сознания, опирается на многовековую традицию и в новейшее время идентифицирует себя с философией уникальности и идиографичности исторического знания, <...> видящего организующий момент такого знания лишь в ценностном выборе историка как познающего субъекта». Эту парадигму О.М. Медушевская характеризует как парадигму нарративной логики и констатирует: «В силу своей адекватности повседневному историзму массового сознания парадигма нарративной логики преобладает в мире»⁶³.

⁶² Мегилл А. Историческая эпистемология... С. 187-188.

⁶³ Медушевская О.М. Теория и методология... С. 16.

В период постмодерна и преобладания постнеклассического типа рациональности, намечается тенденция к разрыву исторической науки и социально ориентированного историописания, которое, по определению, может существовать только в нарративной форме. Фактором разрыва, с очевидностью, стал вывод о том, что нарратив принципиально неверифицируем. Но в анализируемой ситуации разрыв научной истории и социально ориентированного историописания, целенаправленного на формирование социальной памяти, мог лишь наметиться, поскольку все-таки основной характеристикой ситуации постмодерна в области исторического знания был кризис нарратива, отчетливо проявившийся, на мой взгляд, в определенной «моде» на микроисторию в конце XX в. Микроистории в ее предельном, «казульном», варианте вполне когерентен коллаж – жанр изобразительного искусства, получивший столь широкое распространение в те же самые времена, в ситуации постмодерна.

Историческая память в этот период опирается на «места памяти», причем принципиальным новшеством в этой области становится *искусственная коммеморация* – целенаправленное конструирование мест памяти. П. Нора характеризует 1990-е гг. как «эру коммеморации» и констатирует: «...выражение “места памяти” – орудие, созданное для того, чтобы критически осветить этот феномен, – было тут же превращено в инструмент коммеморации по преимуществу». Говоря о механизмах коммеморации, П. Нора обращает внимание, что «каждый год и каждый месяц требуют своей порции обязательных или сфабрикованных годовщин»⁶⁴.

Ярким опытом такой коммеморации в российской действительности стало учреждение Дня народного единства – государственного праздника, который в Российской Федерации отмечают с 2005 года. За последнее время мы были свидетелями широкого празднования «обязательных или сфабрикованных годовщин»: 150-летие отмены крепостного права в 2011 г.⁶⁵, 400-летие Дома Романовых в 2013 г., 1150-летие российской государственности в 2012 г. Последняя из

⁶⁴ Нора П. Эра коммеморации // Франция-память... С. 95-96.

⁶⁵ См.: Маловичко С.И. Юбилейные даты отмены крепостного права как практика конструирования социальной памяти // Великая крестьянская реформа 1861 года и ее влияние на развитие России: сб. докладов Всероссийской конференции, посвященной 150-летию отмены крепостного права, 4-5 марта 2011 г. М., 2011. С. 133-138.

перечисленных дат особенно примечательна в связи с многолетней антинорманистской традицией, существовавшей в исторической памяти, вырабатываемой через школьное историческое образование.

П. Хаттон в 1993 году, на излете постмодерна, писал: «Современное историческое мышление отражает ценности современной культуры, которая демонстрирует не столь сильное благоговение перед прошлым, и возлагает большие надежды на новшества будущего. Хотя мы знаем больше о прошлом, чем наши предки, его власть над нами не столь тяжела, а его привлекательностью гораздо легче манипулировать. В настоящее время нам *приходится говорить скорее о полезности прошлого, чем о его влиянии на нас* [выделено мной – М.Р.]...»⁶⁶. Последнее изречение – фактически девиз формирования исторической памяти в периоды постмодерна и особенно постпостмодерна.

***Проблема ренарративизации,
или Нельзя дважды войти в одну и ту же реку***

Замечу сразу, что выделение проблемы ренарративизации в ситуации постпостмодерна в качестве подраздела настоящей работы в некоторой степени нарушает принятую здесь структуру, в основе которой смена типов рациональности / моделей науки. Сейчас мы не можем сказать, что переход от постмодерна к постпостмодерну сопровождается сменой типа рациональности / модели науки. Возможно, что философия науки в ближайшем будущем прояснит для нас этот вопрос. Применительно же к историческому знанию мы можем только льстить себя надеждой, что перенос акцента с этики толерантности на этику ответственности будет сопровождаться ростом влияния *неоклассической модели науки*. Однако проблема ренарративизации, актуализированная с переходом от постмодерна к постпостмодерну, наталкивается на целый ряд сложностей объективного характера в сфере собственно научного знания, что заставляет позиционировать ее преимущественно, если не исключительно, в области социально ориентированного историописания, на долю которого окончательно перекладывается формирование социальной / исторической памяти.

⁶⁶ Хаттон П. История как искусство памяти: пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 24.

Целостность и непротиворечивость не являются имманентными характеристиками исторической памяти, но задача историописания – способствовать их обеспечению. Что же мешает этому?

На мой взгляд, здесь стоит обратиться к проблеме *фрагментации исторического знания*, упомянутой выше в связи с конституированием краеведения как особой области исторического знания, и для этого вернуться к рубежу XIX–XX вв., когда происходит кризис линейной модели политической истории, структура исторического знания начинает усложняться за счет появления новых дисциплин (субдисциплин) исторической науки. Наконец, в 1929 г. начинают издаваться знаменитые «Анналы», журнал, полное название которого в момент создания – «Анналы экономической и социальной истории». Примечательную характеристику дал этому журналу П. Нора, говоря о его значении в контексте разрабатываемой им проблемы исторической памяти: «Враждебность “Анналов” в отношении событийной, политической, военной, дипломатической, биографической истории в принципе не означала приговора национальной истории, но на деле подготавливала его, потому что *национальная история писалась как линейный рассказ о причинно-следственных связях* [выделено мной – М.Р.]»⁶⁷.

На протяжении XX в. структура исторического знания только усложнялась, появлялись новые дисциплины (субдисциплины)⁶⁸, становление неклассической модели науки сопровождалось появлением новых направлений⁶⁹, а в рамках постнеклассической модели формируются полидисциплинарные предметные поля⁷⁰.

В этой новой познавательной ситуации перед так называемым «практикующим» историком, не чуждым рефлексии собственной познавательной деятельности, неизбежно встает вопрос о смысле его исследовательских усилий.

А. Мегилл оптимистично заявляет: «До самых недавних пор [напомню, что книга опубликована в 2007 году – М.Р.] обозреватели и ученые, принадлежащие к традиции западной профессиональной историографии, в целом полагали, что любое отдельное историче-

⁶⁷ Нора П. Предисловие к русскому изданию... С. 9-10.

⁶⁸ Теория и методология исторической науки... С. 96.

⁶⁹ Там же. С. 319-320.

⁷⁰ Там же. С. 409.

ское исследование должно быть ориентировано на историю вообще, т.е. на некую единственную историю...»⁷¹ Такой подход, на мой взгляд, когерентен классической модели науки. В самом деле: отдельное исследование можно рассматривать как составляющую единой «картины» истории (по принципу «паззла»), которая правомочна только при условии ее соответствия «объективной реальности», что как раз характерно для классической модели науки. Отметим попутно, что эта проблема в квалификационных работах – от студенческой курсовой до докторской диссертации – часто проходит «по ведомству» *актуальность темы исследования*. И по-прежнему встречающиеся в этой части Введения, а также при определении научной новизны работы, формулировки типа «смысл работы в восполнении пробелов / заполнении лакун» являются дискурсивными маркерами рецидивов классической модели науки.

Сам же А. Мегилл утверждает: «Я весьма подозрительно отношусь к попытке преодолеть дисциплинарную фрагментацию. В наиболее мягкой форме эти попытки обычно сводятся к желанию продвинуть то или иное *видение исторического синтеза* [здесь и далее выделено мной – М.Р.]. Вера в то, что синтез – это достоинство, а фрагментация недостаток, глубоко укоренилась в культуре академических историков. Каждые несколько лет выдвигаются предложения того или иного нового синтеза. Давайте, однако, быть начеку, *все призывы к синтезу – это попытки навязать интерпретацию*. Вполне законно приводить доводы в пользу какой-то интерпретации *как* [выделено автором – М.Р.] интерпретации. Но это не относится к презентации определенной интерпретации в качестве волшебной нити синтезирования»⁷². Мегилл переосмысливает проблему единства исторического знания как проблему когерентности ее составляющих и эксплицирует различные идеально-типические установки по отношению к полной когерентности истории, которые имеются – чаще всего как неосознанные – у так называемых «практикующих» историков⁷³. Мегилл выделяет четыре таких установки: от утверждения, что «существует единая связная История, которая может быть рассказана (или пересказана) здесь и сейчас», – до пол-

⁷¹ Мегилл А. Историческая эпистемология... С. 270.

⁷² Там же. С. 256-257.

⁷³ Там же. С. 270-302.

ного отрицания когерентности истории. Эти установки вскрывают связь историописания с Историей; при этом под Историей с большой буквы автор понимает некую «единственную историю», на познание которой нацелен познающий субъект исторической науки.

Имеет смысл акцентировать внимание на третьей установке, которая «предполагает, что единственная когерентная История существует, но она никогда не может быть рассказана»⁷⁴. На мой взгляд, все три первые установки имеют в своем основании классический тип рациональности. Но любопытно, что А. Мегилл вскрывает противоречивый характер третьей установки: «Очевидно, что если вы размышляете в терминах нарративизма, то вы обнаружите здесь парадокс, потому, что если большой нарратив не может быть рассказан, то он вообще не обладает *формой* [выделено автором – М.Р.] нарратива. Вместо этого он проявляется в приверженности историков автономному статусу их дисциплины, в обязательстве поддерживать чистоту и когерентность дисциплины в отсутствии⁷⁵ какой-либо единственной Истории, к которой она стремится»⁷⁶.

Приведенные рассуждения можно расценивать как еще одно обоснование разрыва в актуальной социокультурной ситуации научного исторического знания, имеющего фрагментированную структуру, и социально ориентированного историописания, имеющего форму нарратива и призванного дать непротиворечивую («когерентную»), если воспользоваться терминологией А. Мегилла) интерпретацию истории.

Ренарративизация в условиях фрагментации исторического знания и при методологической констатации принципиальной невозможности верификации нарратива не может привести ни к чему иному, как к конкуренции или даже к «войне нарративов». Любопытным проявлением этой «войны» при отсутствии рефлексии разделения исторического знания с точки зрения источниковедения историографии на научное и социально ориентированное, а также понимания механизмов разных моделей науки стала борьба с так называемой «фальсификацией» истории. Наиболее яркий пример здесь создание в 2009 г., в преддверие 65-летия Победы СССР в Ве-

⁷⁴ Там же. С. 271.

⁷⁵ Так в русском переводе.

⁷⁶ Мегилл А. Историческая эпистемология... С. 271.

ликой отечественной войне, *Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России*⁷⁷. Если отнестись к этой институции с позиций актуального исторического знания, – а не рассматривать ее с точки зрения классической рациональности, что было бы странно, – то речь здесь может идти именно о целенаправленном формировании социальной памяти, что вполне соответствует потребностям социума в обретении утраченной в период постмодерна идентичности. На мой взгляд, именно слова в названии Комиссии «в ущерб интересам России» – дискурсивный маркер постнеклассического целеполагания ее создания. В рамках классического дискурса следовало ограничиться словами «противодействие попыткам фальсификации истории». Вероятно, в силу неотрефлексированности этих особенностей целеполагания деятельность Комиссии не имела успеха, и она была ликвидирована уже в феврале 2012 г.⁷⁸

Модель репрезентации разработана Ф.Р. Анкерсмитом с тем, чтобы найти выход из «тупика» исторического нарратива, нащупав проход между двумя логическими моделями – Сциллой «нарративной субстанции» и Харибдой «концепта реальности». Фактически Анкерсмит эксплицирует альтернативную модель преодоления фрагментации научного исторического знания – не исторический синтез, а презентация истории.

Не будем здесь останавливаться на глубоких и интересных размышлениях Анкерсмита о специфике постмодернистской репрезентации истории в таких, ставших уже классикой историографии работах, как «Монтайю, окситанская деревня (1294-1324)» Э. Ле Руа Ладюри (1975), «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в.» К. Гинзбурга (1976), «Возвращение Мартена Герра» Натали Земон Дэвис (1982). Анкерсмит рассматривает эти труды как проявление «именно постмодернизма, поскольку претензии модернизма или структуралистская репрезентация прошлого были признаны внутренне противоречивым предприятием...»⁷⁹. Проводя сравнительный анализ репрезентации в искусстве и в историописании, он задает риторический вопрос: «...не обречены ли мы на идеалистиче-

⁷⁷ Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 549.

⁷⁸ Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 2012 года № 183.

⁷⁹ Анкерсмит Ф.Р. История и тропология... С. 253.

скую интерпретацию историописания, т.к. среди *всех* [выделено автором – *М.Р.*] дисциплин, включая даже искусство, объект историописания менее других обладает своей собственной сущностью и возникает только благодаря исторической репрезентации?»⁸⁰.

Поиск выхода из этой ситуации сложен ввиду имманентной органичности нарративной логики историописания, но возможен – и возможен в рамках неоклассической модели науки.

Неоклассическая модель репрезентации

Невозможно не согласиться с выше приведенным утверждением, что «объект историописания менее других обладает своей собственной сущностью и возникает только благодаря исторической репрезентации», однако источниковедение как научная дисциплина имеет объект, который «обладает своей собственной сущностью» (если воспроизвести формулировку Анкерсмита). Это – *эмпирическая реальность исторического мира* (оставим за рамками рассмотрения феноменологический аспект ее конструирования, равно как и конструирования исторического источника в сознании исследователя), структурированная как система видов исторических источников.

О.М. Медушевская, последовательно противопоставляя источниковедческую концепцию истории как строгой науки нарративной логике историописания, подчеркивает: «Новая альтернативная парадигма истории как науки эмпирической, имеющей собственный реальный макрообъект, имеет свои истоки там, где проходит осмысление этого реального макрообъекта»⁸¹.

Сопоставляя источниковедческий подход со словарем репрезентации, мы должны сначала констатировать, что на этом этапе своего развития источниковедение представляет собой не только научную дисциплину (субдисциплину исторической науки), но и научное направление, что и позволяет, на мой взгляд, говорить об особом источниковедческом способе исторической репрезентации. О.М. Медушевская также указывает на возможность репрезентации истории на основе источниковедческого подхода: «Становится очевидной возможность точного знания: ведь история выступает как наука, имеющая свой реализованный и, следовательно, эмпирически данный продукт; возникает перспектива для логического анализа и

⁸⁰ Там же. С. 248.

⁸¹ Медушевская О.М. Теория и методология... С. 237-238

последующего “исторического построения” – *обоснованной картины* [выделено мной – М.Р.] изучаемой исторической эпохи»⁸².

Конечно, способы источниковедческой репрезентации истории⁸³ нуждаются в дальнейшей разработке, но к настоящему времени этот подход апробирован, например, в компаративном источниковедении – методе сравнительно-исторического исследования, базирующемся на теоретическом осмыслении положения, что основная классификационная единица источниковедения – вид исторических источников – репрезентирует объединенные единством целеполагания определенные формы социальной активности человека, совокупность которых составляет историю общества⁸⁴. Так, переход от Средних веков к Новому времени фиксируется возникновением источников личного происхождения (мемуары, дневники, частная переписка), общественного происхождения (периодическая печать, публицистика), а также статистики как нового элемента в системе управления и пр. И все эти виды исторических источников системно связаны, и общий фактор (скрытая причина) их системной связи может быть эксплицирован⁸⁵. Изменение системы видов исторических источников позволяет репрезентировать новую социокультурную ситуацию, а выявление нюансов в механизме порождения одних и тех же видов исторических источников / форм человеческой деятельности (например, периодическая печать возникает в Европе из потребности в коммерческой информации или выражения интересов различных социальных групп, а в России – под эгидой государства для выражения его интересов) дает возможность зафиксировать различие европейской и российской социокультурных ситуаций.

Особые перспективы здесь может открыть источниковедение изобразительных/визуальных и особенно вещественных источников. Но надо признать, что эти области освоения культурного наследия в интересах исторической науки (и гуманитаристики в целом) актуализированы сравнительно недавно – в ходе визуального и «вещного» поворотов в историческом познании.

⁸² Там же. С. 238.

⁸³ Я даже не уверена в целесообразности/корректности применения здесь этого понятия. В рамках данной работы оно использовано исключительно для сопоставления подходов постнеклассической и неоклассической науки.

⁸⁴ Теория и методология исторической науки... С. 222

⁸⁵ См., например: Источниковедение... С. 113-117.

«ЧЕЛОВЕК ВСПОМИНАЮЩИЙ» В ЛИТЕРАТУРЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК РЕГУЛЯТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Ни одно понятие не наращивало и не расширяло сферу своего присутствия в современных дискурсивных практиках с такой интенсивностью, как «память», представленная различными модификациями (историческая, автобиографическая, культурная, коллективная, социальная, институциональная и т.д.). Освобожденная от идеологических ограничителей, историческая память явно переросла функцию одного из источников исторической достоверности, превратившись не только в доминирующую форму репрезентации прошлого, но и в движущую силу самоидентификации. Нередко воспринимаемая как чуть ли не эвфемизм самоидентификации, историческая память существенно расширила символическое пространство актуализированного пассеизма. Восторженно приветствуя эпоху промышленной революции в XIX в., Р. Эмерсон назвал себя искателем, у которого нет за спиной прошлого. Эта интенция, казалось бы, должна была приобрести невиданную ранее силу в нынешнюю эпоху ускоренной модернизации, но статус прошлого, которое устремленный в будущее мыслитель решительно оставлял за спиной, сегодня столь существенно изменился, что запрос на историю многократно усилился.

Повышение индивидуального и социального спроса на историческую память и, следовательно, на переоткрытие прошлого имплицитно во многом связано с наследием катастрофического XX века, с невиданным ранее размахом приобщавшего людей к травматическому опыту в его разнообразных модификациях (войны, сталинские депортации, геноциды), придавая насилию чуть ли не нормативно-обязательный характер. Каждое выжившее сообщество, каждого выжившего человека, на долю которых выпало пройти через этот трагический опыт, не отпускает индивидуальная и социальная память о пережитом – не только свидетелей и очевидцев, которые постепенно уходят из жизни, но и их потомков, опосредованно унаследовавших посттравматический синдром и готовность к воспроизводству семейных воспоминаний как социально значимых. Сама возможность вспоминать то, что не было твоим собственным переживанием, когда

ты мог бы выступить в качестве субъекта воспоминания или даже жертвы катастрофических обстоятельств, свидетельствует о нашей глубинной приобщенности к исторической памяти. Ее формат и интенсивность корректируются требованиями и фреймами до тебя сформировавшейся коллективной памяти – она обеспечивает устойчивую востребованность прошлого, социализируя личностное переживание неразрывной связи с ним.

Очевидную остроту приобрел вопрос о взаимодействии исторической памяти и исторического знания: первая может демонстрировать признаки этноцентристской ангажированности и избирательности ради «правильного» припоминания прошлого, второе же тяготеет к полноте воссоздания отечественной истории под знаком объективности и беспристрастности. В анналах разных национальных историй нередко встречаются прецеденты такой коммеморации, когда уровень и качество понимания исторического события настолько самодостаточны, что не нуждаются в уточнении его происхождения. Х. Вельцер обратил внимание на то что «для формирования идентичностей исторические события порой извлекаются из нафталина, а то и просто выдумываются: в культурной памяти сербов, например, битва на Косовом поле играет столь же важную роль, как для швейцарцев – клятва на поляне Рюгли; и при этом как то, так и другое воспоминание базируются на исторических основаниях, созданных задним числом. Иногда никто просто не помнит, что тот или иной исторический или общественный миф на протяжении многих веков был абсолютно irrelevantен для коллективной идентичности»¹.

Концептуализированная историческая память не всегда озабочена соблюдением фактологической точности, выходя из-под контроля высшей инстанции – исторического знания. Четкое прояснение дистинкции между памятью и историей, памятью и традицией предложил А. Мегилл, напоминая о том, что «история нуждается в памяти, но не должна идти за памятью», и тем более не должна быть приравненной к памяти. Если практикующий историк «больше имеет дело с обрывками сведений, разрывами и различиями, чем с непрерывностью и подобием», то память продуцирует «успокаивающую иллюзию общности и непрерывности между прошлым и настоящим»,

¹ Вельцер Х. История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3. (URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html>).

т.е. не может рассматриваться как источник исторического познания. А. Мегилл здесь полемизирует с позицией Ж. Ле Гоффа, который в книге «История и память» предложил относиться к памяти как «сырью» истории: «ментальная, устная или письменная, она была живительным источником, из которого черпают историки».

Известен постулат, согласно которому «память является *conditio sine qua non* истории», но это «не означает, что память есть основа истории». Если же историк все-таки «поступит на службу памяти, то сознательно или подсознательно заинтересованные сами в себе и самодостаточные воспоминания индивидуумов и их групп» могут стать «окончательным арбитром исторической истины». Столь же принципиально важно отличать память и традицию: «Память субъективна и персональна; она глубоко опытна. Традиция, конечно, чтобы функционировать, должна войти в опыт людей, но она больше, чем субъективна и персональна. Она над-субъективна; она над-персональна». Подобный подход вовсе не означает недооценки значительной роли памяти как катализатора национальной идентичности. Исследователь, выделяя четыре вида отношений к исторической памяти, не отказывает ей в ранге свидетельства объективности исторического события и того, «каким образом пережили прошлое те люди, которые позже сделали запись своих воспоминаний» и к каким «способам запоминания»² прибегали эти люди.

На первый взгляд смысловая нагрузка популярного ныне словосочетания «конструирование идентичности» сводится только к технологическим коннотациям (тот или иной выбор ментально-строительных компонентов, совокупность которых образует искомую идентичность), но важно не упускать из виду многоаспектность реального процесса самоидентификации, предполагающего и множественную вероятность ее различных стратегий, и недостаточность монопольной этнокультурной детерминации, заикленной на привилегированной роли культурных архетипов, и открытость вызовам современности. Особо следует подчеркнуть, что идентичность, будучи «центральным ментальным процессом в человеке», является «посредником между естественными (биологическими) способностями обучаться, запоминать, адаптироваться к окружающей среде... и

² Мегилл А. История и память: за и против // *Философия и общество*. Выпуск № 2 (39). 2005. С. 165, 163, 144, 159, 151.

функционированием человека как личности»³. Конструирование позитивной идентичности имплицитно ориентировано на самоопределение человека и нации, на кристаллизацию символического «образа себя», который подразумевает компромисс между интенсивностью переживания истории и вызовами современности, между пассеизмом и новыми жизненными реалиями, между, как писал П. Рикёр, «постоянством и изменением, которые соответствуют идентичности в смысле "самости"»⁴. Базовой структурной единицей этого духовно-ментального проектирования была и остается историческая память, но воспринимаемая в роли чуть ли не абсолютного императива она может обнаружить и свой конфликтогенный потенциал, о чем свидетельствует постсоветский северокавказский опыт: отношение к соседу «на волне памяти» могло приобретать характер этнически мотивированной идиосинкразии, а воздвигаемые «мемориальные барьеры» могли серьезно осложнить, чтобы не сказать – навсегда испортить, процесс межнационального взаимопонимания.

Постсоветская мобилизация «непреходящего прошлого» нашла свое выражение в национальных культурах в форме хронологической гонки, призванной удлинить национальную историю: чем дальше она уйдет в толщу веков, тем эффективнее идентичность. Одержимость этногенезом как базовой основой легитимации коренного народа, поиск древней прародины и прародителей (Маргиана, Парфия, уходящие вглубь веков, саки, массагеты и т.д.), борьба за приоритетное приобщение к престижному «арийскому наследию» («Год арийской цивилизации» в Таджикистане), столкновение пантюркистской версии и идеи славяно-арийской цивилизации в связи с открытием Аркаима (обнаруженное в Челябинской области городище эпохи средней бронзы рубежа III–II тыс. до н. э.), реанимация расового подхода как наиболее весомого аргумента в пользу автохтонного происхождения народа – всё это свидетельствует о явной и долговременной активизации нарратива о предках в его научной и литературно-художественной версиях⁵.

³ Гринфельд Л. Национализм и сознание. 2013. (URL: gefter.ru/archve/9349).

⁴ Рикёр П. Повествовательная идентичность // Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика: Московские лекции и интервью. М., 1995 (URL: www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Rik/pov_ident.php).

⁵ См.: Шнирельман В.А. Символическое прошлое. Борьба за предков в Центральной Азии // Неприкосновенный запас. 2009. № 4; *Он же*. Войны памя-

Установка «помнить то, что должно помнить» традиционно связывается с доктринальными притязаниями власти, прагматически превращающей «идентичность» и «историческую память» в политические термины и объект манипулирования, но и коллективная память может властно предписывать ту или иную «проработку прошлого», болезненно реагируя на отклонение от нее, каким может стать любая интеллектуальная рефлексия о прошлом, на субъективно-личностное отношение, заявляющее о себе с позиции национальной самокритики. Коллективная идентичность, отмечает И. Калинин, может быть «как основой для производства автономной, творческой и ответственной субъектности, так и формой, блокирующей возможность ее появления»⁶. Блокировка подобного рода наилучшим образом способствует угасанию поиска новой оптики осмысления прошлого и понижению интереса к национальной истории, если воспринимать ее и как пространство полемического взаимодействия альтернативных смыслов, борьбы репродуктивных и креативных начал – к числу последних относится и принцип национальной самокритики, по-своему предвосхищающей лучшее будущее.

Учитывая бинарную оппозицию «культурный традиционализм – национальная самокритика» и подвижную диалектику «памяти – забвения», не стоит, однако, приписывать коллективной памяти склонность к некоей преднамеренной цензуре. «Каждая культура, – писал Ю.М. Лотман, – определяет свою парадигму того, что следует помнить (т.е. хранить), а что подлежит забвению. Последнее вычеркивается из памяти коллектива и “как бы перестает существовать”. Но сменяется время, система культурных кодов, и меняется парадигма памяти-забвения. То, что объявлялось истинно-существующим, может оказаться “как бы не существующим” и подлежащим забвению, а несуществовавшее – сделаться существующим и значимым. Античные статуи находили и в доренессансную эпоху, но их выбрасывали и уничтожали, а не хранили»⁷.

ти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003; *Он же*. Быть аланами. М.: НЛО, 2006.

⁶ Калинин И. О похищении культуры, единстве истории и расширении границ // *Неприкосновенный запас*. 2015. № 1 (URL: <http://www.nlobooks.ru/>).

⁷ Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. – Таллинн, 1992. С. 201.

Идентичность и историческая память, связанные отношениями комплементарности – ключевые категории гуманитарного знания, детерминирующие эволюцию национального самосознания и, следовательно, становление литературы как его выразителя и внутреннего двигателя. В ряду смысловых интенций понятия *идентичность* выделим осознанные право и шанс на *самоотождествление* – с самим собой, с той или иной социальной группой по гражданскому, этническому, религиозному, профессиональному и другим признакам, с определенной культурной традицией, в лоне которой расположилась и историческая память.

Для каждой национальной литературы вопрос об идентичности или «как мыслить идентичность» был и остается судьбоносным и неизменно злободневным: за ним и сегодня распознается субстанциональность национального бытия, защитная функция традиционализма, воспринимаемого как залог выживания, инстинкт самосохранения народа и, соответственно, тревога в предчувствии возможного катастрофического слома идентичности, отрыва или вынужденного отказа от базовых ценностей. Сосредоточенность на идентичности, предполагая тот или иной ответ на вопросы «кто я?», «кто мы?», требует внимания к сфере ценностных ориентаций, семантических и символических форм, к системе этических норм, поведенческих и психологических кодов, предопределяющих самоощущение и самопознание человека или этнического сообщества.

Существует фундаментальная диалектика сущностно взаимосвязанных констант, присутствующая в каждой культуре как ее конститутивный принцип: безусловная онтология национальной проблематики, соотнесенная с исторически сформировавшейся шкалой ценностей, и, с другой стороны, ее прагматика, требующая на каждом этапе национального самоопределения творческой переоценки ценностей, обновления социокультурного пространства, инфильтрации новых идей, расширения поля межкультурной коммуникации.

Можно понять Ф. Барта, когда он пишет о свойственном этническому сознанию «самоприписывании», имея ввиду завышенные самооценки, форсированную эталонность автостереотипов, эмоционально артикулированную самохарактеристику. Но трудно согласиться с настойчивой мистификацией этнокультурного и национального контекста, которая как бы заведомо отказывает ему в какой-либо реальности, ссылаясь при этом на научный бестселлер Б. Андерсона

«Воображаемые сообщества», где «национальное» редуцируется до симулякра, конструкта и даже фантома. Кстати, задолго до Б. Андерсона, а именно в 1826 г., Т. Купер заметил, что «моральная сущность, грамматически именуемая нацией, наделяется атрибутами, которые на самом деле существуют только в воображении тех, кто преобразует слово в вещь»⁸. Конструктивистский подход, правомерность которого достаточно убедительно обоснована в современных исследованиях, не свободен, однако, от воспроизводства этнонегативистских интенций, фактически упраздняющих субстанциональное ядро национальной идентичности и тем самым не учитывающих, например, типологию сознания, подчас трагического, малочисленных народов, их повышенный болевой порог и озабоченность сбережением своей культурной суверенности и исторической субъектности. Угроза этноисчезновения, возможная обреченность, по словам Э. Саида, на трансцендентальную бездомность, обостренное чувство историко-культурной уязвимости – это реальная духовная тревога, а не плод воображения, не конструкт, не чрезмерность культурного фундаментализма, который нередко объявляется первопричиной возникающих конфликтов. Этнос как коллективная личность может перейти роковую границу – как перешли убыхи в романе Б. Шинкубы «Последний из ушедших», который был воспринят как развернутая с художественно-поучительной силой метафора катастрофического отрыва от корней, драмы национального сознания на переломе исторических эпох, насильственного отлучения от родной земли и, как следствие, рокового разъединения тела и души национального организма.

Проблема самоидентификации, столь популярная в постсоветский период, приобрела исключительно диахроническое измерение, существенно изменившее тональность разговора о национальной литературе. Волна исторической памяти и этноностальгии накрыла национальные культуры и, как следствие, инициировала обострение бинарной оппозиции «свой-чужой» и «самовозбуждающейся» идентичности, которая заговорила на языке самодовлеющего различия.

Устойчивой матрицей остается представление об идентичности как преимущественно проекции автаркической самобытности и культурных архетипов, о которых говорят несравненно больше, чем об исторически подвижных константах. Формируется ли она в коор-

⁸ *Джозеф Д. Язык и национальная идентичность // Логос. 2005. № 4. С. 24.*

динамах ментальной и этнической детерминированности? Безусловно, но и в точках пересечения разнорациональных традиций. При всей органической соотнесенности с примордиальными характеристиками, с этнокультурной парадигмой, идентичность насквозь исторична и темпоральна, что не позволяет сводить ее конструирование исключительно к перманентному воспроизведению механизма этнокультурной самозащиты. Современная трактовка идентичности акцентирует не только значимость этнокультурного контекста, но и такие константы неэтнического происхождения, как открытость, динамичность, процессуальность, культурная взаимопроницаемость. «Ментальные идентичности человека, – пишет Э. Хобсбаум, – прибегая к наглядной метафоре, – это не ботинки, которые мы можем носить зараз только одну пару. Мы многомерные личности»⁹. Идея вариативности идентичности находит подтверждение также и в теории культурной гибридности или гибридной идентичности индоамериканского культуролога Хоми Бабы, которая стала одной из самых влиятельных концепций в постколониальных исследованиях.

Концептуально идентичность связана и с тем, что называют культурным пограничьем, когда ментально-культурная самоидентификация обнаруживает небезразличие к присутствию и неоднозначности другого. Недооценка того факта, что для национальной культуры нет ничего заведомо ненужного или заведомо чуждого чревато сужением культурного горизонта, признаки которого нетрудно заметить в наших национальных культурах. Отдаляясь от перекрестка и перекличек разнорациональных традиций (иногда это принимает программный характер), локальное утрачивает драгоценный шанс взглянуть на себя со стороны или глазами других культур и прочувствовать содержательное отличие богатства «особенного» от духовной нищеты «отдельного». Иначе говоря, вопрос об идентичности – это и вопрос о мостах, соединяющих национально-культурные миры, о расширяющемся горизонте миропонимания, вопрос не только выживания в эпоху глобализации, но и изживания комплекса культурного аутсайдерства. Речь идет о феномене интегральной идентичности, которая формируется в неизолированном культурном пространстве, тяготея к диалогу идентичностей, хотя сейчас всё чаще встреча-

⁹ Хобсбаум Э. Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность // Логос. 2005. № 4. С. 50.

ешься с описанием конфронтационной модели «войны идентичностей». Напомним и о надэтнической интегрирующей идентичности – российской, например, гражданской или европейской. Если вдуматься, то потребность в самоактуализации не может не стимулировать вхождение в расширяющийся контекст межкультурного взаимодействия, хотя бы потому, что специфика, чтобы остаться таковой, требует коммуникативного пространства, поиска своего места в циркуляции социокультурных, художественных, политических идей.

Каждая национальная литература есть ничто иное, как воплощенный в слове поиск идентичности, формирующей индивидуальность или, как любил говорить Ф.М. Достоевский, личность нации и одновременно генератор этого поиска. «Человек вспоминающий» стал излюбленным персонажем в наших национальных литературах, а историческая память – оплотом и гаванью ностальгического традиционализма, развернувшегося под «диктовку» исторической памяти. Дискурс идентичности обнаружил черты сходства с описанной П. Рикёром ситуацией, когда доминирование памяти над историей выдвигает на первый план свидетеля или носителя памяти в качестве авторитетного действующего лица. Во многих художественных повествованиях удельный вес «неизжитого прошлого» как составляющей процесса самоидентификации занял столь заметное место, что в пору говорить об особом темпоральном режиме функционирования исторической памяти, которая, не укладываясь в конкретные временные рамки, позиционирует себя как «вечный двигатель» межпоколенческой коммуникации и национального самосознания.

Дело, конечно, не столько в сохранении и передаче фактов, достоверность которых подтверждена историческим знанием, сколько в стратегическом дальном действии исторической памяти, суть которого состоит в удержании и продлении ключевых и духоподъемных символов и образов славного прошлого – они переходят, уподобляясь кочевникам, из одного исторического контекста в другой, от поколения к поколению, сохраняя эмпатическую силу.

Современный писатель не может полагаться на автобиографическую память, не являясь свидетелем или участником уходящего в далекое прошлое события, по той причине, что живет в иной эпохе, где «нет уже свидетелей событий, / И не с кем плакать, не с кем вспоминать» (А. Ахматова). Отсутствие индивидуального воспоминания компенсируется приобщением к символично-эмоциональному

воспоминанию как общему месту и следу, которые сохранились в коллективной памяти. Выделяя «частоту воспроизведения» как обязательное условие устойчивости и востребованности «первоначальной версии памяти о событии», Л.П. Репина уточняет при этом такой ключевой момент, как модальность события, вовлеченного и адаптированного в пространстве исторической памяти: «Содержанием памяти являются не события прошлого, а их конвенциональные и упрощенные образы: они конвенциональны, потому что образ должен иметь смысл для всей группы, а упрощены, потому что для того, чтобы иметь общий смысл и возможность передачи, сложность образа должна быть сведена к возможному минимуму»¹⁰.

Какой бы новейшей информацией не владел автор, как бы не был значителен эвристический потенциал вновь открытых фактов, он не может преодолеть или демонтировать заданную коллективным бессознательным эпистемологическую рамку. Не принимая устоявшуюся интерпретацию события, полемизируя с ней, он от противоположного подтверждает присутствие некоего канона воспоминаний и в то же время благодаря разделяющей исторической дистанции находится в творчески плодотворной ситуации «внеаходимости», которую М. Бахтин охарактеризовал как «великое дело для понимания»¹¹.

Для литературы не существует прошлого как набора непреложных истин, она чувствительна к внутренней гетерогенности национальной истории, вобравшей в себя не только «тенденции», но и разрывы, разломы, альтернативы, противоречия, идейные и творческие контроверзы – всё, что так или иначе воздействует на судьбы человеческие. Многие исследователи учитывают этот аспект, который несколько не препятствует восприятию литературного текста как «носителя значительно более аутентичной и научно значимой формы исторической памяти – не только в сравнении со школьным учебником истории, но и по сравнению с традиционными историческими исследованиями»¹².

¹⁰ Репина Л.П. Память и историописание // История и память. Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. – М.: Кругъ, 2006. С. 37, 35.

¹¹ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 334.

¹² Соболев Д. Литературный текст и проблема исторической памяти // Международный журнал исследований культуры. 2013. № 4 (URL: culturalresearch.ru/ru/component/content/article/36-current/93-intellcult).

Подобное отношение представляется мотивированным при всем понимании того, что в определяющей характеристике творческого процесса во главу угла ставится не стремление к объективизированному воспроизведению факта или события, а концептуально значимая идея преобразования. В монографии Н. Гея «Пушкин-прозаик» она выделена как ключевая в пушкинской поэтике, если иметь в виду ее семантико-функциональную роль во взаимодействии фактографического, исторического, онтологического планов. «История Пугачева» и «Капитанская дочка» созданы Пушкиным на одном историческом материале, но они как будто вышли из-под пера разных авторов. Если «История...» основана на прочной документированной базе, связана с изучением источников XVIII века и пушкинскими поездками по пугачевским местам осенью 1833 года, то в повести доминирующей оказалась обновленная и преобразующая логика внутритекстовых связей. Вл. Одоевский в свое время обратил внимание на то, что Пугачев в «Капитанской дочке» нападает настолько быстро, что читатель не успевает побояться за жителей Белогорской крепости. Но всё дело в том, что Пушкин сопрягал временные планы, тяготея к принципу «быстрого повествования». Столь любимый им Вальтер Скотт в эпически неспешной манере подготовил бы читателя к грядущему испытанию, но, отмечает исследователь, время сюжетное и время историческое даны Пушкиным не так как у английского классика: они втиснуты одно в другое и потому преобразуют друг друга. Скачкообразное движение времени в его повести ничего общего не имеет с эпическим разворотом автора «Айвенго» и «Эдинбургской темницы». Именно поэтому 12-я глава «Капитанской дочки», описывающая бунт крестьян в имении Гринева, не вошла в канонический текст: «замедленная повествовательная структура не встраивалась в компактную динамичную композицию»¹³.

Какой бы ни была художественная реконструкция смысловых интенций и событийной фактуры прошлого, она непременно несет в себе преобразующий импульс творческой трансформации. Обратимся к лучшему, на наш взгляд, произведению Р. Гамзатова – поэме «В горах мое сердце». Стоит предварительно напомнить, что значили для поэта образы отца Гамзата Цадасы и имама Шамиля: именно они олицетворяли творческое и героическое начала народного бытия, с их

¹³ Гей Н.К. Пушкин-прозаик. Жизнь – творчество – произведение. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 359, 360.

именами в народе связывали представления о достоинстве и чести горца. О заветах отца и о письме-завещании Шамиля («Мои горцы! Любите свои голые дикие скалы...») он всегда писал так, как пишут о не подлежащих ревизии духовных ориентирах.

В 1950 г., за шесть лет до создания поэмы, появилась печально известная работа М. Багирова «К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля», где имаму приписана роль «орудия в руках султанской Турции и английских колонизаторов». Вслед за ней в 1951 г. из-под пера молодого поэта выходит развернутое стихотворение «Имам», которое однозначно можно квалифицировать как «ложный донос», закамуфлированный под стихотворную форму. В полном соответствии с официальной установкой каждая из шестидесяти четырех строк прочитывалась как обвинительный вердикт, тональность которого задана первой же строфой: «Англичане усердно чалму на него намотали, / И старательно турки окрасили бороду хной». Признанный лидер национально-освободительного движения превратился в «предателя», а его дело – в «двадцатипятилетие обмана». Выпад против Шамиля, позднее осознанный поэтом как непростительное искажение исторической памяти, остался в его биографии как глубокая личностная драма, существенно повлиявшая на дальнейшее творчество. Через пять лет увидела свет поэма «В горах мое сердце», не имеющая по силе исповедальности и раскаяния аналогов не только в творчестве Гамзатова, но и во всей северокавказской литературе.

«Поспешная песня моя», «непростительно я виноват», «опрометчивое творение», «саблю предка... я оружием изменника грубо назвал», «мною обманутый, он никогда не простит» – обвал самообвинений достаточно внушителен, но подобный самосуд, при всей его эмоциональной откровенности, показался поэту недостаточным, и он решил предоставить слово самому имаму в сцене его неожиданного ночного появления: «Газават мой, быть может, сегодня не нужен, но когда-то он горы твои защищал». Пространство сновидения как бы утрачивает параметры условности и иррациональности, становясь другой реальностью, в которой стало возможным синхроническое соположение лирического героя и Шамиля как соплеменников и современников – наперекор столетней временной дистанции. Перед нами не столько «манифестация бессознательного» (К. Юнг), сколько осознанная, художественно отрефлексированная память о героическом прошлом, инициированная неподдельным раскаянием как фор-

мой примирения со своей совестью: «Что сказать мне в ответ? Перед ним, пред тобою, / Мой народ, непростительно я виноват».

Монолог-инвектива Шамяля, разворачиваясь как «текст в тексте», усиливает ценностную значимость и авторитетность его голоса. Поэтому обличительный пафос имама принимается почтительно и никак не оспаривается, например, его беспощадная оценка поспешной неосмотрительности молодого поэта: «Девятнадцать пылающих ран нанесли мне, / Ты нанес мне двадцатую, молокосос».

Поэт прибегает к неоднозначному структурно-семантическому решению, основу которого составила так называемая «ложная память» – известный в литературе феномен припоминания (анамнесис, по Платону), невозможный в реальном измерении, но обладающий потенциалом магической символизации и художественной выразительности. В качестве классического примера ложного припоминания К. Исупов приводит реакцию Мышкина из романа «Идиот» Достоевского на впервые увиденный им портрет Настасьи Филипповны: «Я давеча ваш портрет увидел, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня».

В рамках аналогичной «поэтики вторичного переживания былого», о которой пишет К. Исупов, фактически реализуется и гамзатовский замысел. Реинкарнация Шамяля, образ которого одновременно мифологизируется и персонифицируется, воспоминание о прошлом как непреходящей актуальности, мотив встречи с Шамялем «в зоне общей пра-памяти...»¹⁴, отменяющий границу между историей и современностью, возникают в обрамлении реальных примет, приближающих развязку коллизии: «Ночью шаг его тяжкий разносится гулко / Только свет погашу – он маячит в окне /... До утра он с укором стоит надо мною». Символическое прощание с ошибками молодости оказалось убедительным благодаря непротиворечивому сопряжению покаяния («ты, родная земля, не гляди на поэта, словно мать, огорченная сыном своим») и исповедального признания («я люблю твою гордость и тягу к свободе, мой народ, что когда-то родил Шамяля»). Незадолго до смерти поэт вновь затронул эту сакральную тему, прошедшую через горнило политических спекуляций и соблазнов литературного приспособленчества: «Я не избегал крайностей, присущих времени, и как следствие писал о Шамяле отрицательно. Меня

¹⁴ *Исупов К.Г.* Судьбы классического наследия и философско-эстетическая культура Серебряного века. – СПб.: РХГА. 2010. С. 514, 508, 509.

в народе не проклинали, но осуждали – старики, читатели. Я тогда впервые задумался: как много народа хранит о нем память. Ведь в ранней молодости я думал, что Шамиль – это просто легенда, но позже понял, что он очень много значит для Дагестана.

При конструировании национальной идентичности в постсоветской литературе активно используются сопряженные с исторической памятью понятия «травма», «страдание», «насилие». Если говорить о темпоральных типах памяти, инициирующих обращение к этим знаковым понятиям, то можно выделить память «короткую» (относительно недавняя эпоха раскулачивания и спецпереселений в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза»; конец 1920-х – начало 1930-х) и память «длинную» (долгое эхо кавказской войны XIX в. в отечественной и диаспорной литературе).

Роман Г. Яхиной, удостоенный Национальной литературной премии «Большая книга» (2015), разворачивается как сага об экстраординарной судьбе татарской женщины по имени Зулейха, воспитанной в определенной национальной традиции, предписывающей почитание и соблюдение обычаев, этических нравственных постулатов и т.п. Всё, что довелось пережить Зулейхе из татарской деревни Юлбаш после раскулачивания ее мужа Муртазы и насильственного изгнания, после многомесячного спецпереселения в бесконечно далекую Сибирь, можно охарактеризовать как историю перманентной травмы. Частная жизнь, уединенное существование на обочине истории властно вовлекаются в контекст классовых потрясений, а сама Зулейха становится жертвой столкновения двух миров – патриархально-традиционалистского и «дивного нового мира».

Выпавшие на ее долю трагедия бездомья, мытарства и страдания стали одновременно и испытанием на прочность персонифицированной национальной идентичности, вдруг вырванной из родной почвы и заброшенной в неведомую и чуждую среду обитания, в ситуацию вероятностного исчезновения в таежной глубинке.

Перед нами не архивный или антикварный дискурс, а образно-эмоциональная авторская версия травматического опыта, через который прошла тотально осиротевшая после утраты мужа, детей и родной земли Зулейха – молчаливый свидетель убийства своего раскулаченного, но непокоренного мужа Муртазы и уничтожения домашнего очага. В рамках избранной мемориальной оптики авторское слово не столько рядится в одежды достоверной историографии, сколько со-

средоточено на воображаемом прошлом – без оглядки на событийную точность и презумпцию доподлинности исторического факта. Судя по повествовательным, риторическим, стилевым приемам конструирования художественной картины мира, автор апеллирует не к императивности канона коллективной памяти с ее устоявшимися стереотипами исторического припоминания, а к субъективности и аффективности памяти индивидуальной, приватной, позиционирующей себя как одну из возможных версий прошлого.

Нарративная стратегия выстраивается под знаком субъективированной исторической памяти, ориентированной на хронотоп локального, который раскалывается под колесами истории, на символическую репрезентацию кочующей идентичности, изгнанной из родного дома в неизвестность. Имагинативная составляющая исторической памяти продуцирует отношение к прошлому не как к верифицируемому историческому опыту, а как к символической репрезентации. Если различать прошлое-само-по-себе (непосредственно прошлое) и прошлое-в-тексте (операциональное прошлое), то возникает вопрос о соотношении двух реальностей – исторической и текстуальной. «Вопрос “исторической реальности” прошлого, – считает М. Шильман, – блокируется эффектом его “текстуальной реальности”. Более того, “определенным и существенным” прошлое становится в нарративе и именно в нем оно предстает в качестве “объективного”»¹⁵. Во вступительной статье к книге Ф. Анкерсмита «История и тропология: взлет и падение метафоры» М. Кукарцева ссылается на новую философию истории, которая исходит из того, что «нарративы интерпретируют прошлое как наличную данность, не проблематизируя ее...», и потому «...реальность прошлого эффективно создается только текстом»¹⁶.

Возвращаясь к нарративу Г. Яхиной, можно сказать не только о художественной актуализации и интериоризации национальной идентичности, переходящей в формат потаенного личного переживания, но и о том опыте реконструкции истории XX века с точки зрения приговоренного к молчанию человека, о насущной необходимости которого писал в свое время В. Беньямин.

¹⁵ Шильман М. Онтологическое многообразие прошлого // Чернівецького університету. Вип. 350-351. Філософія. – Чернівці: «Рута», 2007 (URL: <http://abuss.narod.ru/texthtml/ontologpast.htm>).

¹⁶ Кукарцева М.А. Ф. Анкерсмит и «новая» философия истории // Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М.: «Прогресс-Традиция», 2003. С. 47-48.

По большому счету лейтмотивом романа становится такое отношение к идентичности, когда она выступает как аналог непрерывности существования народа и межпоколенческой преемственности или, если хотите, как страховка от распыления национального духа. Кроме того, пережитая Зулейхой травма воспринимается как форма артикуляции национальной идентичности. Но пространственно-географический фактор, воспроизведенный в романе с картографической точностью, фатально и навсегда отделил родную деревню Юлбаш от лагерного поселка Семрук на берегу Ангары, ослабляя не просто чувство принадлежности к определенной традиции, но и ценностный смысл национальной самоидентификации.

Психологические нюансы, ментальные тонкости, отсылающие к национальной характерности, дают знать о себе и на берегах Ангары, но требования адаптации к новому режиму времени во главу угла ставят науку выживания как высшую цель. Ретроспективная национальная идентичность, отстаивающая традиционные ценности и память о предках, уступила место воле к жизни переселенца, обреченного на бессрочную ссылку. Открылась бездна между былыми домашними параметрами существования «человека национального» и инстинктом выживания любой ценой, традиционные ценностные установки не выдерживают столкновения с новой реальностью, понимание которой в координатах национально-культурной идентичности становится невозможным.

В сибирских главах романа память фактически рутинизируется и предстает больше хранилищем изредка припоминаемых былых этико-поведенческих установок и назидательной патриархальности, чем смыслообразующим компонентом текста, стимулом новых значений или формой репрезентации национального характера. Налицо, казалось бы, катастрофический кризис идентичности, но власть обычая как внутренней опоры все-таки не обрекается на полное угасание: периодически, как бы ни было тяжело, ментальная память «настигает» Зулейху, возвращая мысленно к истокам – будь это появление призрака Упырихи (так Зулейха именovala нелюбимую свекровь) или услышанные в детстве сказки и легенды, которые Зулейха неоднократно пересказывала своему рожденному в неволе сыну Юзуфу.

Важнейшим компонентом эстетически и этически отрефлексированной поэтики «горячего» прошлого является диалектическая игра имплицитно взаимосвязанных «памяти» и «забвения», форми-

рующая семантическое пространство романа. В тяжелейших условиях выживания память о безвозвратно утраченном домашнем очаге может принимать гипертрофированную форму, но не менее значимой силой предстает и забвение.

Сопряжение дискурсов памяти и забвения продуцирует напряженную амбивалентность положения Зулейхи, символическое двоемирие, под знаком которого полемически взаимодействуют друг друга воля к идентичности и воля к выживанию. В горниле сибирских переживаний идентификационная связь с «малой родиной» не могла не ослабеть под давлением вынужденного забвения, но на смену ему приходит «вторая память», выражением и олицетворением которой стало рождение Юзуфа. С появлением на свет сына Муртазы и Зулейхи как бы пробуждается «спящая» идентичность, реанимируется и самоактуализируется соотнесенность идентичности и индивидуальности, ментального и личностного начал. Происходит переоткрытие своей идентичности, которая перестает быть законспирированной, размытой и даже фантомной, обнаруживая черты жизнестойкости и востребованности. Примирение с новой действительностью при всей ее иррациональности не исключает сбережение идентичности вне исконной среды ее обитания. Не случайно в общении Зулейхи с сыном усиливаются ностальгическая интонация, сюжеты ретроспективной мифологии «малой родины», потребность в национальной аутентичности: «Зулейха пересказывала сыну все слышанные в детстве от родителей сказки и легенды: про длиннопалых лохматых шурале, до смерти щекочущих запоздалых лесных путников; про лохматую водяную су-анасы, что добрую сотню лет не может расчесать свои космы золотым гребнем; про оборотня юху, который днем превращается в прекрасную девушку и соблазняет юношей, а по ночам выпивает из них жизненные соки; про огнедышащих драконов аждаха, что прячутся на дне колодца и пожирают пришедших за водой женщин; про глупых и жадных дэвов, похитителей невест...».

Юзуф особенно полюбил предание-притчу о волшебной птице Семруг: «Жила однажды в мире птица. Не простая – волшебная. Персы и узбеки называли ее Симуруг, казахи – Самурык, татары – Семруг.

– Ее звали, как наш поселок?

Он внимательно следит за тем, чтобы ни одна деталь не выпала из любимой истории, и Зулейхе приходится пересказывать ее так, как выучила в детстве от отца, слово в слово».

Щедрое обилие ментально-языковых идиом, ритуальных и этикетных формул в качестве этнокультурных маркеров призвано «сигнализировать» о национальном колорите и неослабевающей ментальности, отсылая к определенной национальной традиции (аждаха – дракон, иясе – домовая, кызылык – конская колбаса, тур – почетный угол в избе, чыбылдык – занавеска, шурале – леший, тэнке – монета, кульмэк – рубаха, бичура – домовая).

Автор пытается удержать двойную смысловую нагрузку – ментальность и приспособляемость, преемственность традиционных ценностей и размывание культурно-генетического кода – с помощью этнически маркированного идиолекта. Но идиолект скорее выполняет функцию орнаменталистской номинативности, чем приближает читателя к пониманию идентификационных тонкостей умонастроения и мирочувствия Зулейхи и ее братьев по несчастью. Присутствие идентификационных маркеров отличается автономностью и свидетельствует больше об авторской осведомленности, чем об их художественной целесообразности и функциональности. Нередко в самом выборе и наборе индикаторов ментальности чувствуются элементы наивного этнографизма. Идентичность опознается по маркерам, но в полной мере не проявляет себя как начало субстанциональное, определяющее ценностно-семантические сдвиги в жизни человека.

Но, с другой стороны, трудно согласиться с М. Хабутдиновой, которая считает, что Зулейха «тяготится татарской идентичностью». Более того, рецензент вообще оспаривает укорененность Зулейхи, как и самого автора, в национальной традиции. Налет гиперморализма и ценностный максимализм дают знать о себе в рассуждениях, например, о том, что «Яхина эксплуатирует в названии своего романа патриотический потенциал имени Зулейха ...этот шаг выглядит кощунственным в отношении татарской исторической памяти». Далее следует ссылка на классиков Кул Гали («Сказание о Йусуфе»), и Г. Исхаки («Зулейха Г. Исхаки обрела бессмертие в татарской литературе, как хранительница духовности татарской нации»).

Реконструкция национальной истории воспринимается рецензентом как чуть ли не синоним ее фактологической полноты, но ведь возможен и такой нарратив, который позиционирует себя как форма удержания определенных смыслов: формат памяти не обязательно должен быть архивным. Будучи на страже коллективной идентичности и национальной семиосферы, М. Хабутдинова находит серьезные

отклонения от правильного понимания бытовых констант: «Книга убивает незнанием автором тонкостей татарского быта. “Зулейха бежит в зимний хлев, подтапливает печь и там”. Что имеет в виду автор? В самые морозы крестьяне заводили животных в дом, в сарае никаких печей не водилось». Или «ловит» автора на такого рода неосведомленности: «Если семью Муртазы раскулачивают, то должно было быть собрание»¹⁷. Это «должно быть» звучит особенно трогательно, если представить себе на мгновение право гражданина на собрание, которое Зулейха отстаивает в полемике с «красноордынцами» – так она называла тех, кто занимался конфискацией сберегаемого в семьях зерна. Но главное в другом – рецензент отказывает автору в избирательности мировосприятия, в возможности десакрализации и разрушения стереотипов, в таком прочтении национальной истории, когда она предстает не столько гомогенной, сколько гетерогенной. Кроме того, не стоит недооценивать принципиальную важность для самочувствия и развития национальной культуры неотъемлемого присутствия национальной самокритики, дефицит которой сегодня более чем очевиден. В рамках этноцентристской аргументации рецензента сама мысль о подобной самокритике незамедлительно была бы названа такой же «кощунственной в отношении татарской исторической памяти», как и вышеупомянутая эксплуатация «патриотического потенциала имени Зулейха».

Но вернемся к роману... Автор хорошо чувствует и воссоздает колорит таежного ландшафта, природно-географические реалии, достигая несомненного эффекта правдоподобия (выделим динамичное и живописное описание сплава бревен по Ангаре или диковинных тонкостей искусства таежной охоты, которым овладела Зулейха). В целом предметно-вещный антураж органично вписывается в фабульную целесообразность, но подчас автора подводит склонность к излишне демонстративной обстоятельности в духе физиологического очерка. Изошренная наблюдательность, эстетизация мельчайших аксессуаров бытовой повседневности, заикленность на говорящих деталях оказались настолько самодостаточными, что утратили внутритекстовую функциональную соотнесенность с душевным состоянием человека.

¹⁷ Хабутдинова М. Если заглянуть в глаза Зулейхе... 2015. 27 декабря (URL: <http://kalebtatar.ru/article/2813>).

В досибирской части повествования романное или сопрягающее мышление обнадеживающе заявило о себе, что позволило Л. Улицкой в предисловии к роману сказать о «мощном произведении, прославляющим любовь и нежность в аду». Но если говорить о художественной результативности как определяющем итоге, то обращает на себя внимание ослабление, по мере продвижения к финалу, упомянутой мощности, подтверждаемое приметами разлада структурно-семантической организации текста. Автор наращивает словесный массив, не лишенный познавательной ценности, но обрекающий сюжетную динамику на ретардацию – будь это описание родов Зулейхи, перегруженное физиологическими подробностями, или застолие-запой коменданта Игнатова и местного начальника Кузнеца, неприглядным деталям которого уделяется утрированное внимание.

Но вот, что важно выделить как несомненное достоинство романа. Сознание Зулейхи при всем желании не назовешь рефлектирующим, но автор и ему не отказывает в сущностной значимости. Отношение к человеку как «естественному индивидууму» (Д. Локк), подспудная мысль о неповторимости каждой человеческой судьбы и каждого личностного мира независимо от их социального и вероисповедального статуса внутренне мотивируют уровень психологизации обитателей семрукского анклава и артикуляции характерологического своеобразия. Сошлемся на демонически представленную свекровь Упыриху, призрак которой дважды внезапно являлся Зулейхе, чтобы в очередной раз устыдить невестку. Необычайно располагает к себе читателя идеалист, гуманист и прекрасный знаток врачебного дела Лейбе при всей его очевидной и дружно отмеченной критикой аналогии с булгаковским профессором из «Собачьего сердца». Художник Иконников, отвечавший за агитацию в поселке, интеллигентная семейная пара Изабелла и Константин Арнольдович – все они сохранили, не поддаваясь соблазну мизантропии, человеческое достоинство вопреки абсурдности происходящего и вполне конкретным карательным мерам. Даже комендант Игнатов – человек системы, беззаветно преданный революции, исполнитель чудовищных приказов, запретивший себе сомневаться в их правомерности – обнаруживает совесть, сочувствие (достаточно вспомнить его мужественный поступок, когда пришлось спасти чуть не утонувшую в Ангаре Зулейху), милосердие, мгновенную реакцию на подлость. Когда его начальник Кузнец предложил состряпать заговор в поселке,

чтобы затем раскрыть его и расстрелять организаторов («поселенцам – урок: во избежание! Другим комендатурам – пример. А нам с тобой ...дырочки сверлить в петлицах»), то в ответ услышал: «Можешь доложить, что в трудовом поселке Семрук политическая обстановка спокойная. Комендант оказался человеком морально устойчивым и на провокацию не поддался». Эту порядочность своего надзирателя чутко уловил Константин Арнольдович: «Он по-своему нравственен. У него есть свои, пусть и не осознаваемые им в полной мере, принципы, а также несомненная тяга к справедливости». Честность, однако, дорого обошлась Игнатову: он разошелся с госсистемой, которой неистово служил, выпал из нее, как говорится, по идейным соображениям («...документ взял, пробежал глазами: освободить от занимаемой должности ...лишить звания как дискредитировавшего себя за время работы в органах и недостойного в связи с этим звания старшего лейтенанта ...уволить в запас по служебному несоответствию...»).

Ломка судеб человеческих в ситуации обреченности и повышенной эмоциональной ранимости не могла не усилить внимание к экзистенциальным интенциям, к глубинной грамматике не только человеческого страдания, но и удивительной адаптации человеческого духа к невыносимым условиям, к этике солидарности (Изабелла учит французскому языку Юзуфа во время прогулок по берегу Ангары). При всем различии индивидуальных и идентификационных признаков персонажей автор придерживается принципа их эстетической равноценности, находящей свое оправдание в признании метафизической правоты человека, насильно оторванного от родных мест, лишенного всех прав и обреченного на невозвращение домой.

Эпически развернутый портрет спецконтингента с человеческим лицом – безусловная творческая удача Г. Яхиной. Инкорпорация бесчеловечного и безжалостного в сферу человеческого несомненно разрушительна, но в то же время ощутимо дает знать о себе победа жизни над абсурдом, несломленность человека в том смысле, о котором писал А.П. Чехов: честь отнять нельзя, а потерять можно. Открытый еще стойками «внутренний человек» имплицитно присутствует в каждом персонаже, не исключая и таких, как Зулейха. Общая задача выживания и общий травматический опыт объединили очень разных людей – субъектов различных культур. Извечная проблема глубинной непреодолимости этих различий могла бы обостриться вплоть до вполне возможной войны идентичностей, но этого не произошло.

Истины ради следует признать некоторую статичность образа Зулейхи: автор оставляет ее душевный склад нарочито неусложненным, неизменным, в ранге не тронутой переменами *tabula rasa* – как будто трагедия раскулачивания и последующая сибирская одиссея никак на него не повлияли. Семантический сдвиг в ее мироощущении однажды все-таки был обозначен: «За всю свою жизнь она не произнесла столько раз “я”, как за месяцы в тюрьме. Скромность украшает — не пристало татарской женщине якать без повода. Да и татарский язык устроен так, что можно всю жизнь прожить и ни разу не сказать “я”». Но в целом подобные признаки внутреннего роста остались невостребованными.

«Человек течет, – размышлял Л. Толстой в дневниковой записи от 3 февраля 1898 г., – и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр, и наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Какого? Ты осудил, а он уже другой». Человек – даже на уровне природно-естественного индивидуума – открыт, текуч, непредсказуем и, как поучительно свидетельствует толстовский «Хаджи-Мурат», художественно защищен от недооценки или игнорирования его «всех возможностей», его экзистенции и права меняться. Отказывая Зулейхе в характерологической текучести, Яхина косвенно дезавуирует не только самодвижение характера, но и саму боль травматического опыта. Непроявленность субъектности и самовыражения оставляет также ощущение десубъективации образа, «остановленного» характера, отлученного от процессуальности и, следовательно, от импульса преображения, неизбежно затрагивающего человека, вовлеченного в лабиринт тяжелейших испытаний. Даже если персонаж мимикрирует под обстоятельства, будучи не в силах их изменить, то и тогда «он уже другой» – такова подвижная диалектика любого состоявшегося художественного образа, ориентированного на полноту бытия человеческого.

На протяжении всего повествования лагерный поселок Семрук оставался тем метафизическим кругом, из которого не было выхода, как не было у его жителей и горизонта ожидания, и вдруг эту наглухо заблокированную локальность размыкает сила предвосхищения иного будущего. Связующим звеном между настоящим и будущим становятся Юзуф и его мечта об учебе в Ленинграде. В финале он нарушает непреодолимую границу, покидая навсегда предписанное местожительство по адресу: «Красноярский край. Северо-Енисейский район.

Трудовой поселок Семрук на Ангаре». Он вынужден оставить мать, которая думает о его благе и делает всё возможное, чтобы помочь ему:

«– Отпусти моего сына, Иван. Уехать ему нужно.

– Куда?

– Учиться хочет. В городе. Не жизнь ему здесь, с нами.

Игнатов сжимает за спиной пальцы в кулак.

– Без паспорта? А если и с ним – все одно отметка будет в десятой графе. Кто ж его примет, кулацкого сына?

Она опускает голову ниже, словно хочет разглядеть что-то внизу, под ногами, и от этого становится еще меньше.

– Отпусти, Иван. Я знаю, ты можешь. Никогда тебя ни о чем не просила».

В замкнутый мир Семрука врывается ощущение длящейся жизни, отменяющее лагерные границы и привычный ход жизни. Ностальгия по будущему, пассионарная устремленность к нему символизируют не только преодоление «диктатуры» безвыходных обстоятельств, но и творческое продление жизни, мысль о неотвратимости перемен вопреки любым попыткам их остановить.

Оптимистический эпилог стал выразительным примером проективной идентичности, преодолевающей страх перед будущим, реализованной возможности выбора, решимости оставить *такое* прошлое за спиной, личной ответственности за свою жизнь.

Но всё это осталось бы всего лишь благим пожеланием, если бы не решительная поддержка Игнатова, который спасает юношу, как бы компенсируя свою невыездную жизнь благородным поступком: «Игнатов открывает сейф, достает из пачки метрик одну – Юзуф Валиев, 1930 года рождения. Бросает в холодную черную дыру печного створа, чиркает спичкой – бумага занимается быстро, маленьким и жарким огоньком. Секунду подумав, бросает туда же и старую папку «Дело». Пока листы медленно вздымают тлеющие углы и, потрескивая, исчезают в оранжевом пламени, он берет чистый метричный бланк, обмакивает перо в чернила и выводит: Иосиф Игнатов, 1930 года рождения. Мать: Зулейха Валиева, крестьянка. Отец: Иван Игнатов, красноармеец. Ставит печать, убирает метрику в карман».

Если драма Зулейхи стала возможной на крутом вираже истории, ретроспективно воссозданной в романе Яхиной, то персонажи в повести А. Ганиевой «Салам тебе, Далгат!» всецело принадлежат современности. Тем не менее совершенно разные по манере письма и

жанровой природе произведения объединяет лейтмотивный сюжет возможной утраты национальной аутентичности. Обилие колоритных подробностей национального быта и бытия, точно воссозданные этнокультурная эмпирика, поведенческие стереотипы, психологические нюансы можно тоже отнести к числу элементов сходства несходного.

Ганиева в сосредоточена на душевном состоянии дезориентированного ностальгирующего современника, который адаптируется к новейшим условиям, но болезненно переживает кризис идентичности и постепенную аннигиляцию исторической памяти. Первую публикацию повести в журнале «Октябрь» (№ 6, 2010) она предварила небольшим предисловием, выражая надежду на то, что повесть «в родной республике сыграет роль одного из катализаторов развития актуальной литературы». Текст так и воспринимается – как долгожданное постгамзатовское слово или, по мнению Ганиевой-критика, как «новая идентичность», «новый реализм», «новая чувственность», «новая искренность» (из ее статьи о прозе Р. Сенчина в третьем номере журнала «Вопросы литературы» за 2010 г.).

Автор увидел «противоречивую реальность сегодняшнего Дагестана», в которой сосуществовали непересекающиеся миры: накопленная инерция литературных штампов, семантический застой, «окаменевшие» в своей несомненности историко-культурные символы и – современный, напряженно живущий Дагестан в его человеческом и экзистенциальном измерении или, как точно выразилась Е. Погорелая, «бурлящее национальное целое». Автор, продолжает критик, уводит «в самую сердцевину естественной жизни сегодняшнего Кавказа, лишённого мифологического ореола и точно так же топчущегося на распутье, как и вся остальная страна». Если же попытаться найти аналогию, не беспокоя классические образцы «кавказского текста» в русской литературе, то следует вспомнить «жутковатую предперестроечную повесть А. Приставкина “Ночевала тучка золотая”»¹⁸.

Ироническая тональность повествования позволила Ганиевой ненавязчиво, но эффективно и художественно убедительно опровергнуть традиционалистскую модель с ее хрестоматийным образом Дагестана, утонувшим в этнографическом символизме и ментальных самоповторах. Застойная атмосфера, сделавшая очевидной востребованность «новой искренности», пародийно, но точно передана в описа-

¹⁸ Погорелая Е. В долине Дагестана. О книге Алисы Ганиевой «Салам тебе, Далгат!» // Вопросы литературы. 2011. № 2. С. 212, 211.

нии презентации книги поэтессы Гюль-Бике: «Поздравляю Вас с выходом пятнадцатой книги... Ваша поэзия глубока, как Каспийское море и высока, как наши Кавказские горы... Расул Гамзатов, когда читал стихи Гюль-бике, говорил: “Вот поистине народная поэзия”... Она прямо, как душистый цветок на склоне Тарки-тау”».

Чувство отстраненности от подобного рода квазиоткровений оказалось художественно сильной позицией – отстраненности или осознанного разрыва с инерционным засильем «душистых цветков на склоне Тарки-тау», «царственных острых гор», из-за которых «вставало солнце», надрывных признаний «известной народной поэтессы» типа «когда меня обступало лицемерие, я бежала в родной аул и прижималась щекой к его вековым камням. Сила духа предков передавалась мне через эти камни». Дело, разумеется, не столько в теме Дагестана как таковой и не в буйстве этнографических красок, сколько в качестве прозы, в собственно литературных достоинствах, в манере понимать вещи. Фраза, слог, гибкость и легкость интонационного строя, ёмкий диалог, стимулирующий важные смысловые сдвиги, крепкая композиция, занимательно раскрученные сюжетные линии, чувство меры и стиля позволяют говорить о состоявшемся тексте.

Выделим сюжетную пружину – однодневную одиссею Далгата. Странствующий герой вовлекается в разные ситуации, но неизменно остается посторонним, неуловимо отделенным от происходящего – нигде не задерживается, ни к чему не привязывается, продолжая поиск неуловимого и почти мистического дяди Халилбека. Мы так и не узнаем, для чего он ищет и ищет ли именно дядю, предстоит ли ему какой-то иной выбор: автор предпочитает многозначительную открытость финала. Погружаясь в хронику пространственных перемещений Далгата, наблюдая тематические перепады – от салафитской идеи чистого ислама до псевдокультурной показухи местных литературных «звезд», ждешь прояснения некоей общей идеи, способной придать повествованию свойство прочного сплава. И ружье все-таки выстрелило. Далгат открыл и стал читать случайно полученную книгу местного автора Яраги, который «...в Москве только смог издать, мне родственник помог. Почему говорю, этой Сивли Ярахмедовой пятый сборник выходит. Мне говорят, ама-а-ан, она же в министерстве сидит! А ты не сидишь». Протягивая Далгату книгу, Яраги пояснил: «Это не стихи у меня, здесь просто размышления о родине». Далгат погрузился в ностальгическое повествование о Дагестане ис-

торическом и героическом: «Я видел цитадель Нарын-калу, какой она была во времена иранцев, и арабов, и турков-сельджуков, и снова персов, и, наконец, – русских... Я видел Табасаран... тропу Хаджи-Мурада, ведущую к пещере... я был в Гунибе, последнем оплоте Шамиля». Или: «Где ты, мой Дагестан? Кто погубил тебя? Где законы твои, где тухумы, где твои ханства, уцмийства, шамхальства, вольные общества, военные демократии...? Где дивные платья и головные уборы твоих людей? Где языки твои, где песни твои, где вековые стихи твои? Все попрано, все попрано...».

Разрозненные линии стягиваются к смысловому центру или болевой точке, отсылающей вдумчивого читателя к мысли об утрате чего-то очень важного, о саморазрушительной духовной сумятице, об обвале устоявшихся ценностей, о том накопившемся неблагополучии современного Дагестана, которое подспудно пропитывает повествование и угадывается во всех эпизодах. Голос актуальной литературы, небезразличной к точкам разрыва ментальной преемственности, к национально-идентификационной диагностике, к мотиву ускользающей идентичности и потускневшей исторической памяти, прозвучал: «Где ты, мой Дагестан?». На дворе действительно другое время: эстетизированная архаика, назидательный этнизм и апология этнокультурной гармонии гамзатовского «Моего Дагестана», ставшие чуть ли не эталонными маркерами «дыма отечества», изнутри «взорваны» ускоренно меняющейся реальностью, тревожной вопросительностью новой литературы. Этнокультурная самозащита как гарантия исторического выживания утрачивает запас прочности, но что приходит на смену? Экзистенциально значимый срез жизни обозначился и до откровений Яраги – в далгатовских диалогах с Мурадом и Меседу. Первый убежденно говорил об отсутствующей перспективе: «Ты один с мамой живешь, никому не нужен, никто тебя на работу не устроит нормальную из-за кяфирских порядков. Надо бороться». Меседу, увлеченную переездом в Питер, Далгат пытается остановить трезвым напоминанием: «Оставайся здесь, Меседу, зачем тебе этот Питер? Там думают, что мы все – бандиты и дикари». И что он слышит в ответ? «Какая разница? Все равно никто никого не любит».

Или столь же выразительный сигнал противоречивой реальности – слоган на заборе: «Сестра, побойся Аллаха – одень хиджаб». А на фоне взбудораженной действительности по-советски дежурная самореклама местного самоуправления: «Лучший город России» (это

о Махачкале, мэр которой позднее будет схвачен московским спецназом и вывезен в боевом вертолете, который среди бела дня поглотивудски приземлился на центральной площади города).

Никто из собеседников Далгата не произносит подобных фраз («кто погубил тебя»), каждый говорит о своем и в своей личной манере, но шаг за шагом проясняются складывающийся общий смысл и нравственная правота неудобного вопроса «Где ты, мой Дагестан?», символизирующего ослабевающую идентичность. Без него повесть была бы неполной, не обрела бы внутреннюю цельность и смысловой стержень. За кадром осталось бы, может быть, самое важное – то, из-за чего она написана. Автор мог бы уклониться от того, что философы называют «истинностным отношением», сохраняя иллюзию беспристрастности, выдерживая полуироническую дистанцию и оставаясь наедине только с этикеточной маркировкой общественных настроений – это ваххабизм, это кланово-финансовый беспредел, это ментальные предрассудки, это не знающая, чем занять себя молодежь, это родовые амбиции, это свадебные условности и т.п. Но не уклонился и сделал по-настоящему писательский выбор без оглядки на возможное недопонимание или даже недовольство земляков, которое, конечно же, дало о себе знать.

Проблематика идентичности в литературах Северного Кавказа фактически оказалась заложником большого исторического нарратива в его героической ипостаси, пассионарно утрированного и соотнесенного с травматическим опытом, самым ярким олицетворением которого была и остается история Кавказской войны (1817–1864), связанная прежде всего с именем и деятельностью имама Шамиля, который четверть века – до сдачи в плен 25 августа (по старому стилю) 1859 г. – возглавлял теократическое государство (имам – политический и религиозный глава мусульманской общины, духовный предводитель; от арабского глагола «амма» – стоять впереди, быть ведущим).

Неослабевающий интерес историков и писателей к этой проблематике сформировался еще в дореволюционный период, хотя до сих пор российское кавказоведение не описано в полной мере как значительное научное и культурное явление. Серьезные труды выходили не только после отшумевших событий (например, увидевший свет в 1871–1888 гг. шеститомник Н.Ф. Дубровина «История войны и владычества русских на Кавказе» или пятитомник В.А. Потто «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях», 1885–1891), но и непосредственно во время многолетней войны

(«Кавказ и его горские жители в нынешнем положении» Н.Я. Данилевского, 1846; «Истребление аварских ханов в 1834 г.» А.А. Неве-ровского, 1848; «Об аварской экспедиции на Кавказе» Я.И. Костенец-кого, 1851; «Плен у Шамиля» Е.А. Вердеревского, 1856 и др.).

Лучшие люди России и Кавказа ломали голову над поисками языка взаимопонимания и «уменьшения несогласия» (Л. Толстой). На фоне столь популярных в XIX в. заголовков типа «История войны и владычества...», «Подвиги русских воинов в странах кавказских...», «Покоренный Кавказ» бросаются в глаза иные: «Мнение о способах, коими России удобнее можно привить к себе Кавказских жителей» Н. Мордвинова, «О сближении горцев с русскими на Кавказе» С. Иванова, «Предложения о средствах приведения черкесов в гражданское состояние кроткими мерами, с возможным избежанием кровопролития» С. Хан-Гирея, видного имперского чиновника, командира Кавказско-горского полузскадрона его Императорского Величества (1832), флигель-адъютанта российского императора (1837). Эффективность управления на Кавказе, по мнению авторов, напрямую связана с необходимостью большего внимания к местным особенностям и интенсивным развитием культурных и экономических связей. Удачно представленные «выгоды цивилизованной жизни», писал С. Иванов, послужат «смягчению характера горцев» и позитивному восприятию «русских не как грозных победителей, жаждущих войны, ищущих кровопролития, но как нацию, заботящуюся об улучшении их состояния. Эти сближения могут послужить началом образования края и значительно облегчить военные операции, и даже иногда устранить печальную их необходимость»¹⁹. Подобный рациональный подход неоднократно предлагался в XIX – начале XX в., в частности, наместником Кавказского края (1905–1915) И. Воронцовым-Дашковым: «Я не допускаю возможности управления Кавказом из центра, на основании общих формул, без напряженного внимания к нуждам и потребностям местного населения, разнообразного по вероисповеданиям, по племенному составу и по политическому прошлому... Эти местные особенности нельзя игнорировать, насильно подгоняя их под общеимперские рамки...»²⁰.

¹⁹ Иванов С. О сближении горцев с русскими на Кавказе // Военный сборник. Т. 7. 1859. С. 542.

²⁰ Всеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова // Родина. 2000. № 1–2. С. 150.

Поистине трудно переоценить в этом смысле опыт русской литературной классики, которая поверх барьеров отчуждения, многократно усиленного войной, отстаивала идею заинтересованной сопричастности к другому национальному и культурному миру. Именно под кавказским небом родился первый экзистенциальный вопрос русской литературы, сформулированный М. Лермонтовым: «Жалкий человек. / Чего он хочет!.. небо ясно, / Под небом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует он – зачем?». Сакраментальные «Что делать?» и «Кто виноват?» появились позднее. Ключевой русско-кавказский вопрос «Зачем?» через двенадцать лет почти буквально воспроизведен в толстовском «Набеге»: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных?». Позднее в «Хаджи-Мурате» Л. Толстой напишет о войне с беспощадной достоверностью, но художественная мысль в своем развитии опрокидывает привычную схему «образа врага», поднимаясь над злободневностью вражды и ненависти ради переживания родства человеческих душ. Именно Кавказская война, на которой гибли Авдеевы и Хаджи-Мураты, Назаровы и Элдары, мощно стимулировала толстовское открытие «высшего нравственного закона» о ненасилии как осознанном выборе людей и народов.

Когда осенью 1861 г. Александр II посетил Западный Кавказ и встретился с абадзехами, то он сказал не только о «неизбежности покорения», но и о том, что «ваш народ сохранится в наибольшей целостности и будет иметь возможность жить и развиваться себе на пользу и благоденствие». Неожиданно один из участников встречи поднялся и с нескрываемым волнением произнес: «Но разве это возможно! Бросьте горсть соли в кадку воды... она растворится». Глагол «растворится» отсылал к самой большой тревоге, усиленной войной и чувством возможной утраты этнокультурного лица или того, сегодня называют идентичностью. «Кавказский текст» Толстого побуждал всерьез задуматься о реальной возможности сбережения народа, не уподобляя его «горсти соли». Его принципы «уменьшения несогласия» и «движения общей жизни» одновременно идеальны и прагматичны – это не «декларация о намерениях», а требование практической этики, ядром которой стал нравственный им-

ператив ненасилия. Вообще уроки русской литературы, пережившей духовный исход к Кавказу («быть может, за стеной Кавказа / Укроюсь от твоих пашей...»), стали ориентиром для литератур Северного Кавказа, устойчиво внимательных к теме Кавказской войны.

В советские годы свидетельством толерантного отношения к движению Шамиля стали издание в 1941 году «Хроники Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля» с предисловием академика И. Крачковского и выход в Махачкале одновременно двух книг под одним названием: на аварском языке поэма «Шамиль» Г. Цадасы и на русском – роман П. Павленко «Шамиль». В год Победы (1945) русский поэт Д. Кедрин пишет стихотворение «Снег поземкою частой...» и посвящает его К. Кулиеву, и в нем сам факт дружеской и исторически ориентированной аттестации балкарского поэта выдает свободу обращения к героическому образу: «Я – гусар Николая, / Ты – мюрид Шамиля». Движение поэтической мысли безошибочно выдержано в рамках идеологемы «дружбы народов»: от эпохи, когда «тлела ярость былая, / Нас враждой разделя», до обретения долгожданного взаимопонимания: «Мы за лирику выпьем / И за дружбу, кунак!». Стихотворение написано в феврале 1945 года – до того, как, вернувшись с фронта, Кулиев добровольно поехал в Киргизию за своим народом – балкарцами и превратился в спецпереселенца. Кедрин, скорее всего, не знал об уже состоявшейся в 1944 году депортации балкарцев, однако именно в этом контексте ссылка на Шамиля приобретала дополнительный оттенок исторически мотивированной поддержки друга в тяжелой ситуации.

Ничто, казалось бы, не предвещало резкой смены оценок.

Спустя четыре года после стихотворения Д. Кедрина Сталинской премии был удостоен труд Г. Гусейнова «Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане XIX века». «Азербайджанское крестьянство, – писал он, – воодушевлялось также и движением Шамиля. Не случайно, что царские чиновники в своих рапортах и докладах неоднократно об этом упоминали». Далее автор ссылается на донесение полковника корпуса жандармов В. Викторова из Тифлиса графу А. Бенкендорфу, в котором Шамиль охарактеризован как «неусыпный и умный возмутитель горских племен»²¹.

²¹ Гусейнов Г.Н. Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане XIX века. – Баку, 1949. С. 61, 62.

Пройдет еще один год и книга Г. Гусейнова попадет под уничтожающую критику главы республики М. Багирова. Выход в 1950 г. установочной работы М. Багирова «К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля», отмена премии Г. Гусейнову и его последующее самоубийство, издание в Тбилиси сборника «Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов» (1953) открыли принципиально иную главу в истории восприятия кавказской войны. Радикальная переоценка роли и значения шамилевского сопротивления была связана и с изменением идеологического климата в стране. Начало «холодной войны», провозглашенное в Фултонской речи У. Черчилля (1946), предопределило неизбежное усиление концепции «внешнего врага». Критику движения Шамиля М. Багиров построил на базе политических обвинений в адрес «английских лордов и капиталистов», действовавших против России в союзе с турецкими исламистами. Шамилю в намеренно упрощенной багировской трактовке была отведена роль всего лишь «орудия в руках султанской Турции и английских колонизаторов». Зловещая и вездесущая «рука Лондона» добралась не только до Шамиля: её тлетворное влияние испытали и советские ученые. Версия о Шамиле как «народном герое», пишет М. Багиров, свидетельствует о том, что «наши историки фактически идут на поводу у буржуазных, прежде всего английских ученых». Он цитирует письмо престарелого, больного Шамиля русскому императору с выражением готовности «произнести всенародно» присягу «на вечное верноподданство» и гневно резюмирует: «Какой народный герой мог бы обратиться к злейшему врагу народов – царю с таким письмом?»²².

Но за фасадом ортодоксального запрета на правду о Шамиле нетрудно было разглядеть не столько тлеющий, сколько разгорающийся огонек интереса к имаму. В 1970-е годы я, будучи аспирантом Института мировой литературы и нередко собеседником Р. Гамзатова, наблюдал за мучительными попытками поэта и в те годы статусного государственного деятеля реабилитировать имя Шамиля. Даже простое упоминание имама в «новомировской» публикации лирико-философского произведения «Мой Дагестан» потребовало и усилий А.Т. Твардовского, и хождений Гамзатова в ЦК КПСС. Помню, как мы отмечали в ЦДЛ возвращение Расула из очередного высокого

²² Багиров М.Д. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля. – М.: Госполитиздат, 1950. С. 25, 24.

кабинета с благой вестью: разрешено было не только упомянуть имя имама, но и включить в текст связанные с ним предания и легенды.

В период перестройки самым выразительным опознавательным знаком реальной переоценки ценностей стало возвращение легендарной фигуры в общественный контекст и научный оборот. Символизируя восстановленную преемственность времен и поколений, легитимизация имама превратилась в ресурс национальной идентичности, реабилитация которой приобрела в национальных культурах Северного Кавказа характер борьбы за «правильную» национальную историю.

Разнообразие исследовательских и публицистических подходов к истории и причинам Кавказской войны можно редуцировать до двух диаметрально противоположных позиций, которые сложились еще в XIX в. С одной стороны – ностальгический неоконсерватизм, верный романтической традиции восприятия кавказской войны во имя традиционалистски понятого идеала «свободного человека», и настойчивые попытки отстоять вневременную ценность религиозного ригоризма (или мюридизма в шамилевскую эпоху) и самопожертвования. С другой – не менее популярная критическая рефлексия отказывающаяся национально-освободительному движению в идейном обосновании и позитивной целеустремленности.

Сошлемся на выразительный пример. М. Алиханов, царский генерал, державник, просвещенный дагестанец, убитый террористами в 1907 г., отмечал в своих публикациях существенные общественные сдвиги в эпоху Шамиля, когда «традиционное положение мелких патриархальных республик» изменилось настолько, что возник «единый народ, сплоченный религией, общими интересами и единой властью имама, которая значительно и окрепла вследствие этого»²³. Но превалирующей и определяющей в его рассуждениях была все-таки антишамилевская риторика, переходящая подчас в откровенную памфлетность и демонизацию образа имама, которая последовательно выдерживалась в контексте авторской апологетики имперского дела. Алиханов печатался в журнале М. Каткова «Русский вестник», в его газете «Московские ведомости», будучи военным корреспондентом, участником скобелевского туркменского похода. С января 1895 г. по декабрь 1896 г. газета «Кавказ» (Тифлис)

²³ Алиханов М.А. В горах Дагестана. Путевые впечатления и рассказы горцев / Составитель и автор комментариев Р.Н. Иванов. Махачкала: Эпоха, 2005. С. 349.

предоставляла свои страницы его очеркам «В горах Дагестана» – всего их было тридцать. В опубликованном 31 июля 1896 г. очерке Алиханов приводит подстрочник записанной в горах песни о Хаджи-Мурате – материал, как сказали бы сегодня, эксклюзивный.

За две недели до этой публикации, 18 июля, Л. Толстой впервые упомянул в записной книжке о начале работы над повестью «Хаджи-Мурат». Ни в одной из десяти редакций повести, ни в общем списке первоисточников нет даже упоминания очерка Алиханова – это при том, что Толстой проштудировал все номера газеты «Кавказ». Зная о невероятной по охвату материалов работе над повестью, нетрудно предположить, что Толстой не мог пройти мимо объемной по размеру и впервые представленной песни о Хаджи-Мурате.

Думается, что решающую роль сыграло неприятие алихановской позиции, достаточно однозначной, чтобы быть не востребованной художником. Алиханов – человек просвещенный и, безусловно, патриот Дагестана, но генеральская категоричность не могла не заявить о себе: он загоняет сложившуюся на Кавказе ситуацию в рамки патриархального идеализма, бессмысленного упорства горцев, их самоубийственного выбора и исторического заблуждения. Подъем национального духа, жертвенный героизм для него – только проявление радикализма, порыв к свободе – только бунт «варваров», антиимперский пафос – только вызов цивилизации. Жесткая логика не оставила место для человека страдающего – независимо от места на баррикадах, от происхождения и веры. Толстого с его принципом соответствия героя «всем сторонам жизни» (из статьи «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», 1868), с его отношением к человеку как «сыну божьему», с его философией «уменьшения несогласия» эта логика не могла заинтересовать. Он наверняка ознакомился с очерками Алиханова, но они по мировоззренческим соображениям не могли войти в заветный круг первоисточников – наряду с работами А. Зиссермана (двухтомник «Двадцать пять лет на Кавказе»), В. Полторацкого («Воспоминания»), А. Неверовского («Истребление аварских ханов в 1834 г.»), В. Потто («Гаджи-Мурат»), А. Руновского («Кодекс Шамиля»), а также земляков Алиханова – дагестанцев А. Чиркеевского («Народные сказания кавказских горцев»), Гаджи-Али («Сказание очевидца о Шамиле»), А. Омарова («Воспоминания муталима», «Как живут лаки»).

После горбачевской перестройки, казалось бы, литературе предстояло обрести обновленное зрение и преодолеть накопившиеся

стереотипы только потому, что сверху провозгласили приход «нового мышления», но давний дефицит творческого и нетривиального осмысления прошлого оставался неизжитым. Не удалось добиться глубины художественного понимания многомерной эпохи Кавказской войны, выработать широту взгляда, которая в равной степени позволила бы избежать и этноцентристки мотивированной манифестации, и недооценки важнейшего периода в жизни народов Кавказа.

Стало ясно, что факт высказывания о судьбе и борьбе Шамиля не может обладать заведомой значимостью. Само по себе обращение к некогда засекреченной теме не может быть заслугой, если автор не продвигается в понимании воссоздаваемой эпохи и не осознает в полной мере, что нерассуждающая приверженность дежурным компонентам исторической репутации Шамиля не в состоянии обеспечить художественной результативности. Для писателя, действительно стремящегося приблизиться к истине, недостаточно самоцельное погружение в мир хрестоматийных преданий, ходячих легенд, добросовестно воспроизводимых мемуарных записок, мифопоэтических фантазий, легко узнаваемых исторических и литературных трюизмов, в изобилии сопровождающих героический период в истории каждого народа. Рутинной стала перелицовка неоднократно описанных историками ситуаций, на которую возлагали функцию генератора сюжета, но вторичность апробированных сюжетных ходов при отсутствии творческого воображения и романного мышления неминуемо приводила к тому, что эпоха и сам Шамиль оставались «закрытыми» при всем обилии впечатляющих деталей. Условное жизнеподобие, предполагающее эстетизацию героя и музеефикацию его образа, особенно заметно в монологах, которые не назовешь иначе, как упражнениями в декламации и резонерстве – сошлемся, например, на описание в романе М. Ибрагимовой «Имам Шамиль» встречи турецкого султана и Шамиля, которая разыгрывается по правилам мелодрамы: под напором уничижительных авторских эпитетов (тучный, обрюзгший, грузный, неуклюжий, лоснящееся и багровое лицо) султан выглядит крайне блекло на фоне безупречного Шамиля, проницательного мудреца, который учит османского владыку уму-разуму, предостерегая его от столкновения с Египтом.

Свобода как императив и как пророчество составляла существо той национальной духовной реформации, которая связана с делом и именем Шамиля. Воин и законодатель, администратор и лидер, Ша-

миль воспринимался своими подданными и как пророк. Характерно, что слово «пророк» оказалось в названии книги Ф. Вагнера «Шамиль: султан, воин и пророк Кавказа», изданной в Лондоне при жизни имама и за пять лет до гунибской эпопеи 1859 года, когда А. Бярятинский подвел черту под его длительным сопротивлением.

Полковник Муравьев в романе чеченского писателя А. Айдамирова «Долгие ночи» отдает должное приверженности противника свободе как фундаментальной ценности: «Много самых невероятных мифов создали вокруг имени Шамиля... Но я знаю одно: Шамиль не был фанатиком... Мне кажется, что у него была другая цель: жить ради самой идеи борьбы за свободу, на путь которой он вступил в молодости. Он и сохранил свою жизнь ради этой идеи». В то же время писателю удалось показать накал мировоззренческих споров и живых противоречий в эпоху Шамиля. Мучительные вопросы («Неужели столько трудов и жизней затрачено зря? Неужели рухнет с таким трудом созданное им свободное, независимое государство горцев?») преследуют не только имама. Один из героев романа Маккал идет дальше в своих беспокойных раздумьях: «...Сколько пролито крови – и ради чего? Ради того, чтобы у нас отняли последнее, что ещё могли иметь? Я уверен: если бы не газават, было бы больше надежды на победу». В споре Курумова и Берса – та же интонация радикального сомнения: «А что, при Шамиле, разве при нем народ был счастлив. Или мог стать счастливым... в перспективе?».

Особой многозначительности и итогового смысла исполнена в романе сцена выхода Шамиля к князю Бярятинскому, когда неистовый, несгибаемый Бойсангур бросает в лицо имаму последние обвинительные слова: «Что ты делаешь, имам? Одумайся! Ты позоришь не только нас, живых, но и мертвых!». В ответ он слышит горькое признание усталого воина и мудреца: «К чему эти бесплодные разговоры, Бойсангур? Я потерял Чечню и остался без рук и без ног... Народы устали... Зачем ненужные жертвы? Прости меня, Бойсангур! Прости». Писатель находит точные слова, сохраняя достоинство каждого из боевых соратников, разведенных в разные стороны в августовский день 1859 года: «И старый, усталый, но по-прежнему великий Шамиль, сгорбившись, шагнул вниз. Шамиль больше не поворачивался к Бойсангуру, ибо знал, что в спину Бойсангур не выстрелит...».

Поиски ответов на тревожные вопросы преследуют и героя романа даргинского прозаика Х. Алиева «Батырай». Суровый имам яв-

ляется во сне впечатлительному поэту Батыраю, называя вещи своими именами: «Больше не будет той свободы, за которую мы воевали, которая дана нам Аллахом при рождении. Отныне нам будут отпускать свободу частями, в виде милостыни. И только с позволения сардаров царя. Будут отпускать порциями, как подает мельник воду на лопасти валов: можно открыть, можно и перекрыть». Поэт спешит получить ответ на главный, самый существенный вопрос: «Двадцать пять лет воевал ты, имам Шамиль, а что изменилось в жизни горцев, стали ли они свободнее, независимее, богаче?». Голос Шамиля перед тем, как «превратиться в шелест листвы», навсегда удалиться, звучит отчетливо, в его реплике расставлены необходимые смысловые акценты: «Эти двадцать пять лет были потрачены не зря. Горцы закалились в борьбе, дух их окреп. А придет время – и посеянные мною зерна свободолюбия дадут свои всходы. У них есть будущее, они несут его в себе. Потому я спокоен за судьбу моего горного края».

Если в доперестроечный период тема освободительной борьбы горцев под руководством Шамиля оставалась табуированной для советской литературы, то в 1980–2000-е годы ее трактовка в «материковой» северокавказской литературе обнаружила тенденции сближения с литературой «диаспорной», представленной этнически связанными с Северным Кавказом писателями. Следует, однако, выделить несовпадение основных ценностных ориентиров. В северокавказской литературе всё чаще давали знать о себе элементы десакрализации образа Шамиля и снижение апологетического тонуса, исключавшего возможность критического отношения. В «Сказании о Железном Волке» Ю. Чуюко один из героев воспринимает сам факт махаджирства как результат и свидетельство роковой исторической ошибки: «Не были бы рассеяны, как теперь по всему свету, а жили бы вместе – какой мощный, какой сильный был бы народ!».

Литература зарубежья дает диаметрально противоположный ответ на сакраментальный вопрос о целесообразности сопротивления, настаивая на субстанциональной значимости для судеб Кавказа рыцарской героики предков: «Солнце Свободы растопит везде ледники» (С. Дагестанлы). В творчестве представителей литературной диаспоры заметное место занимает унаследованная от дедов и отцов откровенная идеализация Кавказа как «утраченного рая», что особенно характерно для тех писателей (А. Акатурпа, Р. Озбей, Д. Шимшек, А. Сезгин, С. Дагестанлы и др.), которые не связаны с Кавказом са-

ним фактом рождения, но аттестуют себя как наследников славы предков и потомков мухаджиров, покинувших родные пределы. Подчас создается впечатление, что тотальная вовлеченность в кавказский универсум такова, что поэтам принципиально нечего сказать, минуя тему Кавказа, который во всем и всегда в сердце художника как единственный источник вдохновения и одухотворяющей силы.

Обнаруживая несомненную генетическую связь с этнокультурным контекстом и национальной традицией, литература северокавказской диаспоры сформирована «там» (Турция, Иордания, Сирия и другие страны), но духовно позиционировала себя «здесь» (Кавказ). Явное предпочтение отдавалось субъективно-романтическому конструированию идентичности, которое можно охарактеризовать как паломничество в героическое прошлое. Вживание в образ Кавказа разворачивалось под знаком пассаизма, неизбежно продуцирующего сотворение ностальгического мифа, ставшего метасюжетом и главным ресурсом культурной и исторической памяти. Возникавшее в ее раскаленном контексте напряжение между должным, идеальным измерением (каким видится и каким должен стать свободный Кавказ) и сущим (его реальной исторической судьбой) подпитывалось реминисценциями и аллюзиями, восходящими то к легендарному времени эпических нартов, то к шамилевской эпохе. Многие тексты выстраивались как семейная хроника, развернутая во времени и сохраняющая связь с идеей эстафетной передачи от поколения к поколению священного огня традиции. Неизбежная адаптация к инациональной среде не могла не содействовать нивелировке чувства принадлежности к традиции, ослаблению этнической ментальности, тому, что этнологи называют «плавающей идентичностью», но куда более значительным был художественный дискурс исторической памяти, функционирующей в роли индикатора самоидентификации и безусловного нравственного императива. Сам феномен изгнания по определению предполагал балансирование на зыбкой границе между памятью и страхом забыть отцовский очаг, между забвением, набирающим силу в отрыве от почвы, и продлением национально-культурной идентичности в инациональной среде. Представителей диаспоры объединяло стремление не просто сохранить «осколки разбитого вдребезги» (вспомним название изданного в 1926 г. сборника А. Аверченко), но и восстановить целое на уровне культурного самосохранения, не уставая собирать из фрагментов новое зеркало.

Процесс этнокультурной самоидентификации носил, если использовать терминологию трех ведущих современных подходов к исследованию этничности, не столько инструменталистский (возможность манипулирования) или конструктивистский (этничность как социальный конструкт), сколько примордиалистский (исходная, изначальная данность, связанная с фактором происхождения и культурным контекстом) характер.

Квинтэссенция книги Р. Гуля «Я унес Россию. Апология эмиграции» выражена в словах, отразивших умонастроение любого думающего эмигранта независимо от его национальной и географической принадлежности: «Родина без свободы для меня не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, но все-таки остается свободой»²⁴. Расшифровывалось это внутреннее убеждение однозначно и недвусмысленно: мы оказались между молотом нового российского социума и наковальней чужого мира, но столь же неоспоримым фактом является то, что мы унесли с собой другую Россию, другой Кавказ, которые останутся с нами, где бы мы не находились.

Скупая, но и выразительная дневниковая запись А. Толстого (апрель 1919 года) запечатлела общее для всех покидавших родину ощущение катастрофического потрясения самих основ жизни, прыжка в бездну отчаяния: «Французы сдают Одессу... Началось, точно медленное раскручивание спирали, отчаяние... Пароход “Кавказ”... Размещение по трюмам... Все, как во сне. Неудобства не замечаются, состояние анестезии: слишком все неожиданно, хаотично, будущее страшно и непонятно. Слухи самые фантастические проникают и охватывают пароход, как чума»²⁵.

Зададим сакраментальный вопрос, преследовавший каждого представителя литературной диаспоры, порождая дискуссии и диаметрально противоположные ответы: возможно ли в принципе творчество в отрыве от родной земли – источника вдохновения? Одним бременем беспочвенности представлялось фатально непреодолимым и потому исключаящим настоящее творчество, другие отстаивали как высшую и универсальную ценность свободу мысли и чувства, никак не предопределенную территориальной пропиской. Для адекватного понимания природы литературного творчества в изгнании методологически важными остаются размышления В. Ходасевича на страни-

²⁴ Литература русского зарубежья. 1920–1940. М., 1993. С. 78.

²⁵ Толстой А.Н. Материалы и исследования. М., 1985. С. 404.

цах газеты «Возрождение» (1933). Утверждая, что «национальность литературы создается ее языком и духом, а не территорией, на которой протекает ее жизнь, и не бытом, в ней отраженным», русский поэт далее ссылается на польскую классику, созданную эмигрантами. Один из них – Красинский, который «родился и провел детство в Париже, а Польши почти не видел, покинув ее в ранней юности навсегда. Кстати сказать, и сюжеты его лучших произведений как раз взяты не из польской жизни. Все это не помешало ему стать одним из величайших и глубоко национальных писателей своей родины». В. Ходасевич, предвидя очевидное возражение, не мог не сделать знаменательной оговорки («разумеется, это не значит, что почва родины для литературы губительна»), но только для того, чтобы вернуться к исходной и главной мысли: «национальная литература может существовать и вне отечественной территории»²⁶.

В статье обозначены контуры взгляда на пространство изгнания как сферу полнокровной реализации культурно-творческого потенциала самодостаточной личности. Концептуально это пространство шире и значительнее тривиального тезиса о выживании литературы на чужбине. В романе «Дар» В. Набоков идет еще дальше, когда Федор Годунов-Чердынцев настаивает в своем монологе на глубоко личном, принципиально необщем характере осознания Родины, на субъективизации ее образа: «не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды?». Откровение героя, как и вся смысловая партитура романа, полемически противостоящего популярным в те годы историко-философским идеям (в том числе евразийским установкам на решающее значение «территории», «коллективного» или «симфонического» субъекта), позволили С. Франку сделать теоретически важный вывод о том, что никакой предопределенности и неотделимости творчества от территории не существует, как нет и смерти культуры в изгнании потому, что реанимация прошлого происходит как «креативный акт ретерриториализации внутреннего пространства памяти»²⁷.

²⁶ Ходасевич В.Ф. Литература в изгнании // Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. Избранное. – М.: Советский писатель, 1991. С. 467.

²⁷ Франк С. «Одинокий империалист», или Осмысление изгнания как субъективизация России в романе В. Набокова «Дар» // Логос. 2001. № 3. С. 93.

В среде северокавказской диаспоры было немало мыслящих людей (историки, писатели, политики), для которых верность традиции вне её территориального бытования стала основополагающей в системе ценностных предпочтений. Самоутверждение в традиции предков давало шанс на прорыв к искомой аутентичности, усиливая смысловое напряжение дихотомии «там – здесь», «тогда – сейчас».

«Что есть традиция, – спрашивал К. Манхейм, – уважение ко всему старому и привычному, подражание или духовная зараза или же это до сих пор не исследованная передача неосознанной творческой энергии, приобретающей особую форму и смысл в различные периоды человеческого существования?»²⁸.

В условиях эмиграции национальная традиция или, иначе говоря, освященная авторитетом предков нормативно-ценностная система действительно предстает как «передача неосознанной творческой энергии», благодаря которой возникает духовная альтернатива эмпирическому эмигрантскому бытию. Можно говорить о прагматике традиции, когда причастность к ней мощно корректирует миропонимание эмигранта, помогая преодолеть фрустрацию, навязчивый комплекс жертвы, чувство неполноты бытия, беспочвенности и заниженной самооценки. Для человека в изгнании с его самоощущением тотального одиночества ценностная установка на традицию, на её удержание в нетрадиционных экстремальных условиях выступает как культурно-опосредованный инстинкт самосохранения и самоуважения. Отсюда генерализация исторической памяти как парадигмы, актуализирующей весь круг культурных символов, мифопоэтических источников, когда предание может выступить как инвариант исторического события, а исторические реалии могут оцениваться в русле мифопоэтической традиции. Трагическая и долгая песнь об исчезнувшей Атлантиде (Кавказ) не могла бы возникнуть без активизации ресурса мифологических образов и мотивов, без мифа как фермента героизации и идеализации. Для литературы диаспоры мифопоэтические традиции оказались и точкой опоры, и строительным материалом историософского мифа о Кавказе, который, если смотреть трезво, не был свободен и от мистификации.

Миф – такая же культурная константа национального самосознания, как традиция, обычай, ритуал, символика, и в процессе этнокультурной мобилизации не могла не возникнуть апелляция к архаи-

²⁸ Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юристъ, 1994. С. 525.

ческим пластам национального миропонимания, к некоему онтологическому ядру, которое воспринимается как исток и первооснова саморазвития национального духа. Когда миф выступает «носителем собственной истины, недоступной рациональному объяснению», а рассказанное в сказании «не допускает никакой иной возможности опыта, кроме той, что была получена с помощью этого рассказа»²⁹, то становится очевидным, что при создании образа Кавказа предание чаще всего предстает как инвариант исторического факта, а исторические реалии погружены в символическое пространство мифа.

Для традиционалистского сознания движение к реальности вовсе не требует обязательного преодоления мифологического как герметически законсервированного в себе предания или сказания. Ему ближе не расколдование мифопоэтического или демифологизация истории в рациональном дискурсе, а признание и принятие взаимопроницаемости исторического и мифологического, мифологизация истории и историзация мифологии.

Когда Омар в романе Х. Алиева «Батырай» рассказывает сыну «предание о битве за Урахи» («дело было несколько веков назад, вот такой же осенью, после уборки урожая»), то нетрудно заметить интонацию осовременивания – популярную и в литературе зарубежья – воспроизводимой мифологической схемы, призванной обеспечить более эффектное и яркое описание некогда происшедшего исторического события. В романе «Сказание о Железном Волке» Ю. Чуюко повествователь, обращаясь к старой полузабытой книге «Даховский отряд на южном склоне кавказских гор в 1864 году», характеризует свое душевное состояние как предельное по психологическому напряжению: «И снова я провалился в прошлое – как в сон». Нартовское сказание в исполнении бабушки Ахмета о рожденном из камня Сосруко (Сослан – у осетин, Сасрыква – у абхазцев, Сосрук – у балкарцев, Сосурка – у карачаевцев, Сеска Солса – у чеченцев и ингушей), добывающем как классический культурный герой огонь для нартов после битвы с великаном, предваряется в трилогии М. Кандура «Кавказ» как бы мимоходом брошенным замечанием («все в этих горах воспринималось преувеличенно»), но в самой архитектонике текста это преувеличение, восходящее к мифопоэтической традиции, выступает как компонент восприятия реального мира.

²⁹ Гадамер Г.-Г. Миф и разум // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. С. 94, 95.

Отмена историко-культурной дистанции при обращении к образу эпического нарта как олицетворению мужества и достоинства приводит к тому, что архетипический код нартовского богатырства и непобедимости интимно одомашнивается, максимально приближается к потомкам и тем самым выполняется функция создания образцовой поведенческой модели в рамках мифологической схемы абсолютного героизма предков. Неотъемлемым измерением мифопоэтического канона, воспроизводимой эстетики нартовского сказания становится отсутствие психологической мотивировки, вне которой характер как бы застывает в высшей точке неоспоримости и тем самым лишается эволюционной протяженности, открываясь только для благоговейного созерцания.

Художественно развернутый пассеизм, отношение к прошлому не только как незабываемой и неизбывной вечности, но и как к источнику нового пассионарного толчка, национальная экзальтация, усиленная возбуждающим контекстом мифологического универсума, неизменно определяли характер и направленность создаваемого в литературе диаспоры образа Кавказа. Фактором форсированной культурно-этнической мобилизации писателей диаспоры стал программный кавказоцентризм, который был больше, чем генеральной идеей, превратившись в форму своего рода художественного вероисповедания. Кавказ в его зримо-материальном облики, маркированный этнически и географически, в эстетике писателей диаспоры явно уступает место ценностно нагруженному понятию «кавказскость», собирательной идее, ориентированной на общекавказское идентификационное поле. В эмиграции заметно ослабевает, смещается на периферию культурного самосознания острота внутрикавказских противоречий, дезинтеграционных тенденций, связанных с конфронтацией кланов, родов или взаимными историческими претензиями: в ситуации вынужденного бикультурализма и билингвизма на первый план выходит осознание общей исторической судьбы. В диаспорной литературе, как правило, повествователь не считает нужным дифференцировать, например, понятия «дагестанский род» («моя мать происходит из дагестанского рода, которому больше ста пятидесяти лет») или «дагестанский язык» («я сразу заговорил с ним на родном дагестанском»), что, однако, не следует воспринимать как незнание элементарных вещей (в природе нет дагестанского языка, как нет и дагестанского рода вообще без уточнения его этнокорня). Здесь скорее дает знать о себе не столько программно и сознательно

отринутый трайбализм (племя, род, тухум), сколько типичная для изгнанника степень обобщения, отменяющая значимость точной этнической дешифровки в пользу общекавказской ментальности, надэтнической моноидеи единого Кавказа.

Стремление к укрупнению и героизации образа Кавказа оборачивалось чрезмерностью гиперболизации и ритуализацией мифологического способа мировидения. Если легендарный орел Самгур в адыгском эпосе видит одним глазом прошлое, а другим будущее, сидя на вершине Ошхамахо, то в литературе диаспоры действовала другая оптика, отменяющая разделенность времен, когда прошлое предстает как возможное будущее: «Снова прошлое просит восстать...» (А. Акатурпа). Пафос героизации стирает границу между обыденным и идеализированным представлениями в стихотворении С. Дагестанлы «Свобода»: «я не вырос из своей черкесски, напротив – теперь она впору нарту». Память становится катализатором ретроспективного максимализма, одомашнивания истории, когда можно говорить о прошлом как о близком человеке: «мы – с непрожитым прошлым в разлуке». Лирический герой не просто «минувшим напитан», но и с физиологической наглядностью ощущает, как «соки струятся ко мне из пластов исторических».

Постоянно присутствует тема предчувствия долгожданного возвращения к покинутым святыням, к могилам предков, страстного желания «вернуться в горы – наверно, кто-то там нас ждет». Поэт часто пользуется приемом метонимического сближения явлений: «колышется Каспий чалмою зеленой под вами» (волна и зеленая мусульманская чалма сопрягаются в стихотворении «Каспий» по признаку смежности цветовой гаммы). В другом стихотворении «бурлящий Каспий» сближается с «душами горцев молодых». Показательна выстраиваемая иерархия сакрализованных смыслов: отчизна – «обитель свободы», затем – герои, «которых не счесть», далее – «священные гимны» и «священные флаги». Удельный вес ценностно нейтральной лексики («клекот орлов», «звуки зурны») несопоставим с тем местом, которое занимают в эстетической рецепции Кавказа слова и понятия, отсылающие к героике: «пожары, пожирающие села», «рубцы святого гнева», «кодекс горский». Отсылка к «духу имама» становится смысловым ключом к развертыванию ассоциативного ряда. При всяком упоминании Шамиля используется верхний оценочный регистр: «вольницы горской великий подвижник». Если же поэт пишет

о «кинжале заповедном», то ждешь привычного уточнения: клинок наточен «на кручах базальтовых», если о детях гор, то они непременно – «дети свободы». В предложенной системе символических координат горные вершины неизменно предстают как «вершины предков» или «пристанище героев», бегущие по склонам ручьи – «слезы по щекам», а эхо в горах – «эхо предков моих», которое «блуждает, возвышаясь до неба». Каждая деталь героического прошлого не столько воспроизводится, сколько заново переживается, а лирический герой постоянно демонстрирует готовность и стремление оказаться на месте предка: «расчехлить знамена», «примерить черкеску», «накинуть на плечи трофейную бурку».

Слово функционирует в контексте, предполагающем не столько социокультурный смысл, сколько систему знаковой нормативности, сложившихся внутренних связей между словами-лейтмотивами (Кавказ, свобода, честь, дух, горец), которые, как металлические стружки в магнитном поле, взаимодействуют, образуя некий обязательный синонимический ряд. При этом устоявшаяся общекавказская символика (Эльбрус, заветный кинжал, черкеска, бурка, звук зурны, полет орла и т.д.) нередко остается всего лишь внешней атрибутикой, подтверждающей этнографическую самобытность.

Популярное мышление контрастами, сопровождающими условно-поэтическую модель Кавказа, не позволяет осознать тот факт, что идеал, погруженный в прошлое, утрачивает притягательную силу, истощаясь и превращаясь в эфемерную псевдоценность. Кроме того, если не забывать об эстетическом «гамбургском счете», сама по себе верность иному мировоззренческому полюсу не в состоянии гарантировать качество поэтического мышления, априори обеспечить свободу от ангажированности. При обсуждении книги А. Авторханова «Империя Кремля» в журнале «Дружба народов» я попытался обосновать это немаловажное наблюдение: антисоветский пафос сочинения видного оппозиционера реализовался – хотя это звучит парадоксально – на уровне типично советского стиля мышления, тяготеющего к категорической однозначности оценок³⁰.

Надо также признать, что литература северокавказской диаспоры фактически проигнорировала амбивалентность, внутреннюю полемическую напряженность и противоречивость образа Кавказа в его

³⁰ Султанов К.К. Из-под колес класса под колеса нации? О книге А. Авторханова «Империя Кремля» // Дружба народов. 1991. № 5.

неидеализированном существовании. Напрашивается поучительная аналогия, инспирированная не в последнюю очередь памятью о восторженном отношении поляков к движению Шамиля вплоть до их прямого участия на стороне мятежного имама. В книге «Польский универсум: литература, коллективное воображение, политические мифы» Я. Прокоп подчеркивал, что антитеза «мы и они» надолго определила характер и направленность национальной самодиагностики, стимулировала легковоспламеняющееся при всяком подходящем случае переживание «комплекса непонятости, невыслушанности». Трудно не согласиться с ним в той части размышлений, где говорится об «эмоциональном тумане образов», о «национальной экзальтации» как единственной основе «любви к родине»³¹ и о необходимости рационализировать подход к исторической наррации.

В литературе диаспоры с тем же упорством артикулируется «национальная экзальтация», которая сказывается в усилении имажинативной составляющей исторической памяти, в форсированной сакрализации «мест памяти» (Ахульго, Ведено, Гуниб, Красная поляна и др.), в такой актуализации прошлого, которая подпитывает стремление трансформировать ретроспективу в перспективу, и, наконец, в утопическом представлении о том, что некогда существовали полноценная идентичность и общественная гармония, за утрату которых должен ответить кто-то другой, посторонний, не свой.

Экспансия вездесущего прошлого в настоящее приводит к тому, что героическое начало, предопределенное конкретными историческими обстоятельствами, настойчиво переводится в онтологическое измерение. Одержимость прошлым продлевает его за отмеренные временные рамки, приписывая ему модус незавершенности и исключая то, что М. Бахтин называл «абсолютной завершенностью и замкнутостью» эпического мира прошлого: «Он готов, завершен и неизменен и как реальный факт, и как смысл, и как ценность»³². Вслед за А. Ассман уместно задать вопрос, обусловленный максимализмом ретроспективной логики и символической репрезентации прошлого в литературе диаспоры: «Не слишком ли много у нас сейчас – во вре-

³¹ Прокоп Я. Польский универсум: литература, коллективное воображение, политические мифы. Краков. 1993 // Эон. Альманах старой и новой культуры. Вып. 3. М., 1995 (сокращенный вариант). С. 80, 71.

³² Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Художественная литература, 1975. С. 459, 460.

мена ажиотажа вокруг исторического наследия, когда память заявляет о своих правах, – прошлого и не слишком ли мало будущего?»³³.

Очевидно, что литература зарубежья тяготеет к символическому контролю над историческим нарративом, к художественной реконструкции отфильтрованной истории, призванной удержать пафос героики и посттравматический синдром под знаком восстановления исторической правды. Художественная мысль как бы всецело доверилась «автопилоту» абсолютизированной исторической памяти, который, в результате, стимулировал разрыв временного континуума (прошлое – настоящее – будущее) и эстетизированное визионерство, поощряющее самоизгнание из современности, хотя, как известно, катапультирование из настоящего в принципе невозможно.

Постоянная прописка в прошлом или «злоупотребление памятью»³⁴ оборачиваются утратой контакта с настоящим как неоспоримой реальностью. Идентичность не может сводиться к регенерации магии прошлого, к «онастоящиванию прошлого» (Ш. Макдональд), к перманентной тавтологии смыслов, ориентированных на потенциальную неисчерпаемость травматического исторического опыта. Историческая память, безусловно, несет в себе долгое эхо травмы, страдания, насилия, но не следует оставлять в тени то, что можно назвать историзацией идентичности, имея в виду ее разомкнутость в режим процессуальности, изменчивости, темпоральной протяженности. Не стоит забывать и о том, что парадигма травмы или осмысление прошлого через призму травмы, как правило, становятся фактором межэтнического отчуждения, поощряющего столкновение локальных мемориальных нарративов.

Современная манифестация травмы, верность исторической памяти, транслирующей из прошлого в настоящее самоощущение предка, воспринятого в качестве субъекта травмы и экзистенциального двойника, «прочитываются» как аксиоматическое требование «помнить, чтобы не забыть». В пространстве избирательного припоминания почти не находится места для иной настройки сознания, когда «помнить» может означать «преодолеть травму», чтобы жить дальше («надо было вставать жить» – из рассказа А. Платонова «Фро»). Речь

³³ *Ассман А.* Трансформации нового режима времени // Новое литературное обозрение. 2012. № 116 (URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2012/116/a4.html>).

³⁴ *Рикёр П.* Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. С. 15.

идет о такой разгерметизации травмы, когда возникает мотивация изживания негативного опыта через «позитивизацию утраты» (С. Жижек), чтобы «вставать жить»...

Конструирование идентичности предполагает модус сосуществования «тогда» и «сейчас», креативную адаптацию к изменяющемуся историческому контексту, проективный потенциал исторической памяти, имплицитно связанный с предвосхищением будущего: любое отношение к прошлому неизбежно участвует в формировании политики настоящего и грядущего. Литература диаспоры, увлеченная неоархаизацией, предпочитает выдерживать такой формат исторической памяти, когда циклическая повторяемость конвенциональных образов и художественная стратегия охранительной и работающей на «очищение» (А. Бадью) идентичности объективно, т.е. независимо от авторских намерений, становятся формой сопротивления переменам или «отключения» от идеи прогресса. Понятие «идентичность» подразумевает, считает Бадью, два смысла: положительный («я» поддерживает себя своей собственной способностью к различению») и отрицательный («я» защищает себя от порчи со стороны «другого»; оно должно блюсти свою чистоту, работать на очищение»). Идентичность, взятая в диалектике «созидания» и «очищения», вписывается в пространство «великого принципа единства мира». Если признавать их органическую совместимость, то необходимо сделать и следующий шаг: «любой ценой поддерживать все, что позволяет творческой идентичности преобладать над очищающей идентичностью, – сознавая при этом, что последняя никогда полностью не исчезнет»³⁵.

В пространстве творческой идентичности вряд ли найдется место для представления, тем более претендующего на доминирование, о человеческой памяти как только хранителе непоколебимой ментальности – на самом деле идентичность, оставаясь собой, трансформируется под давлением современности со всеми ее вызовами и склонностью к радикальным переменам. Даже удивительно точно опознанный В. Беньямином «ангел истории», ликом повернутый к прошлому, не мог устоять под напором «шквального ветра» прогресса, который «неудержимо несет в будущее»³⁶.

³⁵ Бадью А. Коммунизм приезжего: афинская лекция. 2014. 25 января (URL: <http://gefter.ru/archive/11873>).

³⁶ Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения. М.: Издательский центр РГГУ. 2012. С. 242.

Н. В. Карначук

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ АНГЛИЧАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII ВЕКА

«Англичане повсюду пристрастны к новизне, враждебны к иностранцам и не слишком дружелюбны между собой; они пытаются делать все, что придет им в голову, как будто что бы ни подсказало им воображение, можно с легкостью достичь, и потому в этой стране разражалось большее количество мятежей, чем во всем остальном мире», – такой изображал национальную склонность англичан к новизне в 1559 г. венецианский посол Сориано¹. Сами англичане той эпохи нередко отмечали в себе любовь к новизне и переменам; в частности, и национальное самосознание претерпевало существенные изменения в Англии в эпоху правления последних Тюдоров и первых Стюартов.

Национальное самосознание является, во-первых, многосоставным конструктом, включающим в себя и рационализированные идеи, например, об Англии, истинной вере или славном прошлом, и неотрефлексированные, существующие в качестве фона, такие, как ощущение общности со своим окружением и местом обитания, градации «свой-чужой», а также формирующиеся на этом фоне (и его формирующие) повседневные практики. Во-вторых, это конструкт динамичный, с одной стороны, вбирающий в себя представления о прошлом, события настоящего и ожидания в будущем, а с другой – постоянно изменяющийся, за счет перемен, происходящих в каждом из составляющих его элементов. Разумеется, в полном объеме национальное самосознание малоподвижно, особенно в той области, где связано с поддержанием привычного образа жизни и повседневным существованием в ячейках сложившихся социально-культурных групп. Но слой рационализированных идей, как привносимых в общество «сверху», так и формирующихся изнутри, достаточно подвижен – и тем подвижнее, чем быстрее циркулирует в обществе информация, и чем больше ее объем.

¹ Calendar of State Papers and Manuscripts relating to English Affairs, existing in the archives and collections of Venice, and in other libraries of Northern Italy. Vol. 7 (1558–1580). Cambridge: Cambridge University Press. 2013. С. 328.

Англия в 1550–1640-е гг. являет собой пример общества, в котором интенсивность развития национального самосознания заметно росла. Этому способствовало как бурное течение политических и религиозных событий в стране, так и особенности трансформации сословно-социальной структуры общества. Значительную роль сыграло и масштабное развитие «транспортов информации»: расширение книгоиздательского дела, повышение уровня грамотности и мобильности в обществе. Безусловно, наложили свой отпечаток и сознательные усилия властных и интеллектуальных элит.

В научной литературе, как отечественной, так и англоязычной, встречается мнение, что к XVI в. в английском обществе уже сформировались основные параметры «национального чувства», сложилось представление об «истинном» прошлом, поддерживающее национальную идентификацию, и что «английского читателя со всех сторон окружали вполне устоявшиеся версии историй о величии прошлого английского народа и о его национальной специфике, что... способствовало укреплению национального самосознания»². Существует мнение и о законченном формировании системы пропаганды и репрезентации королевской власти, системы, также серьезно влиявшей на представление о роли «настоящего англичанина»³.

Мне представляется, что говорить об «устоявшихся» версиях, как и об окончательном развитии пропагандистской машины, нужно с большой осторожностью. Именно в это время начался настоящий переворот в развитии средств информации, и, будучи во взаимной связи с ним, постоянно возрастал запрос общества на информацию, ее полноту и точность⁴. Это накладывало отпечаток и на содержание, и на стилистику подачи новостей и событий прошлого.

Исторические трактаты и хроники во второй половине XVI в. дополнились сотнями малых памфлетов на 4, 8 или 16 листов, а также балладами, излагающими в иной, более сенсационной и дискрет-

² *Калмыкова Е.В.* Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. М.: Квадрига, 2010. С. 459.

³ *Кирюхин Д.В.* Роль придворных историков эпохи ранних Тюдоров в оформлении пропаганды новой королевской династии // Британия: История. Культура. Образование. Тезисы докладов международной конференции / Отв. ред. А.Б. Соколов. Ярославль: ЯГПУ. 2012. Вып. 2. С. 29-31.

⁴ *Randall D.* Credibility in Elizabethan and Early Stuart Military News. London, Pickering & Chatto Publ. Ltd, 2008. С. 2-3.

ной форме, разные истории из прошлого страны. Единичные печатные новостные листы (*tydings*) и сборники новостей, выходявшие в виде книжек на латыни в начале XVI в., к 1560 гг. были вытеснены сотнями *broadsides*, печатных листов, в прозаической или стихотворной форме сообщавших о событиях последних недель. 14 мая 1622 года, согласно записи в «Реестре компании книгоиздателей», появился первый выпуск «Еженедельных новостей», прототипа первой газеты в Англии.

Стремительно рос круг потенциальных читателей (или слушателей) упомянутых выше текстов. Ко второй половине XVI в. этот круг включал в себя преобладающую часть населения городов и значительный процент жителей сельской местности. Разумеется, площадные тексты гораздо шире распространялись в ближайших к столице графствах, поскольку именно Лондон был основным центром книгопечатания в стране. Как следствие этого расширения, упал средний образовательный и имущественный уровень потребителя историй об Англии, ее прошлом и настоящем, и для новой аудитории сложившиеся в образованных кругах образы и модели, работавшие на формирование национального самосознания, не всегда были вняты и значимы. Зато дешевая и оперативно издаваемая площадная литература, особенно баллады, породила доселе невиданный приток авторов, часто не принадлежавших к «людям пера», непрофессионалов, желавших высказаться или немного заработать. Большинство авторов баллад выступали анонимно или скрывались за инициалами, но среди тех, чьи имена известны, можно найти людей самого разного рода занятий, от рыцарей и священников до ткачей и содержателей гостиниц. Синтаксис и лексика большинства баллад конца XVI – первой половины XVII в. «поразительно близки разговорному английскому языку» указанной эпохи⁵. Фактически, авторы и покупатели площадной литературы принадлежали к одной культурной среде, и высказываемые ими идеи, в том числе и национальные, не являлись выражением официальной позиции элиты. Хотя, разумеется, они не были и вполне независимы от официальной точки зрения: королевские указы и прокламации, выдержки из исторических хроник, сюжеты театральных пьес – все это служило источником вдохновения для авторов

⁵ *Kekäläinen, Kirsti. Aspects of style and language in Child's collection of English and Scottish popular Ballads. Helsinki: Suomalainen Tiedekatemia. 1983. С. 262.*

площадной литературы. При этом в каждом конкретном случае возникал не просто пересказ, а интерпретация⁶. Впрочем, уместнее говорить о постоянно сообщающихся сосудах: если авторы памфлетов и баллад часто черпали сюжеты и образы из исторических сочинений, проповедей или театральных пьес, то и серьезные писатели и даже придворные круги не гнушались чтением площадных баллад.

Как представляется, власть на первых порах мало использовала новые ресурсы, предлагавшие потенциальную возможность формировать мнение широкой «низовой» аудитории. В основном практиковалась запретительная деятельность, призванная остановить публикацию и распространение текстов антиправительственного или подрывающего веру и мораль характера. Первая королевская прокламация, воспретившая публикацию «баллад, стихов и прочих непристойных трактатов на английском языке», появилась в 1533 г. При Марии Тюдор этот закон был дополнен, получил известность как «Акт против мятежных речей и слухов» и ужесточил наказание до 100 фунтов штрафа либо отсечения ушей или правой руки⁷. Созданная в 1557 г. «Компания книгоиздателей» получила право на платное лицензирование всей печатной продукции в стране, печать без лицензии влекла за собой штрафы и, потенциально, полное лишение права заниматься издательской деятельностью. Авторы памфлетов и баллад находили многочисленные лазейки для обхода законодательства, но постепенно, к первой трети XVII в., сложился слой профессиональных сочинителей площадных текстов: уже не обязательно разделяя высказываемую точку зрения, они работали в соответствии с заказом со стороны. Заказ поступал, как правило, от книгоиздателя, скрупулезно рассчитывавшего, что будет пользоваться спросом и не вызовет недовольства властей⁸. Таким образом, не попадая в прямую зависимость от светской или церковной диктовки, площадная литература XVII в. постепенно превращалась в жанр, профессионально изготавливаемый для низших слоев населения. Однако до того, как это произошло, площадные листы, как представляется, отражали наиболее

⁶ *Crawford, Julie*. *Marvelous Protestantism: Monstrous Birth in Post-Reformation England*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2005. С. 30-37.

⁷ *Shepard L.* *The broadside ballad. A study in origins and meaning*. L.: Cox and Wyman Ltd. 1962. С. 50.

⁸ *Shaaber M.A.* *Some Forerunners of the Newspaper in England 1476–1622*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1966. С. 286-289.

популярные и распространенные идеи, и небезынтересно проследить на этом материале подвижки в области национального самосознания.

В качестве источниковой базы для данного исследования служат более 1000 текстов баллад и памфлетов, сохранившихся в коллекциях Ширбурнской, Пипса, Роксборо, Юинга, а также собраниях текстов, которые находятся в университетах Оксфорда и Глазго⁹. Подобное исследование значительно упростила возможность обращения к созданной на базе Калифорнийского университета электронной коллекции площадных баллад, которая содержит как факсимиле документов, так и транскрипции текстов¹⁰.

Памфлеты и баллады, лаконичные и полемически заостренные произведения, в силу самого своего характера воздействовали на эмоции не пространными доказательствами, а насыщенными, яркими образами. Прошлое и настоящее страны предстает в них дискретным и хронологически нечетким, но вызывает к моментальному отклику читателей (а в случае с балладами, и слушателей). При этом, наравне с эксплицитно высказываемыми идеями и образами, тексты несут в своей структуре и лексическом составе, имплицитные смыслы, также доступные анализу. Кроме текстов, некоторую информацию предоставляют записи о балладах и памфлетах, собранные в Реестрах компании книгоиздателей¹¹. Хотя эти списки далеко не полны, а, по мнению некоторых исследователей, в них отражена едва ли половина реально опубликованных текстов¹², они все же дают представление о количестве и заглавиях многочисленных площадных текстов (с 1557 по 1640 год, согласно Реестрам, опубликовано около 2000 наименований баллад).

⁹ The Shirburn ballads, 1585–1616 / Ed. by Andrew Clark. Oxford: Clarendon Press, 1907; A Pepysian Garland. Black-letter broadside ballads of the years 1595–1639 / Ed. by Hyder E. Rollins. Cambridge: Harvard University Press. 1971; The Roxburghe Ballads. Vol. 1–2 / Ed. by W. Chappel. L.: Taylor and Co., 1871; Broadside blackletter ballads, printed in 16th and 17th centuries, chiefly in possession of J. Payne Collier. L.: Printed by Thomas Richards, 1868; Old English Ballads 1553–1625, chiefly from manuscripts / Ed. by Hyder E. Rollins. Cambridge: C.U.P., 1920.

¹⁰ English Broadside Ballad Archive (EBBA) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://ebba.english.ucsb.edu/>, свободный (дата обращения 30.09.2016).

¹¹ A transcript of the Registers of the Company of Stationers of London, 1554–1640. Vol. 1–2 / Ed. by Edward Arber. L., 1875.

¹² Rollins Hyder E. Black-letter broadside ballads // PMLA. 1919. Vol. 34. № 2. P. 281.

Прежде всего, имеет смысл задаться вопросом о развитости и частоте употребления лексики, связанной с комплексом национальных идей. Под этим комплексом имеется в виду ярко осознаваемая значимость собственной принадлежности к единому этносу (нации), причем этнические характеристики, как правило, дополняются таким фактором, как единство языка, веры, обычаев и традиций, повседневных практик. Одновременно осознается необходимость неких личных и коллективных усилий на пользу нации, прежде всего, защиты ее от внешних и внутренних угроз. Этот комплекс обычно также включает набор знаковых символов, образов и персонажей из прошлого и / или настоящего, ассоциируемых с нацией.

В раннее Новое время этот комплекс идей был значительно менее развит, чем в современном мире, и, как справедливо указывает М.А. Юсим, в средневековой Европе само понятие «нация» зачастую обладало неэтническим значением. Оно обозначало и землячество в университете, и профессиональную корпорацию, а порой и политическую или гендерную принадлежность¹³. Литература раннего Нового времени унаследовала эту традицию, тяготея к территориально-корпоративному пониманию слова, но не ограничиваясь им. Однако в английских площадных текстах XVI века метафорический набор довольно ограничен, и буквальное значение слова предпочитается повсеместно, кроме шуточных баллад-шарад. В этих текстах «нация» уже всегда и неизменно обозначает народ, но сам этот термин встречается крайне редко: мне известны лишь семь площадных текстов эпохи Елизаветы и Иакова I, где он фигурирует, причем в трех случаях речь идет не об Англии, а о разных «народах», которых пророки призывали к очищению от греха. Несколько чаще, а именно в 9 случаях, этот термин возникает в текстах 1626–1642 гг. В них он практически всегда предворяется местоимением «наша» или «эта», что, думается, указывает на его усиление: такая связка характеризует нацию как сообщество «своих», противостоящее чужакам.

И все же в большинстве случаев площадной текст XVI – I пол. XVII в. предпочитает термину «нация» название страны, причем использует два равнозначных топонима. К. Шранк указывает, что в тюдоровскую эпоху общим местом становится использование топо-

¹³ Юсим М.А. Медиевистика и национальный вопрос (о неопределенности определений) // Этнос и «нации» в Западной Европе в средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Н.А. Хачатурян. СПб.: Алетей, 2015. С. 27.

нимов «Англия» и «Британия» в качестве синонимов¹⁴, что, по ее мнению, во многом явилось плодом сознательных усилий историографов, а также сложившейся в Англии традиции оказывать предпочтение тому этносу, который защищал остров от захватчиков, а не захватчикам, даже успешным. Так, авторские симпатии в войнах бриттов с англо-саксами неизменно оказывались на стороне бриттов, а в конфликте англо-саксов с норманнами – на стороне англо-саксов. Именно в защитниках «своей земли», пусть и потерпевших поражение, историографы тюдоровской эпохи искали свои национальные корни. Мое исследование площадной литературы показывает, что и менее образованные слои населения, по крайней мере, к концу XVI в., уверенно именовали свою страну и Англией, и Британией. Эти названия взаимно заменяют друг друга в десятках текстов, порой в одном и том же тексте, что подчеркивает их полное равноправие в сознании автора. Любопытно, что устойчивым эпитетом к названию страны часто служит прилагательное «маленькая»; впервые это сочетание встречается в 1590 г. в балладе-эпитафии на смерть Ф. Уолсингема¹⁵. С тех пор и на протяжении почти всего XVII в. родина англичан неизменно остается «маленькой Англией (Британией)».

На материале площадной литературы трудно сделать однозначный вывод, причисляло ли массовое сознание к маленькой Англии относительно поздно присоединенные территории, прежде всего, Уэльс. Этот топоним встречается в балладах и памфлетах редко и лишь в качестве места действия или рождения персонажа, он лишен эмоционально окрашенных эпитетов или коннотаций и выступает как вполне нейтральный. Наличие у Уэльса собственного покровителя, святого Дэвида, возможно, указывает на то, что эта часть страны воспринималась отдельно от Англии, которой покровительствует святой Георгий. Однако, если в пространственных памфлетах, предназначенных для достаточно зажиточной (и более образованной) аудитории, порой встречается указание на то, что валлиец или валлийка – это чужаки, потенциально опасные и связанные с колдовством¹⁶, то площадная баллада и краткие памфлеты не демонстрируют подоб-

¹⁴ *Shrank C.* Writing the nation in Reformation England 1530–1580, Oxford: Oxford University Press. 2004. С. 19.

¹⁵ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32407/xml>

¹⁶ *Cressy D.* Travesties and Transgressions in Tudor and Stuart England. Oxford: Oxford University Press. 1999. С. 18.

ной «остраненности» Уэльса. Невооруженным взглядом заметна разница между репрезентацией в площадных балладах Уэльса и соседних регионов, которые осознаются как подлинное зарубежье: Шотландии и Ирландии.

Отношение к этим последним хорошо показывает, насколько четкой и значимой является этническая и государственная составляющая в комплексе национального самоотождествления. Английская площадная литература, даже в годы политического сближения с Шотландией, скрепленного распространением там Реформации, даже в эпоху унии и правления первых Стюартов, «королей-шотландцев» считает Шотландию чужой и опасной страной. Самая популярная из баллад на шотландскую тему – это *Chevy Chase*, «Охота в Шевиот», история о сражении англичан под предводительством графа Перси и шотландцев графа Дугласа, в которой оба доблестных предводителя погибли¹⁷.

С 1624 по 1678 гг. было опубликовано более трех десятков различных баллад, посвященных этому событию¹⁸, и симпатии английских авторов, разумеется, были на стороне соотечественников, несмотря на прославляемую воинскую доблесть обеих сторон. «Баллады пограничья», составляющие, по мнению некоторых исследователей, отдельный поджанр, порой ставят «семейные и родственные связи выше национальности»¹⁹, как в балладе *The Death of Percy Reed*²⁰. Но, как в этой балладе, так и в других подобных текстах, авторы осуждают предательство, в том числе и измену соотечественникам. Таким образом, при всей специфике нравов приграничья, сквозь нее все же проступает чувство национальной принадлежности. Тексты же, далекие от темы стычек и грабежа на границе, гораздо более ясно маркируют инородность Шотландии: в памфлетах и балладах, сообщающих о зарубежных новостях, она обычно фигурирует в одном ряду с Францией и Голландией.

¹⁷ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/20279/xml>. Здесь и далее тексты баллад приводятся в современной орфографии.

¹⁸ *Fox A. Oral and literate culture in England, 1500–1700*. Oxford: Oxford University Press. 2000. С. 2-3.

¹⁹ *Border ballads: A Selection / Ed. by J. Reed*. Manchester: Carcanet Press Ltd., 2003. С. 5.

²⁰ *The Oxford Book of Ballads / Ed. by Arthur Quiller-Couch*. Oxford: Clarendon Press. 1910. URL: <http://www.bartleby.com/243/146.html>

Следует напомнить, что в более просвещенных кругах, по крайней мере, в начале царствования Иакова I, озвучивались надежды на слияние Англии и Шотландии в единую нацию. Воспитанник Кембриджа, впоследствии епископ Эксетаера, Джозеф Холл писал в своем «Королевском пророчестве»:

Two sister Nations nearly neighbouring,
The same for Earth, Language, Religion;
Parted by divers laws, a diverse King
And Tweeds streams; are now conjoined in one,
And thus conjoined, double their former power,
Double the glory of their Governor²¹.

Насколько позволяет судить сохранность источников, подобных надежд в площадной литературе не выражалось. При восшествии на трон Иакова I памфлеты и баллады чествовали его как «нашего короля», «благородного короля», а не короля Шотландского.

Точно так же и Ирландия для площадной литературы – чужая страна, причем, если шотландцев обычно изображают «гордыми», «воинственными» или даже «доблестными», в упоминаниях Ирландии и ирландцев нередко уничижительная лексика и прилагательные «грязный», «низкий». Например, откровенно враждебный к Ирландии автор баллады «Saint Georges commendation to all Soldiers» (1612), перечисляя святых покровителей разных стран, обвиняет святого Давида в краже коня святого Георгия и этим позорным поступком обосновывает закономерность рабской участи для ирландцев:

...Saint Patrick of Ireland, which was Saint George's boy,
And seven years he kept his Horse, that then stole him away:
For which filthy fact, as slaves they do remain²².

Нужно заметить, что такая враждебность не является общим местом. Сохранились две баллады очень близкие «Saint Georges commendation to all Soldiers» по содержанию и структуре, которые были опубликованы в 1626 и 1634 гг. В них так же прославляются знаменитые воители прошлого и перечисляются святые-покровители разных стран. При этом Ирландия и ирландцы упомянуты во вполне нейтральном тоне:

²¹ Hall, Joseph. The Collected Poems of Joseph Hall / Ed. by Arnold Davenport. Liverpool: Liverpool University Press, 1969. С 121.

²² EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/20041/xml>

Saint George for England, Saint Denis for France,
Saint Patricke for Ireland, whom Irishmen advance,
Saint Anthonie for Italie, Saint James was borne in Gales,
Saint Andrew is for Scotland; and Saint David is for Wales²³.

Политические реалии четко маркировали ощущение собственной нации и ее границ для авторов и потребителей площадной литературы. Относительно давно и на довольно почетных правах интегрированный Уэльс уже видится скорее «внутри» страны, чем вне ее границ, в то время как покоренная Ирландия с поддерживаемым короной режимом жесткого разделения живущих там англичан и ирландцев – чужая и рабская страна. Но насколько значим национально-этнический аспект в создании системы маркеров? Само понятие «нация» встречается в единичных случаях, и еще реже – тексты (или упоминания о текстах), в которых выдвигались бы призывы к каким-то действиям в пользу Англии. Мотив защиты Англии возникает лишь в нескольких текстах 1588 г, во время прямой угрозы испанского вторжения, в т.ч. в балладе «A Joyful Song of the Royall receiving of the Queenes most excellent Majestie into her highnesse Campe at Tilsburie in Essex», где слово «Англия» показательно становится рефреном, завершающим каждую строфу:

Good English men whose valiant hearts,
With courage great and manly parts,
Do mind to daunt the overthwarts,
of any foe to England²⁴.

Но даже в этих текстах защита страны ассоциируется с (а то и отступает на задний план перед) защитой монарха, королевы. В песнях для солдат, обычно призывающих к храбрости на поле боя и стойкости, мотив битвы во имя Англии показательно отсутствует. Автор конца 1560-х утверждает, что готов «служить своему принцу»:

In faith, then, I am he,
Such one that for my part
Have ready been full willingly,
With hand and eeke with heart,
To serve my prince in field,
Whiles life had bearing breath...²⁵

²³ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/20277/xml>

²⁴ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32348/xml>

²⁵ A collection of seventy-nine black-letter ballads and broadsides, printed in the reign of Queen Elizabeth, between the years 1559 and 1597 / J. Lilly. L., 1867. P. 118.

Под принцем подразумевается властитель страны, в данном случае, королева Елизавета. Завершается баллада бодрым – и нетипичным – прославлением королевы, которую именуют по инициалу имени:

So thus my leave I take;
O soldier, now farewell:
No more to do now will I make,
But God preserve Queen EL²⁶

Несколько баллад аналогичного содержания, относящихся к 1620–1630 гг., пытаются мотивировать солдат, рисуя примеры доблестных сражений прошлого (например, битвы при Азенкуре), маня наградой за смелость и угрожая наказаниями для дезертиров. Мотив защиты страны или народа по-прежнему не возникает. С другой стороны, можно насчитать более сотни текстов, взывающих к объединению ради защиты не страны, но истинной веры, а также десятки таких, где речь идет о поддержке и защите монарха. В елизаветинскую эпоху на разные лады повторяется клише «Queen and her Realm», где первична связь страны с монархом, прочие же англичане именно с монархом соединены обязательством верности. «[Как] вы можете свергнуть нашу благородную королеву и при этом жить в Англии?²⁷».

Хотя Северное восстание, которое породило волну памфлетов и баллад в поддержку королевской власти, не связано с защитой от внешних врагов и, таким образом, логично акцентирует верноподданнические чувства, но именно во время него зародился призыв к подданным, который повторялся вплоть до 1640-х гг. во всех текстах, направленных на защиту целостности и независимости Англии. Обращаясь к англичанам – причем собственно термин «англичанин», как и термин «нация» в площадной литературе использовался редко, более привычным было обращение к «людям», без указания национальности, – авторы призывают, во-первых, сохранять и отстаивать истинную веру, во-вторых, быть лояльными подданными, например:

Fear God, flee sin, the truth embrace,
And seek your Prince to please,
Obey the laws and call for grace,
So shall you live at peace²⁸.

²⁶ Ibidem.

²⁷ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32083/xml>

²⁸ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32083/xml>

Национальное чувство английского обывателя XVI – начала XVII в. проговаривалось на рациональном уровне в форме общности веры и верности монарху. Многочисленные баллады, подобные «A Bell-man for England»²⁹, обращаются к Англии, имея в виду всех ее жителей, в следующих строфах называя их «христианами» (конечно, подразумеваются последователи реформированной церкви): для авторов и аудитории это – синонимы. Религиозные и подданнические маркеры обозначены намного яснее национальных.

Если в площадной балладе где-то и озвучиваются особые, личностные связи со страной и землей, то только когда разговор заходит о королеве (короле) и Англии. Эта связь осознавалась и подчеркивалась как в эпоху Елизаветы, так и при первых Стюартах, причем как в высказываниях самих монархов и политических трактатах, так и в массовой площадной литературе. И, раз национальное самосознание оставалось пока связанным с фигурой монарха, которому общество делегировало право представлять собой Англию, то есть смысл обратиться к некоторым особенностям характеристики монарха в площадной балладе.

Существует два типа баллад, в которых фиксируется образ царствующей особы. Первый – это новостная баллада, исключительно посвященная важному событию в жизни короля (королевы), а, следовательно, и страны; обычно среди таких событий: коронация, годовщина коронации, открытие монархом парламентской сессии, важная поездка по стране, подавление мятежа или военные действия против враждебной державы. Такие тексты, как правило, выдержаны не только в верноподданническом, но и возвышенном тоне, авторы широко применяют риторические обороты и выражения, присущие церковной проповеди. Эпоха Елизаветы оставила тексты или заглавия более 50-и баллад, посвященных королеве. Самая ранняя из этих баллад относится к 1558 г., последние напечатаны в год смерти королевы, это погребальные плачи в ее память. Значительный процент (18 баллад и/или заглавий) несет заметный след религиозных мотивов, более десятка текстов называются «молитвой», «псалмом» или «благодарственной песней».

На особое, близкое к сакральному, значение фигуры монарха намекает и специфический способ характеристики авторами короле-

²⁹ The Shirburn ballads. 1907г. С. 35-39

вы (короля) как персонажа. Площадная баллада, жанр, насквозь пронизанный морализаторством, не смеет дать моральную характеристику царствующей особе. Идет ли речь о Елизавете или о Иакове – по отношению к ним возможно лишь хранить верность и молить бога об их здоровье и благополучии, а также радоваться, узнавая об их выздоровлении, открытии сессии парламента или поездке по стране. Моральный смысл поступка монарха не обсуждается, его душевные движения не фиксируются. Контраст особенно заметен при сравнении этих текстов с балладами, упоминающими королей прошлого: Генриха II, Эдуарда IV или Генриха V, даже «славного короля Гарри», Генриха VIII. Когда в рассказе появляется уже не царствующий монарх, а венценосец из прошлого, табу снимается: он является активно действующей фигурой и может «думать», «восклицать», «удивляться», «приходить в негодование» и даже «бояться». Монарх современный – это всегда фигура власти, в душу к которой заглядывать авторы баллад не решаются, в лучшем случае говоря, что «королева рассудила», «король решил». Внешние проявления действующих монархов – это публичные акты: явление подданным, приказ, принятие изъявлений в верности, дарование милости или кара. Достаточно сравнить, например, «A new Ballad, intituled, The Battell of Agen-Court, in France, betweene the / English-men and Frenchmen»³⁰ и «A Joyful Song of the Royall receiving of the Queenes most excellent Majestie into her highnesse Campe at Tilsburie in Essex»³¹, чтобы это различие стало очевидным.

Основной задачей монарха является охрана и распространение истинной веры, именно по этой причине Господь лично заинтересован в королеве или короле и оказывает им поддержку:

Our noble royal King,
God grant him long to reign,
To live in joy and peace,
The Gospel to maintain³².

Ряд текстов прямо указывают, что божья воля вершится – или может свершиться – только через монарха, которому передоверяется и задача исправления греховных замыслов и поступков подданных:

³⁰ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/20278/xml>

³¹ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32348/xml>

³² EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/20025/xml>

And let us pray for our defense,
Our worthy Queen elect,
That God may work his will in her
Our thraldome to correct³³.

Глагол «исправлять» вообще с достойной внимания регулярностью характеризует действия королевы или короля, он встречается почти в половине всех текстов, посвященных внешне- и внутривнутриполитическим событиям в стране. Мне уже случалось отмечать, как справлялось обыденное сознание со сложившейся в Англии XVI в. дилеммой: королева – женщина и, однако, она – королева, долг которой защищать и, если понадобится, сурово карать подданных. Площадная баллада склонна, не акцентируя проблему, машинально надевать Елизавету эпитетами и наименованиями, свойственными скорее мужчине³⁴. Ее часто называют Prince, как любого государя-мужчину, она – «лейтенант Господа», «верховный маршал» и даже «наш щит»:

A martial staff, my Lord did yeeld,
Unto her highness, being our shield,
And marshal chief of England³⁵.

Ей положены и доспехи, и меч, которым она не замедлит воспользоваться в случае нужды: «Our Queen bears not a Sword for nought»³⁶. Одновременно с воинскими, государевыми доблестями, Елизавета, уже вполне в соответствии с гендером, может выступать как образец милосердия, как любящая королева, – причем два этих образа могут сочетаться в рамках одного текста, не противореча друг другу.

Личную связь монарха с Богом в площадных текстах фактически дублирует так же ясно намеченная связь с Англией. Несколько баллад эпохи Елизаветы написаны от лица Англии, обращающейся к людям, населяющим королевство. Этот прием используется в сюжетах, посвященных подавлению восстания или раскрытию очередного заговора, таким образом, он жестко привязан к теме нарушения верности. Гармония между подданными и королевой под угрозой, и

³³ Early English Poetry, Ballads and Popular Literature of the Middle Ages. Vol. 1. L.: Printed by T. Richards. 1840. P. 45.

³⁴ Карначук Н.В. «The lieutenant of God»: Елизавета Тюдор и королевская власть глазами обывателя XVI в. Британия: история, образование, культура / Отв. ред. А.Б. Соколов. Ярославль: ЯГПУ, 2012. Вып. 2. С. 27-28.

³⁵ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32348/xml>

³⁶ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32479/xml>

Англия обращается к людям с укором и увещанием. Например, в балладе и памфлете, посвященных казни Трогмортон (1584), Англия проливает слезы, видя коварные заговоры против королевы, которую она называет «*my Queen*», напоминает о том, что милостью божьей людям была дана законная правительница, и страна наслаждалась миром и процветанием:

And have not I a careful Prince,
 the prop of all your stay:
 Which loveth me which cares for you,
 and prays for us each day?³⁷.

Королева в очередной раз оказывается связана, волей автора баллады, двумя обязательствами: перед страной, которую «любит», и перед подданными, о которых «заботится». Аналогия с семьей, где страна и монарх выполняют роли родителей, а жители страны – их детей, легко опознается в этом тексте, как и в других, подобных ему.

Тема обета, подобного брачному, между королевой и страной, прослеживается и в более редких образцах баллад о Елизавете, которые написаны в легком, почти игривом тоне. В 1558–1560 гг. большой популярностью, судя по числу изданий, пользовался сюжет любовного разговора между королевой и Англией. Первая версия такого разговора появилась сразу после коронации Елизаветы, ее автор известен, это Уильям Бирч (William Birche), судя по другим его балладам, убежденный протестант. Популярную любовную песню, в которой влюбленный приглашал на свидание свою Бесси и обещал ей любовь и скорую свадьбу, Бирч превратил в диалог жениха-Англии и невесты-Елизаветы. Англия приглашает Елизавету – Бесси перескочить через ручей и выйти замуж, потому что она прекраснее и достойнее всех:

Come over the burn, Bessy, come over the burn, Bessy,
 Sweet Bessy come over to me,
 And I shall thee take and my dear lady make,
 'Before all other that ever I see...
 ...I am thy lover fair, hath chose thee to mine heir,
 And my name is merry England;
 Therefore come away, and make no more delay,
 Sweet Bessy, give me thy hand³⁸.

³⁷ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/33815/xml>

³⁸ *Collier Payne J.* The history of English dramatic poetry to the time of Shakespeare. Vol 2. L.: John Murray, Albemarle-street. 1831. P. 334.

Эта песенка, которую историки XIX в. порой причисляли даже к политическим пародиям³⁹, действительно выглядит на первый взгляд весьма легкомысленно. Однако ни автор, смело поставивший под ней свое имя, вопреки общему обыкновению, ни издатель, вернее, издатели (поскольку разные версии ее были перепечатаны несколько раз, на разных печатных прессах), видимо, не опасались санкций со стороны властей, а читатели охотно раскупали переиздания. И это подводит к заключению, что сам по себе легкий тон в данном случае отнюдь не считался умалением королевского величия. Ситуация несколько проясняется, когда обнаруживается, что прежде эту же любовную песенку уже переделывали – но вкладывали в нее серьезный религиозный смысл. Бесси в таком варианте служила аллегорией человечества, ручей – земного мира, а женихом, зовущим к себе невесту, естественно, был Христос:

Come o'er the burn, Bessy,
Thou little pretty Bessy,
Come o'er the burn, Bessy, to me.
The burn is this world blind,
And Bessy is mankind,
So proper I can none find as she.
She dances and leaps
And Christ stands and cleps.
Come o'er the burn, Bessy, to me⁴⁰.

Традиция, заложенная еще Лютером, использовать для религиозных поучений популярные народные песни, обнаруживает себя и на английской почве. В результате «пародия» оказывается комплиментарным текстом, отсылающим слушателя/читателя к смысловому ряду: Елизавета / народ и Англия / Иисус. Сакральность в площадных текстах XVI в. не требует непременно серьезности: смеховая форма допускается, пока внутренние смыслы не предназначены для осмеяния королевы. В подобном контексте знаменитая фраза Елизаветы «Я замужем за Англией» уже не кажется смелым афоризмом. Она произрастает из глубоко укорененных топосов – хотя и несет в себе новые личностные оттенки применительно к брачной политике королевы.

³⁹ The Songs of Scotland Prior to Burns / Ed. by Robert Chambers. Edinburgh and London: W. & R. Chambers, 1862. P. 284.

⁴⁰ Sternfeld, Frederick. Music in Shakespearean Tragedy. London: Psychology Press. 1963. P. 180-88.

Второй тип баллад, также дающий материал для размышления над тем, как воспринималась венценосная фигура массовым сознанием, представляет собой группу текстов, посвященных самым разным событиям, но содержащим при этом краткое – обычно в 4, 6 или 8 строк – прославление монарха и пожелание ему долголетия и иных благ. Как правило, хотя и не исключительно, такая здравица королеве или королю помещается автором в финале. На первый взгляд, нет строгого правила, определяющего, в каких балладах появляются подобные здравицы, а в каких они отсутствуют, кроме личных предпочтений авторов. Однако, в тех немногочисленных случаях, когда имена авторов нам известны, например, в балладах Мартина Паркера или Томаса Делоне, мы замечаем, что только в некоторых из своих текстов они сочли нужным потревожить имя короля или королевы.

Мне представляется, что нащупать логику вполне возможно. Во-первых, в некоторые годы, отмеченные политическими потрясениями или сменой власти, прославление монарха казалось особенно уместным и подчеркивало лояльность автора. Так, например, в 1570–1571 гг., во время восстания в северных графствах, такие вставки появлялись особенно часто и порой в балладах такого поджанра, в котором никогда больше – ни до, ни после, – монарх все не поминался, к примеру, «A proper new ballad expressing the fames Concerning a warning to al London dames»⁴¹. В 1603 г., в одной из баллад о казни графа Эссекса (в площадной литературе он предстает фигурой неизменно положительной: герой войн на континенте, доблестный рыцарь, без вины виноватый, который образцово вел себя перед казнью, покорно принимая даже незаслуженную кару и благословляя королеву) автор вставил прозаическое послесловие «God save the King»: несколькими неделями ранее прошла коронация Иакова.

Но подобный прагматический подход авторов не объясняет выборочного появления здравиц королеве / королю в относительно спокойные и непримечательные в политическом смысле периоды. Существуют поджанры, в которых здравицы не появляются практически никогда. Это любовная баллада, баллада добрых советов, застольная песня, шуточная баллада, основанная на игре словами. Но мы часто встречаем обращения к монарху в балладах, рассказывающих о пожарах и наводнениях. К примеру, «Very lamentable and woful discours

⁴¹ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32413/xml>

of the fierce floods», дает яркое описание ужасных наводнений в Бедфордшире и Линкольншире, перечисляет погибших людей, утонувший скот и погубленные дома, запасы и посевы. И заканчивается призывом не грешить, а также – верно служить королеве:

In us therefore for shame
Let vice no more be seene:
And eke ourselves so frame
To serve aright our Queen⁴².

Анонимный автор вспоминает королеву не как реальную силу, к которой следует обращаться за помощью, например, за отменой налогов для потерпевших или материальной поддержкой. Он уверен, что наводнение является следствием гнева божьего, и предотвратить следующее бедствие можно, лишь очистившись перед небесными и земными властями. Балладопиисец, сообщая англичанам о трагедии взятого испанцами Антверпена, гибели мирных жителей и поругании веры, обращается к богу с просьбой хранить королеву и защитить ее город (Лондон) от подобной участи⁴³. Точно так же баллады, содержанием которых является ожидание скорого конца света и призыв верующих к скорейшему покаянию, увещевают молиться за королеву, например, «A warnyng to Englan[d], let London begin»:

For our noble queen Elizabeth, let us al heartily [pray?]
And for her honorable counsel, that God give th[?]
To maintayn his glorious Gospel both night [and day?]
To the advancement of Virtue, all wickedness to ra[?]⁴⁴

Или здравица в адрес монарха от лица осужденного на казнь преступника, раскаивающегося в своих преступлениях, как в балладе «The wofull lamentation of Edward Smith, a poore penitent prisoner»:

O Lord I do lament,
And only joy in thee,
To praise thee day and night,
For thou redeemedst me.
Lord save our royal King
Whose prisoner poor am I,
Prolong his days on earth,
With fame and victory.

⁴² EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32584/xml>

⁴³ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32411/xml>

⁴⁴ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32088/xml>

Against his Majesty,
I have offended sore,
Committing Felony,
And now I die therefore,
A doleful death, God knows,
Which once I did defie:
Thus must I end my woes
Which I take patiently⁴⁵.

Характерно, как и в случае с наводнением в Линкольншире, что осужденный (вернее, автор, говорящий от его имени) не обращается к королю с просьбой о помиловании, принимает грядущую казнь как неизбежность, обещает перенести ее терпеливо и со смирением – и считает необходимой частью покаяния извинения в адрес короля.

Многочисленность примеров такого рода позволяет предположить, что, сталкиваясь с явлением катастрофическим, остро трагическим или потенциально связанным с действием сверхъестественных сил, авторы баллад часто находили уместным вспомнить о фигуре сакрального защитника страны и ее жителей. Таким образом, краткие здравицы в адрес монарха можно считать еще одним проявлением достаточно глубоко укоренившейся (и, видимо, не всегда рационально осознаваемой) идеи о тесной взаимосвязи монарха и страны.

Со сменой монарха традиции упоминания его в площадных текстах остаются прежними, по крайней мере, в первые годы. К сожалению, до наших дней дошло меньше текстов, повествующих о деятельности Иакова: исключение – несколько баллад, посвященных его коронации и раскрытию заговоров, в том числе Порохового. Хотя, судя по «Реестрам компании книгоиздателей», баллады о Иакове выходили в свет не реже, чем в свое время баллады о его предшественнице: за 1603–1625 гг. появилось около 30 наименований. Пристальный взгляд отмечает, что среди заглавий больше нет «молитв» и «псалмов», а появляются «радостные известия», «песни» и даже «опровержение фальшивых слухов»: язык площадной литературы становится значительно более светским. Это могло быть частью общего обмирщения площадной литературы к началу XVII в.

Однако и другие признаки указывают на постепенные, едва ли осознаваемые авторами и их аудиторией подвижки в восприятии монарха вообще – и как представителя и предстателя народа и страны

⁴⁵ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/20038/xml>

перед богом. Монарх «очеловечивается», постепенно теряя черты сакральной фигуры. Если раньше поводом для издания текста о королеве были события острой значимости для страны: война, угроза вторжения, стихийное бедствие, либо знаковая дата: годовщина коронации, то король Иаков появляется перед подданными, занятый самыми разными делами. Как минимум девять памфлетов и баллад рассказывали о его коронации, пять баллад – о королевских увеселениях, две – об открытии им сессии парламента, четыре – о раскрытых заговорах, одна – о проведенной при дворе лотерее по сбору средств для освоения Виргинии, и более двух десятков посвящены семье Иакова, в основном преждевременной смерти популярного принца Генри и браку принцессы Елизаветы с курфюрстом Пфальца Фридрихом. Причем, судя по заглавиям, последняя группа баллад тоже преимущественно описывала свадебные празднества. Количество придворных развлечений, «попавших в балладу» при Иакове несравнимо выше, чем при Елизавете. Король, как любой человек, оказался помещен во вполне земную среду двора, был окружен семьей, ее радостями и заботами – но тема заботы короля о народе несколько стерта, а тема прямой связи с Англией практически отсутствует.

Смеховой аспект, появляясь в иаковитской балладе, несет также иной оттенок, нежели в балладах 1558–1560 гг. Одна из историй о Пороховом заговоре: «Of Catesby, Faux and Garnet», выдержана в юмористическом тоне, она пересказывает события, приписывая королю Иакову личное участие в них:

Then, "Powder I smell," quoth our gracious King
(now our King was an excellent smeller);
And lowder and lowder,
quoth the King, "I smell powder";
And down he run into the Cellar⁴⁶.

После того, как обнаруживаются бочонки с порохом, Иаков бледнеет и говорит: если б знал, что готовят ему в парламенте, он и уха из дому бы не высунул. Очевидно, что сакральные обертоны в этом тексте найти сложно. Нам представлен король, «замечательный нюхач», однако совсем не герой, а объект, над которым, как и над неудачливыми заговорщиками, читатель имеет право посмеяться.

⁴⁶ Ancient songs and ballads from the reign of king Henry II to the Revolution / Ed. by J. Ritson. Vol. 2. L., 1829. С. 360.

Отметим, что лексика кратких здравниц в адрес короля в XVII в. несколько беднеет и сильно формализуется. В 90% случаев эпитетами к существительному «король» выступают «royal» и «noble». Изредка используются также «dreadful» и «gracious». Эпитетов для Елизаветы было несравненно больше: virtuous, reverend, glorious, gracious, noble, dreadful, sovereign, good и даже sweet. Таким образом, королева, в зависимости от контекста и личного выбора автора, могла представлять и благочестивой, и доброй, и грозной, и нежной – и, разумеется, благородной, законной и царственной. Иакова, а вслед за ним Карла I, площадная баллада признает законными – но урезает до минимума набор эмоциональных определений. Для жанра, который стремился к максимальной эмоционально-драматической насыщенности, это обеднение может означать потерю того непроговоренного, но ощутимого раньше чувства связи подданных с монархом.

Подводя краткие итоги, можно сказать, что монарх для обывателя XVI в. – фигура, лично связанная со страной (и с Богом), и служащая проводником между народом и «Англией». Это фигура национальной значимости, причем очень интимно связанная с народом и страной, неслучайно еще одним устойчивым эпитетом выступает местоимение «our»: «наш король», «наша королева», «наша Англия». Именно верность королеве и благочестие являются для англичанина этой эпохи аналогом того, что позже получит название «гражданского долга». Но сакральная связь истончается буквально на глазах в первой трети XVII в.: еще не порождая разрыва между королем и страной, общественное сознание уже делает этот разрыв потенциально возможным. К концу 1630-х гг., накануне английской революции, олицетворенная «Англия» заменит в площадных текстах «короля».

В площадной литературе можно встретить и другие признаки того, что традиционный монархоцентричный национализм, характерный для западноевропейского позднего Средневековья, дополняется иными смыслами. Англичанин XVI века, еще сохраняя особый пьедестал для коронованной фигуры и королевского рода, уже пристраивает к нему ступеньку, на которой стоит иная власть, не имеющая сакрального ореола, но вполне уважаемая. Управление страной и народом, право принятия решений и сохранение закона и мира в стране королева или король разделяют со своими советниками. В этом еще нет ничего нового, подпись множества документов английской короны в XVI в. неслла формулу «by the King (Queen) in his (her)

council». Будучи на слуху, формулировка проникла и в площадную литературу, обычно как составная часть королевской здравницы (в частности, в уже приведенной выдержке из баллады «A warnyng to Englan[d], let London begin»). «Почтенный совет королевы», всегда обобщенный и безымянный, обычно упоминается в балладах и памфлетах политического содержания, в частности, созданных в тревожные месяцы ожидания высадки испанских войск в 1588 г.:

Lord God almighty
which hath the hearts in hand
Of every person to dispose,
defend this English land!
Bless thou our Sovereign
with long and happy life,
Endue her Council with thy grace,
and end this mortal strife⁴⁷.

Встречаются упоминания совета и в балладах, требующих исправления нравов, в частности, прекращения практики взяточничества. Анонимный автор в середине 1560-х гг. умоляет Господа:

And that our Queen and her Council
May have regard,
In this land bribers to expel
That take reward⁴⁸.

В целом, советники королевы не могут претендовать на обладание национальным символическим значением, но их наличие и участие в управлении страной не остается незамеченным. Некоторым образом их присутствие в формальных прославлениях монарха, вместе со спорадическими упоминаниями там же «лордов королевства», «пэров», «достойных воинов» лишало фигуру монарха единичности, намекая на то, что сознание широкого читателя в XVI в. вполне свыклось с коллегиальностью власти – при безусловном лидерстве монарха, как было показано выше.

Примечательна эволюция термина «commons», произошедшая на протяжении 1570–1640 гг. Если в елизаветинской балладе это слово, появляясь в памфлете или балладе, всегда подразумевало сообщество жителей, сельские или городские общины, то в начале XVII в.

⁴⁷ Broadside blackletter ballads, printed in 16th and 17th centuries... P. 79.

⁴⁸ A collection of seventy-nine black-letter ballads and broadsides... P. 42.

оно уже с равной вероятностью стало обозначать Палату общин, а в 1640 г. новое значение стало основным. Сторонникам папистов в 1624 г. «Наш король бросит вызов, наши Общины распознают их» («Our King doth defy them/Our Commons descry them») ⁴⁹, в 1639 г. «Верный подданный желает благ Его королевскому величеству, благородным Лордам и нашим Общинам» («A loyall subjects well wishing to His Royall Maiesty, noble Lords and our Commons») ⁵⁰. А накануне революционных событий, в 1640 г. в королевские здравницы авторы неизменно начинают включать парламент, причем смысл пожеланий парламенту лексически и метрически тот же, что и благопожелания монархам в балладах прошлого:

The King, Queen, and royall Progeny,
 God bless with many years.
 Lord, to this Nation never deny
 Good honest noble Peeres...
 ...The Members of our Parliament,
 Lord give them happy days,
 With grace and truth, with one consent,
 Direct in all their ways ⁵¹.

Параллельно, со второй половины 1580-х становится традицией публиковать памфлеты и баллады, детально описывающие шествие королевы/короля на открытие сессии парламента. Возможно, именно оперируя по отношению к парламенту привычными формулами прославления монарха, сознание авторов и потребителей площадной литературы смогло нащупать путь к принятию легитимности иных, немонархических форм управления страной.

Что касается чувства личного, интимного соединения людей и страны, оно прорастало в площадной литературе куда менее заметно. Однако эта связь, существующая в до-рациональном восприятии мира, поскольку возникает из ощущения «своей» земли, обнаруживает себя в площадной литературе в более локальном ландшафте – в эмоциональном и апроприирующем отношении не к стране в целом, а к городам или малым округам. В отсутствие массового употребле-

⁴⁹ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/20264/xml>.

⁵⁰ Rollins H.E. *An analytical Index to the ballad-entries (1557–1709) in the Registers of the Company of Stationers of London*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1924. P. 139.

⁵¹ EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32796/xml>

ния таких оборотов, как «моя страна», «моя Англия» авторы площадных текстов постоянно используют сочетания «мой Лондон», «наш Лондон», «мой Йорк», «мой бедный Корк», «наш Бедфордшир». В сочетании с такими оборотами, повышенная эмоциональность часто дает ощущение сильной духовной связи, которую автор распространяет также и на аудиторию, заставляя ее переживать за упомянутый город. Чувства могут быть радостными, если речь идет о празднике или ином благоприятном событии, могут быть горестными, когда сообщаются новости о пожаре или наводнении. Однако, вне зависимости от полярности, сила эмоционального напряжения обычно очень велика, что достигается повторами ударных фраз, обилием прилагательных, частым обращением к аудитории с призывом о сопереживании. Один из типичных примеров – баллада, повествующая о пожаре в Беклсе в 1586 г.:

My loving good neighbours, that comes to behold,
My silly poor Beckles, in cares manyfold,
In sorrow all drowned, which floated of late,
With tears all bedewed, at my woeful state,
With fire so consumed, most woeful to view,
Whose spoil thy poor people, for ever may rue...⁵²

Баллады, написанные в сходном тоне, появлялись регулярно на протяжении всей второй половины XVI – первой трети XVII в. и расширяли границы эмоционального сопереживания, поскольку истории о бедах Беклса или Корка читали отнюдь не только жители этих городов – новость расходилась широко по всей стране.

Когда в 1640-х гг. риторика памфлетов начала меняться, отмечая нарастание кризиса во всей стране, риторические приемы такого типа распространились на всю «нашу Англию». Национальное чувство англичанина указанной эпохи формировалось под влиянием целой группы импульсов, многие из которых, как было показано, не только нашли отражение в площадной литературе, но и были сформированы этой литературой, которая давала многочисленные проговоренные образцы для выражения чувств и оценок.

⁵² EBBA. URL: <https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32522/xml>

М. П. Айзенштат

СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ БРИТАНИИ СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Изучение исторической культуры в течение последних двадцати лет превратилось в одно из динамично развивающихся направлений интеллектуальной истории, характерной чертой которого стал выход за пределы исследования историописания, сводимого к изучению представлений того или иного автора об истории, ее методах, целях и т.д. Встал, в частности, вопрос как о «физической» судьбе рукописи автора: её публикации, распространении, формировании библиотек, так и её «духовного» существования в интеллектуальной жизни общества: понимания авторских идей читателем, ретрансляции прочитанного, либо собственной интерпретации текста¹. Особое место в современных исследованиях заняла также проблема значимости исторического знания в политической жизни общества². Конкретное исследование разнообразных проявлений их связи позволяет не только раздвинуть границы традиционных подходов к анализу политической истории, но и существенно расширяет возможности изучения состояния и форм исторической памяти и исторического сознания на разных этапах развития общества.

Место прошлого в политической культуре Британии XVIII в.

Под политической культурой подразумевается совокупность средств, каналов, моделей поведения, через которые осуществляется вхождение индивида в политику, а также, его деятельность в ней, что предполагает единство политических знаний, сознания, убеждений и ценностей, действия и институтов. Избранный период дает возмож-

¹ История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2008; Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. М.: Юрайт, 2013; Терминология исторической науки. Историописание / Отв. ред. М.С. Бобкова, С.Г. Мереминский. М.: ИВИ РАН, 2008; Историческое знание и познавательные практики переходных периодов всемирной истории / Отв. ред. М.П. Айзенштат. М.: ИВИ РАН, 2012; и др.

² Вандалковская М.Г. П.Н. Милуков, А.А. Кизеветтер: История и политика. М., 1992; Гене Б. История и политическая культура на средневековом Западе. М.: Языки славянской культуры, 2002; Исторический факт как аргумент политической полемики / Отв. ред. М.П. Айзенштат. М.: ИВИ РАН, 2011.

ность выявить как стабильность, так и изменения роли прошлого в политической культуре Британии.

Исторический опыт – неотъемлемая часть политической культуры любой страны. Но в складывании и функционировании британской государственно-политической и правовой систем прошлое занимает особое место. Это наглядно демонстрируют парламентские сессии, их открытие и закрытие, повседневная рутинная законодательная деятельность. Взаимосвязь прошлого и политики в Британии обозначилась ещё в Средние века. Издавна хроники, анналы и исторические сочинения служили обоснованием претензий на ту или иную территорию, прав монархов или претендентов на престол³. В политической культуре британского общества взаимосвязь истории и политики приняла институциональный характер. Опыт прошлого и традиции, зарождавшиеся на основе прецедента, легли в основу механизма функционирования обеих палат английского парламента, сформировали процедуру заседаний и привилегии депутатского корпуса (право избрания спикера, утверждение свободы слова, неприкосновенность личности) ещё в Средние века.

Обращение антиквариетов к истории острова и прошлому парламента в начале царствования Якова I Стюарта было обусловлено реакцией на политику монарха новой династии на троне. В то же время оно отразило усиление позиций нового дворянства и нарождавшейся буржуазии, их стремление укрепить роль парламента утверждениями о том, что королевская власть появилась позднее парламента. Недовольство Якова I сообществом антиквариетов лишь подчеркнуло политический характер исторических изысканий⁴. Апелляция к прошлому усилилась в преддверии Английской революции и в годы гражданской войны. Тогда роялисты во главе с Карлом I и сторонники парламента, ссылаясь на прецеденты, обосновывали свои позиции.

С появлением парламентских группировок тори и вигов, а впоследствии с зарождением радикальной мысли усилилась значимость прошлого в формировании их идейно-политических позиций. При

³ См., напр.: Браун Е.Д. Создание Мифа о Войнах Роз (от Ричарда III до Шекспира) / Электронный научно-образовательный журнал «История». 2012. 3 (11). Знания о прошлом в политико-правовых практиках переходных периодов всемирной истории. С. 204-217.

⁴ Паламарчук А.А., Федоров С.Е. Антикварный дискурс в раннестюартовской Англии. СПб.: Алетейя, 2013. С. 10.

этом различные подходы к толкованию истории определяли не только политические взгляды, но и политическое поведение⁵. Интерпретация событий прошлого превращалась в значимый компонент политической полемики. В первой половине XVIII в. в исторических произведениях и в памфлетной литературе те или иные события прошлого использовались в полемике тори и вигов по насущным государственно-политическим и нравственным проблемам.

В 1745 г. потерпела крах последняя попытка Стюартов вернуть престол. Это в значительной мере укрепило положение новой династии Ганноверов и правившего с 1727 г. Георга II. В это время у власти безраздельно находились виги, а тори – пребывали в оппозиции. Однако виги не являлись единой партией, а представляли собой группировки, объединенные разными лидерами – крупными земельными магнатами. Таким образом, политическое противостояние наблюдалось одновременно и в самой правящей партии, и между вигами и тори. Со смертью наследника престола в 1751 г. оппозиция потеряла высокого покровителя и находилась в довольно беспомощном состоянии. Ситуация резко изменилась с восшествием на престол в 1760 г. внука Георга II – Георга III. Он с детства не любил вигов, с которыми враждовал его отец, с ними он связывал все злоупотребления власти и надеялся с их отстранением покончить с коррупцией и воровством. В кабинет вошли так называемые «друзья короля». С тех пор, вигам удавалось лишь ненадолго занять министерские посты, либо войти в коалиционное правительство. И полемика шла уже между оппозицией (вигами) и министрами, осуществлявшими политику, на курс которой монарх оказывал значительное влияние.

1760-е годы были отмечены завершением Семилетней войны и зарождением радикализма. В 1770-е – разразилась война с американскими колонистами, а в конце 1780-х годов произошла революция во Франции. 1790-е гг. принесли начало войны с революционной, а затем наполеоновской Францией. К концу XVIII века центр политической жизни переместился в парламент. И дело было не только в развитости политической системы, но и в изменении образа института монархии⁶, особенностях правления Георга III и его болезни. Имен-

⁵ Айзенштат М.П. Прошлое в политической культуре Британии второй половины XVIII в. // Диалог со временем. 2015. Вып. 51. С. 165-180.

⁶ Smith H. Georgian monarchy: Politics and culture, 1714-1760. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

но тогда была признана роль первого министра – как первого среди равных, что еще в первой половине XVIII в. отрицалось современниками. Но хотя на протяжении всех этих десятилетий виги лишь изредка на непродолжительный срок приходили во власть, они оставались важным элементом функционирования политической системы. Находясь в оппозиции, они подвергали критике действия кабинета, выявляли слабые стороны его политики.

Все эти события внешне- и внутриполитического характера, совпав по времени с началом промышленной революции, отразились на жизни общества, особенно в связи с ростом государственного долга и налогового бремени. Среди спонтанных протестов экономического толка появляются движения особого рода – за права и свободы, «с древних времен» принадлежавшие британцам. Проявились изменения и в политическом поведении. Как виги, так и радикалы начинают активнее использовать внепарламентские методы борьбы, а именно: образование разного рода политических объединений и клубов, проведение собраний (митингов), использование набиравшей силу прессы⁷. 1750-е гг. стали важным рубежом в изменении общественных настроений. В 1751 г. Английское антикварное общество, учрежденное в начале века, получило официальный статус после дарования королевской хартии. В 1753 г. парламентским актом, утвержденным королем, был создан Британский музей, помимо коллекций редкостей и гербариев в него вошла библиотека Х. Слоана, а впоследствии Харлеянский собрание, Коттонианская библиотека и собрание Королевской библиотеки. Указанные коллекции содержали наиболее ценные книги и документы по истории Британии⁸.

Возросла роль исторического опыта в общественном сознании, чему немало способствовали публикации в начале 1750-х гг. ярких сочинений, оказавших огромное влияние на развитие исторической и общественно-политической мысли Британии. Среди них, прежде всего, следует упомянуть «Письма об изучении и пользе истории» Генри Сент-Джона, лорда Болингброка, одного из наиболее известных мыслителей Просвещения. «Письма», написанные в 1736 г., были адресованы лорду Корнбери, правнуку лорда Кларендона. Они стали отве-

⁷ Подробнее об этом см.: Айзенштат М.П. Власть и общество Британии второй половины 18 – начала 19 в. // Британия: история, культура, образование. Ярославль, 2008. С. 53-55.

⁸ Паламарчук А.А., Федоров. Указ. соч. С. 11-15.

том на вопрос, какими правилами надо руководствоваться при изучении истории. Восемь обстоятельных писем Болингброк посвятил рассуждениям о значении истории для формирования личности. На примерах мировой истории, начиная с библейских времен, он скрупулезно описал свое видение методов её познания⁹. В Англии «Письма» были опубликованы после смерти автора в 1752 г., и до конца века вышло уже пять изданий¹⁰, что, без сомнения, свидетельствовало о популярности труда Болингброка, о выраженной потребности общества понять значение и предназначение истории.

Вторым сочинением стала «История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 г.» Д. Юма. В 1754 г. он издал первые два тома, посвященные периоду правления Стюартов, затронув, тем самым, бурную эпоху, отзвуки которой продолжали волновать современников. Следуя традиции антиквариев, Юм попытался дать объективное освещение событий, выявить ошибки и заблуждения как монарха, так и парламента. Позиция автора поначалу вызвала негативную реакцию в обществе. В полном объеме «История» была издана в 1763 г., а затем неоднократно переиздавалась, что также являлось показателем изменения отношения читателей¹¹. Популярность этих произведений можно объяснить «повышенным всеобщим интересом к проблемам истории и политики, который пришел на смену находившимся прежде в центре внимания морально-этическим контроверзам»¹². После двух революций XVII в. прошлое превратилось в важный компонент политической культуры, формируя взгляды тори, вигов и радикалов на настоящее сквозь призму истории¹³.

К. Маколей, У. Годвин, Э. Гиббон, Э. Берк, О. Голдсмит в своих произведениях напрямую, либо же косвенно обращались к разным эпохам, рассматривали различные проблемы прошлого¹⁴. Тем не ме-

⁹ Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М.: Наука, 1978.

¹⁰ Барг М.А., Авдеева К.Д. От Макиавелли до Юма: становление историзма. М.: ИВИ РАН, 1998. С. 182.

¹¹ Подробнее о произведении см.: Барг М.А., Авдеева К.Д. Указ. соч. С. 292-304; Креленко Н.С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы историографии и судьбы историков. Саратов: Наука, 2009. С. 66-74; и др.

¹² Барг М.А., Авдеева К.Д. Указ. соч. С. 244.

¹³ См.: Айзенштат М.П. Прошлое в политической культуре Британии...

¹⁴ Чудинов А.В. Размышления англичан о Французской революции. М.: Памятники историч. мысли, 1996; Ингер А.Г. Голдсмит-эссеист и английская журналистика XVIII в. // Голдсмит О. Гражданин мира, или письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке. М.: Наука, 1974; и др.

нее, их истории (или упоминание событий и фактов прошедших десятилетий и столетий) являлись отражением непосредственной реакции на события, происходившие в стране и мире. Именно такая апелляция к прошлому, продиктованная проблемами сегодняшнего дня, и может быть названа одним из важнейших факторов общественной жизни.

Историки Британии в середине XVIII века

Особый свет на взаимоотношения исторической и политической культуры, а также на некоторые важные аспекты повседневной жизни антиквариетов и любителей истории в середине XVIII в. проливает анализ писем Хораса Уолпола.

Хорас Уолпол (1717–1797) прожил долгую жизнь, став не только свидетелем, но и участником важных событий в истории страны. Его отец, будущий всемогущий министр Роберт Уолпол, на момент рождения сына являлся одним из ярких лидеров вигов. Хорас получил обычное образование для вигов – Итон, затем Кембридж, после чего совершил традиционное длительное путешествие по Европе, а в 1741 г. стал членом парламента. Несмотря на то, что был вторым сыном, стараниями отца он получил несколько необременительных должностей, которые сохранились за ним и после отставки первого министра. Доходы позволили приобрести небольшое поместье, выстроить дом в готическом стиле, собрать богатую коллекцию живописи. Уже в архитектуре проявилось эстетическое расхождение Уолпола с вигами, тяготевшими к классицизму. По натуре он был убежденный антикварий, знаток истории живописи и истории Британии. Между тем, Хорас, литературно одаренный человек, стал не просто собирателем вещественных свидетельств прошлого, но и автором разного рода исторических произведений. Уже в 1758 г. он опубликовал первое сочинение «Каталог венценосных и благородных авторов», за ним последовали «Анекдоты из истории живописи в Англии», исторический роман «Замок Отранто» и др. После его смерти была опубликована история последних десяти лет правления Георга III, в основу которой легли его собственноручные записи парламентских дискуссий этого периода.

Хорас Уолпол на протяжении жизни вел обширную переписку с широким кругом лиц, куда входили его близкие друзья, политики и государственные деятели. Сохраненные им копии писем опубликованы после его ухода из жизни¹⁵. Эти публикации представляют со-

¹⁵ Walpole H. The Letters of Horace Walpole, Earl of Oxford. L., 1840. V. 2.

бой своеобразную летопись политической и интеллектуальной жизни Британии на протяжении десятилетий.

В корреспонденции Уолпола отсутствуют подробные размышления об истории, что легко объяснимо. С единомышленниками он обсуждал текущие события, исторические и литературные произведения, свои соображения излагал в сочинениях или высказывал в беседах с друзьями. Отсюда – отсутствие потребности повторять их в посланиях. Тем не менее, скудные фразы в переписке позволяют понять, какое место занимало прошлое в повседневной жизни сообщества антикваров. Это, например, сообщения о новых книгах, спектаклях на исторические темы, о которых он извещал своих адресатов¹⁶. Реакция Уолпола на них неоднозначна. Так, вышедшая из печати биография лорда Кларендона наводит его на мысль о значении стиля исторических произведений¹⁷. Книга мадам де Буфлер, в которой утверждалось, что Кромвель, наведя порядок в стране, отправился сражаться с голландцами, вызвала явное негодование Хораса. Уолпол заверил адресата: «Вольтер, который любит все анекдоты, которые никогда не происходили в действительности, ...поторопится вставить в свою историю, а затем и опубликует. Меня не интересует характер Оливера, но я хочу спасти мир от еще одной фальшивки»¹⁸. А юристу и антиквару Дэвиду Дарлимплу, который издал документы по истории Британии периода правления Якова I и Карла I, он послал письмо с «тысячей благодарностей за публикацию документов», особо отметив разумное предисловие, «направленное против нетерпимых персон, которые предают забвению ошибки и глупые поступки принцев. Тем самым они участвуют в их обвинении. Если жизнь принцев прошла вне контроля, то нет ограничений тогда, когда они скончались. Этим людям (т.е. нетерпимым персонам. – М.А.) надо давать отпор. Совершенно справедливо по отношению к Карлу публиковать, в том числе, и сведения о сумасбродствах его врагов. Сравнения никогда не делались беспристрастно, даже, когда имелись свидетельства с обеих сторон. Я сам так поступил в “Истории живописцев”, так как истина – моя единственная цель»¹⁹.

¹⁶ Letters of Horace Walpole. <http://mvgutenberg.org/cache/epuh/4773/pg4773.html>. Letters 46, 65, 93, 105, 124 etc.

¹⁷ Ibid. Letter 57.

¹⁸ Letter 225.

¹⁹ Letter. 320.

Пристальное внимание Хораса Уолпола привлекла «История Англии» Юма. Он писал своему другу, антиквару Джорджу Монтагю, с иронией: «сейчас я погрузился в Англию м-ра Юма и не готов читать ничего другого. Я не только знаю, что было написано, но и то, что будет написано. Наша история слишком полно освещена, чтобы сделать что-то по-настоящему новое. Но они [историки] действительно пишут ее по-новому: Юм восхищен Эдуардом II и низвергает Эдуарда III. Я полагаю, что следующий историк возведет в герои Якова I и кастрирует Карла II»²⁰. Позднее ему же Уолпол напишет с недоумением о популярности труда Юма во Франции. «Французы рассматривают его историю в качестве образца сочинений. Между тем эта история настолько же недостоверна во многих местах, насколько неполна в других...»²¹.

Утверждение Уолпола о том, что его главной целью является истина, отнюдь не пустая фраза. Его внимание к свидетельствам прошлого, к источникам, которые легли в основу рассуждений автора, характеризуют поиски прокламации Перкина Уорбека. Уолпол обратился к Дарлимплу с просьбой уточнить, была ли она опубликована, или же находится в архиве в рукописном виде. И если она существует, то Уолпол хотел знать, насколько точным было её цитирование Юмом²². Юм, по словам Уолпола, ссылаясь при описании событий правления Елизаветы на «Историю Англии» Спида, придавал прокламации большое значение и цитировал отрывки из нее. Розыски Уолпола показали, что прокламация, если она вообще существовала, к середине XVIII в. не сохранилась. Позднее он напишет об этом и будет с нетерпением ожидать реакции Юма²³. Подобное отношение Уолпола к источникам проявилось и в отзыве об «Истории» Кларендона, утверждавшего, что его труд создан на основе государственных документов. Хорас подчеркивал, что «это не так в действительности», и утверждал: «я не верю ему, когда он не говорит правды, но он так много сказал, что легко увидеть, о чем он умолчал»²⁴.

Сам суровый критик, Уолпол с нетерпением ожидал реакции на свои сочинения. О том, что его как автора волновало мнение читате-

²⁰ Letter 105.

²¹ Letter 270.

²² Letter 336.

²³ Letters 337, 338, 342, etc.

²⁴ Letter 338; V. 3. Letter 10.

лей, свидетельствует анонимная публикация исторического романа «Замок Отранто». Лишь после благоприятных отзывов он раскрыл своё авторство. В письмах он известил корреспондентов о скором выходе из печати своего труда «Сомнения исторического порядка относительно жизни и правления короля Ричарда III» и просил сообщать обо всех отзывах о нем. Первое издание вышло в 1768 г. тиражом в 1250 экз., а в течение года вышел второй тираж. Сочинение действительно привлекло внимание читающей публики не только в Британии. Им заинтересовался Вольтер, обратившийся к Уолполу с просьбой прислать ему экземпляр книги²⁵. В журналах появились критические разборы. Тем самым, можно говорить о сложившейся ко второй половине века практике информирования аудитории о публикации исторических произведений, а также практики публикации критических статей (рецензий) в периодических изданиях.

Корреспонденция Уолпола позволяет выявить его неоднозначное представление о времени. Высказывание, раскрывающее его пессимистичный взгляд, также связано с новыми изданиями. Он пишет Дж. Монтагю об издании двух томов корреспонденции Свифта, включающем «Дневник для Стеллы», написанный в последние четыре года правления королевы Анны и освещавший некоторые события «любопытного периода». Эти события навели автора письма на размышления о «нашем времени»: «та же нерешительность, колебания и желание порядка. “Ничто не ново под солнцем”»²⁶. Обстоятельства политических дел отмечались им неоднократно, и именно они, вызывая разочарование и уныние, стали причиной его ухода из политики. В 1768 г. Уолпол, который свыше двадцати лет являлся членом парламента, отказался вновь участвовать в выборах. Он объяснял свое решение следующим образом: «что я там могу увидеть нового за исключением того, как сыновья и внуки плутуют точно так же, как плутовали их отцы и деды. Услышу ли я оратора, который превзойдет лорда Чатэма? Появится ли человек, равный Тауншенду? Станет ли Джордж Гренвилль менее надоедливым, чем он надоедлив сейчас?»²⁷. Таким образом, в политических делах Уолпол видел своего рода стагнацию, картину, которая была присуща им в прошлом, настоящем и, как он предполагал, сохранится в будущем.

²⁵ Letters 334, 335,345; см. также footnote 1019, etc.

²⁶ Letter 307.

²⁷ Letter 339.

Вместе с тем, в письмах Уолпола прослеживается его представление о связи времен, мысли о будущем: «наши предки были шутниками, какими же будут наши потомки?», задает он риторический вопрос²⁸. «Какие лекции будут прочитаны бедным детям о нашем времени в будущем: если уже сегодня казна Перу переехала на Темзу, Азия подчинилась Клайву, Франция смиренно просит мира у ворот Бэкингем-хауса (резиденция Ганноверов – *М.А.*)»²⁹. Порой события настоящего наводили его на мысли об их сходстве с античным прошлым. В 1762 г., когда завершилась победоносная для Британии Семилетняя война, в Лондоне развернулось обсуждение условий мирного договора, вызвавших неоднозначную реакцию и, прежде всего, недовольство вигов³⁰. В отличие от многих вигов, победы британского оружия побудили Уолпола пересмотреть латинские и греческие книги, в т.ч. Фукидида, Демосфена, Фемистокла, и сделать оригинальный вывод: «Это история мелких людей. Римляне завоевали две трети мира за три столетия, мы подчинили земной шар за три кампании»³¹. С полным правом можно утверждать, что Уолпол не был тем человеком, который «пятился в будущее, глядя в прошлое»³². Его письма позволяют говорить о более сложном переплетении времен. Современные события не только побуждают обратиться к античным авторам, но и задуматься об их будущих последствиях.

Итак, письма Х. Уолпола предоставляют возможность погрузиться в напряженную жизнь человека, увлеченного историей, живо интересовавшегося всеми новыми публикациями по истории Британии. Его интересы распространялись и на драматургические произведения и постановки. Обо всем он сообщал, высказывая собственное мнение, своим корреспондентам. Эпистолярное наследие раскрывает его требования как к сочинителю, так и к самому произведению. Подобно некоторым современникам, он ратовал за объективное освещение прошлого, достоверность и полноту документальной основы ис-

²⁸ Letter 294.

²⁹ Letter 141.

³⁰ Соколов А.Б. «Правь, Британия, морями»? Политические дискуссии в Англии по вопросам внешней и колониальной политики в XVIII веке. СПб.: Алетейя, 2015. С. 165-168.

³¹ Letter 121.

³² Цит. по: Селунская Н.Б. Профессиональное историческое знание. Основы формирования и тенденции развития (размышления над новой книгой Рольфа Тостендаля) // Диалог со временем. 2015. Вып. 51. С. 359-371.

торического сочинения. Личная переписка раскрывает представление об исторической культуре той эпохи, являясь существенным дополнением к изучению произведений авторов, обращавшихся к конкретным фигурам или событиям прошлого. Отзывы Уолпола о сочинении Юма, интерес к прокламации Перкина Уорбека наглядно демонстрируют концентрацию внимания на фактической стороне исторического труда, философия истории Уолпола мало интересовала, что подтверждает и его негативное мнение о Боллингброке и его «Письмах»³³.

Кроме того, благодаря письмам Хораса Уолпола того периода, когда так возрос интерес к истории в обществе, имеется возможность узнать о повседневной жизни антикваров. Личные встречи и регулярная переписка создавали условия для постоянного общения, информирования друг друга о светских и политических новостях, о публикации новых книг, постановке пьес. Они обращались с просьбами разыскать то или иное сочинение или документ, прислать произведение адресата и т.д. В середине XVIII в. Британия переживала формирование книжного рынка и очередной пик журналистской активности. В журналах публиковали информацию о вышедших сочинениях, нередко с их подробным разбором. Уолпол являлся одним из авторов разного рода материалов в журналах, в т.ч. рецензий³⁴. Все это говорит о выработке элементов научной практики исторического сообщества, ощущавшего потребность в общении, ознакомлении с мнением коллег и обнародовании собственных взглядов. В активизации такой коммуникации важную роль сыграла переписка.

Политическая полемика и историческая культура второй половины XVIII века

Во второй половине века благодаря росту грамотности все более широко распространялась пресса. Наряду с газетами издавались журналы³⁵. Тройственный характер функций прессы – средства информации, средства формирования и отражения общественного мнения. По числу продаваемых экземпляров и откликам читателей редакторы могли судить о реакции общества на издательскую линию, приспо-

³³ Барг М.А., Авдеева К.Д. Указ. соч. С. 192.

³⁴ Ингер А.Г. Указ. соч. С. 307-308.

³⁵ Напр.: The London magazine and Gentleman's monthly Intelligencer; The Parliamentary Register or History of the proceedings and debates of the House of commons; The New Annual Register; The Jockey club; or a sketch of the manners of the Age; The Political magazine, and Parliamentary, Naval, Military, and Literary journal, etc.

сабливаться к его мнению, предугадывать и определять изменения в настроениях и предпочтениях читателей разных социальных слоев.

В условиях экономической нестабильности и новшеств в политике возрастало значение опыта прошлого как стабилизирующего фактора. Как и в период, предшествовавший Английской революции середины XVII века, когда назревал социальный кризис и возрастала социальная напряженность, появлялась настоятельная потребность сквозь призму истории разобраться в проблемах современности.

В своих сочинениях авторы пытались искать ответы на волновавшие общество вопросы, понять истоки и причины кризисных явлений. К историческим фактам и событиям обращались парламентарии, государственные мужи, юристы, философы, писатели, врачи³⁶. Прошлое сохраняло значение в общественной жизни, выполняя воспитательные, назидательные функции. История Британии и других стран играла роль своеобразной «кладовой», из которой можно было черпать позитивные и негативные примеры как поступков людей, так и действий властей. Прежде всего, важная роль отводилась биографиям государственных деятелей, полководцев, политиков, ученых. Интерес к таким сочинениям был чрезвычайно велик³⁷. Связь с прошлым проявлялась и в повседневной жизни основной части населения – сельских жителей, самого консервативного слоя общества. Их предки десятилетиями, если не веками, жили на возделываемой земле, сохранялись устоявшиеся взаимоотношения с землевладельцем и соседями. Политическое поведение фермеров и части арендаторов при наличии соответствующего избирательного имущественного ценза проявлялось на голосовании во время выборов. Обычно они действовали в соответствии с указаниями местного лорда, а случаи избирательной борьбы были редки³⁸. В жизни деревни традиции сохраняли важнейшее значение, однако начавшаяся урбанизация обозначила разрыв с ними, а уже мигранты в качестве наемных работников впоследствии вовлекались в радикальное движение – изменение социального статуса вело к изменению политических взглядов.

³⁶ См., напр., перечень исторических сочинений просветителя, драматурга О. Голдсмита (Голдсмит О. Указ. соч. С. 375-376). См. также: Честерфилд Ф. Письма к сыну. М.: Наука, 1971. С. 383.

³⁷ Это значение возрастало в трудах британских интеллектуалов в следующем столетии: Соколов А.Б. Указ. соч. С. 249-262.

³⁸ См., напр.: Айзенштат М.П. Выборы в графстве Оксфорд 1754 г. // Британские исследования. Вып. 3. Ростов н/Дону, 2010. С. 307-322.

В журналах видное место занимали различного рода материалы об истории: сообщения об опубликованных книгах, рецензии, наконец, исторические очерки, в основном посвященные государственным деятелям, полководцам, людям, жизнь и смерть которых вызвала повышенный интерес в обществе. При этом разброс событий и персонажей был чрезвычайно велик: от Емельяна Пугачева, царевича Дмитрия, Оливера Кромвеля до У. Питта Старшего. Чаще всего это были не традиционные для сегодняшнего дня биографии с указанием времени и места рождения, жизненного пути, занимаемых постов и т.д. Скорее это были портреты, в которых давалась характеристика личностных черт. Они являлись ярким показателем интереса к истории как своего рода к учителю, наставляющему читателя. Так, в очерке о Дж. Гренвиле автор писал о его благородстве и бескорыстии, «намерении принести благополучие обществу», о том, что он был амбициозным человеком, но свое возвышение связывал не с мелкими политическими интригами или поддержкой двора, а приход к власти для него означал возможность служения народу³⁹. Эти эссе вызвали живой отклик читателей, но не всех удовлетворяла традиционная форма. Один из читателей сетовал, что издается много биографий, но среди них нет хороших; он полагал, что они должны сопровождаться описанием «характера эпохи и страны»⁴⁰.

Обращение к традициям играло важную роль в мировоззрении непримиримых тори, базируясь на принципах наследственной монархии. Вплоть до 1780-х гг. эта позиция препятствовала признанию тори прав на престол Ганноверского дома. А идея радикалов о кардинальной реформе системы представительства была призвана вернуть народу политические права, принадлежавшие ему в древности⁴¹.

Наиболее ярко роль прошлого проявилась в жизни и взглядах вигов. Благодаря праву первородства поместье и дом оставались в распоряжении старшего наследника мужского рода. В доме находились поколениями собиравшийся фамильный архив и библиотека, портреты предков. С детства познавались семейные легенды и предания, рассказы о деяниях прадедов: так отпрыски вигов погружа-

³⁹ London magazine ... for the 1775. February. P. 64-65.

⁴⁰ London magazine ... for the 1778. January. P. 7.

⁴¹ Семенов С.Б. Теория древней конституции в трудах радикальных авторов 60-80 гг. XVIII в. // Британия: история, культура, образование. Ярославль, 2008. С. 129-131.

лись в атмосферу прошлого. Одновременно им внушалась гордость за принадлежность к вигам, пренебрежительное, если не враждебное отношение к тори. Эти чувства также имели обоснования, уходящие корнями в исторические события и историческую память. Семейными традициями был обусловлен выбор школы и университета, где они получали образование, женитьба, а также карьера на политическом поприще в лагере вигов.

Связь с прошлым для политиков приобретала особое значение: прецедентное право распространялось на судебные дела и законодательскую деятельность парламента, поэтому представители депутатского корпуса должны были обладать основательными знаниями по истории права и парламента⁴². В то же время они демонстрировали доскональное знание кровнородственных связей окружавших людей. Тот или иной человек рассматривался и оценивался в контексте череды сложно переплетенных браков и рождения детей в прошлом и настоящем⁴³. Кроме того, в повседневной жизни и политическом споре виги часто обращались к опыту прошлого. Исторические анекдоты (удачные фразы, забавные или парадоксальные ситуации, имевшие место в истории страны) являлись обычным явлением в речах и разговорах, что нашло яркое отражение в их переписке⁴⁴.

В первой половине века утвердилось представление вигов о собственной роли в истории Британии. Виги видели себя поборниками прав и свобод своей страны, хранителями традиций парламента в периоды кризисов, и такая самооценка во многом обусловила характер их обращения к прошлому в парламентамской полемике⁴⁵.

Исторические аргументы в парламентамских дебатах

Апелляция к прошлому стала неотъемлемой частью парламентамской риторики, как вигов, так и тори, в силу прецедентного права, но на протяжении десятилетий она претерпела заметные изменения.

Идейно-политические взгляды и убеждения, личный опыт и семейные традиции формировали собственный взгляд на прошлое, который мог существенно расходиться с представлениями не только

⁴² Честерфилд Ф. Письма к сыну. С. 298-299.

⁴³ См., например: Walpole H. The Letters. V. 2. P. 260, 403, etc.

⁴⁴ Ibid. P. 278, 285, 312, 325; Честерфилд Ф. Письма к сыну. С. 32, 33-34, 44, 74-75, 88-89, 121 и др.; Cavendish W. Memoranda of State of Affairs; The Devonshire diary, 1759-1762. L., 1982. P. 57-58.

⁴⁵ Mitchell L. The Whig world: 1760-1837. L., 2007. P. 1-15.

политических оппонентов, но и людей, принадлежавших к одной партии. Значимое место прошлое заняло в парламентских дебатах.

Длительное время прения были закрыты для посторонних. Общество лишь после окончания сессии оповещалось о принятых законах, а скудая информация позволялась только с разрешения спикеров палат в проправительственных изданиях. Но с начала 1770-х на страницах столичной и провинциальной прессы публиковались отчеты о заседаниях, которые освещали дискуссии, пусть и не в полной мере⁴⁶.

Политический кризис 1771 года, возникший в связи с публикацией сведений о дебатах, завершился поражением парламента в борьбе с издателями. Хотя запрет не был официально отменен, право прессы печатать прения палат не оспаривалось парламентом. Редакторы лондонских газет стали посылать в парламент своих корреспондентов, которые вели записи дебатов. Расположившихся в галерее Вестминстера журналистов в насмешку прозвали «четвертой властью», так как монарх, палата лордов и палата общин издавна в Англии рассматривались как олицетворение трех ветвей верховной власти королевства (кстати сказать, власть прессы политики признали уже на рубеже 1820-х – 1830-х гг., когда прозвище стало утрачивать ироничный смысл). Уже на следующее утро можно было прочесть о прошедшем накануне заседании. Обычно отчеты содержали ошибки и неточности, так как журналисты не всегда успевали записать выступление оратора, в шуме голосов что-то могли и не расслышать, или пропустить. Тем не менее, лондонские репортажи перепечатывали провинциальные газеты. По подсчетам исследователей истории прессы Британии, во второй половине XVIII в., помимо Лондона, ежегодно в стране издавалось от 33 до 35 газет. А общий тираж столичных и провинциальных газет превысил 11 миллионов. На рубеже 1770-х – 1780-х гг. публикация газет начинает приносить ощутимую прибыль издателям. В столице в среднем она колебалась от 1500 до 2000 ф. ст., а в восьмидесятые годы достигала 10 тыс. ф. ст. в год. И это являлось побудительным мотивом для дальнейшего увеличения числа газет⁴⁷. Так новости распространялись по стране, становились предметом обсуждения в кафе, клубах, домах. А прибыль издателей явилась важным показателем потребности общества в них.

⁴⁶ Айзенштат М.П. Публикация парламентских материалов в Великобритании в XVIII–XIX вв. / Люди и тексты. 2014. М., 2015. С. 351–372.

⁴⁷ Barker H. Newspapers: Politics and English Society. L.: 1999. P. 13.

1770-е – 1780-е годы можно назвать временем журнального бума. Началось издание журналов, специально предназначенных для подробных публикаций прений по поводу наиболее значимых законопроектов, при этом кратко они освещались и в журналах неполитического характера, вплоть до чисто литературных изданий.

В 1802 г. в виде дополнения к газете «The Political Register» У. Коббета начался выпуск парламентских дебатов, которые издатель дополнил «Парламентской историей Англии с 1066 г.». Находясь на грани разорения, Коббет передал права на издание дебатов и истории Т. Хэнсарду в 1812 г. Последний довольно быстро превратил его в доходное предприятие. «Парламентская история Англии» является источником вторичного характера, так как дискуссии были реконструированы по личным записям самих членов парламента, а затем по публикациям в прессе и другим материалам. Однако, несмотря на вторичность и неполноту сведений, она предоставляет возможность ознакомиться с содержанием речей и дискуссий, которые проходили во второй половине XVIII в. в стенах обеих палат. Тщательный анализ речей ораторов, которые произносились на протяжении десятилетий, позволяет ответить на некоторые вопросы: какие события прошлого привлекали внимание парламентариев, чем обусловлена их востребованность, кто чаще всего апеллировал к ним и т.д.

Парламентские дискуссии второй половины XVIII века отразили хорошее для того времени знание исторических фактов депутатским корпусом. В обеих палатах в основном звучали ссылки на события истории Англии, Рима и Греции, но также упоминались факты истории Испании, России, Швеции и других европейских стран, гораздо реже – Турции и стран Востока.

Регулярные обращения к прошлому имели различный характер и выполняли разные задачи. При обсуждении законопроектов по любым вопросам традиционно упоминались подобные акты, принятые за прошедшие столетия, имена королей и годы их правления⁴⁸. При этом ораторы нередко проявляли не просто хорошее знание, а глубокое погружение в предысторию рассматриваемого билля⁴⁹.

⁴⁸ См., напр.: обсуждение вопроса о ночной страже г. Бристоль. / *The Parliamentary History of England*. L., 1813. V. 15. P. 469-479. (Далее – PH).

⁴⁹ Так, например, подробный анализ законодательства в армейской области прозвучал в выступлениях одного из талантливейших лидеров оппозиции П. Эгмонта. – PH. V. 15. P. 365-375, 249-262; etc.

В целом, такие обращения можно охарактеризовать скорее как рутинное перечисление правителей и законов, обусловленное прецедентным правом. Оно наиболее характерно для пятидесятих годов, когда прохождение практически каждого законопроекта сопровождалось такими упоминаниями. Лишь изредка оратор выходил за эти рамки, и тогда мог прозвучать довольно подробный анализ развития законодательства на протяжении десятилетий, либо столетий. Надо отметить, что экскурсы в прошлое порой предоставляют современному исследователю важные сведения, подробности политической и законотворческой деятельности. Таким информативным, например, было, упоминавшееся выше, выступление лидера оппозиции по законопроекту об армии, когда оратор детально рассмотрел историю подобных актов от введения наказаний за дезертирство до принятия жестких мер в отношении бунта солдат. С другой стороны, они позволяют выявить особенности мышления политика, опиравшегося на прецедент в своей законотворческой деятельности. Пик рутинной апелляции к прошлому в рассматриваемый период пришелся на пятидесятые годы, с десятилетиями произошло её постепенное сокращение. Такие обращения рутинного характера, присущи в наибольшей мере 1750-м годам, когда ими сопровождалось прохождение практически каждого законопроекта. Со временем произошло их сокращение, а в 1790-е гг. ссылки на прецедент стали уже скорее исключением и приобрели иной характер. Так, для вига Ч.Д. Фокса подобная ссылка была продиктована не поиском прецедента, а борьбой с главой кабинета. Представляя себя защитником конституции, на деле Фокс стремился сместить У. Питта Младшего с поста⁵⁰.

Причина резкого сокращения рутинных упоминаний заключается, прежде всего, в тех изменениях, которые происходили в жизни общества и были обусловлены внутренними и внешними причинами. В парламенте появились билли, которые не имели прецедента. К ним можно отнести широкий круг вопросов, связанных с взбунтовавшимися американскими колониями, или акты по Ост-Индской компании, которые являлись, по сути, вмешательством в дела и структуру торговой монопольной компании. В силу этих обстоятельств можно также говорить и о сокращении значения прецедента в законотворческой деятельности депутатского корпуса.

⁵⁰ The Parliamentary register; or, history of the proceedings... V. 1. P. 100-103.

Однако парламентская полемика не ограничена обращением к прошлому подобного рода. Нередко звучали упоминания, носившие иной характер. Надо отметить, что они основывались как на достоверно установленных, так и на весьма предположительных «фактах».

Казус: Выборы 154 года в графстве Оксфорд

Опыт прошлого становился особенно востребованным в кризисных ситуациях. Примером может служить длительная дискуссия, вызванная обстоятельствами прошедших выборов, отмеченных небывалыми даже для того времени злоупотреблениями. Внимание парламента с ноября 1754 года было сконцентрировано на выборах в графстве Оксфорд в связи с поступившими жалобами на их проведение, и их завершение утверждением четырех «рыцарей» от графства, вместо положенных двух представителей. В избирательной кампании приняли участие по два представителя «нового» (т.е. виги) и «старого интереса» (т.е. тори). Она отличалась особым накалом борьбы, который свидетельствовал о резком политическом размежевании жителей графства. К тому же обеим соперничавшим сторонам кампании обошлись очень дорого⁵¹, что говорило о размахе подкупа избирателей, а также использовании других коррупционных приемов. Рассмотрение претензий проигравшей стороны, в том числе по поводу участия в голосовании копигольдеров⁵², затянулось. Необходимость в надлежащий срок объявить результаты, а главным образом боязнь утвердить избрание оппозиционных кандидатов и послужили причиной вынесения шерифом столь странного окончательного решения вопреки установленным порядкам. В результате никто из четверых не мог заседать в палате, а графство оказалось лишенным своих представителей в ней.

В первой же речи по этому вопросу прозвучало осуждение шерифа, вынужденного поступить, по утверждению оратора, исходя из интересов собственной безопасности. Чарльз Мордаунт сослался на прецеденты схожего характера. События «двойного» избрания происходили в январе 1689 г. в Данвиче, в 1695 г. в Портсмуте, в 1678 г. – в Нортгемптоне, в 1741 г. – в Денби и других округах. Мордаунт

⁵¹ Современники полагали, что была истрачена «невероятная» сумма – более 5,5 тысяч фунтов./ The Grenville papers. 1858. V.1, 132, note.

⁵² Обычно они не имели права голоса, которым обладали фригольдеры, ежегодный доход которых соответствовал имущественному цензу – 40 шиллингов ежегодного дохода.

полагал, что случай с Оксфордширом является ещё одним примером «фальшивого», незаконного решения шерифа⁵³. Центральные положения, высказанные Мордаунтом, стали основными темами дальнейшего обсуждения: оправдание или обвинение шерифа, апелляция к прошлому, определение источника опасности для конституции, либо утверждение полного её отсутствия.

Противоположную позицию занял выступивший следом Роберт Нагент, с апреля 1754 г. занимавший пост лорда казначейства. Защищая политику кабинета, лорд Нагент заявил: действия шерифа были оправданы экстраординарными обстоятельствами, он был вынужден представить на суд палаты определение двух кандидатов. Нагент уверенно заявил, что свободы и привилегии парламента сильны как никогда, и высказался против необоснованного беспокойства, так как именно необоснованная тревога более столетия тому назад [т.е. в годы Английской революции середины XVII века] привела к наихудшим последствиям, изменив устройство церкви и государства⁵⁴.

Таким образом, в дебатах четко обозначились две позиции. Проправительственная состояла скорее в оправдании действий шерифа, желании снизить накал обсуждения. Оппозиция была настроена более жестко в стремлении осуществить разбирательство хода выборов и обсудить претензии сторон с приглашением шерифа. Следует отметить, что некоторые лидеры оппозиционных вигов накануне начала прений по вопросу о выборах в графстве предпринимали попытки заранее договориться с представителями власти, угрожая в противном случае занять непримиримую позицию⁵⁵.

В итоге палата проголосовала за рассмотрение дела без приглашения шерифа. Слушание по существу началось 3 декабря. По традиции обсудили выступления адвокатов обеих сторон. И только в апреле 1755 года началась дискуссия, спровоцированная допуском к выборам копигольдеров. Этот блок дебатов представляет несомненно особый интерес для выявления широкого спектра представлений членов парламента о системе представительства и об истории, как собственной страны, так и других народов.

Фрэнсис Дэшвуд вопрос о копигольдерах посчитал «вопросом чрезвычайной важности» в связи с тем, что в графствах есть копи-

⁵³ РН. V. 15. P. 395-398.

⁵⁴ Ibid. P. 401-404.

⁵⁵ Mr. Fox to Mr. Grenville. Nov. 16 / The Grenville Papers. Vol. 1. P. 132-133.

гольдеры, имеющие доход в 40 шиллингов и выше, и если специально не оговорить в законе, то шерифы смогут в критической ситуации использовать их голоса. А раз назначает шерифов премьер-министр, то эта лазейка исключает возможность избрания независимых от правительства кандидатов, что, в свою очередь, ведет к усилению власти двора. История Рима, говорил он далее, показывает, что правление с «тенью» парламента или сената, может быть более деспотичным и более тягостным для народа, чем абсолютная монархия. Достаточно сравнить правление любого из цезарей или других императоров Рима с тиранией турецкого султана, с тем чтобы не допустить подобного в Британии. Конституция в опасности, поэтому в руках шерифов не должно быть права допускать или не допускать копигольдеров к выборам, завершил свое выступление оратор⁵⁶. Представители оппозиции категорически высказались против наделения копигольдеров правом голоса. Фригольдеры всегда имели это право, как владельцы земли, как народ (people), представители общин. Вместе с тем, виги полагали, что вопрос о копигольдерах чрезвычайно важен и должен быть рассмотрен и обязательно уточнен парламентским актом⁵⁷.

Хорас Уолпол отверг предположения ораторов об опасности для конституции. Копигольдеры, утверждал он, никогда не голосовали и не должны были голосовать. Как держатели земли по воле их лорда, они являют собой не часть народа, а низший слой древних жителей, которым саксы после завоевания Англии позволили жить среди них и служить им. По этой причине они называются и местными жителями, либо туземным населением (natives). От саксов они получили небольшие наделы земли с тем, чтобы могли обеспечить пропитанием себя и свои семьи⁵⁸.

Уолпол обратился к событиям XIII столетия. Тогда, по его словам, мятежные бароны вырвали у Генриха III указ о выборах двух рыцарей от каждого графства, двух – от жителей каждого города и двух – от каждого бурга. Именно в то время и фригольдеры получили право голоса. После победы над баронами указ был отменен, но восстановлен при Эдуарде I. Со времен Елизаветы I шерифы порой допускали копигольдеров к выборам, что рассматривалось арендато-

⁵⁶ РН. V. 15. P. 431-437.

⁵⁷ Ibid. P. 437-441.

⁵⁸ О традициях манора, статусе фригольдеров и копигольдером см.: Винокурова М.В. Мир английского манора. М.: Наука, 2004.

рами в качестве тяжкой повинности⁵⁹. На протяжении веков копигольдеры были зависимы, но уже давно они стали свободными в связи с тем, что их держание превратилось в ренту по традиции манора, а кое-где и по закону. Свободу копигольдеров он связывал также и с тем, что в период правления Вильгельма и Марии они были включены в состав присяжных. Таким образом, копигольдер свободен, как и фригольдер, и при условии получения им дохода в 300 фунтов стерлингов в год он уже именуется джентльменом и может заседать в палате как представитель своего города, местечка или порта; а при наличии дохода в 600 ф.ст. – в качестве представителя от графства. В этом Уолпол видел большое преимущество для конституции страны и свобод граждан. Сравнивая государство с пирамидой, он говорил, что его устойчивость зависит от крепкого и обширного базиса. Эту устойчивость создает конституция, которая дает право каждому свободному человеку принимать участие в деятельности законодательного органа лично или через представителя. На данный момент большинство копигольдеров лишено этого права, но изменение только прибавит силы конституции. Более того, полагал Уолпол, их надо также наделить и правом полноценного участия в делах советов графств. Тем самым, оратор высказался за расширение электората и политических прав значительной части населения страны.

Уолпол подчеркивал, что в ряде графств Англии и многих графствах Уэльса некоторые категории копигольдеров участвуют в выборах рыцарей. Принять решение о лишении этих копигольдеров избирательных прав невозможно без предварительного ознакомления с их мнением, иначе будет нарушена конституция⁶⁰.

Ричард Бекфорд, основываясь на произведениях Тацита, Цезаря и древней истории Британии, более обстоятельно описал строй германцев, с тем, чтобы определить, кто имел право выбирать. Мы можем предположить, говорил он, что саксонская армия состояла из некоего числа племен и возглавлялась принцем. Завоеванные земли поделены между вождями племен в соответствии с их численностью. Так образовались графства. Свою долю вожди разделили на части – маноры, а солдатам выделялась часть земли – владение. В этом Бекфорд видел источник различных размеров графств, маноров и владе-

⁵⁹ Тяжесть такой повинности объяснялась тем, что избиратели должны были оплачивать расходы по поездке своего представителя в парламенте.

⁶⁰ РН. V.15. P. 441-450.

ний. Таким путем саксонские солдаты – свободные мужчины получили право выбирать магистраты и гражданских чиновников. И лишь позднее им было дано право избирать представителей в парламент. Длительные рассуждения по поводу событий исторического характера стали основой для следующего утверждения: сегодня нет рабов, все жители королевства свободны, но это не означает, что они имеют равные права, в т.ч. право выбирать рыцарей в графствах.

Используя метафору Уолпола, Бекфорд заговорил о пирамиде. Пирамида наших свобод, подчеркивал он, устойчивее при широкой основе, но, если последняя будет гнилой, то скоро рухнет и сама пирамида. И так слишком много негодного в ее основе. А падение может разрушить парламент, сделать нас слугами короны, или другой [т.е. верхней] палаты. Бекфорд был решительным противником расширения электората. Он утверждал, что бедняки не придают никакого значения благам свободы, следовательно, они будут продавать ее, восторгаясь титулами и экипажами состоятельных людей. Тогда могут быть избраны недостойные люди, которые будут продаваться за пенсии и другие блага, усилится влияние шерифов. В совокупности все это приведет к изменению баланса сил во властных институтах. Конституция будет в опасности, если не запретить участие копигольдеров в выборах. Нельзя доверять свободы тем, кто не заинтересован в ее сохранении, заключал оратор⁶¹.

Иную позицию занял Генри Фокс, один из известных политиков своего времени, прежде неоднократно занимавший государственные посты. В союзе с Питтом Старшим он находился в оппозиции кабинету, но, судя по тону выступления, период обсуждения выборов в Оксфордшире стал для него началом разрыва с Питтом. В ноябре 1755 г. Фокс занял пост государственного секретаря, а зимой 1755–1756 гг. опроверг все доводы выступивших перед ним ораторов. Фокс полагал, что нет необходимости обращаться к отдаленным античным временам, рассуждать о происхождении копигольдеров, допуске их к голосованию и последствий этого для конституции. Современное положение копигольдеров в корне изменилось по сравнению с их первоначальным статусом времен саксонского завоевания. Тем более, продолжал оратор, проблему нельзя разрешить на протяжении одной сессии, так как потребуются слишком большая предварительная рабо-

⁶¹ Ibid. P. 450–458.

та по подсчету всех маноров в графствах, выявлению числа и обстоятельств держания всех копигольдеров, традиций каждого манора и т.д. На сегодняшний день нет человека, способного дать такую информацию. Фокс согласился с Уолполом в том, что невозможно лишить права голоса тех копигольдеров, которые с незапамятных времен участвуют в выборах рыцарей в графствах, без предварительного слушания их аргументов в пользу законности этих прав. Несомненным является тот факт, что многие копигольдеры владеют большими участками земли, уплачивают налоги, в случае опасности готовы защищать страну. Почему надо отстранять их от выборов, если по традиции у них есть такое право? Но и решение о допуске к выборам невозможно осуществить путем простого голосования, так как палата общин не является единственным законодателем в королевстве. За исключением событий 1641 г. палата не предпринимала попыток изменения системы представительства, и мы все знаем, продолжал он, «какие ужасающие последствия имела та попытка». Между тем, утверждал Фокс, нет никакой необходимости рассматривать права всех копигольдеров, перед палатой стоит лишь конкретный вопрос о выборах в графстве Оксфорд, определении тех двух джентльменов, которые одержали победу, получив законное большинство голосов⁶².

Едва ли есть необходимость и далее приводить высказывания ораторов, так как их доводы лишь повторяли приведенные выше аргументы. После длительного обсуждения палата проголосовала против участия копигольдеров в выборах в графстве Оксфорд⁶³. Так был урегулирован конфликт, который занимал внимание палаты общин и графства на протяжении нескольких месяцев.

Речи ораторов являются уникальным источником для анализа мировоззрения и исторической культуры политической элиты середины столетия, когда значение тори было незначительным, а борьба за власть протекала между группировками вигов. Аргументация членов палаты общин в текущей политической полемике, ярко отражает и их взгляды на историю. Дискуссия по поводу прав копигольдеров выявила представление о них, как о «туземном населении», сохранившемся со времен саксонского завоевания, что можно рассматривать как отрицание историзма, развития.

⁶² Ibid. P. 458-463.

⁶³ Копигольдеры были допущены к выборам в графствах в результате первой парламентской реформы 1832 года.

Необходимо обратить внимание ещё на один аспект длительных дебатов. Корни обсуждения о превалировании римского или германского влияния уходят в далекое прошлое. То значение, которое придавали виги англо-саксонскому завоеванию, имело политическую подоплеку. Оно служило обоснованию легитимности Ганноверской династии на британском троне, что в пятидесятые годы все ещё сохраняло свою значимость.

Немаловажным в 1750-е гг. оставался также фактор отношения к событиям революции середины XVII столетия и к Карлу I. В это десятилетие ни имя самого короля, ни его законы не упоминаются членами палаты. Видимо, одна из причин умолчания кроется в беспарламентском правлении Карла I. А прозрачные намеки на бурные события того времени послужили скорее доводом утрашения, нежели аргументом политической полемики.

Однако ситуация изменилась в начале 1770-х гг. Всё чаще стало упоминаться имя Карла I, нередко именуемого «несчастливым королем»⁶⁴. Наиболее часто упоминаемым событием прошлого стала Английская революция середины XVII века. Обращение к ней происходило в контексте упоминаний ошибок власти. Уже в январе 1770 г. Э. Берк, довольно резко реагируя на заверения властей о том, что в обществе отсутствует недовольство по поводу Миддлсекских выборов, утверждал: «Министры несчастного Карла I рассказывали те же сказки, что мы слышим сейчас, сегодня прибегают к тому же искусству обмана», и эта «фатальная ложь» сопутствовала Карлу вплоть до его смертного часа⁶⁵. Лорд Кэмден упоминал введение корабельных сборов (которые вызвали негодование в народе). Он восклицал: тогда также говорили, что власть действует законно, но парламент отменил их позднее как незаконный сбор⁶⁶. Полковник Барэ, при рассмотрении дела газетчиков тоже упомянул «насилие» Карла I, когда он вошел в палату, с тем чтобы арестовать пять её членов. Этот поступок не имел прецедента. Одним ударом, как Калигула, можно разрушить конституцию и отправить в свою Бастилию тех, кто защищает свободу страны, говорил он. Но насилием и террором нельзя погасить древний огонь свободы острова, заключил оратор⁶⁷.

⁶⁴ РН, v. 16. P. 721.

⁶⁵ РН, v. 16. P. 721.

⁶⁶ РН, v. 16. P. 963.

⁶⁷ РН, v. 17. P. 152.

Обращение к событиям Английской революции середины XVII века напрямую было связано с непродуманными шагами правительства в отношении американских колоний. По мере нарастания этого противостояния усиливалось политическое размежевание, сказавшееся в оценке политики метрополии. Так, Т. Тауншенд утверждал, что те, кто поднял оружие против короля, действовали безупречно, более того, они заслуживают похвалы⁶⁸. Р. Ньюдигейт в ответ заявлял, что сам он не является защитником каждого акта Карла I, но ни один историк, каковы бы ни были его дарования (здесь можно увидеть явный намек на Д. Юма), не будет защищать тех, кто выступил против Карла⁶⁹. В этой связи любопытна небольшая дискуссия, отразившая реакцию на информацию о службе 30 января в память о Карле I. Фольстоун признавал, что революция разрушала традиции, но при этом она восстанавливала права англичан⁷⁰.

Гораздо более решительно высказался Д. Уилкс. По его мнению, день казни короля надо праздновать как день триумфа. Смерть **первого** Карла (таким образом, он нарушил формулу произнесения имени короля) – это смерть врага свобод страны, который начал войну со своим народом, и был повинен в смерти тысяч ни в чем неповинных подданных. Тиран был повержен. И революция должна оставаться в памяти как самое славное деяние, которое когда-либо происходило в нашей, или же другой стране. Без революции мы бы не имели конституции и превратились бы в рабов; не имели бы законов ограниченной монархии, а были бы подданными, и находились в полной воле суверена⁷¹. По сути, в словах Уилкса был высказан радикальный взгляд на события середины XVII столетия.

По мере дальнейшего обострения ситуации усилился мотив сравнения событий кануна Английской, либо Славной революций с американскими реалиями, настроений колонистов и подданных Карла I. В нижней палате Джонстон утверждал: теперь ясно, что народ Америки преисполнен тем же настроением и решительным духом, и побуждаем тем же энтузиазмом, с которым наши предки восстали против требований короны в дни правления Карла I. Они встали на защиту высоких доктрин парламентского превосходства. В против-

⁶⁸ РН, v. 17. P. 315.

⁶⁹ РН, v. 17. P. 316.

⁷⁰ РН, v. 18. P. 183.

⁷¹ РН, v. 18. P. 183-184.

ном случае американцев ждет сокращение их свобод до уровня свобод жителей владений Франции или Испании⁷².

Рост числа упоминаний Английской революции проявился во вновь и вновь повторявшихся сравнениях обложения налогом на чай колонистов с корабельными сборами, которые ввел Карл I⁷³. Между тем, симпатии в высказываниях парламентариев были скорее исключением, нежели правилом. Таким исключением стали слова лорда Чатама о конгрессе. Он отозвался о нем, как о более широком и более «благоразумном собрании», чем существовали во времена Древней Греции. Во всей древней истории, сказал он, мы не встретим более благородных собраний, чем конгрессы американцев⁷⁴.

Либеральное крыло обеих палат призывало кабинет, а через него и монарха, к благоразумию. Так, Д. Уилкс утверждал: если политика Лондона не будет взвешенной, то впоследствии американцы станут праздновать 1775 год, как мы празднуем 1688 год. Усилия дедов в борьбе за свободу увенчались успехом. И событие нашей истории, которое наполняет нас гордостью, было восстанием против незаконной власти, и оно основано на законах божьих и людских, а именно – праве народа на сопротивление тирану⁷⁵.

Аргументы, как сторонников правительства, так и оппозиции, пытавшейся предотвратить «силовой вариант» решения вопроса, не ограничивались только аналогиями с революциями XVII века. Вопросы, так или иначе связанные с положением дел в колониях, неизбежно вызывали апелляцию к прошлому, причем форма таких обращений была различной. Ораторы прибегали не только к событиям прошлого, но и к легендам и мифам, когда возникал образ конфликта отца и сына, при этом отец поступал несправедливо⁷⁶.

Тенденции, обозначившиеся в 1750–1770-х гг., получили дальнейшее развитие с рубежа 1780–1790-х гг. Прежде всего, отметим рост обращений к опыту прошедших лет, причем разброс поводов, побуждавших апеллировать к нему, был довольно широк: от положения дел в стране до конфликта России и Турции⁷⁷. Все чаще зву-

⁷² РН, v. 18. P. 60.

⁷³ РН, v. 17. P.1203, 1211

⁷⁴ РН, v. 18. P. 1570.

⁷⁵ РН, v. 18. P. 238-239. См. также: P. 254.

⁷⁶ РН, v.18. P. 191, 306, 309, 341,343, 348, 349, 894-895.

⁷⁷ Ibid., v.29. P. 63, 65, 71, 76, 85, 91-93, 101, 103, 121 etc.

чали ссылки на конституцию. Это было не столько упоминание актов, сколько упоминание гражданских свобод, которые были обеспечены «мудростью наших предков»: безопасность личности и собственности, свобода прессы, право иметь оружие, представительство и суд присяжных⁷⁸. Можно предполагать следующее. Своего рода сакрализация конституции, по которой парламент жил с древнейших времен (по утверждениям большинства ораторов), являлась показателем и проявлением сокращения власти монарха и двора и превращения парламента в центр политической жизни.

Упоминания о конституции были активизированы обсуждением ситуации во Франции. В обществе радикалы и виги (на начальном этапе) с восторгом встретили известия об ограничении власти короля и начале разработки конституции. В палате общин горячими сторонниками французской революции выступали Ч.Д. Фокс и Р. Шеридан. Иную позицию занял Э. Берк, он категорически высказался против сравнения событий во Франции с событиями Славной революции. Во Франции, утверждал он, разрушено всё: монархия, церковь, дворянство, законы, армия, торговля и т.д. Люди не знают умеренности, царит анархия и насилие. Тогда как нужно было только подправить порядок в государстве и придать ему законность. В Англии была иная ситуация. Настоящие патриоты выступили против деспотизма Якова II. Цвет английской аристократии обратился к принцу Оранскому, принцу королевской крови. Они призвали его защитить древнюю конституцию, что тот и сделал. Ничто не было разрушено в стране, ни церковь, ни армия, ни торговля⁷⁹. Иная интерпретация Французской революции, основанная на ином видении событий Славной революции, привела к окончательному разрыву с группировкой Ч. Фокса, а в дальнейшем – к появлению на свет известного сочинения Берка «Размышления о революции во Франции» и зарождению консервативной мысли в Британии.

Итак, подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что события прошлого являлись органичным компонентом парламентской риторики. Хорошее знание истории активными ораторами обеих палат позволяло им легко обнаружить аналогию с событиями, происходившими в истории Британии, Рима, Греции и других стран. Актуа-

⁷⁸ РН v.29. P.580, 1043-44, 1188-1192, etc.

⁷⁹ РН, v. 28. P. 354-372.

лизация таких параллелей была обусловлена конкретными законопроектами, ситуацией в стране, колониальных владениях или мире. Такой ораторский прием, когда события прошлого становились весомым доводом в выстраивании аргументации оратором, был наиболее распространенным в парламентских дискуссиях. Примером могут служить не только обсуждение выборов в графстве Оксфорд, но, например, дебаты по войне России с Турцией в начале 1790-х и многочисленные другие случаи.

Между тем, обозначился и иной, если можно так выразиться, дидактический, воспитательный характер использования событий прошлого в политической полемике. В таких случаях упоминания ведущее место отводилось истории Англии, примеры были призваны показать ошибочность решения властей, неизбежно влекущих печальные последствия. Как было оказано, именно такое обращение к кануну революции середины XVII века использовала оппозиция в период зарождавшегося конфликта с американскими колонистами.

И, наконец, отметим интерпретацию событий истории в контексте анализа современной ситуации. Так было при обсуждении обстановки во Франции, когда начальный этап революции ораторы приветствовали, сравнивая её с событиями Славной революции.

Таким образом, можно утверждать, что обращения к событиям прошлого чаще всего напрямую связаны с различными факторами кризисного характера, а именно: обострением внутривнутриполитической ситуации (выборы в графстве Оксфорд), усилением напряжения в колониальных владениях, международной обстановкой. При этом апелляция к ним выполняла различные задачи: она могла служить иллюстрацией высказанному мнению, бесспорным аргументом при обосновании собственной позиции, либо предостережением властей от совершения опрометчивого шага.

И хотя в «Парламентской истории Англии» и журнальных публикациях не было зафиксировано дискуссий вокруг интерпретации исторических событий, конфликт между Э. Берком и Ч. Фоксом демонстрирует связь размежеваний по политическим взглядам с различным видением прошлого и настоящего.

О. В. Заиченко

МЕЖДУ “НЕМЕЦКОЙ” ВОЙНОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ НЕМЦЫ В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

История человеческих обществ – это также история об общем прошлом. По замечанию Мориса Хальбвакса, каждая общность, в том числе и национальная, создает свою память о собственном прошлом – память, которая подчеркивает особенности этой общности, отличает ее от всех других. Воссозданные в общественном сознании образы прошлого дают возможность этой группе представить свою историю – происхождение и развитие, – что, в свою очередь, позволяет этому сообществу «узнавать себя в череде столетий»¹. С тех пор как в научной среде нации стали все больше рассматриваться не как “естественные” формы сосуществования, а, скорее, как продукты процессов коммуникации², в историографии национализма можно наблюдать постоянный рост интереса к конструкциям национальной идентичности и, в особенности, к национальным образам и национальной исторической памяти. Исходным пунктом многих исследований в этой области является идея о том, что представление или конструкция некоего “собственного” прошлого имеет конституирующее значение для возникновения национальной идентичности³.

В исследовании коллективных образов истории и коллективных идентичностей важную роль играет анализ исторических мифов⁴ как существенной части обобщенного представления нации о своем прошлом, которая воспринимается большинством нации как реальный исторический факт, способствует активизации патриотических чувств и имеет в основном консолидирующий характер. Эти мифы,

¹ *Halbwachs M.* The Collective Memory / Trans. by F.I. and V.Y. Ditter. N.Y., 1980. P. 86.

² См. напр.: *Anderson B.* Imagined Communities. Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism. London, 1990.

³ См., напр.: *Elwert G.* Nationalismus und Ethnizität. Über Bildung von Wir-Gruppen // *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie.* 1989. N 41. S. 440–464.

⁴ См.: *Nora P.* Les lieux de memoire. Paris, 1984–1994; *Schulze H., Francois E.* (Hg.) Deutsche Erinnerungsorte. Bd. 1. München, 2001; *Flacke M.* (Hg.) Mythen und Nationen. Ein europäisches Panorama. Berlin, 1998.

которые в научной литературе рассматриваются комплексно: и как исторические, и как национальные, живут в сознании многих народов и этнических общностей нашего времени, несмотря на нередко полное их несоответствие исторической истине. Но, внедрившись в массовое сознание благодаря «национально» ориентированному изложению отечественной истории в учебниках для средней школы и средствам массовой информации, они становятся составной частью исторической памяти для многих поколений. В этой связи представляется интересным проанализировать процесс складывания в Новое время основополагающего для формирования немецкой идентичности германского мифа, попытаться структурировать его, выделив его компоненты и проследив развитие каждого в отдельности и всех вместе, как единого нарратива. Для этого необходимо будет также на исторической шкале времени выделить основные координатные точки траектории процесса конструирования германского мифа, которые затем определяли главный вектор дальнейшего развития и мифологического конструкта в целом, и основных его компонентов.

Поставленная задача, безусловно, слишком масштабна для одной статьи. Поэтому целесообразно разделить ее на две части, связав с двумя фазами развития национального движения в Германии. Первая фаза представляет собой довольно длительный период, охватывающий почти три столетия: с XVII по XVIII в., когда национальная идентичность существовала преимущественно в кругах ренессансных и просвещенческих интеллектуалов, тогда как для основной массы населения были характерны конфессиональная и территориальная самоидентификация. В этот период немногочисленным слоем просвещенной элиты создается главный немецкий исторический миф – миф о древних германцах как непосредственных предках современных немцев, который стал решающим для формирования национальной идентичности, дал, наконец, разобщенному народу с довольно туманным и аморфным прошлым отчетливое представление о непрерывности немецко-германской истории и сущностном единстве. Это был длительный процесс в основном интеллектуальной работы элит, которые с помощью создаваемых мифов об общем прошлом медленно внедряли сформулированные ими идеи национального единства в массовое сознание.

В качестве второй фазы развития национальной идеи можно выделить период, когда произошел стремительный скачок в разви-

тии национальной мифологии, последовавший за Французской революцией. Этот период охватывал освободительные войны, реставрацию, новый революционный подъем 1848 года, т.е. всю первую половину XIX столетия. Это была эпоха массовых национальных и революционных движений, когда национальная идея, наконец, покинула кабинеты интеллектуалов и стала частью политических процессов, когда сконструированная с помощью исторических мифов воображаемая национальная идентичность распространилась на идеологическое и политическое пространство. В это время пробуждается острый массовый интерес к немецкой истории, и на основе германского мифа в немецкой литературе быстро формируется разветвленная национальная мифология с множеством героев и сюжетов. Но, как было сказано выше, этот скачок готовился в течение долгого времени и не, как у других народов, аристократией и правящей элитой: на протяжении нескольких веков в кругах интеллектуалов, не принадлежавших к дворянству и оттесненных им от политической активности, сформировались основные исторические мифы Германии, которые до начала XIX в. оставались уделом просвещенного меньшинства. Но пущенные в ход во время наполеоновских войн, они приобрели массовый характер и легли в основу формирования будущей националистической идеологии, не потеряв своей актуальности и в период объединения Германии, а затем во времена кайзеровской Германии и особенно Третьего Рейха.

В этой статье мы постараемся осветить процесс конструирования немецкими интеллектуалами основополагающего мифа немецкой истории, выделив из него его главные составляющие: мифы о древних германцах, о германской империи, о превосходстве немецкого языка и о вожде германского племени херусков Арминии. А также попытаемся обозначить ключевые моменты развития немецкой исторической мифологии, взяв за основу важнейший для формирования национальной идентичности период между Тридцатилетней войной (1618–1648), по праву названной современниками «Немецкой», и Французской революцией конца XVIII века.

Проблематика, связанная с историческими мифами, разработана довольно подробно⁵: в российской и зарубежной историографии

⁵ См., напр.: Эрлих С. История мифа. СПб: Алетейя, 2006. 265 С.; Проскурина В. Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 322 с.; Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской куль-

заложены прочные основы теории мифа, в том числе мифа исторического и национального. Как было сказано выше, большинство исторических мифов относится к сфере национальной и политической мифологии, так как, структурируя прошлое, они формируют актуальные национальные и политические смыслы. В частности, убедительная концепция мифа была разработана немецким историком Андреасом Дёрнером в его исследовании, посвященном немецкому мифу Германа / Арминия. По мнению Дёрнера, мифы являются «нарративными символическими образованиями с определённым потенциалом коллективного воздействия на основополагающие проблемы организации социальных объединений»⁶. Причем символическое значение мифа подвержено историческому развитию и изменению в зависимости от запросов сконструировавшей его общности, превращаясь в мощный инструмент воздействия. Мифотворчество, считает Дёрнер, начинается в тот момент, когда люди «усматривают в каком-либо историческом событии или личности потенциальную символическую величину, с помощью которой они пытаются передать свое видение реальности»⁷, опираясь при конструировании мифа на принятые в обществе «семантические традиции и структуры образов»⁸. Таким образом, создается символический мост между прошлым, настоящим и будущим, что делает возможным перенос характерных черт, присущих центральной фигуре мифа, на всю общность, в нашем случае – на нацию, и эти черты рассматриваются как нечто ей присущее, т.е. сугубо национальное. Личность, стоящая

турной памяти: святой, правитель, национальный герой. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 589 с.; *его же*. Политический миф и коллективная идентичность: миф Александра Невского в российской истории (1263–1998) // *Ab Imperio*. 2001. № 1-2. С. 141–164; *Афанасьев А.Н.* Происхождение мифа, метод и средства его изучения // *Афанасьев А.Н.* Дерево жизни: избранные статьи. М.: Современник, 1982. С. 21–36; *Кольев А.* Политическая мифология. Ремифологизация социального опыта. М.: РОССПЭН, 2002. 336 с.; *Münkler H.* Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin: Rowohlt, 2009, 639 S.; *Politische und historische Mythen in 19. und 20. Jahrhundert in Mittel- und Osteuropa* / Hrsg. *Hein-Kirchel H., Hahn H.H.* Marburg: Verlag Herder-Institut, 2006. 431 S.; *Broder L., Keil S.* Deutsche Legenden vom „Dolchstoß“ und anderen Mythen der Geschichte. Berlin: Rowohlt, 2002. 404 S.; *Hübner K.* Die Wahrheit des Mythos. München: Verlag Kark Alber Freiburg, 1985.

⁶ *Dörner A.* Politischer Mythos und symbolische Politik Der Hermann-Mythos: Zur Entstehung des Nationalbewusstseins der Deutschen. Hamburg, 1996. S. 43.

⁷ *Ebenda*, S. 48.

⁸ *Ebd.*, S. 61.

в центре мифического нарратива, часто становится объектом почти религиозного культа, так как, как правило, воплощает в себе лучшие качества, которыми обладает, по собственной оценке, эта общность.

Важнейшей функцией исторического мифа является создание национальной идентичности. «Что является тем структурирующим элементом, вокруг которого формируется нация? – спросил себя Этьен Франсуа в статье «Места памяти по-немецки: как писать их историю?». – И сам дал ответ на этот вопрос: «Это вера в мифы..., воспринимаемая как подлинная история нации»⁹. Исторический миф несет в себе «общую генеалогию нации», которая позволяет ему действовать как инструмент ее интеграции и сплочения, выполнять функцию политического ориентира, а также стимулировать способность к коллективному действию, выступая часто в качестве политического инструмента власти или партии. При этом интеграция и идентичность возникают не только на основе воображаемых общностей (общности языка, истории, культуры и т.п.), но также из-за сознательно направляемого разграничения с внешним миром. Только в столкновении и разграничении с другими нациями собственная национальная идентичность может восприниматься как неповторимая или богоизбранная.

Прежде чем приступить к основной части исследования необходимо также уточнить, что исторический миф, как правило, имеет многослойную структуру: это не только нарратив, но еще и соответствующие иконография и ритуалы. Помимо литературных текстов, выражением мифа было его визуальное воплощение в виде памятников, художественных полотен, карикатур и книжных иллюстраций, придававшее мифическому образу необходимую наглядность и конкретику. А также нельзя забывать и о ритуальных инсценировках в виде праздников, торжественных шествий, богослужений, поминовений и других форм проявления массового почитания. Несмотря на важность всех компонентов, представленное исследование будет в основном ограничено анализом публицистики и художественных текстов, прежде всего, поэтических, как самого влиятельного и массового источника формирования исторического мифа. На протяжении веков немцы рассматривали себя как «культурную нацию», свя-

⁹ Франсуа Э. «Места памяти» по-немецки: как писать их историю? // *Ab Imperio*. 2004. № 1. С. 31.

занную единством языка, литературы и истории. Находясь в состоянии политической, экономической и конфессиональной разобщенности, к началу XIX века Германия смогла создать лишь один не подлежащий сомнению интегрирующий элемент – общий немецкий литературный язык, носителем которого была интеллектуальная элита. Созданная этой культурной общностью литература приобрела «надрегиональный характер», став главным средством коммуникации немецких интеллектуалов и трансляции национальных идей. В основу работы положены сочинения немецких философов, историков, драматургов и литераторов, созданные в XVI–XVIII вв. и оказавшие наибольшее влияние на развитие исторических мифов и на их основе – национальной идентичности немцев.

* * *

Идея нации как политический и мировоззренческий феномен в германских землях начинает приобретать внятные артикулированные формы лишь на рубеже XVIII и XIX вв. Но, как уже отмечалось, этот процесс имел достаточно давнюю предысторию, одним из центральных моментов которой была Тридцатилетняя война. Поскольку формирование национального самосознания опирается не только на исторические мифы и разного рода мыслительные конструкции интеллектуалов, но и на процессы фактической интеграции в социально-экономической, политической и культурной сферах, необходимо также взглянуть на материальные предпосылки развития немецкой национальной идентичности, которые сложились к середине XVII века – к моменту окончания Тридцатилетней войны¹⁰.

В этой области существовало множество проблем. Даже само слово «Германия» казалось абстракцией, не имевшей конкретного наполнения¹¹. Страны с таким названием не существовало, а для географического понятия «Германия» обладала слишком неопределенными границами, невыгодно отличаясь, например, от находившейся в похожей политической ситуации Италии. Отсутствовали и твердые политические рамки, которые могли бы придать «Германии» более определенные очертания. Священная Римская империя явно не могла справиться с этой ролью, несмотря на полученное в начале XVI в.

¹⁰ См., например: *Duchhardt H. Altes Reich und europäisches Staatenwelt 1648–1806.* München, 1990.

¹¹ *Geschichtliche Grundbegriffe.* Stuttgart, 1992. Bd. 8. S. 485.

многообещающее добавление «немецкой нации». Империя была не в состоянии дать немцам ощущение некоего единства уже потому, что ее границы были еще менее определенными, чем границы Германии географической. Имперские князья владели землями вне Империи (Венгрия, польские земли), а иностранные государи, например, короли Дании и Швеции, располагали территориями внутри нее. Границы немецкого языкового пространства также не совпадали с государственными границами Империи. Такая же неопределенность царила и в отношении ее центра, который мог бы стать для немцев точкой политического, экономического и культурного притяжения. Если итальянцы в качестве пока эфемерного, но потенциально бесспорного центра имели Рим, то немцы терялись среди изобилия древних и новых столиц, резиденций и мест коронаций императоров. К концу XVIII в. немногочисленные основные институты Империи были разбросаны по всей ее территории: император находился в Вене, короновался во Франкфурте, рейхстаг собирался в Регенсбурге, а имперская Судебная палата заседала в Вецларе¹².

Территориальная и политическая неопределенность сопровождалась ростом суверенитета экономически независимых друг от друга княжеств с отсутствием общегерманской торговли, с огромным количеством внутренних пошлин и редким разнообразием денежной системы, а также системы мер и весов. Ситуация осложнялась конфессиональным разделением немецких земель на преимущественно католический юг и протестантский север¹³. Время от времени обострялись династические противоречия внутри Империи между Габсбургами и пфальцской и баварской ветвями могущественного рода Виттельсбахов¹⁴. Кроме того, из-за географического расположения немецкий этнос все время находился в центре международно-политических процессов в Европе. Это обстоятельство обусловило торможение соседними великими державами процесса образования немецкого государства-нации. Окончательным приговором империи стал Вестфальский мир 1648 года, установивший, по сути, полный суверенитет ее отдельных территорий. В результате политическая

¹² Duchhardt H. Op. cit. S. 6–12.

¹³ См.: Schilling H. Nationale Identität und Konfession in der europäischen Neuzeit // Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit. Frankfurt a.M., 1991.

¹⁴ Duchhardt H. Op. cit. S. 59ff.

раздробленность германских земель стала нормой как внутреннего, так и международного права. Как следствие, современное государство в германских землях развивалось не на уровне Империи, а на уровне отдельных ее частей. Не удивительно, что в условиях такой фрагментации самосознание масс и элиты также имело в основном местный характер¹⁵. И вообще, нормальным состоянием массового сознания на рубеже веков была полная аполитичность, преобладание насущных нужд и местных привязанностей. Как писал в 1783 г. южногерманский публицист И.К. Рисбек: «У немцев нет ничего от национальной гордости и любви к отечеству... Их гордость и чувство отечества относятся только к той части Германии, где они родились. К другим своим соотечественникам они чужды точно так же, как к любому иностранцу»¹⁶. На этом уровне вопрос «кто такие немцы?» в мирное время практически не вставал, и только кризисные ситуации, например, войны, требовавшие национальной мобилизации, стимулировали поиск ответа на этот вопрос.

Тогда развитие национальной идеи в среде немецкой интеллектуальной элиты получало новый импульс, и ее содержательная сторона конкретизировалась в исторических мифах об общем прошлом, сыгравших решающую роль в распространении представлений о том, кто такие немцы, и что их объединяет. Различные формы переработки и дальнейшей письменной фиксации этих мифов, а также создание новых мифов, опирающихся на древние традиции, составляют обширное наследие немецких литераторов и публицистов на протяжении более чем трех столетий. В кризисные моменты истории еще немецкие гуманисты XV–XVI вв. прибегали к подобным легендам и сказаниям о «прошлом величии» в тех случаях, когда стремились подчеркнуть необходимость самобытного пути развития, противопоставляя «былую мощь» современному плачевному состоянию немецких земель, а также создать ощущение непрерывности исторического процесса и преемственности поколений.

В современной историографии неоднократно делались попытки как-то структурировать германскую историческую мифологию. Все

¹⁵ Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 1. München, 1987. S. 48-90ff.

¹⁶ Riesbeck J.K. Der deutsche ist der Mann für die Welt // Schulze H. Der Weg zum Nationalstaat. München, 1997. S. 129.

они вполне логичны и имеют право на существование¹⁷. Но нам в этом исследовании представляется целесообразным предложить еще одну классификацию и выделить из общей массы текстов основные составляющие, так называемого, конституирующего мифа о происхождении и производные от него, чаще подверженные изменению и переосмыслению, – мифы о героях.

Первая группа, составляющая главный германский миф, дает развернутый ответ на вопрос: кто такие немцы? Она составляет основу национальной самоидентификации, так как определяет важнейшие содержательные компоненты немецкой национальной идеи: общее происхождение, знаковые места исконного расселения, воображаемые константы немецкого национального характера и внешнего облика «истинного немца», обосновывает самобытность народа и его непохожесть на другие нации, а часто его превосходство над другими и богоизбранность. Как правило, это – «истории на века», которые практически не меняются с течением времени, дольше других остаются актуальными и в разные эпохи легко встраиваются в новые идеологические конструкции. К таким основополагающим мифам, следует отнести, прежде всего, древнегерманский миф об общем происхождении немцев, а также связанные с ним представления о превосходстве и уникальности немецкого языка, и, развивающий дальше во времени основные идеи древнегерманского мифа, так называемый имперский миф. Базовым в этом нарративе, безусловно, являлся древнегерманский миф. Он опирался на небольшое произведение римского историка Корнелия Тацита (56–120 н.э.) «Германия», написанное в 98 г., и обосновывал претензии немцев не только на древнее происхождение, но и на целый комплекс моральных качеств, которыми интеллектуалы наделили своих соотечественников. Задачей этого мифа, как верно отмечает исследователь Дитер Лангевитше, было «уничтожить историческое время, чтобы перенести начала собственной нации в мифическую даль»¹⁸.

Во вторую группу выделим так называемые мифы о героях, которые являются производными от первой группы основополагающих мифов: древнегерманского и имперского. Это мифы – призывы

¹⁷ См., напр.: *Mythen und Nationen. Ein europäisches Panorama*. Berlin, 1998; *Dörner A. Politischer Mythos...*; *Münkler H. Die Deutschen und ihre Mythen...* и др.

¹⁸ *Langewiesche D. Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa*. München, 2000. S. 26.

к действию, мифы противостояния врагам, мифы борьбы, и очень часто, предательства, которые формировали не только положительный образ «своих», но и негативный образ «чужого», образ «врага». Они наиболее сильно активизировались в период войн и кризисов, и в зависимости от обстоятельств, наиболее часто наделялись новыми смыслами: борьба с Римом, борьба с итальянцами и французами, борьба с иностранным влиянием и за национальную и культурную самобытность, борьба за государственное единство, политическая борьба с внутренними врагами за конституционные реформы и врагами внешними за политическое преобладание в Европе. В случае поражения к мотиву борьбы присоединялся мотив предательства, «удара в спину», объяснявший причины военных и политических неудач. Наиболее значимым общегерманским мифом о герое является, на наш взгляд, миф о победителе римлян, вожде германского племени херусков Арминии-Германе, ставший производным от древнегерманского мифа.

Миф о происхождении: кто такие немцы?

Многие важнейшие содержательные основы немецкой национальной идеи – древнегерманский и имперский мифы с ярко выраженной антироманской коннотацией, концепция превосходства немецкого языка – были заложены еще в эпоху гуманизма и барокко. Немецкие гуманисты рубежа XV–XVI вв. Конрад Целтиг (1459–1508), Якоб Вимпфелинг (1450–1528), Ульрих фон Гуттен (1488–1523) и другие в противовес церковному и культурному преобладанию итальянцев стремились доказать равноправие, если не превосходство немцев. Будучи не в силах оспаривать очевидное преобладание итальянской культуры в настоящем, они искали компенсации в областях не столь очевидных: в истории, в моральных качествах.

Как раз в это время была найдена знаменитая «Германия» Тацита, что позволило предвестникам немецкой нации говорить применительно к «аморфному в прошлом, постоянно видоизменяющемуся политическому миру между Северным и Балтийским морями, Рейном, Дунаем и Вислой как об исторически цельном – земле немцев»¹⁹. В трудах Конрада Целтига и его единомышленников начинают выкристаллизоваться основные понятия, которые впоследствии составят фундамент представлений о германской нации.

¹⁹ Доронин А. Историк и его миф. М., 2007. С. 238.

В числе наиболее важных из них следует упомянуть такие сочинения, как «Германия к Страсбургской республике» (1501) Якоба Вимпфелинга и его же «Хвала городу Страсбургу и Рейну Якоба Вимпфелинга из Шлеттштадта» (1501) и «Краткое изложение деяний германцев» (1505); «Хвала Германии» (1501) Генриха Бебеля, «Саксония» (1505) Альберта Крантца, «Краткое описание Германии» (1512) Иоганна Лохтеля, «12 книг бесед о Германии» (1518) Франциска Иреника, «Баварская хроника» (1533) Иоганна Авентина и другие. В результате на рубеже XVI–XVII вв. в трудах немецких гуманистов создается важнейшая конструкция коллективной памяти нации на основе ее происхождения с исходным пунктом в виде «Германии» Тацита и идеи восходящей к древним германцам общей этнической, языковой и культурно-цивилизационной принадлежности. В малом произведении римского историка, полное название которого «О происхождении и местах обитания германцев» впоследствии сократили до вполне понятного «Германия», говорилось о взгляде культурных римлян на нецивилизованный неримский мир. В нем была описана общественная жизнь, быт, нравы и верования древних германцев. В частности, Тацит писал: «Я склоняюсь к тому, что германцы являются исконными обитателями этой земли, а смешение с другими народами или взаимодействие с другими племенами оказало на них ничтожное влияние.... Что до меня, я склонен считать, что германские народы никогда не сочетались браками с другими народами и поэтому являются особой нацией, чистой и уникальной в своем роде. Поэтому физический облик их... повсюду одинаков: неистовые голубые глаза, рыжеватые волосы и огромные сильные тела. Они храбры и добродетельны, но особенно отличаются там, где требуется исключительная физическая сила»²⁰.

При этом слова «германцы» и «варвары» для Тацита – синонимы. Однако несмотря на то, что германцы бедны и склонны к пьянству, а их религия унижает человеческую личность, в целом, при сравнении с разложившимся Римом, эти варвары выигрывают. Так, бедность германцев порождает не только дикость, но и нравственную чистоту, которой лишены соотечественники римского историка. Противопоставляя искусственность и вырождение римской цивили-

²⁰Тацит К. О происхождении германцев // Тацит К. *Анналы. Малые произведения* / Перевод А.С. Бобовича. М.: Наука, 1993. В 2-х томах. Т. 1. С. 334.

зации природной естественности, жизненной силе и наивности германского варварства, Тацит, в определенной мере, способствовал дальнейшей идеализации германцев и «варварства», в целом, ставшего знаком самобытности и свободы от римского влияния, борьбы с культурным и физическим порабощением со стороны Рима.

Труд Тацита имел колоссальное и даже во многом определяющее значение для всего последующего развития немецкой идеи нации. Сочинение римского историка было найдено в 1425 г., когда известный итальянский гуманист, папский секретарь Поджо Браччолини получил от монаха из Герсфельдского аббатства инвентарную опись ряда рукописей, в числе которых находилась рукопись малых произведений Тацита²¹. В 1470 г. малые произведения, в том числе и «Германия», были опубликованы в Венеции. Немецким гуманистам, с характерным для них преклонением перед античностью, это сочинение внушило убеждение в том, что их предки являлись исконными поселенцами германской территории²², всегда были свободны, храбры и отличались высокими нравственными качествами.

Дальнейшее развитие национальной идеи и связанных с нею основополагающих мифов произошло в эпоху Тридцатилетней войны, получившей у современников название «Немецкой» не только потому, что основным театром военных действий стали именно немецкие княжества. Эта война, являясь, по сути, многоуровневым европейским конфликтом, стала огромным «потрясением для всего немецкого народа»²³. Если французская оккупация и освободительные войны первой половины XIX в. были временем основного оформления национальной идеи, то «Немецкая» война (1618–1648) и вызванное ею ощущение общегерманской катастрофы, дали первый мощный толчок к появлению ростков национального самосознания и складыванию представлений о единой Германии. И главными носителями нарождающегося общегерманского патриотизма были интеллектуалы XVII века, лидеры и идеологи движения за развитие и популяризацию немецкого языка, известные литераторы и публицисты, такие как Мартин Опиц (1597–1639), Георг Филипп Гарсдёрфер (1607–1658), Андреас Грифиус (1616–1664), автор популярного романа

²¹ См. Тронский И.М. Корнелий Тацит // Тацит К. *Анналы*... С. 596.

²² Там же. С. 598.

²³ Schmidt G. *Der Dreißigjährige Krieg*. München, 2002. S. 150.

«Приключения Симплициссима» Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен (1625–1676), главный идеолог общегерманского движения языковых обществ писатель и филолог Юстус Георг Шоттель (1612–1676) и многие другие²⁴. Практически все они составляли то военное поколение, на которое Тридцатилетняя война произвела неизгладимое впечатление. Получив хорошее университетское образование и реализовав себя на государственной службе, главной темой своих произведений они сделали судьбу Германии и ее народа. Печальное настоящее заставляло их более пристально вглядываться в прошлое. Неудивительно, что в основу конструирования нового национального мифа они положили вновь обретенную «Германию» Тацита.

Для образованных немцев эпохи Тридцатилетней войны сочинение Тацита стало той исходной точкой, из которой они выводили, во-первых, древность происхождения немцев, а во-вторых, комплекс нравственных качеств и достоинств, которыми Тацит наделил германцев²⁵. Впоследствии весь разработанный ими набор «немецких преимуществ» вошел в состав идеологических конструкций их последователей вплоть до XX века. Термины «немцы» (*die Teutschen*) и «германцы» (*die Germaner*) в их трудах получают знак тождественного равенства²⁶. У Тацита нет конкретных данных о времени заселения германцами их территорий, однако он писал о «древности происхождения» германцев²⁷. Исходя из этого, немецкие литераторы начали развивать свои собственные идеи о том, когда же предки немцев заселили территории «между реками Рейном и Дунаем». В частности, они ссылались на то, что даже римляне перенимали обычаи германцев²⁸, соглашаясь с их более древним происхождением. Древность рода обуславливала, по общему мнению, превосходство немцев над другими европейскими «нациями». Подчеркнутое принижение римлян, которые в некоторых работах уже изображались предками романской группы европейских народов, способствовало созданию

²⁴ См.: *Лазарева А.М.* Национальная мысль в Германии в эпоху Тридцатилетней войны. Автореф. дисс. М., 2008.

²⁵ *Langewiesche D.* Op. cit. S. 45.

²⁶ *Opitz M.* Buch von der deutschen Poeterey // *Ausgewählte Dichtungen* / Hrsg. *Östley C.* // *Deutsche Nationalliteratur*. Bd. XXVII. Stuttgart, 1888. S. 38.

²⁷ *Тацит К.* О происхождении германцев... С. 338.

²⁸ См., напр.: *Borinski K.* Poetik der Renaissance und die Anfänge der literarischen Kritik in Deutschland. Berlin, 1886. S. 17.

впечатления о явном превосходстве немцев над итальянцами, французами, которые не могли похвастаться такой древностью своих корней. Постулат о немецком превосходстве укреплял поэтов в борьбе за культурную независимость: «Немцы — самая древняя из всех наций на земле»²⁹, поэтому «не стоит искать мудрости у иностранцев»³⁰.

Опираясь на традицию, заложенную Тацитом, литераторы создавали миф о своих предках как о людях высоких моральных качеств: чистых, благородных, отважных, не испорченных порочными нравами римлян. Этот комплекс положительных нравственных качеств превращал германцев в идеал для современных немцев. Интерпретируя труд Тацита, немецкие интеллектуалы делали основной упор на силу, смелость и сплоченность древних германцев, которые неизменно вели их предков к победам.

Важной составляющей формирующегося германского мифа, также взятой на вооружение последующими поколениями немецких интеллектуалов, стала тема автохтонности и природной «чистоты» языка и расы. «Что касается германцев, — писал Тацит, — то я склонен считать их исконными жителями этой страны, лишь в самой ничтожной мере смешавшимися с прибывшими к ним другими народами»³¹. Мотив расовой чистоты германцев активно использовался публицистами, которые апеллировали к ней как к высшей инстанции, считая, что именно «чистота наших славных предков» давала им силы³². Древним германцам приписывались и другие качества, которые авторы хотели бы видеть в современном им обществе. Одним из них было свободолюбие, особенно востребованное в годы борьбы с иностранными завоевателями. По общему мнению немецких литераторов, наиболее четко выраженному поэтом Иоганном Клайем Младшим (1616–1656), во времена древних германцев «Германия была свободна от иноземной власти... как об этом уже писал благородный римлянин Тацит более 1500 лет назад»³³. Рассказывая о

²⁹ *Grimmelshausen H.J.Ch. Der Teutsche Michel // Grimmelshausen H.J.Ch. Werke in vier Bänden / Bibliothek deutscher Klassiker. Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1972. Bd. 3. S. 220.*

³⁰ *Ibid.* S. 211.

³¹ *Тацит К.* Указ. соч. С. 339.

³² *Klaj J. Lobrede der Teutschen Poeterey // Klaj J. Redeoratorien. Tübingen, 1965. S. 379.*

³³ *Klaj J. Op. cit. S. 380.*

жизни древних германцев, поэты оперировали уже современными им категориями, говоря об «Отечестве» германцев. Выдвигался также тезис о территориальном единстве немцев в древности: «Не гордились заборы, не существовало пограничных камней»³⁴.

Основной идеей, высказанной Тацитом и растиражированной литераторами эпохи Тридцатилетней войны, была мысль, что германцы «искони составляют особый, сохранивший изначально чистоту и лишь на себя самого похожий народ»³⁵. Тема необходимости возвращения и культивирования исконно немецких качеств была лейтмотивом там, где речь шла о германском мифе. В целом, этот миф служил благотворным средством в деле поднятия немецкой самооценки: желание принадлежать к «такой древней» и всеми «уважаемой нации» возрастало.

Мифы, активно использовавшиеся публицистами и поэтами в своих сочинениях, способствовали созданию не только картины героического исторического прошлого, но и образа самих немцев. В первую очередь речь идет о немецком национальном характере. Представления о себе резко контрастировали с представлениями о других: безнравственных и испорченных наследниках римлян – италиянцах, а затем и французах. Нередко в сочинениях нескольких поколений немецких интеллектуалов звучали обвинения в адрес французов как народа, утратившего свои традиции, не имеющего ни собственного языка, ни даже имен, чуждого добродетелям, несостоятельного в своих претензиях на главенство в христианской империи. Еще Авентин представлял французов «злом из ящика Пандоры», явившего миру «все несчастья, от коих произошли самые разнообразные эпидемии и болезни, лихорадка, чума, язва», но французы превзошли все³⁶. Здесь срабатывал так называемый «фактор зеркальной противоположности», представление, что все негативные качества, которые есть у «врагов», абсолютно чужды самим себе. Поэтому в сочинениях поэтов, писателей, публицистов сложился идеализированный образ немца, приводивший, в свою очередь, к идеализации всей немецкой нации. Позитивный образ немцев достигался с помощью ссылок на «седую древность». Исходной точкой

³⁴ Ibid. S. 371.

³⁵ Тацит К. Указ. соч. С. 339.

³⁶ Доронин А. Указ. соч. С. 249.

для такого портрета опять послужил мифологизированный образ древних германцев. Германцы обладали «верностью, смелостью, воинственностью», т.е. теми качествами, которые «способны украсить нацию», как выразился Юстус Георг Шоттель³⁷. Обозначенный интеллектуалами комплекс характерных черт являлся, по сути, концентрацией того, что они назвали в своих сочинениях «древними немецкими добродетелями, к которым постоянно апеллировали»³⁸. Немецкую добродетель поэты подчеркивали во всем – от быта («не забывайте добродетель, когда принимаете пищу», – советовал Георг Филипп Гарсдёрфер³⁹) до поля боя («Марс не покинет добродетельных», – был убежден страсбургский поэт Исаяя Ромплер фон Лёвенгальт⁴⁰). Под немецкими добродетелями они подразумевали очень широкий круг положительных качеств. «Усердие, преданность, честь немца» дополняли и скромность, и честность, и великодушие, и отвага, и мужество, и стойкость и многое другое. Именно немецкая добродетель давала немцам право, по мнению Ганса Якоба Гриммельсгаузена, называть себя «самой смелой, самой благородной и самой древней нацией под солнцем»⁴¹. Древность и благородство в представлениях писателей и публицистов эпохи Тридцатилетней войны были неотъемлемой составляющей немецкой идеи нации. Немецкой древностью гордились. Часто поэты называли своих соотечественников «благородными», рассказывая об их достоинствах. «Национальные» черты носили в основном декларативный характер, их упоминали для создания портрета «истинного немца».

Древнегерманский миф, основанный на произведении Тацита, несмотря на далеко идущие параллели, был ограничен во времени античностью. Следовавший за ней имперский период немецкой истории также нуждался в своей мифе. Причем имперский миф должен был сохранить преемственность с предыдущей эпохой римского владычества и начинался там, где предыдущий миф заканчивался –

³⁷ Schottel J.G. Ausführliche Arbeit von der Teutschen Hauptsprache (1663) / Hrsg. W. Hecht. 2 Bd. Tübingen, 1967. Bd. 2. S. 189.

³⁸ См.: Grimmelshausen H.J.Ch. Der Teutsche Michel ... S. 73.

³⁹ Harsdörfer G.Ph. Nathan und Jothan. (1659) / Hrsg. Braungart G. Stuttgart, 1998. S. 75.

⁴⁰ Rompler von Löwenhalt J. Des Jesaias Romplers... erstes Gebüsch seiner Reimgedichte. Tübingen, 1988. S. 12.

⁴¹ Grimmelshausen H.J. Der teutsche Michel... S. 26.

с падения Рима и захвата его германскими племенами. Миф о «великой немецкой Империи», как часть общего исторического нарратива, также оказал большое влияние на формирование немецкой идентичности, хотя и не получил такого всеобъемлющего распространения, как миф о древних германцах. Первыми вклад в становление легенды об имперском величии немцев внесли гуманисты, доказывая прямую преемственность Священной Римской империи от Древнего Рима и империи Карла Великого и заявляя об особых качествах немецкой нации как носителя имперской идеи. Конрад Цельтис одной из программных задач основанного им кружка гуманистов считал «изображение блестящих подвигов нации и ее имперского достоинства как наследницы Рима». Уже в 1492 г. при вступлении в должность профессора Ингольштадтского университета, Цельтис утверждал, что немцы от природы наделены добродетелями, дающими им моральное право считать себя наследниками Римской империи, которыми они стали на деле благодаря *translatio imperii* (переносу империи) на империю Карла Великого⁴². В свою очередь, Якоб Вимпфелинг оспаривал у французов «права» на Карла Великого, утверждая, что тот был немцем. Престиж и превосходство немецкой нации над другими, основанные, прежде всего, на культурных достижениях и обладании Империей, также играли большую роль для Ульриха фон Гуттена⁴³.

Созданию образа самой могущественной мировой державы – немецкой Империи – способствовала библейская легенда о четырех последовательно сменяющих друг друга империях. «Учение о четырех великих царствах», было взято на вооружение еще немецкими гуманистами⁴⁴. Традиционная трактовка мировой истории рассматривалась как последовательность четырех царств – Ассирийского, Мидийско-Персидского, Греческого и Римского. Первое из них было царством Навуходоносора, а четвертое должно разрушить все остальные и само остаться навеки. Священная Римская империя провозглашалась наследницей древнего Рима⁴⁵ и последней земной им-

⁴² *Celtis C. Oratio Ingelstadio publice recitata*/Ed. H. Rupprich. Leipzig, 1932.

⁴³ См.: *Hardwig W. Ulrich von Hutten. Zum Verhältnis von Individuum, Stand und Nation in Reformationszeit // Nationalismus und Bürgerkultur in Deutschland 1500–1914. Göttingen, 1994. S. 15–30.*

⁴⁴ *Lübbe-Wolf G. Die Bedeutung der Lehre von den vier Weltreichen für das Staatsrecht des römisch-deutschen Reiches // Der Staat. 1984. N 23. S. 369–389.*

⁴⁵ *Lübbe-Wolf G. Op. cit. S. 370.*

перией. И тут вставал главный вопрос о том, кто – итальянцы, французы или немцы – наследует славе, власти и культуре Рима и принимает на себя бремя забот о будущем христианства. Патриоты единой Германии противопоставляли политическим амбициям французского королевства и папского престола исторический континуитет: акт переноса империи и культуры на германскую нацию через Каролингов расценивался ими как законное основание для притязаний на особую миссию в рамках христианской ойкумены, объявляя правление Карла Великого началом возрождения Римской империи. Неудивительно, что именно он стал ключевой фигурой в споре немцев и французов за корону императора Священной Римской империи, национальным символом для тех и других и одним из объектов мифологизации. Именно поэтому Якоб Вимпфелинг проявил такое остроумие, доказывая, что Карл Великий был немцем, и никак не мог быть французом, хотя в VIII в., веке племенных образований еще не существовало ни немцев, ни французов в их современном понимании⁴⁶.

Стоит подчеркнуть два вывода, сделанных на основе создаваемого в этот период имперского мифа: политический – претензии на универсальное господство, обладание монархией принципиально иного калибра; метафизический – на немцах заканчивалась земная история, они – финал, дальше уже грядет Пятое царство – царство Божие. Это, бесспорно, укрепляло национальную гордость. Отождествляя себя с древними германцами, немецкие литераторы писали о немецком завоевании Рима, что, по их мнению, привело к перерождению и оздоровлению погрязшей в пороках империи. Таким образом они пытались доказать, что немцы выступили не только как наследники, но и как спасители и обновители Римской империи. Они избавили ее от пороков, приведших Рим к гибели, «наполнив римскую форму немецким содержанием». «Как мякину с гумна разносит летний ветер, / так немцы атаковали и завоевали Рим / Только имя оставили себе / победители от побежденных», – писал Клай⁴⁷. В исполнении Божьей кары – разрушении погрязшего в пороках Рима и создании четвертой и последней, согласно пророчеству Даниила, империи на Земле – Священной Римской империи германской нации,

⁴⁶ См. *Wimpfeling J. Germania//Der deutsche Staatsgedanke von seinen Anfängen bis auf Leibniz und Friedrich den Großen. Dokumente und Entwicklung. Zusammenge stellt und eingeleitet von Joachimsen P.* Darmstadt, 1967. S. 25 - 27.

⁴⁷ *Klaj J. Geburtstag des Friedens // Klaj J. Redeoratorien.* Tübingen, 1965. S. 301.

немецкие интеллектуалы нескольких поколений видели высшее предназначение и божественную награду немцам за их благочестие.

Санкцией Бога в рамках христианского мировоззрения должны были подкрепляться претензии того или иного народа на лидерство. Поэтому благочестие становится неотъемлемой характеристикой немцев и, как следствие, принципиальным аргументом в политической полемике. Как уже отмечалось выше, в описании Тацитом высоких моральных качеств германцев, которое должно было служить для критики разлагающейся современной ему римской морали, и не более того, немецкие интеллектуалы увидели подтверждение и знак богоизбранности собственной нации, что позволило ей занять особое место в христианском мире. Как писал еще Х. Бебель в своей «Похвале Германии»: «Именно наши немецкие властители, будучи образцами нравственности, приняли на себя все заботы, все тревоги, всю ратную работу во имя служения Господу и вере, а также благоденствия и роста христианской империи»⁴⁸. В этом контексте порочность и пренебрежение добродетелями неизбежно влекли за собой божественную кару – разрушение империи и ее перенос. Спор о том, какая нация более нравственна, а потому достойна наследовать Риму, приобретал важное политическое значение, создавая благодатную почву для национальных мифов.

Имперский миф, кроме доказательства превосходства немцев над французами и итальянцами, содержал еще один важный мотив – это мотив внутреннего единства. Заменяя «Римскую» империю на «Немецкую», идеализируя прошлое, поэты писали о будто бы существовавшей некогда единой стране «Германии»: «Пока немецкие земли / были вместе и не существовало пограничных камней, / Германия была величайшим государством в мире»⁴⁹.

Еще одна из составляющих германского мифа – идея о превосходстве немецкого языка, распространение которой связано с Реформацией. Унифицирующее воздействие распространения перевода Библии с латыни на немецкий язык, сделанного Лютером, положило начало немецкому литературному языку. Бытовало мнение, что перевод Библии придал немецкому языку святости, «потому что древнееврейский и греческий являются священными языками, поскольку на

⁴⁸ *Bebel H. Lob Deutschlands//Der deutsche Staatsgedanke ... S. 34.*

⁴⁹ *Klaj J. Geburtstag des Friedens ... S. 302.*

них составлены Ветхий и Новый Заветы. Каждый язык, который с помощью перевода доносит слово Божье, освящается таким образом»⁵⁰. Язык соединил немцев, «сделав слово Божье понятным каждому», став «главной опорой немцев»⁵¹.

В XVII в. возникло учение о немецком как «главном языке», «языке героев», противопоставляемом современному упадку Германии как «голос из героического прошлого»⁵². Участники так называемых «языковых обществ», которые повсеместно возникали в университетских городах, разрабатывали иерархию европейских языков и утверждали, что немецкий – древнейший и самый богатый. На этом основании «языковые патриоты» всерьез спорили о таких вещах, как участие германцев в осаде Трои или возведении Вавилонской башни. Немецкий язык подразумевал, во-первых, прирожденную «немецкость», т.е. комплекс положительных, изначально заложенных в каждом немце качеств. Во-вторых, немецкий язык воспринимался литераторами как «совершенный», не такой, как остальные. В-третьих, он был «чистым», освобожденным от иноязычных примесей и пороков древнего Рима, присущих латыни и романским языкам. В-четвертых, немецкий язык отражал немецкий национальный дух. Именно в языке поэты, писатели, публицисты видели отражение «немецкой сути».

В целом этот путь развития национального языка – от обоснования равенства с другими европейскими языками до открытых доказательств превосходства – напоминает основные пункты процесса утверждения «национальных мифов». В качестве непреложного доказательства равенства с латынью, немецкие филологи обращали внимание в первую очередь на древность родного языка. Древность в данном случае была непререкаемой отправной точкой, связывавшей немцев с их идеалом – германцами. Немецкий язык, по мнению литераторов, был самым природным, самым естественным из всех европейских языков. Само звучание немецких слов наибольшим образом соответствовало тем звукам, которые существуют в природе. Родной язык, как писал Гарсдёрфер, «рычит как лев, ревет как вол, бурчит как медведь, блеет как овца, хрюкает как свинья, лает как собака, шипит как змея, ...мяукает как кошка, гогочет как гусь, ...журчит и шу-

⁵⁰ Schottel J.G. Ausführliche Arbeit von der Teutschen Hauptsprache.... Bd. 2. S. 489.

⁵¹ Schottel J.G. Op. Cit. S. 490.

⁵² Ibid. S. 488.

мит с водой, шепчет с ручьями, жужжит с пчелами, грохочет с громом, сгибается и потрескивает как горящее полено, лязгает как железо – и воспроизводит все звуки, какие только можно услышать»⁵³. В утверждении «природности» немецкого языка латентно содержалась заявка на его превосходство над другими, так как они автоматически должны были мыслиться как более «искусственные».

Связь немецкого языка с природой свидетельствовала о его «чистоте», потому что природа изначально не несла на себе отпечатка человеческих пороков. Французский, испанский, итальянский языки происходили от римской латыни и были отмечены печатью слабости и разложения позднего этапа римской истории, в то время как «благородные предки немцев» «еще в те далекие времена всячески избегали порока». Таким образом, немецкий был по сути единственным в мире языком, лишенным отпечатка «порочности римлян»⁵⁴. В целом, мотив чистоты древних германцев, а соответственно всех немцев и их языка поэты выводили, опять основываясь на «Германии» Тацита.

Идея близости родного языка к природе, мотив «чистоты» приводили интеллектуалов к выводу, что именно немецкий может считаться «языком Бога». Бог заключает в себе силу природы, значит, божественным может быть лишь тот язык, который наиболее адекватно передает природные звуки. Ни один из других европейских языков не может сравниться в этом с немецким: «Другие европейские языки пытались воспроизвести то, что под силу было лишь немецкому языку, но не смогли и признали его главенствующее положение»⁵⁵. Шоттель развил мысль о том, что превосходство немцев над другими было заложено изначально: их происхождение имело божественный характер, соответственно и их язык является более совершенным по сравнению с другими⁵⁶. Такое мнение разделялось многими немецкими литераторами и учеными. Апелляция к Божьей воле, сотворившей немцев и их язык, была одним из главных козырей в защите национальной самобытности.

С точки зрения последующего развития национальной идеи особенно важным является не только утверждение о древности, чи-

⁵³ *Ahlzweig C. Muttersprache – Vaterland. Die deutsche Nation und ihre Sprache. Opladen, 1994. S.53.*

⁵⁴ *Ahlzweig C. Op. cit. S. 21-22.*

⁵⁵ *Schottel J.G. Ausführliche Arbeit... S. 96.*

⁵⁶ *Ibid. S. 98.*

стоте и превосходстве немецкого языка, но и увязывание с этими качествами самих немцев, их политического положения и их нравственного превосходства. Как известно, например, философ и языковед Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) связывал особые качества немцев именно со свойствами их языка – единственного оставшегося не смешанным⁵⁷. Своего рода квинтэссенцией сложившегося к началу XVIII в. немецкого национального мифа можно считать уже цитированное нами произведение писателя и поэта Юстуса Георга Шоттеля «Подробная работа о главном языке немцев», где, в частности, сказано: «Немцы – древнейший народ; они обладают последней мировой империей; их отличают особые добродетели – верность, мужество, а также количество героев; немцы говорят на главном языке – богатом и чистом; они располагают выдающимися культурными достижениями, именно они изобрели книгопечатание, порох и пушку; ни один народ не выдерживает сравнения с немцами»⁵⁸. Все эти аргументы, включая изобретение пороха, будут воспроизводиться немецкими националистами вплоть до XX века.

Миф о герое: борьба с Римом

Создавая свой главный исторический миф, нарождающаяся германская нация нуждалась в символах, героях, знаковых фигурах, с которыми она могла бы идентифицировать себя, персонифицируя те положительные качества, которые сама себе приписывала. В эпоху Возрождения такими фигурами становятся, как правило, противостоящие Риму эпические вожди с харизматической аурой: по всей Европе возникают новые мифы о героях: в Германии – об Армии, одержавшем победу над легионами Вара; во Франции – о Верцингеториксе, объединившем для борьбы с Цезарем галльские племена; в Англии – о Боадичее, противостоявшей легионам Нерона; в Голландии – о Цивилисе, возглавившем восстание ботавов и т. п. Миф об Армии составлял важную часть германского мифа, так как в нем воплотилось то, что гуманисты называли «духом немецкой нации».

Первые упоминания об Армии, вожде германского племени херусков, были связаны с обнаружением в 1509 г. манускрипта с «Анналами» Тацита, а в 1515 г. – «Римской истории» Гая Веллея Патеркула (19 г. до н. э. – 31 г. н. э.). В них речь шла о так называемом

⁵⁷ Richter D. Nation als Form. Opladen, 1996. S. 188.

⁵⁸ Schottel J.G. Ausführliche Arbeit... S. 120.

мой «битве в Тевтобургском лесу»: в 9 г. н.э. (предположительно в последней декаде сентября) восставшие германские племена уничтожили три римских легиона, которыми командовал наместник Галлии и Германии Публий Квинтилий Вар. «Варово побоище» (*clades Variana*), как назвали этот разгром римляне, стало поворотным пунктом в истории Европы: уже завоеванная территория между Рейном и Эльбой оказалась утраченной, потеряны были плоды двадцатилетних военных усилий Рима, а все позднейшие попытки восстановить *status quo* оказались безрезультатными.

Коалицией германских племен руководил вождь херусков Арминий, который прежде находился на римской службе и даже был причислен к сословию всадников. Судьба молодого вождя, который не только разгромил одну из сильнейших римских армий, но и сумел отразить мощное римское контрнаступление 14–16 гг., оказалась трагической. Тацит отдает должное масштабу его личности: «Притязая после ухода римлян... на царский престол, Арминий столкнулся со свободолобием соплеменников; подвергшись с их стороны преследованию, он сражался с переменным успехом и пал от коварства своих приближенных. Это был, бесспорно, освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари и вожди, но в пору высшего расцвета его могущества, и хотя терпел иногда поражения, но не был побежден в войне. Тридцать семь лет он прожил, двенадцать держал в своих руках власть; у варварских племен его воспевают и по сей день; греческие анналы его не знают, так как их восхищает только свое, римские – уделяют ему меньше внимания, чем он заслуживает, ибо, превознося старину, мы недостаточно любопытны к недавнему прошлому»⁵⁹. Итак, основные слагаемые мифа здесь налицо: исполинская фигура героя, свершившего великий подвиг – освобождение своей страны от иноземных поработителей, его предательское убийство своими же приближенными; наконец, его вечная жизнь в народных сказаниях.

Если первый толчок к развитию германского мифа дали немецкие гуманисты, то и начало созданию героического мифа об Арминии положил один из них, Ульрих фон Гуттен (1488–1523). Уже в «Послании к Фридриху Саксонскому» Гуттен обращается к истории древних германцев, восхищаясь племенами херусков и хавков, кото-

⁵⁹ Тацит, Корнелий. *Анналы*... С. 34–35.

рые во время войны с Римом явили образец величайшего мужества. Именно они дали Германии Арминия, самого доблестного из полководцев всех времен и народов, что признавали даже враги. «Не только свой родной край, но и всю Германию вырвал он из лап римлян, которые находились тогда на вершине славы и могущества»⁶⁰. В подражание «Разговорам в царстве мёртвых» древнегреческого поэта Лукиана в 1519 г. Гуттен написал на латыни небольшое сочинение под названием «Арминий или Диалог, в коем любимейший сын отечества возносит отечеству хвалу», которое было опубликовано лишь в 1529 г., спустя шесть лет после его смерти. В нем Гуттен задается вопросом: «Какие же чувства испытывает теперь в царстве мертвых наш избавитель, видя, что мы по-рабски служим трусливым попам и изнеженным епископам, меж тем как он сам не потерпел владычества доблестных римлян, хозяев и господ мира? Разве не стыдно ему за свое потомство?»⁶¹. Для Гуттена римское владычество продолжается, выродившись в притязания римско-католической церкви. В вожде германского племени херусков он видит пример для современных немцев в их борьбе против основного врага – римского престола.

По сюжету «Диалога» полководцы древности – Александр Македонский, Сципион Африканский, Ганнибал и другие – обсуждают в царстве мертвых: кто же из них является величайшим героем. В этот момент у Гуттена появляется забытый всеми Арминий и заявляет о своих правах на первенство, которые подтверждают Тацит и античные боги. Тацит свидетельствовал о том, что, преодолев предательство отца жены и братьев, оплакав пленение беременной Туснельды, в нищете, покинутый всеми, Арминий продолжал свой путь, чтобы вернуть германцам свободу, прекрасно понимая, что «безопасность отечества зависела только от него одного»⁶². Кульминацией повествования стал монолог Арминия, в котором он поведал собравшимся полководцам о своей борьбе с римлянами и о ее мотивах. «Об этом могут засвидетельствовать в царстве мертвых, как яростно я сражался против предателей отечества и его врагов. В короткий

⁶⁰ *Hutten U. v. Freiheit der Deutschen Nation / Hrsg. Gottmann E. / Jena, 1943. S. 47-48; Гуттен, Ульрих фон. Диалоги. Публицистика. Письма. М.: АН СССР, 1959. С. 385.*

⁶¹ *Hutten U. v. Arminius // Die Schule des Tyrannen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. S. 191.*

⁶² *Hutten U. v. Op. cit. S. 194.*

срок мне удалось прогнать римлян из Германии и по сей день они больше ничего не могут сделать. Я осуществил объединение Германии и, наконец, начал наслаждаться достигнутой свободой. Мною двигало не стремление к славе и корысти, а стремление к добродетели. Я разбил римлян не для того, чтобы мне поставили памятник. Я боролся не ради богатства и славы. Моя единственная цель – вернуть отечеству насильно отнятую свободу»⁶³.

Вложив в уста Арминия гуманистический манифест сторонников Реформации и ненавистников Рима, Гуттен заложил основы будущего героического образа Арминия: борца за свободу, в т.ч. и религиозную, и единство нации. Не удивительно, что почитание вождя херусков стало частью протестантской культуры. В дальнейшем, освободитель Германии будет эффективным идеологическим орудием на все случаи жизни, которое всегда можно мобилизовать в кризисные моменты, чем-то вроде спасителя немцев, и не только их, как от внешнего, так и от внутреннего угнетения. Как писал в предисловии к своей биографии «Немцы и их мифы» берлинский политолог Герффрид Мюнклер: «Как только разгорались споры об интересах немецкой нации, о свободе и единстве немецкого народа – сразу всплывал Арминий. Политикам он был нужен, когда появлялись “враги”: либо внешние, такие как Рим, Франция или Польша в определенные исторические периоды, либо внутренние – евреи, например. Причем в интерпретации политиков образ Арминия никогда не был самостоятельным, он блекнет без неприятеля, антагониста. Даже в ГДР он был первым “революционером”, борцом за классовую справедливость, противником “римского империализма”»⁶⁴.

Таким образом, объединение германских племен против Рима и сенсационная победа над римлянами на протяжении веков с легкостью переносилась авторами многочисленных сочинений об Арминии на современную им ситуацию и собственных врагов. В XVI в. таким врагом в глазах многих немецких патриотов и реформаторов была римская церковь, а также Франция, которая находилась в продолжительном конфликте с германскими императорами.

Далее популярность Арминия шла по нарастающей. В последующих сочинениях он провозглашается символом свободы и побе-

⁶³ Ibid. S. 197.

⁶⁴ Münkler H. Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin: Rowohlt Berlin Verlag, 2009. S. 9.

ды немцев над засильем римских пап, как например, в «Баварской хронике» (1533) Иоганна Авентина. Или как в небольшой книжке коротких стихов Буркхарда Вальдиса (1490–1566) «Происхождение и обычаи двенадцати первых королей и князей немецкой нации», которая зачислила Арминия в ряды мифических немецких королей и родоначальников правящих династий⁶⁵.

Однако имя «Арминий» мало подходило для немецкого героя, как и имя его брата Флава, потому что имело не германское, а римское происхождение. Неудивительно, что латинские и греческие источники называли вождя восставших германцев именно этим именем, но в германских сказаниях его не могли именовать так же, как ненавистные враги, какими для германцев стали римляне со времени гибели легионов Вара. Возможным германским именем, передававшим то же самое значение «воин», «боец», что и латинское *Arminius*, стала форма Герман (*Hermann*). Онемечивание Арминия и превращение его в Германа происходит, как известно, в период Реформации. В печатном виде имя Герман вместо Арминия впервые появляется у Мартина Лютера в его «Застольных речах», а именно, в 1530 г. при истолковании 82-го псалма. По всей вероятности, Лютер не был первопроходцем в процессе отождествления Арминия с Германом, скорее всего он позаимствовал немецкий вариант имени вождя херусков из какого-нибудь неизвестного сочинения. Например, незадолго до этого, в 1528 г., Авентин в своей «Баварской хронике» при описании «*clades Variana*» («Варова побоища») называет Арминия Эрманном («*Ehren-Mahner*»)⁶⁶. Это онемечивание в сочетании с развивающимся национальным самосознанием в ходе «освободительных войн» в начале XIX в. привело к тому, что в литературе, публицистике, изобразительном и музыкальном искусстве немецкий «Герман» все больше вытеснял латинское имя «Арминий». Также и «*clades Variana*» со временем утратило свое латинское звучание, сначала превратившись просто в «битву в Тевтобургском лесу», а с XVII в., в связи с развитием культа «победоносного немецкого героя», – в «битву Германа», и уже в таком виде вошло в современную

⁶⁵ Kösters K. *Mythos Arminius. Die Vorausschlacht und ihre Folgen*. Münster: Aschendorff, 2009. 408 S. S. 108.

⁶⁶ Wiegels R. „Vorauschlacht“ und „Hermann“-Mythos. *Historie und Historisierung eines römisch-germanischen Kampfes im Gedächtnis der Zeiten // Beihefte der Francia*. Bd. 66. 200. S. 29.

память немцев. К этому же времени окончательно сформировалась антитеза «Германия / Герман – Рим / Вар», которую первыми использовали гуманисты, а своего высшего развития она достигла у Лютера, с его лозунгом «Прочь от Рима!». Именно в ходе начатой Лютером борьбы против римско-католической церкви последняя стала отождествляться с алчным Римом древности, стремившимся поработить свободолюбивых германцев⁶⁷. В этой связи культ немецкого Германа, победителя Рима, получает новое звучание.

Проследить, как трансформировался образ Германа / Арминия за первые сто лет своего существования, можно, анализируя его иконографию⁶⁸. Одним из самых ранних изображений Арминия в качестве немецкого героя можно считать иллюстрацию Тобиаса Штиммера к сочинению поэта и драматурга Бурхарда Вальдиса «Изречение похвалы древним германцам» (1543). Штиммер изображает Арминия как первобытного решительного воина в развивающемся римском плаще, с обнаженным мечом в правой руке и с отсеченной головой Вара – в левой. В тексте к иллюстрации сообщается: «Арминий, именуемый Германом / молодой герой, смелый воин, / здоровый и крепкий телом и духом, урожденный князь Гарца и Саксонии»⁶⁹. В этот же год было опубликовано другое сочинение Бурхарда Вальдиса «Происхождение и обычаи двенадцати первых королей и князей немецкой нации» с иллюстрациями Ганса Брозамера. На одной из них Арминий-Херман представлен уже не как дикий германец, а в виде одетого по придворной моде середины XVI века свободного имперского рыцаря, который только что обезглавил римского полководца. Штиммер и Брозамер, как и многие их современники, в своих изображениях Арминия игнорируют свидетельство Тацита о самоубийстве Вара, когда тот понял, что битва проиграна, и продолжают изображать вождя херусков с отрубленной в честном поединке головой Вара, почти полностью копируя иконографию другого мифологического персонажа – Давида с головой Голиафа. По всей видимости, аналогия с ветхозаветным Давидом, победившим в бою Голиафа, объединившим разрозненные еврейские племена в единый народ и превратившим царство Израиля в могущественное государство, по-

⁶⁷ *Wiegels R.* Arminius und die Varausschlacht. Geschichte – Mythos – Literatur. Padeborn: Schönningh, 2003. 472 S. S. 223-240.

⁶⁸ См.: *Wiegels R.* „Varausschlacht“ und „Hermann“-Mythos... S. 29.

⁶⁹ *Ibid.* S. 32.

могала встроить образ Арминия в культурное пространство христианской Европы. То, с каким воодушевлением был воспринят в народе вновь обретенный немецкий герой, демонстрирует листовка 1547 года с анонимной песней, в которой Арминий превозносится как «посланный Богом герой войны». Песня должна была петься на мелодию хорала Мартина Лютера⁷⁰. Очень важным для последующей иконографии Арминия представляется также изображение, сделанное Синомом де Вризом в 1616 г., пожалуй, первое, на котором германский вождь представлен в виде современного полководца, в рыцарских доспехах и знаменитом крылатом шлеме, напоминающим крылатый шлем Гермеса, который впоследствии станет неотделимым атрибутом образа Арминия⁷¹.

К середине XVII в. Арминий-Герман твердо обосновался в составе немецких героев и во многих сочинениях представал как символ борьбы и гарант немецкой свободы и независимости. Тридцатилетняя война и осмысление германского мифа немецкими литераторами способствовали росту интереса к Арминию и к истории противостояния древних германцев римской экспансии. Как и сто лет назад борьба с чужеземными поработителями остается главной темой истории, только меняется внешний враг: папа и итальянцы уступают место французам. Одна из самых монументальных литературных обработок этого героического сюжета в данный период принадлежит популярному драматургу и поэту немецкого барокко Даниэлю Касперу фон Лоэнштейну (1635–1683), которого уже при жизни называли «немецким Сенекой». Полное название его исторического романа «Арминий и Туснельда», опубликованного уже посмертно в 1689/90 гг., звучало чрезвычайно выпендренно: «Великодушный полководец, Арминий или Герман: смелый покровитель немецкой свободы, вместе с ее Светлостью Туснельдой, в глубокомысленной героической истории о государстве, любви и подвиге, представлен отечеству – с любовью, немецкому дворянству – с почтением»⁷². Несмотря на все

⁷⁰ *Wiegels R.* Op. cit. S. 35.

⁷¹ См.: *Kaufmann T.* Edler Wilde, grausiger Heide, Fürstenknecht und Kämpfer für die Nation: Der Germane in den Bildprojektionen von der Bauernkriegszeit bis zur Romantik // Fansa M. (Hrsg.) *Vorausschlacht und Germanen Mythos.* Oldenburg, 1993. S. 58. Abb. 17.

⁷² См.: *Willems G.* *Geschichte der deutschen Literatur.* Band 1. Barock. Böhlau Köln: UTB Verlag, 2013. 402 S.

необходимые атрибуты барочной литературы роман о «великодушном полководце Арминии» превратился в хвалебную песнь немецкой смелости и добродетели, которая превзошла все, что было написано до сих пор. По Лознштейну, ни одна битва античности не была выиграна без помощи храбрых немцев⁷³. Несмотря на любовную фабулу, лейтмотивом романа стало прославление подвига вождя херусков, освободившего Германию от римского ига. Суровые нравы древних германцев, объединившихся под руководством Арминия и поднявшихся на защиту «золотой свободы», Лознштейн, следуя за Тацитом, противопоставляет нравственной испорченности римской знати. При этом зрители, кроме патриотического воодушевления, остро чувствовали и политическую подоплеку романа, направленного против французской экспансии на Рейне.

Несмотря на антифранцузскую коннотацию, миф об Арминии был очень популярен во Франции и лег в основу многих драматических произведений. Если в раздробленной Германии, страдающей от внешней агрессии и не способной дать ей отпор, сочинения о вожде херусков были направлены против внешнего врага, то в абсолютистской Франции – против внутреннего. Достаточно упомянуть написанную в 1642 г. и ставшую очень популярной пьесу поэта и драматурга Жоржа де Скюдери (1601–1667) «Арминий или враждующие братья»⁷⁴. В центре трагедии, тесно переплетенные с вечной историей любви и ревности, стоят старые дворянские добродетели: благородство, великодушие, самоотверженность и поиск идеальной любви, которые воплощают главные персонажи. Французские зрители, как и их немецкие современники, за драматической фабулой пьесы ощущали политический подтекст. За борьбой древних германцев за свободу они видели сопротивление французского дворянства, которое защищало свои старые сословные права и привилегии от абсолютизма французской монархии. Тот же самый политический контекст легко читается за хитросплетениями сюжета трагедии Жана-Гальбера де Кампистрона (1656–1723) «Арминий», поставленной в 1685 г. Как и Скюдери, Кампистрон использовал сюжет Тацита как относительно безопасный фон для критики наступления абсолютистского государ-

⁷³ *Borgstedt T.* Nationaler Roman als universale Topik: Hermannsschlacht Daniel Caspers von Lohenstein // *Hermans Schlachten. Zur Literaturgeschichte eines nationalen Mythos* / Hrsg. M. Wagner-Egelhaaf. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2008. S. 163-165.

⁷⁴ *Dörner A.* Op. cit. S. 204ff.

ства на права местного самоуправления во Франции, а также морального разложения при дворе стареющего Людовика XIV⁷⁵.

Итак, к началу XVIII в. миф об Арминии получает общеевропейское распространение и признание. Этот образ вдохновлял не только немецких, но и французских интеллектуалов. Но для немцев, тяжело переживших разруху и хаос Тридцатилетней войны, отбросившей Германию чуть ли не к временам варварства, и остро ощущавших национальное унижение, Арминий-Герман имел гораздо большее значение: «Лучшие умы в историческом споре с соседями пытались найти контраргументы в далеком прошлом, и Арминий, разгромивший римлян, был самым убедительным из них. Выросшая на этом энтузиазме литература 18 в. трансформировала исторический факт в миф: Арминий, предводитель германцев “вырос” в народного немецкого героя, основателя нации Германа»⁷⁶.

Немецкая литература, отразившая в XVII в. глубокое нравственное потрясение народа после опустошительной Тридцатилетней войны, переполненная идеями и эстетикой барокко, теперь, в XVIII в., начала постепенно переходить к более спокойному и трезвому взгляду на вещи. Заговорили о национальном единстве и едином литературном языке, так как политическая раздробленность страны и засилье французской культуры не могли не сказаться на языке народа. Областные диалекты, засорение языка всевозможными варваризмами и многочисленными заимствованиями из французского мешали созданию литературы в общенациональном ее значении. В этой связи на рубеже XVII и XVIII вв. начинают создаваться многочисленные «немецкие общества», возникавшие, как правило, в университетских городах и ставившие своей главной целью культивирование немецкого языка и воспитание патриотизма⁷⁷. В числе лидеров нового движения оказался поэт и драматург Иоганн Кристоф Готчед (1700–1766), теоретик раннего Просвещения и с 1730 г. профессор поэзии в университете Лейпцига, автор программного сочинения «Материалы для критической истории немецкого языка, поэзии и красноречия». Готшед вошел в историю немецкой литературы как борец против стиля

⁷⁵ Dörner A. Op. cit. S. 214–215.

⁷⁶ *Межерицкий Я.Ю.* Римская экспансия в Правобережной Германии и гибель легионов Вара в 9 г. н. э. // Норция. Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2009. Вып. 6. С. 81.

⁷⁷ См.: *Медяков А.С.* Национальная идея и национальное сознание немцев // Национальная идея в Западной Европе / Под ред. В.С. Бондарчука. М., 2005.

барокко. Он противопоставил литературе барокко рационалистические основы классицизма.

Повсеместное увлечение классицизмом привело к механическому перенесению на немецкую почву методов французской классицистической литературы. Массовые переводы на немецкий язык трагедий Корнеля и Расина заполнили немецкую сцену. Даже национальный герой немцев Арминий был обязан своей европейской славой французским пьесам о вожде германцев, имевшим такой большой успех, что были использованы в качестве основы для бесчисленных оперных либретто, которые на протяжении всего XVIII в. также способствовали росту популярности германского мифа о свободолюбивых предках современных немцев в Европе.

Немцы, безусловно, не могли оставаться в стороне от массового увлечения европейцев их национальным героем. В 1743 г. поэт Иоганн Элиас Шлегель (1719–1749) написал свою трагедию «Герман». Это была попытка создать немецкую национальную драму⁷⁸, выдержанную в народных поэтических традициях, поэтому неудивительно, что пьеса начиналась с хвалебной песни старым немецким добродетелям, вольно трактуя Тацита. В пьесе Шлегеля забота о всеобщем благе и любовь к отечеству стоят на самом вершине шкалы добродетелей. Новое патриотическое сочинение было с одобрением встречено соотечественниками, уставшими от засилья французов и итальянцев на немецкой сцене. Иоганн Кристоф Готшед снабдил драму Шлегеля почтительным комментарием, в котором, в частности, было сказано: «Вы увидите, что француз не может так естественно и осознанно изобразить подлинное величие немецкого героя, как немецкий поэт, который сам несет в артериях немецкую кровь, и связал в своем сердце стремление к немецкой свободе с драматическим остроумием»⁷⁹.

Пьеса Шлегеля была воспринята в Германии как политическая, как ответ на экспансионистскую политику Людовика XIV. Но вопреки этой антифранцузской тенденции просветитель Грегор Бовен (1714–1778) перевел трагедию Шлегеля на французский язык. Она была поставлена в 1772 г. в Париже как первая немецкая пьеса.

⁷⁸ *Essen G. v.*, „Aber rathen Sie nur nicht den Arminius. Dieser ist mir zu *sauvage*“: Hermannsschlachten des 18. Jahrhunderts und Debatte um ein deutschen Nationalepos//Hermanns Schlachten... S. 21.

⁷⁹ *Ibid.* S. 30.

Французская версия «Германа» имела огромный успех⁸⁰, так как в пьесе был сделан упор на борьбе Германа за исконные права и свободы германцев, а противостояние с Римом было связано с критикой любой формы тирании. Новая трактовка мифа о Германе была очень актуальна для французов, так как в этот период французская монархия усиливала политическое давление на парламенты, чтобы урезать старые дворянские привилегии и самоуправление провинций. Тема германской свободы давала французам возможность хотя бы иносказательно выразить свое отношение к происходящим на их родине политическим событиям. А философ и писатель Шарль-Луи Монтескье (1689–1755), в своем знаменитом труде «О духе законов», опубликованном в 1748 г., отказался от всех иносказаний, когда, рассуждая об английской конституции, самой свободной для своего времени, ссылаясь на ее германские истоки⁸¹. Таким образом, тема Германа и освободительной борьбы германских племен против Рима вплоть до Французской революции стала тем историческим материалом, использование которого позволяло в иносказательной форме выступать с политической критикой французской монархии, приобретая, таким образом, не только патриотическое, но и политическое звучание. И то, что сочинение Монтескье нашло многочисленных приверженцев в Европе, содействовало тому, что миф о свободолюбивом «немецком духе» и героической борьбе Германа / Арминия за «германские вольности» вышел на международный уровень восприятия, неся в себе определенный политический заряд.

Труд Монтескье «О духе законов» был восторженно встречен в просветительской Германии, но это не мешало многим французам, относиться отрицательно к немецким «варварам» по ту сторону Рейна. Формирование мифа об Арминии / Германе было тесно связано с культурной травмой немцев, как «опоздавшей» нации. Тридцатилетняя война оставила политически раздробленную, экономически ослабленную Германию, которая – по сравнению с политическим развитием ее соседей – оставалась в состоянии глубокого кризиса и стагнации. В XVIII в. немецкие интеллектуалы, как и прежде, находились в поисках формул и образов идентичности, чтобы преодолеть

⁸⁰ Brodersen K. „Als die Römer frech geworden“: historische Kontexte eines „Volkslieds“ // Hermans Schlachten... S. 110–111.

⁸¹ See K. Deutsche Germanen – Ideologie. Vom Humanismus bis zum Gegenwart. Frankfurt a. M., 1970. S. 189.

на фоне превосходства французской культуры недостаток собственной культурной традиции, в поисках собственного «золотого века», а также – ввиду раздробленности Германии – собственной политической традиции, которая наполняла бы «немецкие сердца гордостью».

Одним из тех, кто посвятил себя «защите чести древних германцев», был знаменитый просветитель, автор «Оснабрюкской истории» Юстус Мёзер (1723–1798). В 1749 г. он написал драму «Арминий», в которой решительно отвергал упрек в адрес германцев в дикости и варварстве. В своем предисловии к драме он объяснял: «Я не думаю, что наши предки были такими неотесанными дикарями, какими их обычно воображали себе при первом взгляде на сочинение Тацита», и далее утверждал, что германцы быстро переняли римскую культуру благодаря своей способности к подражанию⁸². Позже в «Оснабрюкской истории» он больше не пишет о том, что германцы были способными подражателями римской культуры. Напротив, он утверждал, что древнее германское общество – это «золотой век» немецкой истории, который превзошел древнегреческий аналог. Основой старогерманского общественного устройства было, по его мнению, идеальное соединение собственности и свободы. Их конституция – это «шедевр, в котором свобода, честь, собственность и национальный интерес переплетены идеальным образом»⁸³. И вместе с тем, общество древних германцев предоставляет массу свидетельств развитой национальной культуры. Начиная открытую полемику с основоположником современных представлений об античном искусстве немецким искусствоведом Иоганном Иоахимом Винкельманом (1717–1768), Мёзер выступил с критикой нараставшего во второй половине XVIII в. увлечения Древней Грецией. Популяризируя древнегерманские мифы, он пытался вытеснить из немецкой литературы героев античной мифологии. Высокой культуре античности он противопоставляет самобытную культуру германцев и, тем самым в оппозицию космополитному греческому мифу Винкельмана ставит национальный германский миф.

Но высшей точки художественного воплощения в XVIII в. героический миф об Арминии / Германе достиг в творчестве поэта Фридриха Готтлиба Клопштока (1724–1803). Лучшая часть его наследия –

⁸² *Essen G.* Op. cit. S. 38.

⁸³ *Ibid.* S. 40.

три драмы, написанные на материале из жизни древних германцев, которые сам автор называл «бардитами» (от *Barditus*), то есть произведениями барда. Бардом в знак уважения к старой литературной традиции любил именовать себя сам Клопшток. «Бардиты» состояли из трех пьес: «Битва Германа» («*Hermanns Schlacht*» 1769), «Герман и князя» («*Hermann und die Fürsten*» 1784) и «Смерть Германа» («*Hermanns Tod*» 1787). Наибольшими художественными достоинствами отличается первая часть трилогии. Герман изображен Клопштоком как объединитель германских земель. В трилогии осуждается племенная знать, из-за корыстных побуждений предавшая Германию и вступившая в сговор с римлянами⁸⁴. Актуальность «бардит» для Германии XVIII века была очевидна. Клопшток уходит в прошлое ради того, чтобы извлечь из него уроки для современности, чтобы осудить сепаратистскую политику немецких князей.

Как и Юстус Мёзер, Клопшток своим творчеством пытался реабилитировать немецкую культуру, раскрывая для современников ее огромное историческое значение, и воссоздать дух древнегерманской поэзии, интерес к которой, по его мнению, должен был вытеснить склонность отечественных писателей к традициям античного и французского классицизма. Чрезвычайная популярность Клопштока в период деятельности просветительского направления «Буря и натиск» в большой степени основывалась на его культе национальной старины, который импонировал передовым представителям немецкого бюргерства, по мере своего подъема все более интересовавшегося культурно-исторической генеалогией Германии. А поскольку хранителем классических традиций был известный своим придворным сервизом Готшед, антиклассические выступления Клопштока, дающего в оде «Похвала князьям» (1775) клятву «никогда не осквернять музу придворной лестию»⁸⁵, имели значение скрытой политической демонстрации. Неслучайно в «бардитах» римская государственность символизирована топорами палачей, римляне названы рабами тирана, германцы же противопоставлены им в качестве свободного, не знающего гнета тирании племени, а их вождь Арминий показан тираноборцем, главным врагом императорского

⁸⁴ *Wösler W.* Das Römerbild in deutschen Hermann-Dramen // *Hermanns Schlachten*... S. 50.

⁸⁵ *Wagner-Egelhaaf M.* Klopstock! Oder: Medien des nationalen Imaginären. Zu den Hermann-Barditen // *Hermanns Schlachten*... S.200.

самодержавия⁸⁶. Таким образом, накануне Французской революции образ Арминия не только во Франции, но и в Германии приобретает выраженный политический характер, направленный не против внешнего, а против внутреннего врага. Не случайно, в «Битве Германа» впервые прозвучал ставший впоследствии крылатым революционный лозунг: «Кровь тиранов за святую свободу!», имевший такой шумный успех в среде молодых членов «Бури и натиска».

Действительно, в последние десятилетия XVIII в. немецкие национальные мифы получают новый импульс для развития. Это было связано как с политическими (Семилетняя война), так и с экономическими (кризис 1770 года) потрясениями, опять заставлявшими немцев задуматься о своем месте в Европе и о том, что является их отечеством. Конец века ознаменовался распадом первой антинаполеоновской коалиции и Базельским миром 1795 г., по которому левый берег Рейна, а затем и целые регионы Германии на четверть века попадают под оккупацию французской армии. С началом Семилетней войны в просвещенных кругах вновь создаются «патриотические общества» для обсуждения проблем, связанных с трактовкой понятий «нация», «патриотизм» и «общественное благо». В их уставах уже говорится об общем благе «немецкого Отечества», об обновлении и чистоте, о необходимости «сохранять и распространять немецкую добродетель и обычаи»⁸⁷. Символические конструкции, созданные на основе «Германии» Тацита, и пущенные в ход в XVI–XVII вв., в XVIII в. становятся общепринятыми клише в среде немецких просветителей. В этот период также вновь встает вопрос о немецком патриотизме, который немецкий просветитель Кристоф Мартин Виланд (1733–1813) сравнивал с голубем Ноя, кружащим над водой в поисках твердой почвы⁸⁸. Патриотизм мог относиться к местности, городу, отдельному государству, Империи. Этот плюрализм отечеств был важной проблемой для немцев XVIII в. С другой стороны, патриотизм мог пониматься как нравственная добродетель, как служение общему благу и борьба с моральным упадком в своем отечестве. Под моральным упадком понимались сепаратизм и засилье французского языка и французской культуры, в первую очередь, при дворах князей

⁸⁶ Ibid. S. 202–204.

⁸⁷ Медяков А.С. Национальная идея... С. 362.

⁸⁸ Hardtwig W. Nationalismus und Bürgerkultur in Deutschland 1500–1914. Göttingen, 1994. S. 11.

и курфюрстов. Как и их предшественники, немецкие просветители видели причину современного им упадка немецких земель в отказе от собственного лица, собственной культуры, собственной истории.

Постепенно идея патриотизма приобретает отчетливую политическую окраску, что нашло выражение не только в пьесах Клопштока. С 1769 по 1775 гг. в Геттингене действует поэтическое содружество «Союз Роши», насчитывавшее примерно 20 членов, известных поэтов и литераторов, ставших родоначальниками немецкой национально-патриотической лирики, расцвет которой придется на первую половину XIX века. Критический настрой этой поэзии, адресованной «среднему сословию», с которым ассоциировались «исконно немецкие» ценности, был направлен против германских дворов, объявленных центрами предательского сепаратизма, разврата и засилья чужеземного влияния. Добрый немецкий бюргер, представленный как истинный «сын Отечества», противопоставлен аристократу так же, как старые немецкие добродетели противопоставлены французской безнравственности. Причем со «старыми» немецкими добродетелями тесно связан современный каталог буржуазно-протестантских представлений о ценностях: немец честен, благороден, добр, придерживается «добродетельных строгих обычаев», «откровенен и прям», «скромен и неприхотлив, не нуждается в роскоши»⁸⁹. Еще Юстус Мёзер в своей «Оснабрюкской хронике» утверждал, что все добродетели германцев наилучшим образом сохранились в современном ему нижнесаксонском крестьянине⁹⁰. Буржуазные добродетели, берущие свое начало от германцев Тацита, также тесно связаны с религиозностью и близостью немцев к Богу, что делает последних априори праведнее и лучше других европейцев. Этот тезис, например, отстаивал в своей «Немецкой песне» (1772) один из членов «Союза Роши», Иоганн Мартин Миллер (1750–1814), когда восклицал в конце: «То, что я – немец, / вселяет радость в мое сердце и помыслы! / Так как истинный немец / всегда самый лучший христианин!»⁹¹. Для сознания немецких поэтов XVIII в., которые не могли представить себе картину мира без

⁸⁹ Der Göttinger Hain. Textversammlung / Hrsg. A. Kelletat. Stuttgart, 1967. S. 14ff.

⁹⁰ *Dann O.* Herder und die deutsche Bewegung//Johann Gottfried Herder 1744 – 1803/Hrsg. *Sauder G.* Hamburg; 1987. S. 314.

⁹¹ *Miller J.M.* Das deutsche Lied//Der Göttinger Hainbund / Hrsg. A. Sauer. Stuttgart, 1988. S. 180.

религии, апелляция к Богу и связанному с ним учению Христа была, возможно, главным оправданием политических и иных притязаний в периоды раздробленности и упадка Германии, так как других достижений, кроме мифов о происхождении, империи, национальных добродетелях и языке, немцы предъявить миру в этот момент не могли.

Вековая травма, нанесенная национальному самолюбию открытым пренебрежением со стороны более сильных соседей, особенно Франции, время от времени давала о себе знать. На фоне болезненно переживаемого несоответствия сформированных мифами представлений о «великой древней истории», о «немецком превосходстве» и связанных с ними завышенных ожиданий печальному современному состоянию германских земель, с одной стороны, происходит политизация патриотизма, с другой – растет осознание немцами собственной «национальной ущербности». Выше мы привели полную оптимизма и гордости выдержку из сочинения Юстуса Георга Шоттеля «Подробная работа о главном языке немцев», отражавшую внутреннее самоощущение немцев в конце XVII в., сформированное в большой степени на основе национальных мифов. Прошло сто лет и писатель и политик Фридрих Карл фон Мозер (1723–1798), в прошлом один из членов поэтического геттингенского «Союза Рощи», в работе с характерным названием «О немецком национальном духе» (1794) также рисует, на этот раз, полную пессимизма картину самовосприятия немцев, отражающую тот психологический кризис, в котором оказалось национальное самосознание в конце XVIII в. Наряду с перечислением всё тех же немецких достоинств он не может не констатировать печального настоящего немцев, потомков германцев и обладателей Империи: «Мы – единый народ, объединенный общим именем, общим языком, общим великим прошлым и общим верховным властителем; единообразным устройством и законами, определяющими наши права и обязанности; с общим великим влечением к свободе. Мы объединены нашим более чем столетним национальным собранием для великой цели под сенью внутренней мощи и силы первой Империи в Европе, короны которой сияют на головах немецких властителей. – И что же? – Мы такие, каковы есть, мы уже на протяжении столетий отмечены в истории мира загадками политической конституции, грабежом со стороны соседей, давно стали предметом их насмешек. Мы не в ладу сами с собой, ослаблены нашей разобщенностью, но достаточно сильны для того, чтобы вредить самим себе. Мы

бессильны, чтобы спасти себя, безразличны к чести нашего имени, равнодушны к достоинству наших законов, завидуем роскоши наших властителей, не доверяем друг другу, не связаны общими принципами, жестоки в их насаждении. Мы – великий и при этом презираемый, обладающий всеми возможностями для счастья, но, в действительности достойный горького сожаления народ»⁹².

Приведенный отрывок свидетельствует, на наш взгляд, не только о духовном и национальном кризисе, охватившем часть немецких интеллектуалов в конце XVIII в., но и о нелинейности, скачкообразности развития национального самосознания, переживающего свои подъемы в моменты, требующие всеобщей мобилизации, и спады во времена застоя, когда интенсивность прямого воздействия мифов на сознание падает. Но они продолжают оказывать косвенное влияние, прежде всего, на литературу и живопись, которое выражается в желаниии части литераторов и художников уйти от печальной действительности в мифическое прошлое, и уже оттуда апеллировать к настоящему. Частично отсюда – увлечение народными «сказаниями седой старины о былом величии немцев», фольклором, подражанием средневековым вагантам и миннезингерам. В качестве такой реакции на настроения, царящие в образованной среде, можно рассматривать призыв Иоганна Генриха Фосса (1751–1826) в его стихотворении с характерным названием «К немецкой твердости»: «Удар сильнее по струнам своей лиры, / Ты – о, сын Отечества! / И пой вопреки упрямству бритта и насмешкам галла»⁹³. Использование архаической лексики, стилизация под старину, апелляция к древнему противостоянию германцев и галлов должны были создать иллюзию «голоса», обращенного к нынешним немцам из «славного прошлого», которое еще помнит о давних победах, а, следовательно, гарантирует им новые победы в будущем.

Свой вклад в развитие национальной идеи внесло и Просвещение, которое, по выражению немецкого историка Вольфганга Хартдвиг, «в Германии... было немецким, оно знало это и хотело таким быть»⁹⁴. Если во Франции основной задачей Просвещения была эмансипация «третьего сословия», то в Германии на повестке дня

⁹² Moser F.C. v. Von dem deutschen Nationalgeist / Dann O. Herder und die deutsche Bewegung... S. 326.

⁹³ Voß J.G. An Teuthart / Der Göttinger Hainbund... S. 205.

⁹⁴ Hardwig W. Nationalismus und Bürgerkultur... S. 44.

стояла историческая задача национального объединения, уже выполненная Францией. Поэтому освободительные тенденции немецкого Просвещения тесно переплетаются с идеей национального самосознания. В центре просветительского направления в литературе, как уже было сказано, стояло движение «Буря и натиск», выступавшее против застывших форм и рамок классицизма за природную простоту и естественность в искусстве. Его программным документом стал небольшой сборник «О немецком характере и искусстве» (1773), куда наряду со статьей Вольфганга Гете «О немецком зодчестве», посвященной готическому стилю как специфически немецкому, были включены две работы Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803): «Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях древних народов» и «Шекспир». Все три работы были посвящены не только общим вопросам истории литературы и архитектуры, но и осмыслению немецкого прошлого и национального своеобразия немецкой культуры. В частности, оба автора, излагая свои исторические и искусствоведческие концепции, противопоставляют «живость», «естественность» и «самобытность» исконно немецкого народного искусства – готики и фольклора – искусственным застывшим формам французского и итальянского классицизма⁹⁵. Первоначальное противопоставление языков – «естественного» немецкого и «искусственных» романских языков, как выражения сущности народа, распространенное в XVII в., перешло на противопоставления в сфере искусства, тоже как одной их форм проявления национальной сущности.

Следом за сборником «О немецком характере...», последовали другие работы Гердера, в частности «Еще одна философия истории» (1774), а с 1784 г. начинается публикация главного труда немецкого философа «Идеи к философии истории человечества», оказавшего, по словам Гете, «невероятно большое влияние на национальное воспитание немецкой нации»⁹⁶. Если «Германия» Тацита заложила основы германского мифа, а литературная деятельность гуманистов XV–XVII вв. способствовала его оформлению и распространению среди образованной части немецкого населения, то встраивание Гердером старого мифа в свою философскую концепцию истории стало его общеевропейским триумфом. Миф о происхождении и генетиче-

⁹⁵ *Dann O. Herder und deutsche Bewegung...* S. 320–324.

⁹⁶ *Эккерман И.П.* Разговоры с Гете. М., 1934. С. 248.

ской связи между древними германцами и современными немцами, как представителями одного народа, получил международную научную легитимацию. В своем описании древних германцев Гердер почти всегда называет «немцами», в крайнем случае – «немецкими народами»: «В древности немцы росли как дубы, медленно, прочно, несокрушимо – не было соблазнов на немецкой земле, а весь привычный жизненный уклад, вся жизненная нужда воспитывали и в мужчинах, и в женщинах стремление к добродетели... Таковы они и теперь – благородные немецкие мужчины и женщины»⁹⁷. Полумифическая история древних германских племен, завоевавших когда-то могущественную Римскую империю, официально стала частью национальной истории немцев.

В чащах леса, начинает свой сказочный рассказ Гердер, жили немцы, а рядом с немцами – «этими людьми-героями, жили лось и тур, давно истребленные немецкие звери-герои»⁹⁸. В своем описании облика, нравов и добродетелей германцев Гердер во многом опирается на Тацита: высокий рост, сильное тело, красота и стройность, «наводящие ужас голубые глаза, и все это одухотворено верностью и воздержанностью»⁹⁹. И дальше, не нарушая общепринятого канона, идеальным германцам он традиционно противопоставляет «развратных, выродившихся» римлян. Но затем Гердер отходит от первоисточника и начинает на базе Тацита, опираясь на труды своих предшественников, на основные положения имперского мифа, суммируя и обобщая все созданные до него идеологические конструкции, создавать свой миф о немцах – главной нации Европы. Во-первых, немцам Европа обязана своим политико-государственным устройством: «Начиная с Черного моря и по всей Европе немцы наводили ужас... Они основали все царства, которые существуют в Европе поныне, они учредили существующие сословия, утвердили их законы. Не раз брали они Рим..., они основали христианскую империю в Иерусалиме. Еще и теперь управляют они всеми четырьмя частями света – или царят в них государи, которых они посадили на престолы Европы, или сами троны учреждены были ими»¹⁰⁰. Во-вторых, немцы – глав-

⁹⁷ Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 466.

⁹⁸ Там же. С. 468.

⁹⁹ Там же. С. 466.

¹⁰⁰ Там же.

ные защитники Европы от варваров: «Немцы не только завоевали, возделали и переустроили по своему образцу большую часть Европы, но и охраняли и защищали ее от полчищ варваров. Иначе в Европе не могло бы возрасти и то, что пошло в ней в рост»¹⁰¹. В-третьих, немцы – главные учителя народов Европы. Обладая большой мобильностью, они мигрировали на Север, Восток и Запад, повсюду развивая науки и искусства. В-четвертых, немцы всегда были «крепкой стеной» для защиты христианства от язычников. И, наконец, вывод, к которому приходит Гердер: немцы, благодаря своим добродетелям, воинственности и племенному характеру – «столпы Европы, на которых утверждены культура, свобода и независимость Европы»¹⁰².

Гердер обобщил все достоинства и заслуги перед Европой, приписанные немецкими литераторами за два века своим соотечественникам и, отталкиваясь от небольшого сочинения Тацита, перекинул воображаемый мост от античности, через всю европейскую историю в современную ему действительность. Именно тем, что немцы-германцы на протяжении всей своей истории были заняты войнами, то – с Римом, то – с варварами, то сражались в крестовых походах во славу Христа, устройством и защитой Европы, развитием наук и искусств у других народов, словом радели за все европейское человечество, но не занимались собственными делами, объясняется сегодняшнее плачевное состояние германских земель. Немцы – особая нация, призванная Богом за свои добродетели для осуществления особой миссии: заботе о судьбах Европы и христианства.

Таким образом Гердер дает ответ Мозеру и многим другим пребывающим во фрустрации образованным немцам конца XVIII века, почему такой великий народ, сегодня слаб, разобщен и занимает более чем скромное место среди своих европейских соседей. Но главное, сконструированный Гердером новый миф давал немцам надежду: опираясь на свое героическое прошлое создать не менее великое будущее.

¹⁰¹ Там же. С. 469.

¹⁰² Там же. С. 470.

Б. Г. Доронин

КРИЗИС КОНФУЦИАНСКОЙ МОНАРХИИ И СУДЬБА КЛАССИЧЕСКОГО КИТАЙСКОГО ИСТОРИОПИСАНИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Классическое китайское историописание – феномен уникальный, аналогов которому в мире нет. Детище самобытной китайской цивилизации, свои первые шаги оно сделало уже во втором тысячелетии до н.э. как неотъемлемая принадлежность национальной государственности, и в империи Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.), основанной на принципах конфуцианства, оно превратилось в важнейший государственный институт, наделенный необходимыми для такого государства функциями. Его задачей была не беспристрастная фиксация событий минувших времен, а их осмысление, аккумуляция политического опыта предшественников, а также обеспечение эффективного функционирования всей системы конфуцианской монархии. В императорском Китае историописание было делом государственным, экскурсии в прошлое, выполненные не под эгидой властей, там историей не считались. Особое место историописанию отводилось и в официальной культуре императорского Китая – наряду с конфуцианством оно рассматривалось как ее ядро. Статус его неизменно был необычайно высок. В таком качестве классическое историописание просуществовало более двадцати веков, без труда выдержало испытание временем и к концу XVIII в. в империи Цин достигло апогея в своем развитии.

Но к этому времени одряхлевшая конфуцианская монархия, исчерпав свой созидательный потенциал, начала погружаться в пучину кризиса, который существенно обострила и придала ему новые черты начавшаяся в XIX в. экспансия западных держав и их борьба за превращение Китая в свою колонию. Преодолеть обрушившиеся на нее беды конфуцианская монархия не смогла, и в 1911 г. последняя правившая этой страной династия Цин (1644–1911) рухнула, положив начало сложному и болезненному процессу становления современной национальной государственности, который растянулся на десятилетия и завершился лишь с образованием КНР. Естественно, что драматические события XIX – начала XX в. не могли не затронуть и такой важнейший государственный институт конфуцианской монархии, как

историописание. Адекватная оценка того, как сложилась его судьба в период тяжелейших испытаний, выпавших на долю конфуцианской монархии, надежной опорой которой он оставался многие века, имеет принципиальное значение. Разумеется, это важно знать для понимания того, как сложится его судьба в постимперском Китае. Но классическое историописание как институт государственный неизменно выступало как активный фактор всех процессов, сопровождавших уход монархии с исторической арены, и без учета его состояния в этот период понять и правильно оценить их вряд ли возможно.

Однако если путь, пройденный историописанием в предыдущие века, изучен достаточно хорошо, то его судьба в XIX – начале XX в. пока еще мало интересует специалистов. В КНР этот период относят к начальному этапу новой истории Китая, отсчет которой ведется с опиумной войны (1840–1842), и основным его содержанием принято считать сопротивление колониальному порабощению страны, начало освобождения китайского общества от пут пришедших из древности традиций и становление сил, которые подвели черту под имперским прошлым Китая; при этом о системном кризисе конфуцианской монархии китайские историки не вспоминают. В таком контексте места для классического историописания практически не остается, все внимание сосредоточено на отслеживании новых веяний в национальном историописании – они вписываются только в такую концепцию исторического процесса; считается, что именно в этот период закладывались основы современной, принципиально отличной от классического историописания исторической науки Китая. Действительность была много сложнее, и реалии того времени убедительно свидетельствуют, что прощаться со своим великим прошлым китайское общество пока не спешило, оно к этому было еще не готово, любое посягательство на ставшее национальным достоянием классическое историописание считалось преступлением¹.

¹ Чэнь Цитай. Чжунго шисюэ ши, ди лю цюань. Цзиньдай шици (1840–1919) Чжубянь Бай Шоуи (История китайской историографии. Т. 6. Период нового времени (1840–1919)). Шанхай, 2006; Чэнь Пэнмин. Чжунго шисюэ сыян тунши. Цзиньдай, цян цюань (1840–1919). Чжубянь У Хуайци (Сводная история исторической мысли Китая. Новое время. Т. 1 (1840–1919) / Гл. ред. У Хуайци). Хэфэй, 2002; Се Баочэн. Чжунго шисюэ ши (История китайской историографии). Т. 3. Пекин, 2006; Чжунго шисюэ минчжу пинлунь, ди сань цюань. Чжубянь Цан Сюйлян (Известные исторические труды Китая. Т. 3 / Гл. ред. Цан Сюйлян). Цзинань, 2006; Ван Цзилу. Циндай шигуань юй циндай чжэньчи (Гос-

В императорском Китае на крутых поворотах истории всегда обращались к опыту предыдущих поколений, аккумулированному в богатейшем арсенале традиционной политической культуры. Не отступили от этой традиции и при решении проблем, с которыми империя столкнулась в XIX в впервые в своей истории. Для элиты империи Цин, которую власти многие годы воспитывали в строгом соблюдении предписаний, определявших жизнь конфуцианской монархии, такое решение этих проблем было единственно возможным. «Всматриваться в зеркало древности, чтобы противостоять злу» (цзянь гу чи се), «учиться у древности и почитать цивилизационные ценности» (ци гу ю вэнь) – эти и подобные суждения, пришедшие из далекого прошлого, стали в XIX столетии необыкновенно популярны в верхах китайского общества. Они были уверены в том, что только так можно взять ситуацию под контроль, и в своей политической практике делали ставку на историко-культурное наследие. Это и предусматривала появившаяся в середине XIX в. концепция «китайское – основа, западное – по потребности» (чжун ти си юн).

Своими корнями дихотомия «ти – юн» уходит в глубокую древность, она связана с конфуцианскими представлениями об основах мироздания². Ее адаптировал к условиям XIX века и ввел в политическую практику крупнейший государственный деятель того времени Чжан Чжидун (1837–1909). Теперь она предполагала не только опору на цивилизационные ценности, но и использование некоторых научно-технических достижений Запада для упрочения государства. Это требование времени не было приемлемо для ревнителей старины, убежденных в непреходящем превосходстве Китая всегда и во всем. Но общественная мысль эту проблему сняла: считалось, что научно-технические достижения Запада имеют китайские корни – их основы были заимствованы у китайцев в древности и лишь много веков спустя они дали столь впечатляющие результаты на европейской почве. И со второй половины XIX в. концепция «чжун ти си юн» стимулировала робкие попытки властей модернизировать экономику страны (в Китае их называли политикой самоусиления). А на страже цивилизационных основ, которые подвергались в то время

ударственное историописание и политика в империи Цин). Пекин, 2009; Дорнин Б.Г. Историография императорского Китая XVII–XVIII вв. СПб., 2002.

² Китайская философская энциклопедия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 324.

тяжелейшим испытаниям, должна была стоять «национальная наука» (го сюэ) – синтез всего классического гуманитарного знания, основу которого составляли конфуцианство и официальная версия истории Китая. Ей предстояло питать «национальный дух» (го цуй), которому также отводилась важная роль в упрочении основ национальной государственности. Все это свидетельствует о том, что уходу династии Цин предшествовало не интенсивное отторжение традиционных ценностей, а растущее понимание их необходимости. Это беспрецедентное внимание китайского общества к своему историко-культурному прошлому известный американский китаист Дж. К. Фэйрбэнк квалифицировал как «культурный национализм».

Такое видение верхами китайского общества поразившего империю кризиса и путей его преодоления предполагало их обращение к апробированному потенциалу классического историописания — надежной опоре конфуцианской монархии. И оно было востребовано.

Но теперь классическое историописание функционировало в принципиально иной, чем когда-либо прежде, ситуации, неведомы ему были и многие проблемы, которые предстояло решать. И это не могло не сказаться и на его облике и процессах, которые в нем шли, хотя его основы все эти перемены не затронули, они оставались незыблемыми.

Несмотря на то что историографические службы империи продолжали исправно трудиться до ее последних дней, значительная часть исторических трудов готовилась в этот период людьми, в них не служившими. Как правило, это были выходцы из «му фу» (штаб, ставка). Так назывались группировки чиновников и ученых, которые создавались влиятельными представителями региональной администрации. В условиях деградации политического центра империи они становились влиятельной силой. Но врагами правящего дома предводители «му фу» не были, в их интересах было сохранить его. Воспитанные на традиционных ценностях, они пытались добиться этого и с помощью историописания, которым и занимались ученые из подконтрольных им «му фу». Их сочинения практически ничем не отличались от трудов придворных историков.

Весьма существенно меняется и проблематика исторических трудов, их главной темой стало не прошлое императорского Китая, а история династии Цин, которую, согласно регламенту, следовало начинать писать лишь после ее ухода. Но властям она была необхо-

дима уже тогда, они нуждались в апробированной ими ее версии, которая могла помочь династии выстоять.

В императорском Китае принципиальное значение для трактовки истории любой династии имел комплекс особых трудов, которые готовились придворными историками по особому регламенту под строжайшим контролем двора. Это «записи деяний и речей правящего императора» (ци цзюй чжу), «правдивые записи» (ши лу – хроники правления ушедшего императора), «история государства» (го ши) и некоторые другие. Они готовились всего в нескольких рукописных экземплярах, рассматривались как важнейший государственный документ, хранились в архивах империи и были доступны лишь императору и узкому кругу высших сановников. Потрясения, которые в XIX веке обрушились на империю, никак не повлияли на нее. В системе официального историописания эти труды составляли ее первооснову и главный источник сведений о периоде правления династии для ее будущей официальной истории. Суровые испытания, которые переживал тогда правящий дом, не повлиял на работу придворных историков над этими фундаментальными сочинениями, они занимались ею как никогда активно и продуктивно до конца династии.

Крупным вкладом в решение стоявших перед династией Цин проблем стало создание двух фундаментальных трудов, имевших важнейшее значение для имиджа династии. Это «Высочайше утвержденный свод законов (династии) Великая Цин» (Цинь дин Да Цин хуэй дянь) и «Сводное описание (империи) Великая Цин» (Да Цин итун чжи). Первый из них – историческое сочинение жанра «чжэн шу» (книги о делах правления), в котором давалось обстоятельное описание государственного устройства империи и норм, определявших функционирование всех звеньев государственного аппарата. К его составлению придворные историки приступили еще в 1690 г., но завершить смогли лишь в конце XIX века. Это был пятый вариант текста, объем которого превышал 1500 цзюане. Гриф «высочайше утвержденный» в его названии указывал на его особый статус – он давался лишь немногим сочинениям придворных историков.

А «Сводное описание (империи) Великая Цин» принадлежит к еще одному жанру исторических сочинений — «фан чжи» (историко-географические описания регионов), в историописании он представлен огромным количеством трудов (до нас дошло более 8000). Они содержали необходимую для властей обильную и разнообразную ин-

формацию о регионе, которая регулярно обновлялась. Согласно регламенту «сводные описания» венчали пирамиду региональных «фан чжи», но на самом деле они не были сводом уже написанного там. Составители таких трудов видели империю как единое целое, противостоящее окружающему ее миру, результат многолетнего «собира- ния земель» правящим домом. Не случайно первый такой труд был создан историками империи Юань (1271–1368), территория которой, как считают, простиралась от берегов Тихого океана до Черного моря. Для владевших тогда китайским престолом потомков Чингисхана, которые тщетно пытались утвердиться на нем, такой труд был совершенно необходим. Необходим он был и для правителей находившейся в глубоком кризисе империи Цин, предшественники которых положили немало сил на то, чтобы к концу XVIII века под их контролем оказалась самая большая территория за всю историю императорского Китая (если не считать империю Юань). К подготовке вводного описания империи придворные историки приступили также в конце XVII века, когда положение правящего дома оставалось весьма шатким. На протяжении многих лет его текст правился, пополнялся новыми материалами, и его канонический вариант (его объем составлял 560 цзюаней) появился лишь в конце XIX века. В нем территория империи описывалась по состоянию на начало XIX века, там была зафиксирована деятельность правивших в XVIII столетии императоров по «расширению границ» империи. Примечательно, что оба эти труда появились, когда династия Цин доживала свои последние дни.

В условиях кризиса оказался необычайно востребованным и еще один вид исторических сочинений — сборники материалов о делах правления (цзин ши вэнь бянь). С XIV в. такие подборки официальных материалов, демонстрирующих свершения императоров правящей династии и их опыт решения проблем, создавались накануне ее гибели, когда она еще надеялась сохранить престол и остро нуждалась в сохранении и упрочении своего имиджа. Такой труд в империи Цин появился уже в 1826 г. незадолго до опиумной войны. А в конце XIX в. историки вновь обратились к этой теме и за несколько лет создали целую серию аналогичных сочинений. Ее основу составили несколько дополняющих друг друга официальных трудов³.

³ «Сборник материалов об августейших делах правления» (Хуанчао цзин ши вэньбянь), «Сборник материалов об августейших делах правления. Продолжение» (Хуанчао цзинши суй вэньбянь), «Сборник материалов об августейших

Новым словом в историописании императорского Китая стало появление «Записок у ворот Дунхуа» (Дун хуа лу) – огромного труда (600 цзюаней), в котором описывались дела правления императоров династии Цин. Его создателем считается Ван Сяньцзянь (1842–1917). По правилам это была тема «правдивых записей», содержание которых оглашению не подлежало, эти сведения содержались лишь в династийных историях, которые писались только после падения династии. Но в империи Цин такой прецедент уже был, по указанию императора Цяньлуна в середине XVIII в. Цзян Лянци (1723–1789) подготовил небольшую летопись правления всех предшественников этого императора. Свой труд он назвал «Записки у ворот Дунхуа» (Дун хуа лу) – в этом районе дворцового комплекса в Пекине располагались основные историографические службы империи. Взяв это сочинение за образец, Ван Сяньцзянь заявил о намерении продолжить дело, начатое Цзян Лянци, но на самом деле он приступил к описанию свершений всех императоров династии Цин, включая и те, о которых рассказал его предшественник. Работа над этим трудом была завершена уже после революции в 1915 г. Готовил его Ван Сяньцзянь не один, дела правления некоторых императоров описывали другие авторы. Окончательный вариант «Записок» фактически стал первой историей династии Цин⁴, но таких династийных историй историописание императорского Китая еще не знало. Это была летопись, выполненная на основе «правдивых записей». Достоинством общества такие материалы стали впервые. Подготовить подобный труд без санкции властей было невозможно. Они пошли на это не случайно: «правдивые записи» предназначались для прославления императоров, негативной информации они, как правило, не содержали. Свод таких материалов в «Записках» стал своего рода панегириком династии Цин, и, хотя она не дождалась его появления, значение подобного труда в то тяжелое для страны время переоценить трудно.

Но большую часть своих трудов историки XIX – начала XX в. посвятили не истории династии вообще, а той ситуации, в которой

делах правления. Часть третья» (Хуанчао цзинши вэнь саньбянь), «Сборник материалов об августейших делах правления. Часть четвертая» (Хуанчао цзинши вэнь сы бянь), «Сборник материалов августейших дел правления. Новый сборник» (Хуанчао цзинши вэнь синь бянь).

⁴ Ло Мин, Гао Сян. Дун хуа лу (Записки у ворот Дун хуа) // Чжунго шисюэ минчжу пинлунь (Известные исторические труды Китая). С. 286–292.

она тогда оказалась. Подобная актуализация проблематики в историописании императорского Китая произошла впервые, современность никогда не была его главной темой. Сделать такой крутой поворот заставила жизнь.

События, которые с конца XVIII века разворачивались на просторах империи, подрывали устои конфуцианской монархии и угрожали ее дальнейшему существованию, династия стремительно утрачивала присущие ей изначально качества. Для консолидации власти и противостояния нависшей над нею угрозы династии необходима была официальная версия происходящего, где все события будут развиваться в привычном, обозначенном конфуцианством русле, а определять их ход будет правящий дом, которому предписано было выступать в качестве субъекта исторического процесса.

Важнейшим фактором поразившего империю Цин кризиса стало небывалое обострение внутривластной ситуации, с конца XVIII в. ее устои сотрясали беспрецедентные по своим масштабам и интенсивности народные движения, они охватили и ее центральные районы, и национальные окраины; на этот период приходится и самое мощное из них в истории императорского Китая – крестьянская война тайпинов (1850–1864), едва не стоившая династии престола. На борьбу с повстанцами власти мобилизуют все имеющиеся у них ресурсы, они попытались даже привлечь на помощь иностранцев. С конца XVIII в. войну со своими подданными династия Цин вела практически непрерывно. Такого императорский Китай еще не знал.

Борьба с повстанцами не только истощала силы дряхлеющей империи. Обращение правящего дома в своей политической практике к силовым методам категорически противоречило предписаниям конфуцианства, а мощный всплеск народных движений это учение трактовало как указание Неба на неизбежное и скорое его крушение. Решить эту сложнейшую проблему и предстояло историкам. Военные акции властей империи описывались в особых сочинениях. Они появились в империи Цин в конце XVII века и содержали официальную трактовку многочисленных войн, которые вели власти; с середины XVIII века подготовка таких трудов перешла под контроль Государственного Совета — центрального органа власти в империи Цин. В соответствии с регламентом названия всех таких сочинений начинались с формулы «пиндин» (усмирение, умиротворение) – так определялось содержание описываемых в них действий властей. Этот

термин заимствован из традиционной политической культуры императорского Китая, где он обозначал один из аспектов мироустройства – функции, которая присуща Сыну Неба. Осуществляя «умиротворение», он прибегал к применению силы лишь тогда, когда все другие меры необходимого результата не давали. За время правления династии Цин историки создали около 70 «описаний войн», из них около половины в XIX в. И все они посвящены изнурительной борьбе властей с народными движениями. Как правило, они готовились по горячим следам, едва завершались описываемые в них события.

Главным сочинением этого жанра стало «Высочайше утвержденное описание истребления бандитов из провинции Гуандун» (Цинь дин цзяопин юэфэй фанлюэ, 420 цюаней). Его подготовкой поручили руководить сыну императора принцу Исиню (1833–1898), а окончательный текст просмотрел и утвердил сам император. В отличие от других подобных сочинений в его названии вместо стандартной формулы «пиндин» (умиротворение) использован термин «цзяопин» (истребление), что должно было указывать на особую суровость, проявленную властями в борьбе с одним из своих главных врагов. Аналогичное сочинение, подготовленное под руководством Исиня, была посвящено проходившему в те же годы восстанию няньцзюней. Руководил принц Исинь подготовкой еще трех сочинений, посвященных борьбе с народными движениями: «Высочайше утвержденное описание умиротворения мусульманских бандитов в провинциях Шэньси, Ганьсу и Синьцзян» (Цинь дин пиндин Шань, Гань, Синьцзян хуэйфэй фанлюэ, 320 цюаней), «Высочайше утвержденное описание умиротворения мусульманских разбойников в провинции Юньнань» (Цинь дин пиндин Юньнань хуэйфэй фанлюэ, 50 цюаней) и «Высочайше утвержденное описание умиротворения разбойников из народа мяо в провинции Гуйчжоу» (Цинь дин пиндин Гуйчжоу мяофэй цзилюэ, 40 цюаней; предисловие к нему написал император).

Таким образом, к концу XIX века в империи Цин появилась многотомная официальная история борьбы властей с народными движениями, где правящий дом выступает как единственная сила, способная навести порядок в Поднебесной. В императорском Китае это произошло впервые.

Но главную угрозу для себя власти империи видели не в народных движениях, в XIX в. она пришла из-за рубежа. Агрессия запад-

ных держав не только поставила империю на колени, но и ударила по ее цивилизационным корням, делала невозможным ее дальнейшее существование как великой державы, определяющей жизнь огромного дальневосточного региона. В такой ситуации императорский Китай оказался впервые. В поисках путей преодоления обрушившихся на империю бед власти пытались опереться на историописание.

В сложившейся в императорском Китае картине мира его центром всегда являлся Китай, а окружающая его периферия была населена варварами, многих из которых Сын Неба считал своими вассалами. Взаимоотношения с ними строились по конфуцианской модели, и за многие века был накоплен немалый опыт решения возникающих проблем. На него и опирались историки, обратившиеся к теме зарубежья, хотя с такими «варварами» императорский Китай встретился впервые. Но иными подходами к ней они не располагали.

Принято считать, что обращение историков XIX века к проблеме зарубежья открыло китайцам глаза на мир, они начали знакомить китайское общество с неведомым им прежде внешним миром и прежде всего со странами Запада. Но их вдохновляла отнюдь не забота о расширении кругозора современников – просветительской деятельностью китайское историописание никогда не занималось. Ему предстояло готовить труды, которые будут обеспечивать незыблемость устоев власти в начавшемся противостоянии с зарубежьем, что предполагало разработку широкого круга проблем теории и практики. И первое, что увидели историки XIX века, обратившись к этой теме, была английская военная эскадра у берегов страны, разгорающийся пожар опиумной войны.

Начавшейся агрессии западных держав и посвятили свои труды многие очевидцы и участники тех трагических событий⁵, но особое место среди них занимает «Повествование о монарших свершениях» (Шэн у цзи)⁶. Автор этого труда Вэй Юань (1794–1857) – крупный

⁵ Лян Тиннань. «Сборник материалов по обороне морского побережья провинции Гуандун» (Гуандун хай фан хуэй лань) и «Записки о ставших известными зловердных действиях варваров» (И фэнь вэнь цзи); Ся Се. «Записки о взаимоотношениях Китая с Западом» (Чжун си цзи ши) и «Краткие записки об успокоении варваров в период правления императора Даогуан» (Даогуан фу и цзилюэ); Вэй Юань «Записки о вторжении английских варваров (Ин и жу коу цзи) и другие.

⁶ Юань Ингуан. Шэн у цзи (Повествование о монарших свершениях) // Чжунго шисюэ мин чжу пинлунь (Известные исторические труды Китая). С. 146–160; Чэнь Цитай. Чжунго шисюэ ши (История китайской историографии). С. 58–69.

ученый, посвятивший всю жизнь разработке наиболее актуальных проблем, стоявших в то время перед династией. Судя по названию, этот небольшой прославивший его труд непосредственного отношения к сопротивлению агрессорам не имеет. В нем Вэй Юань рассказывает о военных подвигах цинских императоров, правивших в XVII и XVIII вв. Но это не военная история династии. Обратившись к ранее описанным предшественниками и хорошо известным их акциям, он показывает, что своих успехов на военном поприще они достигли не силой оружия, а опираясь на «шэн у» – важнейший компонент присущих Сыну Неба мироустроительных функций⁷. Как следует из текста, именно это и обеспечило процветание империи. А завершает свой труд Вэй Юань суждениями о некоторых аспектах мироустройства, которые следует задействовать в противостоянии варварам (агрессию держав и воспринимали тогда в Китае как очередное нашествие варваров). И Вэй Юань четко определил принципы решения этой проблемы. Ими руководствовались все авторы исторических трудов, посвященных этой теме. В том числе и придворные историки. По распоряжению властей они приступили к этой работе, едва отгребели пушки, и в 1856 г. представили «Полное описание мер, принятых в делах с варварами в период правления императора Даогуана» (Даогуан чао чоубань иу шимо). В нем давалась официальная трактовка взаимоотношений империи с агрессорами в период правления императора Даогуана (1820–1850), но начинается он с событий 1836 года, когда проблема контрабандной торговли опиумом западными державами приобрела необычайную остроту, и последовавшей вскоре войны. Этому составители данного труда уделили основное внимание. В 1867 г. появился аналогичный труд, посвященный событиям периода правления следующего императора Сяньфэна (1851–1861), когда державы, развивая достигнутый ранее успех, предприняли еще одну крупную военную акцию (она получила название вторая опиумная война). И в 1888 г. придворные историки завершили эту

⁷ В политической культуре императорского Китая так обозначалась завершающая фаза мироустройства, когда Сыну Неба необходимо было продемонстрировать свою грозность (вэй). Это было особое свершение императора (цюань шэн), которое военной кампанией не являлось. Именно так трактовал свои многочисленные военные акции правивший в XVIII в. цинский император Цяньлун. На склоне лет он повелел именовать себя «Старец десяти свершений» (ши цюань лао). См.: Мартынов А.С. Традиция и политика в период Цяньлуна // Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики. М., 1982. С. 207–230.

серию трудов периодом правления императора Тунчжи (1861–1875), когда крупномасштабных военных акций державы уже не предпринимали, в этот период они делали ставку на упрочение своих позиций в Китае иными способами.

Необходимость противостоять начавшейся агрессии западных держав потребовала также информации о заморских пришельцах. Традиционным источником такой информации в императорском Китае было историописание.

Вопреки распространенному представлению об извечной самоизоляции императорского Китая, отсутствию у него интереса к окружающему его миру в трудах придворных историков содержится немало сведений о зарубежных странах и народах, но лишь тех, которые оказались в орбите внешнеполитических интересов властей империи, главной темой это зарубежье никогда не было и специальных трудов о нем не писали. А китайские императоры в завоевательные походы предпочитали не ходить, покорять дальние заморские страны не стремились. Их интересовала прежде всего ближайшая периферия империи. Поэтому заниматься сбором ненужной властям информации в обязанности придворных историков не входило.

Но теперь неведомое ему зарубежье само пришло в Китай и поступает с ним так, как не поступал никто из соседей, претендовавших на китайский престол; не поступали так и правители Китая со своими соседями. Информация об этом зарубежье была необходима безотлагательно. Прежде всего тем китайским чиновникам, которые по службе вынуждены были постоянно иметь дело с представителями западных стран. Получить ее можно было только из иностранных источников. Для работы с ними одного знания языка было недостаточно. Выявить необходимые источники и суметь правильно в них сориентироваться и адекватно воспринять их содержание без помощников было невозможно. Как правило, ее охотно (и небескорыстно) оказывали представлявшие европейские страны миссионеры. Воздействие этих помощников на утверждавшееся в китайском обществе представление о заморских странах было очень велико.

Одним из первых к описанию зарубежья приступил крупнейший сановник империи Линь Цзэсюй, специальный уполномоченный по борьбе с контрабандой торговлей опиумом⁸. В своем докладе импе-

⁸ Вряд ли С.Ю. Линь Цзэсюй. Патриот, мыслитель, государственный деятель цинского Китая. Владивосток, 1993. С. 86.

ратору он писал: «Как раз сейчас, когда необходимо обороняться от варваров, следует постоянно собирать сведения о них, узнавать, где они сильны и в чем их слабости...»⁹ Собирать необходимые ему сведения Линь Цзэсюй поручил своим подчиненным. Для этого им пришлось обратиться к иностранцам, которые и снабдили их литературой. Основным источником для них стала только что увидевшая свет в Англии «An Encyclopaedia of Geography» (Murray H., London, 1834).

Как только началась опиумная война, Линь Цзэсюй решил на основе представленных ему материалов подготовить посвященный зарубежью специальный труд. Он назвал его «Описание четырех континентов» (Си чжоу чжи). Это был краткий справочник, содержащий сведения о тридцати зарубежных странах, расположенных в четырех регионах мира (так делила его буддийская традиция). В соответствии с принятой в Китае классификацией это был труд исторический, но до этого китайские историки еще никогда не создавали подобных трудов. Он был опубликован в 1851 г. и широкой известности не получил. Но он вдохновил современника Линь Цзэсюя Вэй Юаня заняться этой проблематикой серьезно. В Китае именно его считают зачинателем изучения зарубежья в историописании XIX века¹⁰.

К этой теме Вэй Юань обратился в период опиумной войны, а в начале 1850-х гг. его фундаментальный труд «Описание заморских стран с картами» (Хай го ту чжи, 100 цзюаней) увидел свет. Он содержал обширную и разнообразную информацию о зарубежных странах, в основном заимствованную из иностранных источников; при работе над некоторыми разделами ему пришлось использовать и труды придворных историков; он также использовал текст «Описания четырех континентов» Линь Цзэсюя. В предисловии Вэй Юань писал: «(Эта работа) создана для того, чтобы с помощью варваров наступать на варваров, чтобы использовать варваров, жить с ними в согласии, чтобы, изучив достижения варваров, подчинить их»¹¹. То есть предоставленная им информация, как он считал, была необходи-

⁹ У Цзэ. Хай го ту чжи (Описание заморских стран с картами) // Чжунго шисюэ минчжоу пинлунь (Известные исторические труды Китая). С. 161–179; Чэнь Цитай. Чжунго шисюэ ши (История китайской историографии). С. 70–84.

¹⁰ Врядий С.Ю. Линь Цзэсюй... С. 93.

¹¹ Линь Цзэсюй. Основные сведения о российском государстве. Факсимиле ксилографа / Издание текста, перевод, комментарий, приложение С.Ю. Врядий. Владивосток, 1996.

ма властям для выстраивания отношений с угрожавшим им зарубежьем. Здесь Вэй Юань вновь обращается к положениям, о которых он уже говорил в «Повествовании о монарших свершениях».

Как и положено представителю китайской элиты, агрессию западных держав Вэй Юань трактует как нашествие варваров, противостоять которому можно, лишь занявшись их преобразованием (бянь и). И свой труд он начинает с обстоятельной характеристики необходимых для этого приемов, закрепленных в традиционной политической культуре (он называет их «чоу бань»). И только после этого Вэй Юань обращается к описанию регионов и стран, а также приводит хронику взаимоотношений императорского Китая с зарубежьем с III в. до н. э. до середины XIX века. В пространном резюме, завершающем этот труд, он вновь обращается к проблеме варваров и способам эффективного противостояния им. И здесь к нормам, заимствованным из традиционной политической культуры, Вэй Юань добавляет требование учиться у варваров тому, в чем они преуспели и что сделало их сильными (ши и). Это их успехи в науке и технике, прежде всего военной. Обоснованию этого положения посвящена значительная часть резюме. Подобное суждение в устах видного представителя элиты прозвучало не случайно, оно свидетельствовало о растущем понимании ею того, что «варвары», сумевшие нанести империи столь чувствительные удары, требуют к себе особого отношения.

В условиях все углубляющегося кризиса и стремительно нарастающей экспансии держав проблематика, поставленная Линь Цзэсюем и Вэй Юанем, оказалась необычайно актуальной, она привлекла многих ученых XIX века. В ее трактовке они исходили из тех же положений традиционной политической культуры, что и Вэй Юань. В этот период в империи Цин появилась целая серия трудов, посвященных заморским странам, некоторые из них и поныне оцениваются китайскими историками весьма высоко. Это «Очерк географии мира» (Иньхуань чжилюэ) Сюй Цзюня (1795–1873), «Четыре рассуждения о заморских странах» Лян Гиннаня (1796–1861), «Краткое описание Франции» (Фаго чжи люэ) Ван Тао (1828–1897), его же «Война между Пруссией и Францией» (Пу Фа чжань цзи) и др. А своего рода завершением темы зарубежья в историографии той эпохи стал огромный справочник (775 цзюаней) «Подробные изыскания в искусстве управлять различных стран» (Гэ го чжэн и тункао), вышедший в свет накануне революции.

Но историки XIX века занимались не только заморскими странами. Решение проблем, стоявших в то время перед империей, заставило их обратить внимание и на соседей – на ближнее, давно и хорошо известное зарубежье. Задачи, которые им предстояло решать, существенно отличались от тех, что ставили перед ними заморские страны, что и определило их подход к разработке этой темы. Их внимание привлекли лишь две страны-соседа – Россия и Япония, каждая из них интересовала историков XIX века по разным причинам. Прежде всего они занялись Россией.

В отличие от других европейских стран Россия – сосед, с которым империя Цин установила связи еще в период своего образования в середине XVII века. Они складывались по-разному, но никогда не прерывались. Взаимоотношения с соседом всегда занимали важное место в политике властей империи и до середины XIX века серьезных проблем, которые требовали бы обращения к историописанию, не было. Ситуация изменилась в середине XIX века. В условиях, когда все более реальной становилась угроза распада территории империи и утраты ее частей, особое звучание в политике властей приобрела проблема границ, и прежде всего на севере, где империя имела общую, но не четко определенную границу с Россией. Там же находились и монгольские земли — давняя забота цинских императоров. Без экскурса в историю решить эту проблему цинские власти не могли. И в историописании XIX века появилась российская тема.

Автором первого в Китае специального труда, посвященного России, стал также Линь Цзэсюй. На основе имевшихся у него переводных материалов он подготовил в 1839 г. небольшой (всего две главы) труд под названием «Основные сведения о русском государстве» (Элосы цзяю)¹². В нем давалось краткое описание России по регионам с указанием их внутренних границ, областных центров, количестве войск, расквартированных в пределах губернии, вероисповедания местных жителей и проч. Но не стремление познакомить соотечественников с соседней страной вдохновило Линь Цзэсюя на этот труд, ему важно было показать, какое мощное государство находится на северных границах империи. Такой, подчеркивает Линь Цзэсюй,

¹² Ян Юйлян. Шо фан бэй чэн (Свод сведений о северных пределах империи) // Чжунго шисюэ минчжу пинлунь (Известные исторические труды Китая). С. 218–230; Чэнь Цитай. Чжунго шисюэ ши (История китайской историографии). С. 137–151.

Россию сделали правившие ею Василий III, Петр I и Екатерина, особо подчеркивая вклад в процветание России Петра I. Линь Цзэсюй считает, что в этом он похож на своего современника императора Канси, стоявшего у колыбели великой династии Цин. Такая попытка отождествить Сына Неба с зарубежным правителем в китайском историописании была предпринята, видимо, впервые и в контексте усилий властей по преодолению кризиса имела принципиальное значение. С этого времени отождествление двух императоров в трудах по истории империи Цин стало нормой. Опубликован этот труд Линь Цзэсюй был лишь в конце XIX века, но его текст Вэй Юань включил в состав «Описания заморских стран», и современникам он был известен.

А главным источником сведений о России в XIX в. стал труд Хэ Цютао (1824–1862) «Свод сведений о северных пределах империи» (Шофан бэйчэн, 80 цзюаней). Он был закончен в начале 1850-х гг., и уже в 1860 г., по рекомендации высокопоставленных покровителей, сочинение Хэ Цютао было представлено императору. Произошло это в начале второй опиумной войны, но император сумел с ним ознакомиться, дал ему название (его китайский вариант можно понимать по-разному) и отправил в дворцовую библиотеку (такой чести удостоивались лишь самые важные труды). Но дальнейшая судьба сочинения Хэ Цютао полна драматическими событиями. Когда началась опиумная война и ворвавшийся в Пекин англо-французский отряд разграбил и сжег летний дворец императора, оно погибло в огне. Вскоре во время пожара, случившегося в доме Хэ Цютао, исчез и авторский черновик. Но властям этот труд был необходим, и когда сын Хэ Цютао восстановил текст по оставшимся после смерти отца материалам, влиятельный сановник из ближайшего окружения императора Ли Хунчжан, много лет занимавшийся проблемами внешней политики империи, распорядился его издать. В 1881 г. сочинение Хэ Цютао с предисловием Ли Хунчжана впервые увидело свет.

Основу этого фундаментального труда компилятивного характера составляют различные материалы, заимствованные из сочинений придворных историков и характеризующие ту ситуацию, которая складывалась на северных рубежах императорского Китая в разные периоды его истории; иностранные источники Хэ Цютао не использовал. Все эти весьма пестрые материалы связывает воедино российская доминанта этого труда, фактически он посвящен взаимоотношениям властей императорского Китая с Россией, где субъектом

неизменно выступает Сын Неба, простирающий свои мироустроительные функции на дальние окраины империи. Именно с рассуждений на эту тему начинается Хэ Цютао свой труд и только после этого обращается к ситуации на северной границе, где издавна обитали вассалы китайских императоров. Основное предназначение своего труда он обозначил термином «бэй юн» (держать наготове). Учитывая обострение китайско-российских отношений в период, когда он готовился и увидел свет, нетрудно понять, что имел в виду автор.

На следующий год после выхода в свет сочинения Хэ Цютао, издается сборник «Важнейшие сведения о России» (Элосы цзяю), в котором впервые была опубликована работа Линь Цзэсюя, а также два труда еще одного цинского сановника Ян Ина (1785–1852), также посвященные России. Готовил этот сборник и написал к нему предисловие У Дачэн (1835–1902), в то время он по поручению императора занимался пограничными проблемами в районе Приамурья. В нем он подчеркивал свое негативное отношение к России. Подобная тональность российской проблематики историков XIX века была обусловлена серьезными осложнениями взаимоотношений двух стран после подписания в середине XIX века договоров, которые определяли границу между ними, тех ее частей, которые в этом нуждались. Очевидно, стимулировали ее и миссионеры, представители стран, претендовавших на свое монопольное положение в Китае и на Дальнем Востоке. Не случайно именно в эти же годы в Китае появилось сразу несколько подготовленных ими работ о России, где она трактуется как потенциальная угроза Китаю.

Еще один сосед Китая – Япония, в XIX веке она заинтересовала в Китае всех. Отношения между ними всегда складывались непросто, как правило, власти императорского Китая относились к ней негативно. Но когда в результате проведенных в XIX в. весьма радикальных преобразований Япония в течение нескольких десятилетий превратилась во влиятельную мировую державу, активно решающую свои геополитические интересы, в том числе и за счет Китая, китайская элита в поисках причин происшедшего обращается к ее опыту, пройденному ею историческому пути. Близость культур двух стран делало изучение опыта соседа особенно полезным и поучительным. Среди посвященных Японии трудов, появившихся в Китае во второй половине XIX – начале XX в. историки особо выделяют работу Хуан Цзунсяня (1848–1909) «Описание японского государ-

ства» (Жибэнь го чжи). В Китае и поныне этот труд считается классикой, многие полагают, что Хуан Цзунсянь впервые в Китае сумел систематически изложить историю зарубежного государства¹³.

Преодолеть кризис династия Цин не смогла. В 1911 г. вдовствующая императрица от имени малолетнего монарха подписала акт об отречении от престола, и династия прекратила свое существование, а вместе с нею ушла с исторической сцены и конфуцианская монархия. В 1912 г. Китай стал республикой, но ситуацию в стране новая власть не контролировала, ее становление растянулось на многие годы. Казалось бы, вместе с конфуцианской монархией должно было исчезнуть и официальное историописание – ее важнейший институт. Но этого не произошло. Уже в 1912 г., через три месяца после провозглашения республики, ее президент Сунь Ятсен (1866–1925), которого в Китае считают отцом современной государственности, распорядился приступить к созданию истории государства и учредить для этого специальный орган – подобие одного из важнейших подразделений официального историописания императорского Китая. Этим же распоряжением Сунь Ятсен определил также структуру этого учреждения и его штат. Ему было поручено собирать материалы по истории становления республики. Но функционировать это учреждение начало лишь с 1914 г., когда Сунь Ятсена на посту президента республики сменил генерал Юань Шикай (1859–1916), в прошлом один из крупнейших государственных мужей империи Цин.

А в июле 1912 года лидер одной из группировок революционеров, утвердившейся в г. Ханькоу, распорядился создать учреждение для подготовки «ши лу», но теперь эта летопись должна была повествовать не о делах правления умершего императора, а собирать материалы и готовить хронику происходивших тогда событий.

Все это свидетельствует о том, что классическое историописание оказалось востребованным самыми разными политическими силами, пришедшими к власти в постимперском Китае. И это понятно: все государственные деятели республиканского Китая в недавнем прошлом были подданными Сына Неба, они с малых лет воспитывались в почитании цивилизационных ценностей, при решении стоявших перед ними новых проблем необычайной сложности они пыта-

¹³ Шэнь Банхэ. Жибэнь го чжи (Описание японского государства) // Чжунго шисюэ минчжу пинлунь (Известные исторические труды Китая). С. 303–321.

лись опереться на традиционную политическую культуру – иных путей их решения они не знали. Поэтому обойтись без историописания они пока не могли, его позиции в республиканском Китае оставались незыблемыми. Под эгидой республиканских властей оно продолжало достаточно успешно функционировать. При этом основные свои усилия оно сосредоточило на истории только что свергнутой империи Цин, продолжая и дополняя то, что было начато их предшественниками до революции. До 1921 г. продолжалась работа над «правдивыми записями» (ши лу), посвященными правлению императора Гуансюя (1875–1908). По своему объему (597 цзюаней) эта летопись стала одним из самых крупных произведений такого рода. Подготовлена была и летопись его малолетнего преемника Пуи. Описание трехлетнего пребывания на престоле этого последнего китайского императора составило целых 70 цзюаней.

Вскоре после крушения империи Цин были завершены и изданы несколько фундаментальных трудов по истории империи Цин, работа над которыми началась еще в XIX в. В 1915 г. была завершена и издана летописная история империи Цин Ван Сяньцяня «Записи у ворот Дунхуа». В 1921 г. Лю Цзиньцао (1862–1934) закончил продолжение цинской части историко-литературной энциклопедии «Вэнь сянь тун као» (400 цзюаней) – одной из трех классических энциклопедий (их составление началось в VIII в.). В те же годы Хуан Хуншоу закончил многолетнюю работу над «Полным описанием событий периода правления династии Цин» (Цин ши цзи ши бэньмо). Сочинения этого жанра (он берет начало в XII в.) содержат серию очерков о наиболее важных событиях в истории династии. Хуан Хуншоу около половины своего труда посвятил событиям конца XIX – начала XX в.

Но самым значимым событием в историописании первых лет республики стало создание двух династийных историй — «Новая история династии Юань» (Синь Юань ши)¹⁴ и «Черновой свод истории династии Цин» (Цин ши гао)¹⁵. Со времени появления сочине-

¹⁴ Юй Дацзюнь. Синь Юань ши (Новая история династии Юань) // Чжунго шисюэ минчжу пинлунь (Известные исторические труды Китая). С. 438–457; Цюй Линьдун. Лунь эрши лю ши (О 26 династийных историях) // Шисюэ юй шисюэ пинлунь (Историческая наука и историческая критика). Хэфэй, 1998. С. 100–105.

¹⁵ Дун Шоуи. Цинши гао (Черновой свод истории династии Цин) // Чжунго шисюэ минчжу пинлунь (Известные исторические труды Китая). С. 421–437; Чжу Шичжэ. Цин ши шувэнь (Сведения об «Истории династии Цин»). Пекин, 1957.

ний этого жанра во II в. до н.э. они были главным звеном всей системы официального историописания императорского Китая, готовились преемниками династии, истории которой они посвящались, под личным контролем императора и имели статус важнейшего государственного документа. Династийные истории являлись не только основным источником сведений о периоде правления династии, но и были наделены важными функциями, главной из которых было обеспечение легитимной преемственности власти сменяющих друг друга династий¹⁶.

Составитель «Новой истории династии Юань» Кэ Шаоминь (1850–1933) – весьма заметная фигура среди элиты последних лет правления династии Цин и первых лет республики. К работе над этим сочинением он приступил в конце XIX века (формальным поводом послужило хорошо известное в Китае несовершенство официальной истории этой династии, созданной в середине XIV в.). А завершил он ее лишь в 1920 г. Это был огромный труд объемом 257 цзюаней (изначальный вариант этой династийной истории состоял из 210 цзюаней). Он сразу же был замечен властями: занимавший тогда пост президента республики написал к нему предисловие (в императорском Китае это довольно часто делали императоры) и помог сразу же его опубликовать.

Как уже говорилось, с середины XVIII века магистральной темой китайского историописания была преимущественно современная история династии Цин, и труд Кэ Шаомина в нее никак не вписывается. Но он имел самое непосредственное отношение к тому, что происходило в Китае в те годы. Еще приступая к работе, Кэ Шаоминь четко сформулировал причину, которая заставила его обратиться к далеким временам правления этой инородческой династии. Как он подчеркивал, тогда была достигнута небывалая консолидация общества, сложилось «великое единение китайцев и варваров» (хуа и да тун). В период кризиса империи Цин и начавшегося распада страны после ее крушения эта тема звучала необыкновенно актуально.

Самым важным событием в историописании республики тех лет стало, безусловно, создание «Чернового свода» официальной истории

¹⁶ Доронин Б.Г. Династийные истории — хранители памяти о прошлом // Образы времени и исторические представления. Россия–Восток–Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2010. С. 386–444.

династии. Среди первоочередных проблем только что сформированного республиканского правительства оказалась и подготовка истории только что свергнутой представленными в этом правительстве силами династии, для чего была создана специальная комиссия, штат которой составлял 300 человек, и назначен ее руководитель. Им стал Чжао Эрсюнь (1844–1927), в недавнем прошлом один из крупнейших сановников империи. За образец решено было взять «Историю династии Мин» (Мин ши), которую считали лучшим произведением этого жанра. Недостатка в источниках комиссия не испытывала – власти империи Цин все триста лет пребывания на престоле не покладая рук трудились над собственной историей. Но создать полноценную, отвечающую классическим образцам династийную историю в республиканском Китае было невозможно: в этих сочинениях рассказывалось о передаче власти от одной династии другой по воле Неба, передача власти от династии республике правилами составления таких трудов предусмотрена не была. Тем не менее комиссия к работе приступила, и уже в 1920 г. предварительный вариант текста этой династийной истории был готов, а в 1927 г. появился и его окончательный вариант. Его объем составлял 529 цзюаней, это была самая большая династийная история, когда-либо составлявшаяся в Китае. Хотя составители старались придерживаться требований жанра, соблюсти их они не смогли и поэтому назвали свое творение «Черновой свод».

Многие традиционные для таких сочинений проблемы получили в этой династийной истории новое, необычное звучание. В ней говорится, что смена власти в начале XX века произошла без участия Неба, республика была создана по воле уходящей династии, которая учла пожелания народа и открыла стране путь к обновлению (смена династий, происходившая по правилам, предполагала не обновление, а упрочение основ конфуцианской монархии). Классические династийные истории, описывая смену династий, всегда большое внимание уделяли положительной характеристике нового обладателя престола. Составители «Чернового свода» от этого правила отказались, в подготовленном ими описании событий Синьхайской революции преобладает негативная тональность, о деятельности многих активных ее участников они предпочли умолчать.

Появление «Чернового свода» пришлось на время, когда страну сотрясал очередной политический кризис, но это событие не осталось незамеченным, оно вызвало необычайно острую (как правило, нега-

тивную) реакцию представителей разных слоев китайского общества, звучали призывы изъять напечатанный текст из обращения и впредь запретить его издавать. «Черновой свод истории династии Цин» вместе с «Новой историей династии Юань» были включены в официальный комплект династийных историй, утвержденный в конце XVIII в. императором Цяньлуном (тогда он состоял из 24 трудов)¹⁷.

Таков был путь, пройденный классическим историописанием в XIX – начале XX в. Оно оказалось, как никогда, востребованным властями империи Цин и стало активным и весьма важным фактором процессов, которые шли в Китае на этом переломном этапе его истории. За сравнительно небольшой срок историки подготовили десятки трудов самого разного предназначения. Свой созидательный потенциал историописание не утратило и в это трудное время, оно оказалось самым стабильным институтом конфуцианской монархии, который пережил ее крах и продолжал служить уже республиканскому Китаю. Но в рассматриваемый период оно обретает некоторые новые, не присущие ему прежде особенности: так было всегда, не реагируя на перемены, происходящие в государстве, оно не смогло бы просуществовать десятки веков. Такое историописание и получил в наследство постимперский Китай, на его основе в XX веке шел сложный процесс становления новой, современной китайской исторической науки. Впервые эта проблема начала обсуждаться в Китае в конце XIX века. Инициатором этих дебатов стал видный ученый и общественный деятель того времени Лян Цичао (1873–1929), решение этой проблемы он видел так: «пополнять новым, но не трогать старое» (цзэн ци синь эр бу бянь цзю). То есть преемственность, а не разрыв с прошлым и радикальные преобразования должны были, по мнению Лян Цичао, определять пути национальной исторической науки в XX веке. Этим путем она и пошла.

¹⁷ На этом проблема создания полноценной, отвечающей нормам китайского историописания истории династии Цин закрыта не была, китайские историки пытаются ее решить до наших дней. Сейчас они завершают работу над государственным проектом, предусматривающим создание такой истории в 100 томах.

НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И МЕДИЕВИСТЫ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ*

Историческое событие, идентичность, интеллектуальная биография

В центре исследования – интеллектуальные биографии медиевистов начала XX века, роли, которые им, вольно или невольно, довелось сыграть в эпоху революционных перемен, особенности формирования самосознания интеллектуала в империи и в эмиграции.

Первая мировая война, названная современниками Великой, изменила не только социально-политический, но также интеллектуальный ландшафт европейского мира. В каком смысле можно говорить о том, что знаковым событием в жизни целого поколения историков стала именно война и революция? Знаковым событием для всей плеяды историков, торивших свой путь в науке на рубеже веков или в начале XX столетия, стала Великая война. Её страшный опыт перечеркнул многие привычные границы, установил новые нормы социальности и запустил новые социальные лифты. На всех его реципиентов произошедшие события подействовали крайне жёстким, но зачастую несходным образом. Опыт военных лет стал для кого-то стимулом к более активной социальной карьере, кого-то, напротив, оттолкнул, настроив на стезю маргинала. Социальные конфликты послевоенного времени долго воспринимались сквозь призму Великой войны, и даже те ее свидетели, кто дожили до Второй мировой, находились под прессом катаклизмов 1914–1918 гг.

События, понимаемые в позитивистской парадигме или сколь угодно конвенционально, в любом случае воспринимаются как маркеры, формирующие самосознание индивида. В любой системе координат события служат точками отсчета, на них фокусируется историческая память, их используют для создания исторического нарратива. События современности входили в жизнь историка и его биографию: война, революция, эмиграция, утверждение и легитима-

*Работа подготовлена в рамках проекта «Историческая память как фактор национальной идентичности: опыт сравнительно-исторического исследования» по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историческая память и российская идентичность».

ция тоталитарного строя. Роль историка менялась в соответствии с новыми правилами социальной игры: требовалось стать ее активным или пассивным участником, т.е. пропагандистом, агитатором, просветителем, либо маргиналом и беженцем, сторожем символического капитала прошлого или же новичком в новой реальности, без стартовых преимуществ, но с новыми возможностями.

Разумеется, событие – это продукт восприятия. Событие, реконструируемое из диалога культур прошлого и настоящего¹, иногда превращается в миф. Ход и последствия Великой войны уже её очевидцами стали восприниматься как своего рода Новое Средневековье (в частности, такую мысль высказывал Н.А. Бердяев)². То, что в настоящее время, спустя столетие, этот концепт «нового средневековья» опять в моде, на мой взгляд, делает правомочной избранную постановку вопроса. Образ рождающегося века как «нового средневековья» должен был особенно подействовать на медиевистов.

Оценки событий и их интерпретация слагают базу идентичности. «Идентичность», «историческая память» – интеллектуальные концепты, которые разрабатывались историками, ими же затем подвергались деконструкции, в связи с чем представляется важным обратиться к трудам последних поколений историков, пользовавшихся этим концептом в смысле ре-конструирования, а не де-конструирования данного понятия. Не менее любопытной задачей будет выяснение, какие же события маркировали биографии самих историков.

Особый исследовательский интерес в данном случае представляют биографии историков-медиевистов и итальянистов. Притягательность их биографических казусов в качестве объекта изучения связана частично со специализацией автора, но также с тем, что представители школ медиевистики (как в первой половине XX в., так и позже), действительно, являлись авторитетами для всей корпорации

¹ См., напр., Вжосек В. Культура и историческая истина. М.: Кругъ, 2012.

² «Старый мир новой истории (он-то, именующий себя все еще по старой привычке “новым”, состарился и одряхлел) кончается и разлагается, и нарождается неведомый еще новый мир. И замечательно, что этот конец старого мира и рождение нового одним представляется “революцией”, другим же представляется “реакцией”. “Революционность” и “реакционность” так сейчас перепутались, что потерялась всякая отчетливость в употреблении этих терминов. Эпоху нашу я условно обозначаю как конец новой истории и начало *нового средневековья*». – Бердяев Н. Новое средневековье. Размышление о судьбе России. URL: <http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyayev/berdrn010.htm>).

историков своей страны, так как умели переключать исследования на другие, более поздние периоды истории, а также реагировали на вызовы современного им мира. Одни интеллектуалы были вынуждены расширить тематику своих работ, поскольку таковы были условия их выживания, на родине или на чужбине, другим было необходимо увеличить сферу своей приемлемой деятельности в связи с тем, что они заняли особую нишу, привилегированное положение, обязывавшее немедленно отзываться на социальный и госзаказ.

Само понятие «интеллектуальная биография», разумеется, многозначно и подразумевает различные трактовки³. Принято считать, что такой подход требует изучения интеллектуальной и творческой активности, взаимосвязей между «жизнью» и «творческой работой» интеллектуала, а, кроме того, оценки исторического значения его деятельности, вклада в мировую науку. Последний пункт, полагаю, не является принципиально важным для моей темы. Напротив, зависимые, т.н. «вторичные» труды часто в большей мере полезны исследователю интеллектуальной истории, так как они показывают культурный ландшафт эпохи более подробно, чем яркие новаторские работы, порывающие с традициями и школами своего времени. Связь же между интеллектуальной академической активностью, общественной и просветительской деятельностью и просто обстоятельствами бытовой жизни историков-интеллектуалов представляется крайне важной темой изучения, как и широта спектра их интересов.

Пользуясь определениями П. Бурдьё, можно сказать, что речь идет о связи полей, например, поля науки и поля литературы (журналистики), с полем политики⁴. С одной стороны, исследования по теме идентичности должны углубляться в вопросы исторических дисциплин, с другой стороны, такие изыскания затрагивают самые болезненные точки на пересечении социально-политического и общественного с индивидуальным и интеллектуальным. Характеристики и классификация особенностей идентичности той или иной общности –

³ Для отечественной историографии первопроходческой была работа, на которую я во многом и ориентируюсь, см.: Репина Л.П. Персональная история: биография как средство исторического познания //Казус: индивидуальное и уникальное в истории. 1999. Вып. 2. С. 76-100.

⁴ См., напр.: Бурдьё П. Поле политики, поле социальных наук, поле журналистики // <http://bourdieu.name/content/burde-pole-politiki-pole-socialnyh-nauk-pole-zhurnalistiki>

это статика, а эволюция научных взглядов и складывание школ историографии показывают динамику процессов. Как возможно объединить и то, и другое – в одном исследовательском поле?

Интеллектуальная история – не только и не столько «история интеллектуалов», сколько система подходов и методов изучения взаимодействия социального, политического и интеллектуального полей, в центре которых может быть казус интеллектуальной биографии⁵. Итальянистика и итальянисты – сложный объект исследования, который весьма подходит для изучения именно с позиции интеллектуальной истории, принятия именно такой исследовательской стратегии или видения (или же, используя итальянский термин – *ottica*). Интеллектуальная история – это, разумеется, не просто истории про интеллектуалов, не просто подробности их биографии или *curriculum vitae*, но способы конструирования интеллектуальной идентичности. В сфере внимания интеллектуальной истории не один центр притяжения мысли, наоборот, неперемное условие её методики – анализ одних и тех же аспектов в разных содержательных контекстах.

Представляется научно плодотворным проследить ряд сюжетов, связанных с проявлениями идентичности интеллектуала, представителя классического гуманитарного знания – итальяниста-медиевиста, не только в рамках собственно академической активности и не только в своей исторической дисциплине, но в разных сферах деятельности. Речь идет не просто об историке, владеющем спектром смежных гуманитарных компетенций, например, навыками в области юридических и филологических наук. Интеллектуальная биография делается на различных полях, в разных жизненных обстоятельствах и социально-политических контекстах⁶.

Прежде всего, важно увидеть проявления социальной и политической активности интеллектуала в кризисные моменты эпохи, во время поисков национальной идентичности, крушения и создания

⁵ Репина Л.П. Интеллектуальная культура как маркер исторической эпохи // Диалог со временем. 2008. № 22. С. 5-15; 2011. См. также: Репина Л.П. Историко-историографическое исследование в контексте современной интеллектуальной культуры // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры. Сборник статей / Под ред. Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришиной, Ю.В. Красновой. Челябинск: «Энциклопедия», 2011. С. 21-35.

⁶ Репина Л.П. Историческая наука в предметном поле интеллектуальной истории // История и историки в прошлом и настоящем / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН. 2013. С. 5-22.

новой государственности. В этом отношении XX век демонстрирует чудеса: академичные, чтобы не сказать – аутичные, сконцентрированные на тонкостях изучения архивных материалов источниковеды, становятся популяризаторами науки, пишут для максимально широкой аудитории, легко переключаются не только на новые сюжеты исследования в рамках исторической дисциплины, но выходят в иные сферы деятельности, например, занимаясь литературоведением и публицистикой. Особенно любопытна в этом смысле судьба привилегированных «придворных» историков, влиятельных и имеющих массу зависимых протеже «баронов» научного мира, которые вольно или невольно должны курировать массу сюжетов, следить за идеологической направленностью работ по нескольким направлениям, заниматься учебниками, учебным процессом и энциклопедиями. По иронии судьбы, такова же участь самых маргинальных и ущемленных – лишенных работы и пораженных в правах у себя на родине или же беженцев, эмигрантов, которые вынуждены братья за разнообразную, (дабы не сказать – любую) работу, не могут держаться избранной специализации и узких профессиональных рамок по жестокой необходимости. Нередко именно это приносит известность, если не славу таким подневольным работникам.

Меня, прежде всего, интересует историк, который находится на культурном «пограничье» и, преодолевая препятствия, раздвигает границы собственного опыта (осуществляет зарубежные поездки, научные экспедиции и, возможно, эмиграцию). В то же время, даже не покидая родных мест, но встречая вызов эпохи в моменты социальных кризисов и глобальных перемен, кабинетный ученый меняет свою идентичность коренным образом. Перед назревающей мировой войной и в межвоенный период, когда вопросы строительства государства и национальной идентификации широко обсуждались – и на уровне политического дискурса, и с точки зрения обывателя, историки-интеллектуалы, естественно, тоже не могли обойти вниманием эти вопросы, ни в публичных дискуссиях, ни в академической сфере.

Нет ничего странного в том, что в Италии влиятельными интеллектуалами были специалисты по «отечественной» средневековой истории. Этот период – время великой славы Италии, а образование, требуемое для специалиста-медиевиста, действительно отличается высоким стандартом, предполагая обучение как древним, так и новым языкам, широкую эрудицию. Получившие блестящее образова-

ние итальянисты-медиевисты представляли в Италии цех историков в буквальном смысле слова: будучи лидерами профсоюзов, сотрудничая в прессе, в энциклопедических трудах. Естественно, что попытки возвести современные феномены к средневековым корням, происходили именно в этой стране. Но и в России именно итальянистика (романистика) была необыкновенно привлекательна для интеллектуалов и читающей публики – это был повод к обсуждению республиканских идеалов, правовых основ, самой идеи свободы, но не в меньшей степени и вопросов средневековой истории церкви и религиозности в Европе и Италии, «стране святых чудес»⁷. Кроме того, романистика и медиевистика, если брать специализацию по историческому периоду, были на подъёме, возникла целая школа блестящих ученых, избравших такую специализацию, причем ученых, активных на общественном поприще.

Говоря о начале XX века, можно выделить группу образованных молодых людей, близких по социальному происхождению (выходцев из небогатых, но привилегированных семей) и годам рождения: 1870 – начало 1880-х гг. Думаю, что весьма рискованно судить об этих интеллектуалах как о «научной школе», скорее – как о виртуальном сообществе и в тот период, когда все они находились в России, преимущественно в двух столичных университетских центрах, и тогда, когда судьба разбросала их по России и в эмиграции. Изначально для большинства членов этой плеяды, как и для родоначальников школы медиевистики в России, были характерны интернациональные корни и, в той или иной степени, либеральные взгляды. Общими «прародителями» этого интеллектуального сообщества, условной школы ученых-медиевистов, можно счесть В.И. Герье и И.М. Гревса.

Владимир Иванович Герье (1837–1919), член-корреспондент Петербургской академии наук (1902), профессор всеобщей истории Московского университета, родился в семье потомков выходцев из Германии, приехавших в Россию в конце XVII в. и полностью обр-

⁷ Это выражение впервые употребил славянофил А.С. Хомяков, назвавший в своем стихотворении «Мечта» (опубл. в 1835 г.) Западную Европу («дальний Запад», «Запад величавый») «страной святых чудес». Его же неоднократно использовал Достоевский, например, в «Дневнике писателя»: «О, знаете ли вы господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам... Европа, эта “страна святых чудес”! <...> Европа нам второе отечество, – я первый страшно исповедаю это и всегда исповедовал».

севших. Будучи сторонником конституционной монархии, он все же слыл либеральным профессором, вступаясь за опальных студентов и настаивая на неприкосновенности внутриуниверситетской жизни.

Иван Михайлович Гревс (1860–1941) – историк-медиевист, специалист по истории Римской империи, педагог, краевед и, подобно Герье, общественный деятель. Теоретик и проводник экскурсионного метода в преподавании истории, выходец из дворянского рода с шотландскими корнями. И.М. Гревс лично принимал участие в политическом студенческом движении и в народовольческих кружках.

И.М. Гревс и В.И. Герье дали научной специализации по медиевистике массу тем. В паре «учитель-ученик» была задана модель если не соперничества, то ухода ученика, несмотря на общность исследовательских интересов, на собственную стезю и разрыва с учителем из-за стилистических и методологических разногласий. Эта модель будет воспроизведена при дальнейшем развитии русской италянистики и романистики: с Гревсом перестанут находить общий язык более молодые коллеги-итальянисты Карсавин, Оттокар и Бицилли, хотя все они (так же, как и О.А. Добиаш, А.Н. Шебунин, Л.Я. Ганчиков) вышли в научную жизнь благодаря семинарским занятиям Гревса и его личному участию в их судьбе.

Особое положение занимает в ряду медиевистов русской дореволюционной школы Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская (1874–1939), первая женщина в Российской империи, получившая ученую степень по истории и статус преподавателя, специалист в области романистики, медиевистики, палеографии и писательница, член-корреспондент АН СССР. Добиаш родилась в семье профессора-эллиниста чешского происхождения. Талантливая девушка училась на Бестужевских курсах (1895–1899) у профессора И.М. Гревса, но в 1899 г. за участие в политических волнениях студентов была оттуда исключена. После хлопот профессоров она продолжила учебу, а затем, по приглашению Гревса, выпускница сама служила на Высших женских курсах (Бестужевских), с 1907 г. – преподавателем, а с 1916 – профессором. В 1908–1911 гг., будучи в научной командировке во Франции, она подготовила диссертацию «*La vie paroissiale en France au XIII-e siècle d'après les actes episcopaux*» и получила степень доктора Парижского университета (1911). По возвращении на родину Ольга Антоновна защитила магистерскую диссертацию «*Церковное общество во Франции в XIII в.*», а в 1918 г. ей было присвоено звание

доктора всеобщей истории за диссертацию «Культ св. Михаила в латинском средневековье». Итальянистика не была основной специализацией Добиаш, но в сферу ее интересов как публикатора источников входили и итальянские материалы, в работы по истории средневековой европейской культуры и специально по истории письма, по истории паломничеств и Крестовых походов, включались итальянские сюжеты, а по линии изучения истории церковного прихода также возникали мотивы, связанные с итальянским средневековьем.

В принципе, можно сказать, что именно фигура Добиаш – это связующее звено между дореволюционной и постреволюционной исторической научной дисциплиной. Она не разочаровалась ни в своем наставнике и научном кумире юности, ни в социальных идеалах. Находясь в реалиях жизни послереволюционной России, подвергаясь в советское время нападкам за «идеализм», Добиаш работала в традиции европейской науки времени своего ученичества. Вообще же, интеллектуалы дореволюционной России, как бы поставили на себе удивительный и наглядный опыт: ведь, обладая сходным багажом знаний, представлений и компетенций, они приобрели опыт интеграции в разные культурные среды в России и за ее пределами, в эмиграции. Результаты этого опыта впечатляют. Представители очень узкого слоя, скорее тесного круга интеллектуалов, они продемонстрировали такие качества корпоративного опыта, которые смогли реализоваться в новых и подчас критических условиях.

Медиевисты, ровесники Добиаш, принадлежавшие той же дореволюционной школе и выбравшие эмиграцию, весьма несхожи между собой, их опыт жизни и карьеры на чужбине различен. Владимир Николаевич Забугин (род. в 1880 г.), закончив университет, был командирован Академией наук в Италию, где приобрел не только профессиональный, но и особый духовный опыт, сблизился с приверженцами византийского обряда, в 1907 г. перешёл в католичество и затем постоянно жил в Италии, изредка навещаясь на родину и время от времени публикуясь на русском. Этот самобытный ученый и религиозный деятель, успевший стать кардиналом Римской церкви, трагически погиб в Альпах 14 сентября 1923 года, но успел оставить свой яркий след в медиевистике.

Николай Петрович Оттокар (1884–1957), русский и итальянский историк-медиевист, проректор (1917), декан историко-филологического факультета, ректор (1918–1919) Пермского университета. Несом-

менно, научные интересы Добиаш-Рождественской и Оттокара, писавшего в доэмигрантский период работу, посвященную церковному приходу и институту *orega seu fabrica*, пересекались. По несчастному стечению обстоятельств, Оттокар, уезжая из Европы в начале мировой войны, потерял большую часть уже готовой работы и скопированных источников, в результате чего был вынужден переключиться на другую тему и выбрал «французский город», еще более сблизивший интересы двух ученых. Оттокар защитил в Петербургском университете диссертацию на тему «Опыты по истории французских городов в средние века», официальными оппонентами, а также участниками обсуждения были И.М. Гревс, О.А. Добиаш-Рождественская и Л.П. Карсавин. С 1922 г. и до самой смерти в 1957 г. он провел в эмиграции, в основном во Флоренции, преподавая в университете и занимаясь историей средневековой коммуны Тосканы.

Лев Платонович Карсавин (1882–1952), более известный как религиозный философ, получил образование историка-медиевиста и итальяниста. Происходил Карсавин из артистической среды, чем отличался от большинства членов цеха итальянистов, принадлежавших к университетским семьям или привилегированному классу. Своим формированием в качестве историка он был обязан, прежде всего, профессору Гревсу, семинарий которого посещал, однако ни о какой преемственности речи не шло: сам Карсавин не считал первого учителя образцом для подражания, а наставнику не была близка ни та тенденция, которая сказалась в магистерской работе ученика, ни, тем более, та, что проявилась в его докторской диссертации. Магистерская диссертация-монография «Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII веков» (1912; защитил в 1913 г.), докторская диссертация – «Основы средневековой религиозности в XII–XIII вв., преимущественно в Италии». С 1909 г. Л.П. Карсавин преподавал в Историко-филологическом институте и на Высших женских (Бестужевских) курсах; надо отметить, что такую активность вслед за учителем проявляли многие ученики Гревса. С 1912 г. Карсавин – приват-доцент Петербургского университета, с 1916 – профессор (с 1916). С 1922 г. в эмиграции в Берлине, затем в Каунасе.

Петр Михайлович Бицилли (1879–1953) – историк-медиевист, а также литературовед и литературный критик, профессор Новороссийского и Софийского университетов. В 1912 г. в Петербургском университете защитил диссертацию «Салимбене. Очерки итальян-

ской культуры XIII века», после чего стал приват-доцентом, а потом и экстраординарным профессором Новороссийского университета в Одессе. Преподавал историю Западной Европы на Одесских высших женских курсах. Один из последних учеников Бицилли, О.Л. Вайнштейн (1894–1980), станет известным исследователем средних веков во времена СССР. То, что именно по учебнику Вайнштейна преподавали историю науки (историографию) в советских профильных вузах, сыграло важную роль в подготовке студентов-историков⁸.

Этих интеллектуалов, воспитанных в традиции петербургской школы и под прямым влиянием одного наставника, я имею в виду, рассуждая о судьбах русской италянистики после революции.

Италянистика между мировыми войнами: интеллектуалы, идеологи, проблемы поиска национальной и политической идентичности – этот круг вопросов задаёт общий фон исследования. Вопросы идентичности, точнее, слома старых матриц идентичности и выстраивания новых стали насущными после Первой мировой войны. Достаточно обратиться к словам того же Н.А. Бердяева, исходившего из глубокого убеждения в том, что «нет возврата ни к тому образу мыслей, ни к тому строю жизни, которые господствовали до мировой войны, до революции и потрясений, захвативших не только Россию, но и Европу, и весь мир», и видевшего в послевоенном времени знаковую веху, смену эпох, «переход от рационализма новой истории к иррационализму или сверхнационализму средневекового типа»⁹.

Тема идентичности препарируется сквозь призму восприятия «своей» и «чужой» истории, соответственно, историками-итальянистами в самой Италии и иностранными учеными с той же специализацией. В том исследовании, которое я выстраиваю, предполагается проанализировать общие или схожие темы историков-итальянистов разных национальных школ. Так, например, средневековые итальянские коммуны превращали в мифы и ученые-историки, и политические лидеры, как в Италии, так и в России: русские либералы XIX–

⁸ Вайнштейн О.Л. *Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней: Учебник для исторических факультетов государственных университетов и педагогических институтов.* М.; Л.: Соцэргиз, 1940; Его же. *Западноевропейская средневековая историография.* М.; Л.: Наука, 1964; Его же. *История советской медиэвистики: 1917–1966.* Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1968.

⁹ Бердяев Н.А. *Новое средневековье. Размышление о судьбе России...*

XX вв., коммунисты, идеологи фашизма. При этом вклад историков явно был наибольшим, а вес именно медиевистов среди активных и политизированных интеллектуалов эпохи – значительным.

То, что основы жизненного строя общин итальянского средневековья интересовали итальянских историков, в XIX – начале XX в. не пренебрегавших модернизацией понятий и одержимых стремлением подчеркнуть ложный континуитет этих основ *цивитас*, не требует каких-либо доказательств, хотя таковые имеются и будут предъявлены ниже. Но следует сказать и о том, что итальянистика и медиевистика в России – больше, чем академическая специализация, «итальянские» штудии (например, образ средневековой свободной коммуны-*цивитас*) не просто вызывали неподдельный интерес и энтузиазм, но создавали определенные мифы восприятия истории и формировали культурно-исторические ценности не только в университетской среде, но и в обществе.

Современные историки, в т.ч. медиевисты, в долгу перед своими коллегами из прошлых поколений. Опыт изучения русского научного зарубежья – один из показательных примеров. Изучение интеллектуальных биографий историков, проблемы трансформации интеллектуальной идентичности в кризисные периоды, казалось бы, должно быть поручено именно их коллегам-специалистам, способным оценить их профессиональное развитие, понять и объяснить научную судьбу. Однако исследование жизни русского зарубежья в срезе научной среды отстает от аналогичных штудий славистов, литературоведов и искусствоведов, посвященных деятелям искусства, писателям, публицистам (например, русским литераторам и представителям мира искусства в эмиграции). Кстати, надо отдать должное итальянским славистам и филологам, неустанно ведущим такую работу¹⁰. Отставание публикаций историков в этом деле настолько заметно, что даже отдельные работы по смежным сюжетам – истории научных

¹⁰ Гардзонно С., Сульпассо Б. Осколки русской Италии: Исследования и материалы. Кн. 1 / науч. ред. О.А. Коростелева, М.А. Васильевой. М., 2011; Гардзонно С. Перелистывая «Хождения во Флоренцию», или Тоска по невозвратимому // Знамя. 2011. № 4 (<http://magazines.russ.ru/znamia/2011/4/go15.html>); Русская эмиграция в Италии: журналы, издания, архивы (1900–1940) / *Emigrazione russa in Italia: periodici, editiria e archive (1900–1940 / a cura di S. Garzonio e S. Sulpasso* // *Europa Orientalis*. Salerno, 2015; Письма Н.П. Оттокара к Вяч. Иванову / Публикация и примеч. Стефано Гардзонно // *Вестник истории, литературы, искусства*. Т. 3. http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2012/11/pisma_ottokara_ivanovu_2006.pdf

школ и их взаимосвязей, научной эмиграции и интеллектуальных биографий, отрывочные характеристики и наблюдения, касающиеся взаимодействия мысли и творчества итальянцев разных стран и эпох – представляются полезным вкладом, который необходимо вносить каждому из ныне действующих историков-медиевистов¹¹. Рефлексия по поводу научного наследия коллег сама становится объектом изучения. Поэтому и адресатами моего исследования выбраны не обойдённые вниманием итальянцы недавнего прошлого.

Среди медиевистов Италии я выделяю имя и наследие Джоакино Вольпе (1876–1971), интеллектуала с разнообразными научными интересами и тягой к популяризаторству, с четкой общественной позицией и готовностью выступать не только в академической аудитории, но и на страницах прессы, а среди русских медиевистов – Петра Михайловича Бицилли (1879–1953), ученого, совершенно отличного по своему характеру от Вольпе, но также выступавшего во многих качествах – критика и публициста, исследователя и преподавателя, популяризатора, историка готового к смене изучаемых тем и предметов исследования. При этом именно Бицилли, несмотря на наличие у него итало-албанских корней, не предпринял эмиграции в Италию, как это сделали его коллеги Оттокар и Забугин.

Вольпе и Бицилли сопоставимы по охвату затрагиваемых ими тем, что дает возможность сравнить работы каждого с трудами современников, а также проанализировать их влияние на последующее поколение ученых. Наследие Вольпе и его интеллектуальную биографию следует сопоставить как с интеллектуальной биографией его сотоварища по научной школе и политического оппонента, эмигранта Сальвемини, так и с биографией его идейного сторонника Каджезе¹².

¹¹ Пример подает международная научная конференция «Италия и русские медиевисты», проведенная Домом Русского Зарубежья. В частности, ряд ученых уделили большое внимание наследию Н. Оттокара: доклады О.Ф. Кудрявцева (Проблемы культуры итальянского Возрождения в трудах Забугина, Бицилли, Пузино), Н.А. Селунской (Ренессанс, Итальянские коммуны, коммунисты и антикоммунисты: русская традиция итальянистики от Забугина и Оттокара до Гуковского и Рутенбурга), Бьянки Сульпассо из Университета Мачераты (Новые материалы к реконструкции жизни и творчества Н. Оттокара в Италии), А.И. Ключева (Споры вокруг флорентийской истории: Николай Оттокар и Гаэтано Сальвемини). URL: <http://inostranka.ru/news221.html>.

¹² D'Alessandro V. Salvemini medievista / Gaetano Salvemini fra politica e storia. Laterza, Bari-Roma, 1986. P. 139–197; Caggese R. Classi e comuni rurali nel medio evo

Творчество Бицилли пересекается с разными аспектами наследия его коллег-итальянистов, работавших в семинаре Гревса.

Между собой Вольпе и Бицилли не имели почти ничего общего в плане социально-политических идеалов, но несомненно наличие общей культурной платформы, увлеченность педагогической деятельностью и склонность к рецензированию значимых произведений в близких им областях гуманитарного знания.

Вклад Вольпе в развитие историографии XX века изучался учеными разных стран¹³. В имеющемся заделе в изучении истории российской науки периода становления Бицилли и, конкретно, судьбы и наследия его самого значителен вклад российских научных центров – Петербурга, Томска и Перми¹⁴. Особенно плодотворными представляются те усилия, которые постоянно совершались, вне зависимости от моды и установок времени, Б.С. Кагановичем¹⁵, а также

italiano, vol. 1–2. Firenze, 1907–1909; Capitani O. Da Volpe a Morghen: riflessioni eresologiche a proposito del centenario della nascita di Eugenio Duprè Theseider // *Studi medievali*, s. III, 40 (1999). P. 305–321; Capriglione F. La metodologia storiografica di Romolo Caggese tra positivismo e storicismo. Foggia, Grafsud, 1981.

¹³ Campopiano M. Tra politica, filosofia e storiografia. Una recente pubblicazione su Volpe e Salvemini // *Giornale Critico della Filosofia Italiana*, 90, 2011, p. 389–400; Clark M. Gioacchino Volpe and fascist historiography in Italy // *Writing National Histories. Western Europe since 1800* / ed. by Stefan Berger, Mark Donovan, Kevin Passmore. L.: Routledge, 1999. P. 189–202; Artifoni E. Gioacchino Volpe e i movimenti religiosi medievali / *Reti Medievali Rivista*, VIII, 2007; Idem. Crivellucci, Salvemini, Volpe e una rivista che non si fece. Nota in margine a una ricerca su Gaetano Salvemini storico del medioevo // *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*. XIII. 1979. P. 273–299; Capitani O. Da Volpe a Morghen...; Cervelli I. Cultura e politica nella storiografia italiana ed europea fra Otto e Novecento. A proposito della nuova edizione di “Storici e maestri” di Gioacchino Volpe // *Belfagor*. XXIII. 1968. P. 473–483, 596–616; XXIV. 1969. P. 66–89; Idem. Storiografia e politica: dalla società allo stato. Note su Gioacchino Volpe // *La Cultura*. VII. 1969. P. 496–534; Idem. G. Volpe e la storiografia italiana ed europea fra Otto e Novecento // *La Cultura*. VIII. 1970. P. 40–80, 257–291, 375–424; Idem. Gioacchino Volpe. Napoli, 1977; Di Giovanni G. Il realismo storico di Gioacchino Volpe. Roma, 1976.

¹⁴ Ашурова Н.И. Петр Михайлович Бицилли. Томск: «Печатная мануфактура», 2004; Клюев А.И. Неизвестный известный медиевист: размышления над страницами книги «Николай Оттокар – историк-медиевист» // *Диалог со временем*. 2011. № 37. С. 366–375; и др.

¹⁵ Каганович Б.С. Петербургская школа медиевистики в конце XIX – начале XX в. (дисс. к.и.н., 1987, Ленинградск. отделен. Института истории АН СССР) и далее цикл работ: Каганович Б.С. П.М. Бицилли как историк культуры // *Одиссей. Человек в истории*. 1993. М.: Наука, 1994; Его же. Е.В. Тарле и петербургская

авторами обширного труда по публикации и комментированию наследия Бицилли¹⁶. Отметим и вклад такого института, как Историческая библиотека, создавшая специальные коллекции и электронный ресурс-каталог Историческая наука Русского Зарубежья (русской эмиграции с 1917 г.)¹⁷.

Россия – Италия.

Контексты интеллектуальной и социальной истории

Русская и итальянская школы средневековых и ренессансных исследований сходны в признании общих авторитетов, влиянии на них немецкой историографии, в методах работы с источниками и выборе предпочтительных тем, прежде всего, проблематики средневековой коммуны-цивитас, народа (popolo), религиозных и антирелигиозных коннотаций ренессансного гуманизма. Однако назвать работу компаративным исследованием, строго говоря, нельзя. Компаративные исследования – это не жанр, но цель или стратегия исследования, почти самодостаточная. В данной работе моменты компаратива – это тактика, которую пришлось применить, буквально следуя за материалом. Простые сравнения служат иногда средством создания нарратива или наводят на необходимые для развития исследования вопросы. Становится понятным: если мы говорим об итальянистах России и Италии определенного периода, то каждая деталь интеллектуальной биографии одного из наших соотечественников сопоставима с одной или несколькими отличительными чертами биографий итальянских интеллектуалов, а контексты, в которых развивалась жизнь академического сообщества, не могут не включать вопросы социальные и политические, более того, не могут не затрагивать вопроса о т.н. национальной идентичности, что было особой приметой времени.

Мой путь к исследованию судеб ученых, взаимодействовавших с различными режимами в периоды социальных кризисов и перемен, формирования новых идентичностей в социальном поле, пролегал

школа историков. СПб., 1995; Его же. Русские медиевисты первой половины XX века. СПб., 2007; Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры / Сост., ст., коммент. Б.С. Кагановича. СПб., 1996; Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки / Подгот. текста, послеслов. и примеч. Б.С. Кагановича. СПб., 2012.

¹⁶ Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад / Сост. Ф.Б. Успенский; Отв. ред. М.А. Юсим. М.: Языки славянских культур, 2006.

¹⁷ Историческая наука Русского Зарубежья (русской эмиграции с 1917 г.) http://katalog.shpl.ru/shrubr.php?rid=424&base=shpl_gcat&rbase=ryst

крайне витиевато. К теме русских итальянистов, в первую очередь русских эмигрантов, оказавшихся в Европе, меня привело изучение общей историографической картины, состояния специализации в области медиевистики, именно итальянского средневековья. Не менее важным был опыт изучения условий жизни и деятельности итальянских интеллектуалов (в т.ч. медиевистов по образованию) времен Первой мировой войны и складывания фашистского режима (здесь в поле внимания были и горячие сторонники этого режима, такие как Джоаккино Вольпе и Ромоло Каджезе, так и противники-эмигранты, прежде всего, Гаэтано Сальвемини). Да, мы знаем, что русский дореволюционный интеллектуал мог, находясь в разногласиях с послереволюционной действительностью, пытаться найти себе вторую родину, но постфактум мы знаем и о том, что эти попытки происходили не в абстрактной «Европе», но в Европе, обескровленной войной, в Европе нарождающегося фашизма и тоталитаризма. Как в этой атмосфере жили историки – местные уроженцы и как могли адаптироваться свободолюбивые изгнанники, русские эмигранты – вот вопросы, которые не могут не волновать исследователя.

Первоначально меня интересовала преимущественно интеллектуальная ситуация в Италии начала XX века и межвоенных лет, когда академические ученые (медиевисты, как не странно, в первых рядах) были вовлечены в публичные дебаты, создание манифестов, политические и идеологические дискуссии. При этом особенно меня занимала биография Вольпе¹⁸, весьма успешного и активного ученого, получившего базовое образование и специализацию медиевиста перед первой мировой войной, но прожившего долгую жизнь в науке (его труды продолжают переиздаваться и в самые последние годы).

¹⁸ Селунская Н.А. Пройденный путь идей: век Джоаккино Вольпе // Диалог со временем. 2011. Вып. 36. С. 403-422. В этой работе была сделана попытка охарактеризовать разносторонние дарования и виды деятельности Вольпе, прожившего долгую (95 лет – почти век!), интересную и счастливую жизнь, за которую успели несколько раз смениться моды, вкусовые предпочтения, политические режимы в Италии. Личность Вольпе, чьи первые интеллектуальные проявления стали типичными для начала XX века, синтезировала и объединяла многие черты и традиции итальянской интеллектуальной культуры Нового Времени в целом. В то же время, это был интеллектуал, устремленный в будущее и чутко реагирующий на современность. Важно отметить и то, что ученый, в сущности, выполнял при только что образовавшемся фашистском режиме роль, близкую к роли Луначарского в ранние годы советского режима в России.

Научная деятельность и академическая биография интересуют меня не сами по себе, но как перспектива изучения эпохи: благодаря тому, что каждая из биографий вписана в круг историографических тем и проблем, а также обрисовывает систему личных связей этих учёных. Например, в связи с именем Вольпе сразу возникает имя его одноклассника, коллеги, соперника Г. Сальвемини, избравшего в отличие от Вольпе, противостояние власти и эмиграцию, и другого коллеги Р. Каджезе, соратника по политическим взглядам, сподвижника в деле изучения итальянских коммун, но, при всех чертах сходства, не избежавшего критики со стороны Вольпе.

Вопросы, волновавшие Вольпе как ученого и популяризатора (история коммуны, средневековой религиозности и религиозных движений, связь истории Италии периода средневековья, Ренессанса и Рисорджименто), касаются и развития российской науки, пересекаются с интеллектуальными биографиями медиевистов-питомцев российской исторической школы¹⁹. Ре-конструирование казусов интеллектуальных биографий ученых, сервильных либо толерантных по отношению к власти или оппозиционных, выводит на линию изучения проблемы общественного служения интеллектуала. В частности, именно итальянский пример карьеры интеллектуала – казус Вольпе – показал важность анализа внеакадемической, как бы «прикладной» по отношению к научной, деятельности ученого.

Дополнительные функции интеллектуала в социуме следует понимать не только в смысле осуществления роли педагога и популяризатора науки, но и в более широком плане – от публицистики, дань которой отдавал Вольпе и его университетские коллеги, до выбора политических горизонтов и создания идеологических манифестов. Те же аспекты – как академической, так и вне-академической и околонуучной деятельности, те же моменты ре-конструирования, хотя и с существенными поправками, видимо, следует выделить, рассматривая интеллектуальные биографии русских медиевистов. Казус интеллектуальной биографии итальянского ученого не выстраивался без компаративного измерения и выявления ряда парал-

¹⁹ См.: Селунская Н.А. Италия, народ, коммуна в тоталитарном дискурсе // Диалог со временем. 2012. № 39. С. 240-255; Селунская Н.А. Коммуникация историографических школ и path dependence: Россия и Италия // Диалог со временем. 2013. № 45. С. 169-182, где, в частности, показано сходство работ Вольпе и советских историков при характеристике народа как двигателя истории.

лелей и пересечений с интеллектуальными биографиями других, русскоязычных ученых. Однако эти биографии не интересовали меня на всем протяжении своих сюжетных линий, нужны были некоторые выборочные моменты аналогий или сближений.

Таким образом, по мере развития проекта стала вырисовываться схема построения работы в виде двух связанных между собой частей: первая должна наметить множество сюжетных основ и линий для сравнения, которые будут представлены достаточно схематично, но широко. Другая часть – углубленное исследование нескольких казусов научной биографии, персонажей академического мира и носителей различных историографических дискурсов, которые проявили себя не только на узком специализированном поприще медиевистики. Исследование затем пошло (по определенным пунктам) через сравнение интеллектуальных биографий и наследия русскоязычных историков с историческим опытом Италии в межвоенный период, когда итальянскими интеллектуалами предпринимались попытки активного участия в общественной жизни, а в обществе и государстве существовал запрос на поиск национальной идентичности, что и отражалось итальянскими историками (в т.ч. медиевистами по научной специализации первых работ).

Среди представителей отечественной медиевистики и итальянистики выделим имена Забугина, Оттокара, Бицилли, имевших некоторые общие академические связи в России (например, с Гревсом и Карсавиным), предпринявших эмиграцию, но не одновременно и в различных обстоятельствах, приобщившихся к разным центрам и средам научной и общественной жизни после отъезда из России.

После революции в России был исторический момент, когда казалось, что ствол древа гуманитарного знания подрублен и повален там, где это дерево произросло, – в столице. Тем не менее, сразу два отводка поверженного дерева проросли: в провинции и в эмиграции. Один и тот же человек, как, например, Оттокар, педагог и ученый, мог привнести модели изучения истории, существовавшие в русской исторической школе до революции, или взрастить новое зерно знания и в провинциальной Перми, и в итальянском (флорентийском) университетском мире. Так возникали тонкие связи между несопоставимыми, но уже не полностью чуждыми друг другу научными средами.

Нельзя сказать, чтобы русская академическая школа полностью была в руинах. Восстановление исторической специализации, кото-

рое началось с 1934 г., шло не без осложнений, и в главных научных центрах было поставлено под жесткий идеологический и цензурный контроль, однако традиция изучения итальянской средневековой истории развивалась и в Москве, и в Ленинграде, и в ряде других университетских центров. Следует отметить, что возрождение медиэвистики (и, как ее составной части, специализации по исследованиям итальянского и романского средневековья) произошло благодаря оставшимся в стране дореволюционным специалистам и их ученикам. Прежде всего, заслуга в этом И.М. Гревса, создателя научно-экскурсионного метода, его ученицы О.А. Добиаш (до революции много времени проводивших в научных командировках в Европе, но отклонивших эмигрантский путь), и Н.П. Соколова, также ученика Гревса, работавшего после 1917 г. в Нижнем Новгороде (г. Горьком) и заложившего в советское время серьезную школу исследований средневекового Средиземноморья.

В кризисные моменты (скажем, в годы второй мировой войны) некоторые советские медиэвисты в пылу борьбы с Западом, и особенно с Германией, употребляли почти журналистские штампы, говоря о современной немецкой историографии²⁰. Итальянисты не находились в столь жесткой конфронтации с зарубежными коллегами и не допускали таких высказываний (хотя итальянский фашизм изучался почти с самого начала своего существования).

Для специалиста очевидно, что в работах советских итальянистов есть отзвуки трудов и коллег-эмигрантов, и итальянских медиэвистов, при том, что открыто их цитировать было невозможно, в силу приписываемых западной науке враждебности и идеологической опасности. Поэтому изучать влияния, общие сферы интересов и точки пересечения русской итальянистики советского периода с трудами эмигрантов и развитием исторической науки в Италии периода фашизма приходится буквально наощупь, без четких ссылок и верифицируемых цитат. Однако вполне возможно проводить аналогии и даже делать определенные выводы о стилистической близости или сходстве подходов, подобно тому, как это делается литературоведами и искусствоведами.

²⁰ Косминский Е.А. Средние века в изображении германских фашистов // Против фашистской фальсификации истории. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 104-134; Грацианский Н.П. Немецкий "Drang nach Osten" в фашистской историографии // Там же С. 135-155.

Особенности интеллектуальных сообществ, формирующихся в единое культурное и академическое пространство из специфических локальных и региональных школ, интересны тем, что предстают в многообразии переходных форм и оттенков, которые затем сглаживаются, а также спецификой контактов с внешним академическим миром. Италия в XX в. так и не дала пример формирования единой национальной школы историографии, и процесс интеграции в ее академическую жизнь шел достаточно тяжело как для иностранца, так и для итальянских представителей иных локальных центров и традиций. В российской академической среде интерес к интеллектуальной жизни Италии разных периодов был всегда высок, в этом процессе изучения итальянской интеллектуальной культуры можно выделить и способы работы с источником, и попытки интерпретировать «мир другого», мир мыслителя и гуманитария разных эпох.

В отношении интеллектуального поля России и Италии можно указать важную параллель: для обеих стран в начале XX в. были важны попытки синтеза социальной и экономической истории, особенно при исследовании общины и религиозности, нестандартных ее проявлений, которые также интерпретировались не в русле истории церкви, но на стыке социальных, политических и культурных особенностей.

Красной нитью, связующей периоды истории науки и разнообразные аспекты деятельности интеллектуалов (получивших университетскую подготовку в качестве итальянистов), может стать как исследование отдельной научной биографии, академической жизни, так и история интересов интеллектуалов, изучения различными учеными, выходцами из разных стран и национальных школ историографии, какого-то отдельного объекта средневековой истории, такого как, цивитас – городская коммуна средневековья, например, в Тоскане, или же тема ереси и вольнодумства.

Цивитас как сюжет истории живо интересовал и представителей либеральной мысли, специалистов в области медиевистики до революционного Петербурга, таких, например, как И.М. Гревс и его ученик Н.П. Оттокар, работавший затем в провинциальной России в университете в Перми и в самой Тоскане в университете Флорен-

ции²¹, а также и П.М. Бицилли, связанного с университетами Санкт-Петербурга и Одессы, ставшего затем эмигрантом. Сходные темы увлекали и в юности близкого либеральным кругам, но ставшего виднейшим интеллектуалом фашистского времени Дж. Вольпе, и посвятившего первые серьезные труды коммуне средневековья (на материале пизанской истории), а также его коллег и оппонентов иных, левых убеждений и взглядов, например, Сальвемини.

Один и тот же интерес проявлялся как отражение синтеза, произведенного на свой лад, и итальянской школой историков, и русской дореволюционной и эмигрантской научной средой. Преломление и отражение этих идей в советской историографии происходило чаще всего без каких-либо прямых цитат. Формальных доказательств здесь нет или слишком мало, но естественно предполагать, что сходное развитие исторической мысли в различных средах происходило не спонтанно, в особенности те аспекты, которые связаны с осмыслением понятий народ (*popolo*) и коммуна (*comune, comunia*)²².

Нас интересует более всего казус русских историков-эмигрантов послереволюционного периода, их интеграция и карьера на чужбине, особенности их профессиональных и общественных устремлений, узость применения возможностей и познаний, или же наоборот – разнообразие исследований и курсов, подготовленных эмигрантами, а также занятий вне основного поля специализации. Постановка темы включает анализ того, должен ли исследователь объяснить этот вопрос, сообразуясь с логикой жизни научного социума, в котором интеллектуалы находились до или после эмиграции? Рассматривать занятия и достижения интеллектуалов с точки зрения особенностей той школы историков, в которой будущие эмигранты формировались, либо же обратиться к изучению стандартов и списку карьерных целей местных уроженцев, ученых тех стран, куда прибыли бывшие российские подданные? Точно так же заставляет обратиться к проблемам компаратива и вопрос о распространении некоторых работ или хотя бы о присутствии в списках зарубежных

²¹ Nicola Ottokar storico del Medioevo: da Pietroburgo a Firenze / a cura di Lorenzo Pubblici e Renato Risaliti. Firenze: Olschki, 2008. (Biblioteca dell'Archivio storico italiano; 30).

²² Селунская Н.А. Италия, народ, коммуна... С. 250-255.

авторов, изучаемых в Советской России, итальянского историка, известного в качестве главного фашистского интеллектуала.

Можно предполагать, что некоторые черты сходства между работами советских медиевистов и трудами медиевистов фашистской Италии – это результат общих идеологических установок тоталитарного характера. Можно счесть и иначе: связь здесь не прямая, а опосредованная, через общие интересы медиевистов дореволюционной России и специалистов, работавших в Италии в первой трети XX века.

Вопросы исследования идентичности интеллектуала, историка в моменты трансформаций национальных государств и конституирования национальных школ историографии можно трактовать совершенно различным образом. Можно ограничиться, например, вопросами состава академической номенклатуры или международных связей национальной школы историков, возможно проследить модусы упоминания о народе и народности в исторических исследованиях, но стоит рассматривать и различные способы функционирования историка в публичном пространстве: как политически ангажированного или аполитичного, как популяризатора, публициста и педагога. Ко многому обязывает заявление, что в работе рассматривается одновременно и академический дискурс, и публицистический, поле науки и поле политики. Я предпочитаю не делать таких деклараций, но признаю, что такой широкий подход необходим, если нас интересует традиция изучения итальянской *civitas* в связи с тем, как эту тему используют интеллектуалы для построения национально-политических дискурсов на фоне мировых войн.

Выход за рамки академического дискурса

Работа с более широкой аудиторией, нежели академическая и студенческая, бесспорное достоинство науки. Однако смысл и вектор развития такой популяризации мог быть различным. Родоначальник русской медиевистики Т.Н. Грановский читал публичные лекции, действительно открытые и значимые для общества. Говоря современным языком, формально занимаясь популяризацией науки, в ситуации диалога с обществом, ученый использовал науку как своего рода прикрытие: в форме публичной лекции (научного характера) пытался найти и находил отклик в сердцах прогрессивной общественности, старался открыть этому обществу некие идеалы социальной жизни и даже конкретные исторические институты, которые ка-

зались общественно полезными, показывая несколько приукрашенные образы демократических городских республик средневекового Запада. И для Герье, и для Гревса было весьма важным нести знание обществу. Для медиевиста Оттокара такая деятельность педагога-популяризатора была менее характерна, тем не менее, как и большинство учеников Гревса, Оттокар читал до революции лекции на Высших историко-литературных женских курсах Н.П. Раева. Однако после революции, когда стало гораздо больше возможностей и каналов популяризации знания, историк не проявил энтузиазма к их использованию: некоторое снижение академического стандарта и упрощение дискурса стали для него тяжким бременем. Разумеется, такая практика была неизбежным долгом во время преподавания в провинции, а затем и руководства университетом, с которым Оттокара связала судьба, но кабинетный ученый не видел в этом своего призвания, а единственным плодотворным периодом деятельности считал зарубежные командировки, все остальное воспринималось им как навязанная обстоятельствами и новой властью необходимость.

Для Бицилли, также преподавателя женских курсов и провинциального университета юга России (успешного, в частности, дать курс знаний будущему автору базового в советское время учебника по историографии средневековья Вайнштейну), а затем балканского эмигранта²³, популяризация, журнальная критика, эссеистика стали важными сферами интеллектуальной деятельности, помимо того, что были также условием выживания, сохранения себя в профессии в отрыве от западных архивов, и даже скромным источником заработка. Была ли такая активность осознанным общественным долгом, по крайней мере перед русскоговорящей общиной эмигрантов? Вероятно, да. Для более детального рассмотрения этого вопроса имеется интересная и богатая источниковая база, прежде всего многочисленные номера «Современных записок» (1920–1940)²⁴. Это была

²³ Велева М. Българската съдба на проф. П.М. Бицилли / София: Гутенберг, 2004 (список трудов Бицилли: С. 157-158); Ковалев М.В. Научно-исследовательская деятельность П.М. Бицилли в Болгарии (1924–1953 гг.) // Герои и антигерои в исторической судьбе России. Материалы 35-й Всероссийской заочной научной конференции. СПб., 2004. С. 203-209.

²⁴ См., в особенности: Бицилли П.М. Нация и государство // Современные записки, Париж, 1929, № 38; Его же. Нация и язык // Современные записки, Париж, 1929, № 40; Его же. Параллели // Современные записки. 1932. Кн. 48. С. 334-345; Его же. Возрождение аллегории // Современные записки, 1936, № 61.

серьезная интеллектуальная эмигрантская журнальная пресса, которую никак нельзя назвать просто досужим чтением. Наряду с литературными произведениями, которые затем вошли в классический канон русской литературы, здесь публиковались статьи и очерки ученых. Бицилли (в том или ином качестве: рецензента, рецензируемого, автора статьи или очерка) выступал почти в каждом номере, а иногда и с несколькими текстами в одном номере²⁵.

Феномен Бицилли удивителен: этот не самый блестящий ученый (даже в родном провинциальном университете вечный второй) попадает не в центр европейской интеллектуальной жизни, а в европейское захолустье, живет вдали от необходимых источников и фондов, причем находится в постоянной нужде и вынужден заниматься массой дел за рамками профессиональной карьеры. Но именно эта фигура – знаковая для интеллектуальной жизни русского зарубежья, точка пересечения интересов «русского мира» и «мира европейского» в космополитическом пространстве эмиграции, университетской культуры, странствования идей. Язык Бицилли – не четкий, навязываемый читателю дискурс, а система аллюзий, *параллелей* (это ключевое слово для интеллектуального мира Бицилли) – побуждает искать черты интонационного и тематического сходства его построений и множества как будто совершенно чуждых ему по духу итальянских и русских итальянистов. Речь идет не о системе прямых цитирований или ссылок, не об анализе и рефлексии, а именно о перекличках, видимо, невольных, между строками Бицилли, написанными в предвоенное время, и высказываниями советских медиевистов 1970-х годов, или же деятелей интеллектуального движения 1968 года в Италии. Бицилли, который, разумеется, не был привержен идеям марксизма и всячески пытался это подчеркнуть, тем не менее, обращался в своих «Параллелях» и в трудах по истории средневековой религиозности к образу Маркса, например, утверждая, что монаха Иоахима Флорского можно назвать пророком не больше, чем Карла Маркса, так как оба пытались не выдавать свое знание за вдохновение и переживание, а логически вывести некоторые прогнозы из общих посылок²⁶.

²⁵ Для анализа темы: «Бицилли и “Современные записки”» стоило бы создать простую базу данных или хотя бы систему таблиц, чтобы облегчить ориентирование в многочисленных публикациях, а для интерпретации результатов в разных контекстах потребуется отдельная статья.

²⁶ Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории... С. 194.

Обращался Бицилли и к идеям, которые были дороги не только нежестким марксистам его времени, но и к тем, что стали близки историкам и филологам в Италии и в России следующей эпохи. Параллели творчеству Бицилли мне видятся в гораздо более ярких и сильных, самодостаточных, на первый взгляд, чуждых эмигрантскому миру Бицилли работах итальянистов, активных в 60-х годах XX века и вплоть до нулевых. Пересечения идей, важных для Бицилли, можно видеть как в публикациях по медиевистике накануне эмиграции (в частности, в 1917 г. в «Журнале Министерства народного просвещения» и в его специализированной работе «Элементы средневековой культуры», опубликованной в Одессе в 1919 г.), так и в изданных в эмиграции очерках и курсах, в публикациях в «Современных записках» 1927–1932 гг. Определенное пересечение исследовательского интереса к народному и еретическому элементу средневековой культуры, в частности, к восстанию т.н «пастушков», со стороны Бицилли, и к еретическим движениям средневековья в целом в творчестве Вольпе представляется примечательным и достойным разработки. Более того, исследовательские интересы Бицилли, сформированные еще до эмиграции, слышатся отдаленным эхом в трудах совсем иного поколения итальянистов, причем таких разных исследователей, как Л.М. Баткин и У. Карпи. Это касается, прежде всего, исследований, посвященных наследию Данте и средневековому миру, в котором жил Поэт²⁷. Однако такой сравнительный экскурс должен стать отдельной работой. В данном же очерке важно отметить наличие у Бицилли устойчивых интересов и сюжетов, к которым ученый возвращался, несмотря на свой сложный путь в эмиграции.

Моменты кризиса (в частности, того, что переживала Европа после Первой мировой войны, и последовавшая за этим эпоха перемен), с одной стороны, оказывают большое влияние на среду интеллектуалов, но, с другой стороны, в картине мира, предлагаемой учебниками по истории, с такими моментами обычно ассоциируется политическое переустройство, дипломатические решения, но не успехи или неудачи, переживаемые академическим миром. Тем не менее, этот академический мир продолжал существовать, несмотря на кризисы революционных эпох, эпох военных столкновений, и,

²⁷ Баткин Л.М. Данте и его время: Поэт и политика. М.: Наука. 1965; Его же. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. См. также: Carpi U. La nobiltà di Dante. Polistampa, 2004.

более того, подчас историческая мысль продолжала или даже начинала успешно развиваться именно на кризисном для социального мира этапе истории. Интересно проследить, какие связи и темпы развития эти процессы демонстрировали, как здесь сказывались на работе по сходным ключевым проблемам исторических академических исследований события актуального момента, как проявлялись моменты социальной мобильности, эмиграции, выживания и приспособления науки к существованию в тоталитарном режиме.

Собираясь в дальнейшем посвятить этому вопросу отдельную статью, скажу кратко и предварительно, что, на мой взгляд, вопросы общего языка при этом влияли меньше, чем вопросы выработки языка влияния путем присоединения к доминирующим политическим дискурсам, что способствовало и частому пересмотру исторических концепций. Ситуация же большей академичности (одной из форм которой является маргинальность) в виде сознательной внутренней эмиграции или вынужденной эмиграции в собственном смысле слова, способствовала, скорее, консервации дискурсов и медленным переменам концептуального уровня развития исторической мысли.

Мы отметили, что итальянисты прошлого века самого рафинированного академического толка не гнушались миром политики, выступали за и против господствующих идеологий, в поддержку или опровержение актуальных общественных идей, социально-политических трендов, которыми было наполнено их время. Но надо сказать и более определенно: само занятие избранными сюжетами истории – «своей» или «чужой» – давало историкам мощный импульс мифотворчества, постоянно возвращало их к вопросам идентичности, в том числе к концепту *народной* или *национальной идентичности*.

Следует еще раз отметить, что для дореволюционной исторической школы медиевистов России типичны были не только изыскания историко-культурного плана, но и определенный интерес к развитию юридического и экономического подхода, который складывается в Италии благодаря усилиям такого же либерального профессорства, в частности историографического течения экономического и юридического толка, представителями которого в Италии и были Дж. Сальвемини, Дж. Вольпе, Р. Каджезе. Несмотря на то, что последние два имени известны как фашистские интеллектуалы, именно их идеи и исследования парадоксальным образом оставались в постоянном доступе российских итальянистов и пользовались огромным влиянием.

Сам Вольпе по понятным причинам не имел личных контактов с выезжавшими в Италию советскими историками, но именно русские историки-марксисты развивали сходную с Вольпе общую концепцию Рисорджименто, Ренессанса и эпохи расцвета средневековых коммун. Каким образом сложилась и вообще могла сложиться такая ситуация? Поиск ответа на этот вопрос помогает проследить линии развития историографических школ и течений в контекстах смены политического и общественного климата в России и в Италии.

В русской дореволюционной итальянистике, с самого начала развития медиевистики была сильна демократическая или либеральная позиция. Интерес к самоуправлению и свободам городских общин сам по себе был своеобразным выражением вольнолюбия и свободомыслия. Наиболее четко эти общие тенденции развития отечественной медиевистики прослеживаются в начале XX века в творчестве Н.П. Оттокара, о чем свидетельствует и сам его выбор поля исследования – средневековый город-коммуна, образец демократического строя, Флоренция и Тоскана²⁸. Эти темы были интересны не только его современникам, но и оставались предпочтительными темами исследования спустя десятилетия.

Остановившись на казусах развития коммунальных институтов Флоренции, Оттокар, тем не менее, полагал задачей установление некоторых коренных особенностей города как «публично-правовой целостности»; историк прослеживал процесс формирования «городской ассоциативности», особой формы городской идентичности, как мы бы сказали сейчас. Важной характеристикой он считал не статичные показатели и определения, но способность общины к коллективному действию и солидарности, а также проявления этой способности. Не ускользнула от его внимания и взаимосвязь общины мирской и общины церковной, а также роль прихода и общественных советов по делам, связанным с церковным строительством. Те же темы – институты общины (коммуны), борьба внутри коммуны, роль мирского и церковного в развитии общества – живо интересовали итальянского историка Вольпе, получившего изначально обучение в качестве специалиста по медиевистике и Ренессансу, но ставшего затем певцом истории нации и активным политическим деятелем.

²⁸ Ottokar N. Il Comune di Firenze alla fine del Dugento. Firenze: Valecchi, 1926; Idem. Venezia: cenni di cultura e di storia veneziane, Firenze, 1938; Idem. Studi comunali e fiorentini. Firenze: La Nuova Italia, 1948.

В советский период представители отечественной италянистики были весьма потестарными личностями – либо шли на прямой конфликт с нарождающейся новой идеологией и режимом вплоть до эмиграции, либо, оставаясь убежденными марксистами, тем не менее, повергались репрессиям, как это случилось с виднейшим и жестким марксистом В.И. Рутенбургом, в юности арестованным по делу о кружке эсперантистов, или же не менее приверженным марксизму М. Гуковским, учеником Карсавина и Гревса (к которым был близок по научным интересам Оттокар), многократно, на протяжении жизни вступавшим в конфликт с официальной советской идеологией и отбывавшим наказание по политико-идеологическим мотивам (осужден на 10 лет лагерей по ст. 58 п. 10.). При этом оба историка-марксиста не столько стремились к контактам с итальянской академической средой, сколько получали взамен, пользуясь уважением и признанием. Даже не имея возможности отметить прямые формальные указания, подтвержденные ссылками, которые не делались по вполне понятным причинам, можно постулировать, что особую роль в развитии исследований итальянского Средневековья и Ренессанса в советский период играл тот парадоксальный вклад, который внесли в историографическую традицию российские историки-эмигранты, имевшие контакты в Италии еще до начала Великой войны и кризиса Империи, а затем работавшие в Европе. Совершенно очевидно, что на такую опасную черту – «идеологическую слабость», «близость буржуазной культуре» – обратили внимание те, кто осуществлял цензуру и идеологический контроль, что неоднократно утверждалось в жанре критики-доноса и в форме открытых преследований.

Остается лишь вопрос, в какой именно сфере специализации и из каких источников осуществлялось наиболее значительное влияние, не мешавшее самостоятельному развитию италянистики в СССР, но стимулировавшее ее. На мой взгляд, наряду с вопросом о происхождении коммуны сферой обмена идеями стали общие проблемы ренессансной культуры, хотя в этой части сходства и различия еще труднее формализовать. Более того, можно ставить вопрос о взаимосвязи традиций изучения цивитас, социума и того, что в наше время определяется как история менталитета – вопросы религиозности, отношения с церковью, проблема еретических и народных движений.

Здесь мы подходим к важному аспекту, который пока можно лишь наметить. Это вопрос о религиозной и конфессиональной

идентичности историков-эмигрантов, бывших российских подданных, оказавших влияние на развитие итальянистики и в России, и в Европе. Вопросы итальянского ренессансного гуманизма (отношение гуманистов к религии и Церкви, например, деятеля римской Академии, единственного из гуманистов, посетившего славянские страны – Помпония Лэта) в трактовке русского католика В. Забугина также оказались весьма влиятельными. П. Бицилли, Н. Оттокар и В. Забугин имели разные, но достаточно артикулированные морально-религиозные позиции, причем последний в качестве деятеля Римско-католической церкви даже принимал личное участие в политическом процессе вплоть до своей ранней и загадочной смерти.

Бицилли, несмотря на сложную фамильную историю, принадлежность к разным национальным культурам, а также либеральные взгляды, держался вполне традиционного православия. Оттокар, при столь же сложной ситуации с семейными корнями и привязанностью к России, постепенно склонился к протестантизму. Забугин, сочувствуя делу унии и приобщению к богатствам византийского наследия, без компромиссов видел себя сыном Римско-католической церкви. Тем не менее, интерес к религиозным движениям и исканиям Средневековья и Ренессанса был для них общим, достаточно сходными были и их исследовательские позиции. При этом не будет лишним поставить в параллель работам русских медиевистов сочинения Вольпе, наметить возможные точки пересечения тем и интересов.

На мой взгляд, именно Бицилли, не будучи самым ярким и сильным из плеяды медиевистов русской дореволюционной школы, заслуживает наиболее пристального внимания, поскольку его многогранное творчество пересекается и с изысканиями итальянских медиевистов той же эпохи и с дореволюционными работами его старшего друга Карсавина (Бицилли сам находит эти пересечения важными, но при этом подчеркивает отличия собственной концепции восприятия типичного от концепции, выстроенной Карсавиным)²⁹. Бицилли интересовали мотивы францисканской религиозности и эсхатологические ожидания и переживания, но эти вопросы изучения менталитета препарировались на фоне социального полотна. Видимо, следует отметить, что в работах этого итальяниста, волею судьбы не оказавшегося в эмиграции в Италии, прослеживается наибольшее приближе-

²⁹ Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории... С. 236-237.

ние к трактовкам Вольпе того же мира средневековых религиозных движений – как сплава социального и ментального.

Живший долгие годы во Флоренции Н. Оттокар, напротив довольно далек от концепции религиозных движений Вольпе. В годы работы в России Оттокар вырабатывал, совместно с Карсавиным, общие для петербургской школы медиевистов представления о типах религиозности. Содружество между Оттокаром и его старшим товарищем Карсавиным было настолько тесным, что Карсавин публично приносит благодарность Оттокару во введении к книге «Основы средневековой религиозности в XII–XIII вв., преимущественно в Италии», буквально считая свои базовые концепты плодом общих размышлений с другом Оттокаром³⁰.

Концепция Ренессанса в конкретно-исторических исследованиях В. Забугина наследует ранней традиции петербургской школы медиевистики, но в то же время сохраняет как бы запасной путь для развития постсоветской итальянистики. Роль религиозной составляющей Ренессанса для Забугина несомненна, более того, в ней он видел истинное лицо эпохи. Религиозность эта в его представлении – нестатичная и неканоничная, поэтому в трудах Забугина чувствуется нечто сходное с идеями других видных итальянистов, с одной стороны, исследователя итальянской средневековой религиозности Карсавина (особенно с его первой, магистерской диссертацией), а с другой – с модусом смелого исследования Вольпе, посвященного ересям и религиозным движениям средневековья, начатого между 1907 и 1912 г., опубликованного в ряде небольших статей и в виде единого труда в 1922 и в 1926 г.³¹, а затем продолженного и обновленного после войны. Этого последнего большого труда Вольпе³² Оттокар знать не мог, хотя не мог и не быть в курсе общих построений Вольпе.

³⁰ Это отмечалось и итальянскими, и русскими исследователями наследия Оттокара. См., напр.: Nicola Ottokar storico del Medioevo...; Клюев А.И. Неизвестный известный медиевист...

³¹ Volpe G. Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana: secoli 11.-14. Firenze: Vallecchi, 1926.

³² Переиздания происходили постоянно, в основном во Флоренции – издательство Sansoni – 1961, 1971, 1972, 1977; издание 1977 г. снова воспроизведено в 1997 в Риме, издательством Donzelli с предисловием Чинцио Виоланте (Cinzio Violante); издание 2010 г. – под его же редакцией/

В другом исследовательском регистре строилось исследование Бицилли о влиянии идей подвижника Иоахима Флорского на религиозные представления и чаяния мирян. Нельзя сказать, что переключки совсем не могут быть найдены и в трудах Оттокара и Бицилли, однако более очевидным образом их интересы пересекались в той точке, которая была ключевой для историографии итальянской коммуны. Бицилли (как и Оттокар) занимался проблемой формирования коммуны, причем именно тосканской коммуны, постулировал особенности ее организации, пытался определить соотношение цеховых элементов и того, что в источниках обозначалось термином *popolo* – народ. Любопытно проследить, как эти темы интерпретировались после Второй мировой войны в России, когда наука могла играть идеологическую роль, сходную с той, что осуществлялась интеллектуалами, лояльными к власти или горячими ее сторонниками в период фашистского режима в Италии.

В советской историографии понятие *comunia, comune* определялось не просто как юридический термин для обозначения общины, но как качественно новое явление социально-политического развития. Так, например, акцентировалась борьба за коммуну, а не моменты преемственности в генезисе коммуны. В частности, в данном ключе истолковывались термины *coniuratio, iuramentum*, которые сопровождают первые документальные свидетельства появления коммуны. При этом в принципе мог быть подчеркнут мотив частного договора, но оставались и пути трактовки, позволяющие выделять момент публичности, политического обновления. Обе позиции находят аналогии в развитии исследований в самой Италии как периода либерализации, так и периода перехода к тоталитарному, фашистскому режиму, при том, что и тот, и другой дали академическому миру прекрасных историков.

Медиевисты советского периода почти в равной доле наследуют идеи и способы построения исследований из дореволюционной практики и из итальянской исторической школы, воспринимая сюжеты разного толка – от экономико-юридического подхода до исследований религиозной культуры и изучения символического капитала *цивitas*. Для развития медиевистики и итальянистики в СССР характерна манера обращения к истории коммуны видных специалистов по истории средневековой Италии – В.И. Рутенбурга и Л.А. Котельниковой. Специальный и узкий, на первый взгляд, вопрос о частном

или же публичном характере коммуны, занимал как итальянских, так и отечественных историков. Ругенбург (а именно он с середины прошлого века являлся одним из самых известных и влиятельных советских исследователей) прямо указывал, что «торжественный момент перехода власти из рук феодального сеньора в руки города отмечали клятвой *coniuratio*». Как и в трудах европейских историков начала XX века, речь шла о качественно новом моменте развития общины, а само рождение общины и первоначальный этап ее развития (этап *coniuratio*) связывались с приобретением этим объединением публичных функций. И, следовательно, уже в силу обретения нового качества о плавной линии преемственности не могло идти и речи. Однако при этом никак не доказывается, что время объединения соседей с помощью договора круговой поруки и есть переход к коммуне, что частный характер договора становится непременно публичным.

В итальянской историографии наиболее показательно отношение к этому вопросу Вольпе. Вольпе получил стигму фашистского интеллектуала (вполне заслужив такую известность), причем он был не столько пассивным носителем фашистской идеологии, сколько активистом, государственным человеком и разработчиком доктрины интеллектуального манифеста фашизма. В ранней карьере он был сторонником разных либерально-демократических течений. Конъюнктура, а также идеологическая мотивированность интеллектуала, пусть и воспитанного в рафинированной среде медиевистов (Пизанской школы), привели Вольпе к новой роли: не только к разработке и преподаванию истории Рисорджименто и Новейшей истории Италии, но также к работе на идеологическом фронте и участию в публицистической и пропагандистской деятельности. В разные периоды он сотрудничал с изданиями разных направлений, иногда пересекаясь и солидаризируясь со своими будущими оппонентами.

По вопросу восприятия коммуны взгляды Вольпе и представителей демократического крыла послевоенной историографии разошлись, хотя первоначально их мнения не столь отличались друг от друга, и, надо отметить, что идеи Вольпе были актуализированы в 1970–1980-е гг. Однако прививка идей и методов работы Вольпе в России была бы невозможна без той общей основы, которая складывалась благодаря демократической университетской культуре предреволюционного периода. Представитель петербургской школы Оттокар, некоторое время трудившийся в далеком провинциальном

университете и затем работавший в университете Флоренции внес особый вклад в развитие исследований итальянской коммуны, что оказало влияние на ход исторической мысли и в Италии, и в России. При этом идеи Оттокара вернулись на родину, которую он покинул, своеобразным эхом, через отголоски его влияния, сохранившиеся в историографической традиции самой Италии, замкнув круг (разумеется, заимствования через итальянскую историографическую традицию отозвались в России с некоторым смещением акцентов).

Не меньшее взаимовлияние и пересечение в развитии исторических школ итальянистики обнаруживается в таких сферах, как критическое издание и комментирование источников. Создание синтетических, универсальных описаний истории Италии периода средних веков и Ренессанса является отдельной проблемой для той академической почвы, для которой всегда было характерно внимание к казусам, полицентризму и региональным различиям. В этом плане удивительным и показательным примером является участие советских историков в создании многотомной истории Италии, что можно объяснить только длительной предысторией взаимоотношений национальных школ историографии.

В русской дореволюционной исторической науке, такими ее представителями, как П. Бицилли, Н. Оттокар, В. Забугин, были подняты вопросы о взаимосвязи светского и сакрального в социальной жизни Италии, о соотношении коммуны и церкви, о разнообразии корней Ренессанса, взаимосвязи гуманизма и религиозности. Эти вопросы рассматривались и в общем виде, и на уровне малого социума, и на примере частной жизни и индивидуальной биографии. Эти же темы получили отклик и развитие в итальянской историографии, и, с заметным опозданием, совершив круговорот, вернулись в отечественную традицию исторических исследований.

Менее всего хотелось бы использовать без оговорок для описания того или иного историка некие единые клише, такие как: «фашистский», «советский», «эмигрантский», «демократический», «религиозный» (деятель или интеллигент), хотя употребление этих этикеток или, говоря осторожнее, классификаций, неизбежно.

Следует найти какой-то средний путь интерпретации интеллектуальной биографии и значимых для нее личностных связей, академических контактов и способов коммуникации между интеллектуалом и обществом, но для этого нужно на порядок больше участников

обмена идеями и данными и на порядок больше контактов итальянистов разных стран. Только тогда итальянистика как интеллектуальный феномен и среда с особыми точками зрения и откликами ее представителей на актуальные события и вызовы своего времени сможет быть реконструирована в менее схематичном виде.

Самоопределение историка, вовлеченность академического ученого в поле политической и общественной жизни характерно для историков Италии, переживших кризисный опыт Великой войны. С точки зрения внутренней логики развития академического мира, это особый опыт преодоления хронологических и дисциплинарных рамок. Широта и открытость характерна и для отечественных медиевистов ранней формации, когда специализация по истории средних веков еще не была четко выделена, а «всеобщники» не только владели материалом по истории Европы с древнейших времен до современной им поры, но интересовались и широким спектром проблем общественно-политического характера. Сходным был и настрой советских итальянистов послевоенной поры, в ситуации относительной стабильности, но при этом и кристаллизации нового общества. Для советской науки последнего периода ее существования, т.е. и в период брежневской стагнации общества, и в момент перестройки, были типичны совершенно другие принципы цеховой организации и узкая специализация, как и для современной этому периоду итальянской исторической науки. При этом в централизованной и бюрократически организованной позднесоветской науке, несмотря на идеологические установки, не проявлялось такого интереса к вопросам *народности и идентичности*, который, бесспорно, спонтанно существовал и в дореволюционной итальянистике в целом, и у отдельных представителей русской школы, прошедших опыт эмиграции.

КАК РЕФОРМА СТАЛА ВЕЛИКОЙ ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА КАК “МЕСТО ПАМЯТИ” В ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ

В 1889 г. в губернском городе Самаре на народные пожертвования и средства благотворителей был воздвигнут памятник императору Александру II работы скульптора В. Шервуда. Император был изображен в армейском мундире и фуражке, его рука покоилась на эфесе шпаги. По углам постамента располагались четыре символические фигуры: черкес, ломающий шашку (символ покорения Кавказа); болгарка, разрывающая цепи (символ освобождения Балкан от владычества Османской империи); среднеазиатская женщина, приподнимающая чадру (очевидно, ее жест должен был означать открытость Средней Азии для покорившей ее России); и, наконец, русский крестьянин, благоговейно осеняющий себя крестным знаменем¹ (этот жест явно был визуальной отсылкой к заключительной фразе Манифеста 19 февраля 1861 года – «Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного»)². Памятник, таким образом, был призван напоминать не только о самом императоре Александре II, но и о важнейших его деяниях во внешней и внутренней политике.

Это был далеко не единственный памятник Александру II, появившийся в конце XIX – начале XX в. Фигура царя-освободителя нередко становилась объектом мемориальных репрезентаций. Так, по инициативе Александра III в 1883–1907 гг. в Петербурге, на месте трагической гибели императора был воздвигнут Собор Воскресения Христова (Храм Спаса-на-Крови), а в 1893–1898 гг. в Московском Кремле – памятник Александру II работы скульптора А.М. Опекушина, художника П.В. Жуковского и архитектора Н.В. Султанова. Р. Уортман в своем фундаментальном исследовании о саморепрезен-

¹ Киселев В. Памятник Александру II [Интервью с А.Н. Завальным, 2011] // Сайт «Самарская губерния: история и культура». URL: <http://gubernya63.ru/dostoprimechatelnosti/monuments/aleksandr2.html>.

² Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т. 7. Документы крестьянской реформы / Отв. ред. О.И. Чистяков. М.: Юридическая литература, 1989.

тациях российской монархии кратко характеризует памятники Александру II, стоявшие «в судах, перед больницами и на площадях» нескольких крупных городов империи: Златоуста, Петрозаводска, Кишинева, Хельсинки и др.³ По подсчетам К.Г. Сокола, за период 1870–1917 гг. в Российской империи был воздвигнут 101 памятник Александру II. Более того, в период 1911–1916 гг. в стране появилось еще около 2,5–3 тыс. типовых памятников – цинковых бюстов императора, относительно дешевых и простых в установке, заказчиками которых обычно становились волостные собрания и крестьянские сходы⁴. Бюсты «Царя-Освободителя» (так гласила надпись на постаменте) стали первым массовым типовым памятником в российской деревне – задолго до бесчисленных гипсовых фигур вождя мирового пролетариата. Царь-освободитель оказался, по словам А.В. Святославского, «самой мемориализуемой фигурой» среди российских императоров и императриц⁵, причем в роли инициатора коммеморативных акций могла выступать как сама власть, так и широкие круги «общества» – что характерно, не только горожане, но и крестьяне.

Исследователи высказывают разные мнения о причинах такого «мемориального бума» и смысле, который несли в себе эти акты мемориализации. Согласно Р. Уортману, памятники Александру II, подчеркивая разные аспекты реформаторской деятельности императора, «были... выражением неоправдавшихся надежд умеренной части общества на продолжение реформ, гражданский прогресс и участие населения в управлении государством»⁶. По мнению А.В. Святославского, причина, скорее, в том, что Александр II был до известной степени компромиссной фигурой исторической памяти: его правление «представляло собою весьма гармоничное для России сосуществование традиционного православно-монархического начала и политики реформ», а трагическая смерть побуждала воспринимать его как мученика, «по существу принесшего себя в жертву своему народу»⁷.

³ Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2 т. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. М.: ОГИ, 2004. С. 392–394.

⁴ Сокол К.Г. Монументальные памятники Российской империи: Каталог. М.: Вагриус-плюс, 2006.

⁵ Святославский А.С. История России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов. М.: «Древлехранилище», 2013. С. 247.

⁶ Уортман Р. Сценарии власти... С. 394.

⁷ Святославский А.С. История России... С. 243, 249–250, 267.

Коммеморативные акции были направлены на увековечение памяти об императоре и осуществленных в его царствование реформах. Для характеристики преобразований 1860–1870-х гг. уже современники (например, М.Т. Лорис-Меликов в своем Всеподданнейшем докладе Александру II от 28 января 1881 г.) использовали словосочетание «Великие реформы»⁸. Новую жизнь в это выражение вдохнул Г.А. Джаншиев 1890-е гг., озаглавив свой сборник историко-публицистических очерков «Эпоха великих реформ» (в первых изданиях – «Из эпохи великих реформ»). В начале XX в. эпитет «великие» уже прочно закрепился за реформами 1860–70-х гг.: в 1905 г. была выпущена серия книг «Великие реформы 1860-х гг. в их прошлом и настоящем» под общей редакцией И.В. Гессена и А.И. Каминка, в ее рамках увидели свет работы А.А. Корнилова «Крестьянская реформа», И.В. Гессена «Судебная реформа», К.К. Арсеньева «Законодательство о печати». В 1908 г. в серии «Научно-популярная библиотека» издательства «Полезьа» вышла книга О.А. Волькенштейн «Великие реформы 60-х годов». Наконец, самые разнообразные издания, вышедшие в свет в 1911 г. к 50-летию юбилею отмены крепостного права, носили однотипные названия «Великая реформа» или «Великая крестьянская реформа»⁹. Высокий символический статус события был тем самым закреплён на вербально-семантическом уровне.

Пятьдесят лет – не слишком долгий по историческим меркам срок. Используя классификацию Яна Ассманна, можно сказать, что к 1911 г. реформы 1860–1870-х гг. уже успели стать объектом «культурной памяти», но еще не исчезли из поля восприятия «коммуникативной памяти», из живых воспоминаний современников. Поэтому именно на их примере – в данном случае на примере крестьянской реформы 1861 г. – можно проследить, как реальное событие превра-

⁸ Всеподданнейший доклад министра внутренних дел графа М.Т. Лорис-Меликова от 28 января 1881 г. // Былое. 1918. Кн. 4-5. Апрель – май. С. 162-166.

⁹ Великая реформа. Сб. статей / А.И. Яковлев, В.И. Семевский, В.Я. Уланов, В.Е. Чешихин-Ветринский. М.: Изд-е Т-ва «Образование», 1911; Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. Юбилейное изд. В 6 т. / Историческая комиссия учеб. отд. О.Р.Т.З / Ред. А.К. Дживелегов, С.П. Мельгунов, В.И. Пичета. М.: Изд-е Т-ва И.Д. Сытина, 1911; Головин К. Великая реформа 19-го февраля. СПб.: Типо-лит. Т-ва «Свет», 1911; Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа при Царе-Освободителе. СПб.: Изд-е Всероссийского национального клуба, 1911; Шумахер Ал. Великая Крестьянская Реформа при Царе-Освободителе. СПб.: Тип. Ю. Мансфельд, 1911.

щалось для современников и для последующих поколений в «место памяти» и какие дискурсивные стратегии применялись для обоснования его исторического значения.

Отмена крепостного права принадлежала к тем событиям, которые приобретают в сознании общества статус «исторических», «рубежных», «поворотных» еще до того, как происходят на самом деле. Как показала И. Паперно, в литературе 1850-х гг. готовящаяся реформа была окутана ореолом экзальтированных ожиданий, а представления о будущем событии были пронизаны христианской символикой. Крепостное право трактовалось как «жизнь во грехе», освобождение крестьян – как «искупление» этого греха, «высокий нравственный подвиг христианской любви», «плод и торжество христианства». Символические формулы, предложенные А.И. Герценом для осмысления освобождения крестьян – «Ныне отпускаеши» и «Ты победил, Галилеянин!», – соотносили отмену крепостного права с важнейшими в представлениях христианского мира событиями мировой истории: пришествием Мессии, торжеством христианства над языческим Римом и даже началом новой исторической эры¹⁰.

Свой вклад в осмысление исторического значения осуществленных реформ внесла профессиональная историческая наука: С.М. Соловьев и историки «государственной школы». В «большом нарративе» русской истории, созданном С.М. Соловьевым, К.Д. Кавелиным, Б.Н. Чичериным, постепенное формирование крепостного права выступало как один из сквозных, центральных процессов российской истории. Историки доказывали, что «прикрепление» – не только крестьян, но и других слоев населения – было внутренне закономерным и неизбежным процессом: в условиях бедности страны, «гибельной односторонности» ее хозяйства, непрерывных внешних угроз и «привычке к расходке в народонаселении» государство естественно стремилось «ловить, усаживать и прикреплять» население для обеспечения своих военных и фискальных потребностей¹¹. Система всеобщего «прикрепления» (служилых людей – к службе, посадских – к тяглу, крестьян – к земле) достигла своего апогея в Московском царстве XVII в. Реформы Петра I выступали у Соловьева,

¹⁰ Paperno I. The Liberation of Serfs as a Cultural Symbol // *The Russian Review*. Vol. 50. October 1991. P. 417-436.

¹¹ Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. VII: История России с древнейших времен. Т. 13-14. М.: «Мысль», 1991. С. 35-37, 44-45, 102-103 и др.

Кавелина и Чичерина как демаркационная линия между «древней» и «новой» историей России; основным содержанием «новой» истории для них были процессы «раскрепощения» и освобождения: личности – из-под власти рода, народа – от невежества, сословий – от «прикрепления». Таким образом, отмена крепостного права, состоявшаяся в 1861 г., выступала для них как «заключительное, последнее явление в ряду целого исторического нашего движения в течение XVIII и XIX века», финальный, решающий шаг от архаичной системы «закрепощения сословий» к организации гражданского быта на началах свободы и права¹². «Если прикрепление крестьян было естественным результатом древней русской истории, – писал С.М. Соловьев, – то освобождение их было результатом полуторавекового хода нашей истории по новому пути. Спор между древнею и новою Россиею кончен, поверка налицо»¹³. Освобождение крестьян в глазах историков обретало статус события, маркирующего собой границу между большими историческими периодами. «Теперь мы вступаем в новый период исторической жизни, – писал Кавелин в 1866 г. – ...Много неожиданностей предстоит нам на этом пути!»¹⁴.

Это представление о рубежном значении отмены крепостного права и других реформ 1860–1870-х гг. сохранилось и у следующих поколений российских историков. Так, В.О. Ключевский в одной из заключительных лекций своего знаменитого «Курса русской истории» говорил: «На 18 февраля 1855 г., т.е. дне смерти императора Николая, можно положить конечный рубеж целого периода нашей истории, который начался с воцарением новой династии после Смутного времени». В минувший исторический период, уточнял Ключевский, основными началами российской политической и общественной жизни был «невольный обязательный труд в пользу государства всех сословий» и «разобщение этих сословий, прекращение их совместной политической деятельности». «С 18 февраля 1855 г., – продолжал В.О. Ключевский, – начинается новый период, в который выступают иные начала жизни. Начала эти мы знаем, знаем их происхождение и свойства, но не знаем их последствий, а потому они не

¹² Чичерин Б.Н. О народном представительстве [1866]. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1899; Кавелин К.Д. Наш умственный строй / Сост. В.К. Кантор. «Вопросы философии». Институт философии АН СССР. М.: «Правда», 1989. С. 167-168.

¹³ Соловьев С.М. Сочинения. Кн. VII. Т. 13-14. С. 103.

¹⁴ Кавелин К.Д. Наш умственный строй. С. 180.

могут быть предметом исторического изучения»¹⁵. Еще ярче выразил эту мысль С.Ф. Платонов в своих «Лекциях по русской истории»: он утверждал, что в реформах 1860–1870-х гг. «кроется начало нашей современности, т.е. тот момент, когда для нас кончается история и начинается действительность»¹⁶.

Событие, которое воспринималось как рубеж между «историей» и «действительностью», с течением времени стало предметом исторического изучения. В работах И.И. Иванюкова «Отмена крепостного права в России» (1882), Г.А. Джаншиева «Эпоха Великих реформ» (1892–1895) и А.А. Корнилова «Крестьянская реформа» (1905) подробно рассматривалась история подготовки реформы 1861 г. Каждый из этих авторов считал нужным указать, что «уничтожение крепостного права в России составляет колоссальный переворот во всем социальном строе ее», что «с этого момента Россия вступила в новую эпоху развития»¹⁷, что 19 февраля 1861 года «обозначился поворотный пункт в истории Новой России»¹⁸, и что «в правовом отношении крестьянская реформа была без сомнения самым колоссальным шагом вперед во всей новейшей русской истории», открыв «широкий путь к полному освобождению народа»¹⁹.

Размах и разнообразие коммеморативных акций, приуроченных к 50-летию отмены крепостного права, позволяет утверждать, что представление об освобождении крестьян как о ключевом событии российской истории разделяли – осознанно или интуитивно – многие люди того времени. Вокруг этого события, как и вокруг любого «места памяти», формировались свои исторические мифы, в его осмыслении переплетались различные дискурсы и соприкасались разные ценностные системы. Столкновение или же, напротив, переплетение этих «сценариев памяти» можно наглядно проследить на материалах юбилейных изданий, посвященных «Великой реформе».

¹⁵ Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Кн. 3. М.: «Мысль», 1993. С. 450.

¹⁶ Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М.: Высшая школа, 1993. С. 720.

¹⁷ Иванюков И.И. Падение крепостного права в России. СПб.: Изд-е Тов-ва «Общественная польза», 1903. С. 3.

¹⁸ Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Т. 1. М.: «Территория будущего», 2008. С. 158.

¹⁹ Корнилов А.А. Крестьянская реформа. СПб.: Типо-лит. Ф. Вайсберга, 1905. С. 158-159.

Эти издания были рассчитаны на самый разный образовательный уровень и бюджет читателя: от небольших дешевых брошюр, стоивших 25-40 копеек, до роскошного, богато иллюстрированного шеститомного издания И.Д. Сытина ценой 24 руб. Различался и стиль изложения: от книг «для народного чтения», написанных нарочито простым слогом, до научных статей, снабженных соответствующим справочным аппаратом. Так, например, шеститомник «Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем», подготовленный Исторической комиссией учебного отдела московского Общества распространения технических знаний (под ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И.Пичеты), совмещал в себе черты коллективного научного труда и просветительского издания; статьи для него подготовили историки (М.М. Богословский, Ю.В. Готье, А.А. Кизеветтер, А.С. Лаппо-Данилевский, М.К. Любавский, В.И. Пичета, А.Е.Пресняков, В.И. Семевский и др.) и видные общественные деятели и публицисты, представители либеральных и народнических кругов (А.К. Дживелегов, А.Ф. Кони, С.П. Мельгунов, А.В. Пешехонов, С.Н. Прокопович, В.Е. Чешихин-Ветринский и др.). Схожий по замыслу и по составу авторов, но более компактный сборник «Великая реформа», изданный товариществом «Образование», включал статьи А.И. Яковлева, В.И. Семевского, В.Я. Уланова, В.Е. Чешихина-Ветринского. Стостраничная «Великая крестьянская реформа при Царе-Освободителе», вышедшая в свет под эгидой Всероссийского национального клуба (того самого, который наладил массовое производство и поставки бюстов Александра II), была написана издателем журналов «Человек и животные», «Природа и жизнь» и автором популярных книг по истории России Н.П. Дучинским. Небольшую брошюру с тем же названием написал А.Д. Шумахер, член «Союза 17 октября» и депутат Государственной Думы от Рязанской губернии. Наконец, брошюра «Великая реформа 19-го февраля» (полемичная и явно рассчитанная на читателя, уже хорошо осведомленного о ходе подготовки реформы) принадлежала перу писателя и публициста К.Ф. Головина, одного из организаторов «Союза русских людей» и Совета объединенного дворянства²⁰.

Таким образом, среди авторов юбилейных изданий были представители практически всего спектра общественной мысли и полити-

²⁰ См.: Антонцева В.А. Аграрная программа К.Ф. Головина в контексте консервативной мысли России рубежа XIX–XX вв. Автореф. дисс. к.и.н. Тверь, 2005.

ческих движений того времени. В силу этого сопоставление текстов и визуального ряда юбилейных изданий дает возможность выявить как точки расхождения в интерпретации реформ и их исторических последствий, так и контуры наметившегося тогда общественного консенсуса в отношении реформ.

Прежде всего, следует отметить, что авторы большинства юбилейных изданий использовали историзирующую стратегию, рассматривая реформу 1861 г. в контексте всей российской истории. Как правило, они считали нужным дать в своих работах очерк становления крепостного права: краткий (на несколько страниц) или развернутый (в шеститомном издании Сытина история становления крепостного права изложена в двух первых томах, и еще два тома посвящены положению крестьян накануне реформы)²¹. Из перечисленных изданий исторический очерк становления крепостного права отсутствует лишь в работе Головина, где в качестве точки отсчета взято начало работы Секретного комитета по крестьянскому делу – 1856 год. Большинство авторов подчеркивали, что крепостное право не было изначально свойственно российскому обществу («Древняя Россия не знала крепостного состояния»²²), а зависимость крестьян от крупных землевладельцев формировалась постепенно, вырастая из кабальных долговых обязательств: крестьян прикрепили к земле прежде всего долги, а уже потом закон²³. Все авторы, обращаясь к этой теме, указывали на вынужденный характер введения государством крепостного права – ради обеспечения исправной военной службы служилых людей; все рассматривали его как неотъемлемую часть общей системы «закрепощения сословий», сложившейся в XVII в.²⁴ Коренной перелом во взаимоотношениях помещиков и крепостных относили к XVIII в.: либо к реформам Петра I, возложившего на помещиков «непосредственный надзор за крепостными» (право суда над ними, ответственность за государственные платежи и повинности) и создавшего правовую возможность продажи крестьян без земли, либо же к подписанию Манифеста о вольности дворянской и екатерининской Жалованной грамоты дворянству («раскре-

²¹ Шумахер Ал. Великая Крестьянская Реформа... С. 2.

²² Там же. С. 2.

²³ Яковлев А.И. Очерк истории крепостного права до половины XVIII века // Великая реформа. Сб. статей. С. 14-15.

²⁴ Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа... С. 11-12.

пощению дворянства)), после которых крепостное право утратило моральное оправдание.

Все авторы – в чем их солидарность очевидна – характеризуют крепостное право в его зрелой форме (конец XVIII – первая половина XIX в.) как несомненное зло; указывают на самые негативные стороны крепостного права – отсутствие правовой защиты крестьян, произвол помещиков, телесные наказания, «беззащитную торговлю» людьми, грубое вмешательство в личную жизнь крестьян и т.д. Термины «рабство», «рабы», «рабовладельцы» применительно к реалиям крепостнической России в этих работах используются постоянно. Подчеркивается, что идея освобождения крестьян давно уже владела лучшими умами российского общества, которые «чувствовали все зло крепостного права», «сознавали всю несправедливость крепостного права на Руси»²⁵. История подготовки предстает как борьба реформаторов, «искренних сторонников освобождения» против «кучки крепостников» («упорных сторонников крепостного права», «придворных и сановных крепостников», «завязанных крепостников», «крепостнической партии», «плантаторов»)»²⁶, которые порой наделяются зооморфными чертами: они издают змеиное шипение и волчий вой, плетут паутину интриг²⁷. Исключение составляет работа консерватора К.Ф. Головина, где дается весьма скептическая оценка реформаторов – просвещенных чиновников, бесконечно далеких от крестьянской жизни, или славянофилов, идеализировавших крестьянский быт²⁸. Нить повествования в этих работах не обрывается изложением событий 1861 года: хронологические рамки охватывают более длительный период, реформа помещается в контекст других событий российской истории. В качестве завершающего эпизода своих повествований авторы юбилейных изданий обычно выбирали революцию 1905 года²⁹, Манифест 17 октября 1905 г.³⁰ или же указ

²⁵ Шумахер Ал. Великая Крестьянская Реформа... С. 6; Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа... С. 16.

²⁶ Шумахер Ал. Великая Крестьянская Реформа... С. 14, 17, 19-20; Уланов В.Я. Ход и исход крестьянской реформы // Великая реформа. Сб. статей. С. 100, 105-119.

²⁷ Дживелегов А.К. Николай Алексеевич Милютин // Великая реформа. Т. V. С. 69; Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа... С. 38-39; Уланов В.Я. Ход и исход крестьянской реформы. С. 106.

²⁸ Головин К. Великая реформа 19-го февраля. С. 3-4, 21, 31-32.

²⁹ От редакции // Великая реформа. В 6 т. Т. I. С. IV.

от 9 ноября 1906 года («стольпинскую реформу»), подчеркивая преemущественную связь этих событий с освобождением крестьян³¹.

Ключевые концептуальные расхождения текстов юбилейных изданий проявляются в оценке исторического значения реформы. А.Д. Шумахер и Н.П. Дучинский вкратце и в панегирическом ключе излагают основное содержание Манифеста и «Положений» 19 февраля, ставя в особую заслугу Александру II то, что он «освободил крестьян с землей» и тем самым спас их «от ужасной участи» – «предотвратил развитие в России безземельного батрачества»³². Члены авторских коллективов сборника «Великая реформа» и шеститомного издания «Великая реформа» последовательно проводят идею, что реформа, «с ее нерешительностью и робостью, с ее скупой филантропией и заботливым вниманием к помещику», привела к «жалким для крестьян» результатам. Вслед за Н.А. Некрасовым задаваясь вопросом – «Народ освобожден, но счастлив ли народ?»³³, авторы этих сборников в ряду последствий реформы называют «рост малоземелья, переходивший в прямой земельный голод, рост недоимочности, ложившийся сокрушающим бременем на крестьянские хозяйства, учащение голодовок, сделавшихся постоянными спутниками деревенской жизни», а также неполноправие крестьян и невысокую дееспособность органов крестьянского самоуправления³⁴. С противоположных позиций подвергает критическому разбору крестьянскую реформу Головин: он упрекает авторов «Положений» в том, что они «внесли в дальнейшую судьбу крестьян значительную путаницу и упорные, хотя и неосуществимые надежды» (публицист-консерватор имел в виду «путаницу» между личным, семейным и общинным правом на землю; иллюзию, что одного лишь крестьянского надела, без дополнительных заработков, достаточно для обес-

³⁰ Чехихин-Ветринский В.Е. Отражения крепостного права в общественной мысли и литературе // Великая реформа. Сб. статей. С. 191.

³¹ Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа... С.103; Головин К. Великая реформа 19-го февраля. С. 66.

³² Шумахер Ал. Великая Крестьянская Реформа... С. 24-31; Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа... С. 75-76, 90-91.

³³ Некрасов Н.А. Элегия («Пускай нам говорит изменчивая мода...») // Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. в 15 т. Т. 3. Л.: «Наука», 1982. С. 151.

³⁴ От редакции // Великая реформа. Т. I. 1911. С. III; Корнилов А.А. Крестьянское самоуправление по Положению 19 февраля // Великая реформа. Т. VI. С. 154-157.

печения крестьянской семьи; и, наконец, надежду на то, «будто существует право на землю всех и каждого, и должно этой земли хватить на поголовное наделение»³⁵. Именно земельный вопрос оказался, что неудивительно, камнем преткновения, вызвавшим резкие расхождения в оценке самой реформы и ее социальных последствий.

Не меньшие расхождения обнаруживались в вопросе о «субъекте» и «объекте» реформы: стремясь определить, кого следует считать инициатором отмены крепостного права, каковы были движущие силы реформы, а кто играл пассивно-страдательную роль, – авторы давали различные, порой противоположные ответы.

Брошюра Шумахера представляла собой патетический рассказ о том, как Александр II практически единолично «задумал и совершил на благо и счастье России целый ряд великих и мудрых преобразований»; «дать свободу крестьянам... было заветною мыслью Императора Александра II, которую он лелеял денно и ночью»³⁶. Император, продолжает Шумахер, был не только инициатором реформ, но также возглавлял их непосредственную разработку; именно «благодаря личной настойчивости Государя» помещичьи крестьяне были освобождены с землей³⁷. Он настойчиво повторяет: «Свободу крестьянам русским дал именно сам Император Александр II <...> Крепостное право рухнуло только по его царскому слову»³⁸. Крестьянству в этом нарративе отводится исключительно пассивная роль, более того – роль бездушного объекта, по отношению к которому Александр II выступал в качестве творца-демиурга: освобождение, пишет Шумахер, «вдохнуло “душу живу” в многомиллионное крестьянство русское и пробудило Россию к новой жизни». Лишь после этого крестьянство получает возможность если и не действовать, то хотя бы выражать свои чувства: «И миллионы рук всех бывших крепостных людей, навсегда освобожденных державною волею и любовью Царя от уз многовекового рабства, поднялись, как одна рука, осеняя несчетными крестами свободно вздохнувшие груди»³⁹.

Напротив, у Н.П. Дучинского реформа предстает как результат солидарных усилий и единой работы общества над «*святым*

³⁵ Головин К. Великая реформа 19-го февраля. С. 56-57.

³⁶ Шумахер Ал. Великая Крестьянская Реформа... С. 1-2, 7-8.

³⁷ Там же. С. 31.

³⁸ Там же. С. 23.

³⁹ Там же. С. 2, 33-34.

делом» (эта характеристика реформ красной нитью проходит через всю работу). В замысел и подготовку «святого дела», как писал публицист, внесли свой вклад императоры дома Романовых – Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, – которые «напрягали все усилия к уничтожению крепостного права или, по крайней мере, к облегчению участи крепостных»⁴⁰. В свою очередь, «общество горячо заинтересовалось крестьянским вопросом» в результате Отечественной войны 1812 года. Ученые и публицисты – Н.И. Тургенев, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, А.Н. Огарев, К.Д. Кавелин и др. – «в своих сочинениях и лекциях неустанно твердили о необходимости уничтожить этот пережиток старины»; поэты и писатели – А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, Д.В. Григорович, Н.А. Некрасов, – «направляли всю свою литературную деятельность к тому, чтобы пробудить в русском обществе добрые чувства»: «После “Записок охотника” крепостное право уже не могло продолжаться»⁴¹. Рассматривая подготовку «Положений» 19 февраля 1861 г., Дучинский называет целый ряд имен «прямых сотрудников Царя-Освободителя в Его великой реформе»: великого князя Константина Николаевича и великой княгини Елены Павловны, Я.И. Ростовцева, Н.А. Милютина, С.С. Ланского, Ю.Ф. Самарина, кн. Черкасского⁴². Но главным героем повествования остается император Александр II, который, благодаря своим «прекрасным качествам ума и доброго сердца», а также «твердой решимости» и «непреклонной воле», смог осуществить давно желанные для всех преобразования. «Власть» и «общество» выступают тут как два равноправных субъекта преобразований, активно работающих ради «общего блага». Однако и в этом нарративе «народ» играет пассивную роль объекта сострадания и монаршей заботы. «Будущий Монарх изъездил всю Россию, из конца в конец, лично ознакомился с многоразличными частями обширной нашей Родины, побывал даже и в далекой Сибири... Во время путешествия Он заходил в крестьянские школы, побывал в курных русских избах, собственными глазами увидел неприглядную жизнь простого населения, пригляделся к быту и нуждам народа своего»⁴³. Сам народ, когда решается его судьба, остается безмолвствующим:

⁴⁰ Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа... С. 45-46.

⁴¹ Там же. С. 19-20, 34-35.

⁴² Там же. С. 35-44.

⁴³ Там же. С. 47.

публицист дважды дословно повторяет: «народ» или «бывшие крепостные» «встретили весть про желанную свободу тихо, спокойно, в молитвенном настроении»⁴⁴.

Ключевые особенности и этой концепции, и этой риторики восходят к «лирико-романтической» трактовке отмены крепостного права⁴⁵, ярко воплощенной в работе Г.А. Джаншиева «Эпоха Великих реформ». Таковы, прежде всего, характеристика 19 февраля 1861 г. как «святого, великого дня», «святой минуты»; понимание реформы как общего дела, осуществленного объединенными усилиями правительства, «лучшей части дворянства» и «либерально настроенного общественного мнения»; оценка подготовки реформ как «героической эпопеи»; тема «изумительного долготерпения» крестьянства, с «трогательной детской верой» ожидавшего освобождения; трактовка освобождения крестьян как «воскрешения Лазаря» и надежда, что в будущем «народ придет в возраст, разум и сознание»⁴⁶.

В свою очередь, в брошюре К.Ф. Головина реформа 19 февраля предстает как продукт законодательного творчества четко очерченного круга людей: императора Александра II, сотрудников Секретного / Главного комитета по крестьянскому делу, губернских комитетов и Редакционных комиссий. Ключевая тема полемической работы Головина заключалась в том, что центральные идеи реформы – освобождение крестьян с землей и подчинение крестьян «мирским порядкам» – выросли из сплетения разнородных и зачастую случайных факторов: разного уровня теоретической и практической подготовки членов Редакционных комиссий, их личных взаимоотношений и амбиций, а также общей атмосферы «политического идеализма» 1850-х гг. Именно поэтому, как подчеркивает Головин, «Положения 19-го февраля не вполне осуществили возлагавшихся на них надежд»: их практическая реализация привела к возникновению острой проблемы крестьянского малоземелья, а «зловредные» иллюзии, посеянные реформой, вызвали «дикую аграрную вспышку в 1905-6 году»⁴⁷. Реформа предстает в этой работе как продукт экономических и политических ошибок, сделанных «сердобольными дру-

⁴⁴ Там же. С. 86, 88-89.

⁴⁵ От редакции // Великая реформа. В 6 т. Т. I. 1911. С. IV.

⁴⁶ Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Т. I. С. 45, 85-86, 90, 133, 144-145, 158, 165, 168, 207, 215, 264.

⁴⁷ Головин К. Великая реформа 19-го февраля. С. 33, 51-65.

зьями мирского уклада»⁴⁸: ошибок, совершенных чистосердечно, но оттого не менее опасных. У Головина крестьяне выступают как «неумелые» хозяева, не сумевшие правильно воспользоваться полученной землей и к тому же доверчиво воспринявшие агитацию «левых интеллигентов», призывающих передать землю «из рук более культурных в неумелые руки крестьян»⁴⁹.

В работах участников сборника «Великая реформа» и шеститомника «Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в его прошлом и настоящем» реформа 1861 г. также рассматривалась как результат столкновения разнонаправленных социальных интересов, поиска «равнодействующей борющихся сил»⁵⁰. Но здесь народ выступал уже не как безмолвный объект благоденствий, не как Лазарь, ожидающий воскрешения, а как субъект истории, способный заявить о своем недовольстве и своих интересах. Так, на страницах шеститомника история крестьянских протестов против крепостничества прослеживалась с XVI–XVII вв. В статьях В.И. Семевского, В.И. Пичеты, Ю.В. Готье, Н.И. Фирсова, И.И. Игнатовича, вошедших в указанные издания, подробно рассматривались разные формы крестьянского протеста, пассивного и активного: «брожение» (распространение слухов), подача прошений местным или центральным властям, бегство, убийства помещиков («народный самосуд»), крестьянские волнения, наконец, «участие крестьян в общенародном водовороте, каким являются Смутное время, Разинщина и Пугачевщина»⁵¹.

В свою очередь, «общество» на страницах коллективных изданий представало отнюдь не единомушным, но, напротив, расколотым в политическом и моральном плане: упорная борьба сторонников освобождения крестьян против «крепостников», «идеологов рабовладения» прослеживалась здесь на протяжении длительного исторического периода – от екатерининских времен до кануна реформы 1861 г. Подчеркивалось внутреннее благородство и жертвенность

⁴⁸ Там же. С. 61.

⁴⁹ Там же. С. 56-57, 64-65.

⁵⁰ Уланов В.Я. *Ход и исход крестьянской реформы*. С. 139.

⁵¹ Семевский В.И. *Правительство, общество и народ в истории крестьянского вопроса // Великая реформа. Сб. статей. С. 27-92; Готье Ю.В. Крестьяне в XVII столетии // Великая реформа. Т. I. С. 14-36; Фирсов Н.И. Крестьянские волнения до XIX в. // Великая реформа. Т. II. С. 25-69; Игнатович И.И. Крестьянские волнения // Великая реформа. Т. III. С. 41-65; и др.*

сторонников освобождения – от А.Н. Радищева и декабристов до А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.

Характеризуя позицию власти по крестьянскому вопросу, авторы коллективных изданий подчеркивали нерешительность правительств Александра I и Николая II, «консервативный образ мыслей» Александра Николаевича в бытность его наследником престола, его недоверие как «к общественным сферам», так и «к народной массе»⁵². Поворот на путь реформ в первые годы правления Александра II зачастую трактовался как вынужденный шаг: «Созревшая под спудом насильственно поддерживаемого строя жизненная потребность проявила свою организующую силу как в первых шагах неподготовленного правительства, так в появлении деятелей и в образовании и росте основ самой реформы»⁵³. Впрочем, в шеститомной «Великой реформе» была отдана дань и романтической героизации деятелей реформы⁵⁴; но все же в целом реформа трактовалась как результат моральной победы народа и «лучших представителей» общества над злой волей «крепостников» и нерешительностью правительства.

Таким образом, «конфликты памяти» вокруг реформы 1861 года были налицо; романтическая концепция «святого дела» подвергалась критике как «справа», так и «слева». Отметим, что визуальный ряд юбилейных изданий достаточно точно отражал особенности различных трактовок реформы. Так, в брошюре А.Д. Шумахера, где император выступает чуть ли не единственным инициатором освобождения крестьян, содержится лишь одна иллюстрация – портрет Александра II. Брошюра Н.П. Дучинского, где реформа предстает совместным «святым делом» власти и общества, содержит целый ряд портретов деятелей реформы – самого Александра II, вел. кн. Константина Николаевича, вел. кн. Елены Павловны, Н.А. Милютина, С.С. Ланского, Я.И. Ростовцева и др., а также писателей и общественных деятелей – Н.И. Тургенева, Д.В. Григоровича, Н.А. Некрасова. «Народ» здесь представлен на нескольких иллюстрациях: на рисунке «Цесаревич Александр Николаевич в крестьянской избе», аллегорической картине А.Е. Бейдемана «Освобождение крестьян» (Россия изображена на ней в виде величественной женщины, сидя-

⁵² Арсеньев К.К. Император Александр II // Великая реформа. Т. V. С. 1-13.

⁵³ Уланов В.Я. Ход и исход крестьянской реформы. С. 95-96.

⁵⁴ См., напр.: Кони А.Ф. Великая княгиня Елена Павловна // Великая реформа. Т. V. С. 14-33; Дживелегов А.К. Николай Алексеевич Милютин. С.68-86.

щей на постаменте с надписью «Император Александр II 19го февраля 1861 г. 23 миллионов Русского народа освободил от крепостного состояния», а вокруг постаumenta толпится ликующая толпа в костюмах разных народов Российской империи), и на картине «Народная скорбь над гробом Царя-Мученика», где вместе с подданными над Александром II скорбят три ангела. Сборник «Великая реформа», изданный товариществом «Образование» и отражавший демократический взгляд на реформу, сопровождали иллюстрации, посвященные сценам повседневной жизни до и после реформы и выполненные с «гражданской скорбью» или сатирической нотой: «Торг» Н.В. Неврева (сцена продажи крепостных), «Земское собрание в провинции» и «Земские выборы» К.А. Трутовского, «Молебен на крестьянском дворе» В.Е. Маковского, «На миру» С.А. Коровина, «Сбор податей» Орлова и «За недоимку» В.В. Пукирева (на последней, написанной в 1870 г., изображено, как у крестьянина-бедняка приставы уводят со двора корову). «Настоящее» освобожденных крестьян представляло, таким образом, едва ли не более безотрадным, чем их прошлое.

Наиболее впечатляющим был изобразительный ряд сытинского шеститомника «Великая реформа»; оно включало около тысячи иллюстраций, выполненных в самых разных жанрах. Сами составители издания разделили эти иллюстрации на несколько тематических блоков: «Портреты», «Дворянская жизнь» (в этом блоке были выделены рубрики – «Усадьбы» и «Типы и быт»), «Крестьянская жизнь» (с внутренними рубриками: «Типы», «Деревня и постройки», «Правовая сторона», «Крестьянские волнения», «Быт» и т.п.), «Реформа 19 февраля 1861 г.» и некоторые другие⁵⁵. Сопоставление «построек», «типов» и «быта» дворянства и крестьянства создавало на визуальном уровне образ внутренне расколотого общества, с глубокими социальными контрастами и принципиально разными жизненными укладами. Сознательной политикой редакции шеститомника было не сглаживать эти контрасты, а, напротив, подчеркивать их; редакционная коллегия признавалась, что «для обрисовки крепостного быта» – прежде всего, для изображения «ужасной и развращающей стороны крепостного права», – в ряде случаев «не нашлось подходящего материала», и что «эти пробелы решено было восполнить картинами,

⁵⁵ Указатель рисунков, помещенных в «Великой Реформе» // Великая реформа. В 6 т. Т. VI. 1911. С. 345-352.

специально исполненными для настоящего издания». Речь шла, в частности, о картинах «Салтычиха», «Продажа крепостных на Нижегородской ярмарке», «Крепостная» (изображающая молодую крестьянку, кормящую грудью щенка с барской псарни), «Бездна» (посвященная волнениям в Казанской губернии после объявления Манифеста 19 февраля) и некоторых других⁵⁶. Отметим также, что «типы» крестьян на страницах шеститомника – за редким исключением – не утрированы и полны внутреннего достоинства, в то время как «типы» дворян зачастую откровенно шаржированы.

Критическое отношение к социальным последствиям реформы было воплощено не только в тексте шеститомника, но и в иллюстративном ряде: здесь были представлены и «Проводы покойника» В.Г. Перова, и «Крестный ход в Курской губернии» И.Е. Репина, и все то же «Взыскание недоимок» В.В. Пукирева... Мысль о необходимости продолжать борьбу за гражданские права и социальное благополучие крестьян красной нитью проходила через все издание – от вступительной редакционной статьи до финальных публикаций, содержащих жесткую критику столыпинской аграрной политики. Но при этом не отрицалось историческое значение реформы 1861 года как «огромного шага вперед», открывающего путь «для плодотворной общенародной политической борьбы»⁵⁷. Поэтому не случайно на страницах шеститомника была помещена подборка изображений памятников Александру II, воздвигнутых на народные средства в самых разных населенных пунктах России: в Москве, «в с. Малиничи, Проскурского уезда, Подольской губ.», «в с. Белый-Ключ, Корсунского у., Симбирской губ.», «в м. Семеновке, Новозыбковского у., Черниговской губ.»; «воздвигнутый мастерами Сысертского завода»; «в Кыштымском заводе, Екатеринбург. у., Пермской губ.»; «в Салаирском руднике, Томской губернии»; «в Нижне-Тагильском заводе, Верхотурского у., Пермской губ.»⁵⁸

Итак, реформы, осуществленные в правление Александра II, через столетия – в начале XX века – вполне могли претендовать на роль «места памяти», события, объединяющего самые разные слои российского общества и разные пласты исторической культуры. В исторических трудах и в публицистике, в художественных произ-

⁵⁶ От редакции // Великая реформа. В 6 т. Т. I. С. XII-XV.

⁵⁷ Там же. С. IV.

⁵⁸ Великая реформа. В 6 т. Т. V. 1911. С. 1, 181, 183, 185, 189, 193, 201, 209.

ведениях и памятниках, различными риторическими средствами и с помощью разных объяснительных моделей проводилась мысль о ключевом значении реформ для судеб российского общества, о том, что они стали точкой отсчета для «нового периода» российской истории, более того – «концом истории и началом современности». Но при этом диапазон трактовок реформ, особенно отмены крепостного права, был настолько широк, что это вело к формированию «конфликта памяти». Историки и публицисты признавали историческое значение реформы 1861 года как победы над несомненным злом крепостного права; но одни останавливались на этом, а другие шли дальше и искали в условиях и методах осуществления этой реформы источник острых социальных проблем современного им общества. В популярной, массовой культуре вокруг реформы создавался романтический ореол, формировались монархическая и либеральная легенды о «царе-освободителе» и его «святом деле», – а параллельно с этим анализ последствий реформы, выявившихся за 50 лет со дня ее осуществления, вскрывал глубокие социальные, идейные, ценностные разногласия в российском обществе.



Император Александр II читает манифест (картина Лебедев).

Армія високо держала своє знамя. Войска проявили не-
обыкновенное мужество. Стойкость их вызвала восторжен-
ное удивленіе со стороны притонъ. Имена славныхъ Севасто-
польцевъ Корнилова, Нахимова и Истомина были покрыты
неуязвимой славой. Но вѣтъ былъ упоренъ. Вѣсти, одна на-
пальнѣе другой, приходили съ театра войны.



Цесаревичъ Александръ Николаевичъ, вмѣстѣ со своими
наставниками, посѣщаетъ крестьянскую избу во время
путешествія по Россіи.

Новый Государь рѣшилъ ободрить страну и при пріемѣ
петербургскихъ дворянъ произнесъ слова, которые радостнымъ
эхомъ раздались по всей Россіи:

— Твердо уповаю, что Богъ милостію Своей сохранитъ
Россію. Не унывайте. Я съ вами, вы со мною. Господь намъ
всѣмъ поможетъ. Не посрамимъ Земли Русской.

турками во время войны 1877—1878 гг. рядъ блестящихъ побѣдъ. Дважды взяли въ плѣнъ двѣ сорокатысячныя арміи знаменитыхъ турецкихъ полководцевъ Веселя-пашы и Османа-пашы, она достигла почти Константинополя. Сербія, Черногорія и Румынія сдѣлались самостоятельными государствами, а Болгарія вассальнымъ княжествомъ. Боснія, Герцеговина



Народная скорбь надъ гробомъ Царя-Мученика.

также были освобождены отъ турецкаго ига. Александръ II, такимъ образомъ, является освободителемъ и славянскихъ народовъ.

— Вся Его обильная внутренними преобразованіями и блестящими внѣшними дѣлами жизнь закончилась мученической кончиной.



Съ картины Бейдемана.

ПОНЯТИЕ “СОВЕТСКИЙ” КАК КУЛЬТУРНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР

В данной статье мы обращаемся к проблематике, которая, на первый взгляд, составляет проблему лингвистической лексикографии, в реальности же выводит нас на просторы политической и культурной истории, к проблемам коллективной ментальности и, конечно, к традиционной для Российского общества интеллектуальной истории проблематике формирования исторических образов. Лексемы «советский» и «российский» предстают то как синонимы, то как неполные синонимы, а члены оппозиции русский / советский – в определенном контексте могут стать почти антагонистами. Для западного научного и бытового узуса в целом характерно употребление этнонима Russian в английском и, соответственно, Russische – в немецком, Russe во французском – как универсального этнонима, охватывающего представление о народах Руси, Московского Царства, Российской Империи, СССР и современной РФ. «Даже в достаточно специализированных западных публикациях было принято употреблять слово “русский” в качестве синонима “советскому”»¹. Соотношению лексем и стоящих за ними понятий «русский / российский» посвящена работа А.И. Грищенко², мы же обратимся в значительной степени к корреляции лексем «советский / русский».

Что означает слово «советский» в современном русском языке и что означало оно в том самом советском прошлом? В прошлом, из которого оно к нам пришло, принцип организации власти (советы как исторически сформировавшаяся в России форма самоуправления) стал названием государства и даже постулировался как новая небывалая доселе социально-историческая общность наднационального характера, объединенная не только государственностью, но некоей небывалой доселе идеологией, призванной сделать из русского,

¹ *Франклин С., Уиддис Э.* «Все России» или «Вся Русь» // Национальная идентичность в русской культуре / Под ред. С. Франклина и Э. Уиддис; пер. с англ. В.Л. Артемова]. М.: РОССПЭН, 2014. С. 17.

² *Грищенко А.И.* К новейшей истории слова россияне // Русский язык в научном освещении. 2012. № 1. С. 119–139.

украинца, татарина, грузина и других носителей своей коренной этнической культуры в СССР прежде всего – советского человека.

Очень непросто ответить на вопрос, что такое «советский» в современном отечественном и зарубежном дискурсе: под советским понимают и социально-экономический строй, постепенно сложившийся в России после октября 1917 года; и весь комплекс смыслов, относящийся к специфике советского периода истории России; и особенности государственного устройства Советской России, а затем СССР; и принципы национальной политики, приведшие к образованию так называемой новой всемирно-исторической общности «советский народ». Сегодня, когда говорят о развале СССР в положительном или отрицательном смысле, то не сразу понятно – идет ли речь только о «параде суверенитетов» конца 1980-х – начала 1990-х гг. и распаде Союза советских республик, или же – о разрушении государственного строя и всего идеологического комплекса, сформированного в советское время и создавшего то, что прежде пафосно называлось «советский человек», а с 1990-х гг. нередко обозначалось как исполненное негативных коннотаций и даже сатирическое понятие *homo soveticus*, а вульгарно – «совок». С последним связано и понятие «совковости» как комплекса негативных черт, присущих советскому (а по мнению некоторых, и русскому человеку), вроде внутренней несвободы, отсутствия инициативы, неумения качественно трудиться, склонности решать проблемы через пьянство и др.

В прочитанной в 2004 г. лекции «Человек советский» Юрий Левада говоря о результатах исследования, проведенных его Центром на обозначенную в названии тему, сказал, в частности, следующее: «Насчет “советскости”. Самый простой способ, который мы пробовали (потом мы увидели, что он слишком простой) – это спросить людей: “Чувствуют ли они себя “советскими” людьми?”. Оказывается, что треть людей постоянно чувствуют себя и еще четверть – время от времени чувствуют себя (т.е. там набирается под 60%) советскими людьми. Это метка, вроде бирки для опознания. Как еще человеку опознать себя? Для старшего поколения другой метки просто нет. Она может использоваться и во хвалу, и в хулу, ведь есть такое выражение “совки”: “Мы совки, чего с нас хотеть?” Хорошей работы? Мы пьяные, мы полусонные, мы со всем согласные или, наоборот, на все плюющие – это одно и то же, тип поведения от это-

го не меняется. И всеобщее, самооплеванное оправдание очень характерно для нашей истории и индивидуальной культуры»³.

Оказывается, имеет значение даже положение определения «советский» по отношению к определяемому слову «человек». Вот мнение историка А.Б. Зубова, цитированное на сайте Левада-Центра (2012 г.): «Homo Sovieticus получился в результате глубокой негативной селекции: “Лучшие, самые честные и культурные были убиты или лишены ссылками и тюрьмами возможности создавать семью и воспитывать детей, а худшие, те, кто взялись за создание нового человека, или те, кто молча согласились с новой властью, смогли “плодиться и размножаться””. Поэтому просьба делать различие: советский человек – это условно рядовой житель СССР, а “человек советский” – особый продукт социально-идеологической селекции, приспособленный для выживания и даже процветания в “совке”»⁴.

Отдельный и важный вопрос – полное или неполное ассоциирование всего советского с российским в глазах целого ряда как социологов, так и обывателей на Западе и Востоке сегодня. Как известно, националисты из бывших республик СССР склонны именно на русских возлагать вину за «закабаление» населения этих республик в результате Октябрьской революции 1917 года. Попытка откреститься от всего советского, ощущаемая, в том числе, в цитированных пассажах, наталкивается на мнение авторитетного философа и социолога, вынужденного эмигранта Александра Зиновьева, отдавшего в свое время немало сил как научному, так и художественно-сатирическому разоблачению отрицательных сторон жизни в СССР. Тем не менее, в интервью журналисту-политологу Владимиру Большакову (посвятившему интересующему нас вопросу книгу «Убийство советского человека») Зиновьев сказал следующее: «Я скептически отношусь к утверждениям о том, что Октябрьская революция прервала естественный ход русской истории. Она была прямым наследником дореволюционной системы. Даже уничтожив прежние классы собственников, революция не смогла, да и не захотела сломать российскую бюрократическую структуру управления страной. Советский строй был продолжением той системы государственности,

³ Юрий Левада. «Человек советский» – публичные лекции на «Полит.ру». URL: <http://polit.ru/article/2004/04/15/levada/> – Online: 10/10/2016.

⁴ «Совок»: живее всех живых? URL: <http://www.levada.ru/2012/09/11/sovok-zhivее-vseh-zhivyh/> – Online: 14/10/2016.

которая сложилась в течение многих столетий в России»⁵. Важно и другое мнение Зиновьева, высказанное уже по поводу ментальности русского-советского человека. На острый вопрос интервьюера: «*Неужели Вы и впрямь отождествляли себя хоть в какой-то мере с homo soveticus, Александр Александрович? В это мало кто верит!*» Зиновьев отвечает следующим образом: «Это в общем нормально. Русские писатели-сатирики прошлого жесточайшим образом критиковали свою социальную среду. Но никто из них только на этом основании от Родины, да и от этой среды не отказывался. Я родился после революции и вырос в Советской России. Нас воспитывали на лучших идеалах коммунизма и лучших идеалах революции. Я получил в СССР образование, которым очень дорожу. В него вошло все лучшее, что создавало человечество в прошлом. Может быть, не во всем объеме. Но, по крайней мере, для нас отбиралось все лучшее. Это моя нормальная среда обитания. И я стал жесточайшим ее критиком именно в силу этого»⁶. В словах Зиновьева видятся нам две принципиально важные вещи: во-первых, диалектический подход (плохое есть продолжение хорошего, хорошее есть продолжение плохого), и во-вторых, личная гражданская позиция, которая совершенно меняет модус самых жестких критических высказываний в адрес России и СССР – в зависимости от того, проявляет ли она себя как патриотическая или как антироссийская, русофобская. Зиновьев, естественно, позиционирует себя как патриот и человек способный на объективный взгляд, что оказывается невозможным для, увы, многих его коллег и просто обывателей, которые зачисляли его, по его собственным словам, одновременно «в антисемиты и сионисты, в русофобы и русские шовинисты, в коммунисты и антикоммунисты...»⁷.

Основной особенностью формирования многонационального государства в Советской России и позднее в СССР изначально был приоритет общей специфической идеологии: «однородность выстраивалась на идеологической основе»⁸.

В современном учебнике этносоциологии высказано довольно категоричное мнение: «Можно отметить, что в границах СССР на

⁵ *Большаков В.В.* Убийство советского человека. М.: Алгоритм, 2005. С. 418.

⁶ Там же. С. 406.

⁷ Там же. С. 399.

⁸ *Дробизева Л.М.* Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2003. С. 105.

протяжении всей истории существования этого государства активно и целенаправленно формировалось в качестве гражданской идентичности представление о “советскости” (“советский человек”), но при этом игнорировалось, а периодически и запрещалось поддержание этнической идентичности. В отличие от стран Запада и США, где утвердился подход, сочетающий наличие у населения разных этнолингвистических идентичностей при доминировании единой национальной (политической, гражданской), в странах бывшего СССР традиционно утверждалось представление о том, что нацию формируют этнокультурные сообщества. Советский как гражданская идентичность, формировавшаяся в СССР, включала в себя не только государственный аспект, но и идеологический, поскольку политическая система СССР выстраивалась на основе коммунистической идеологии. Поэтому реорганизация СССР, отказ на государственном уровне от коммунистической идеологии и возникновение на его территории новых государственных образований, в России как правопреемнице советского государства вызвали кризис идентичности⁹.

Это утверждение верно лишь отчасти. Было бы неправильным совсем отказывать советской власти в праве этносов на традиционную этнокультурную идентичность. Другое дело, что нужно разобраться, как в реальности соотносились идеи большевиков дореволюционного и раннего послереволюционного периодов с практикой т.н. «национального строительства» в 1920–30-х гг. Кризис же идентичности, упомянутый в учебнике, бесспорно, имел место. Причем, начиная с конца 1980-х, открыто проявила себя неприязнь по отношению к русским как нуклеарному элементу советской государственности со стороны тех, кого советские идеологи прежде называли «братскими народами». «В учебной литературе на постсоветском пространстве, – пишут Г.А. Бордюгов и В.М. Бухараев, – стала заметной еще одна показательная тенденция – социально персонифицированный образ врага (в лице сталинизма, тоталитаризма, коммунистического и оккупационного режима и т.д.) стал дополняться этнически персонифицированной группой, якобы несущей свою долю ответственности за негативные процессы. Такой группой стали русские»¹⁰.

⁹ Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология: Учеб. пособие для студентов ун-тов и пед. вузов. Ростов-н/Д: Изд-во ООО «ЦВВР», 2000. С. 358.

¹⁰ Бордюгов Г.А., Бухараев В.М. Вчерашнее завтра: Как «национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь. М.: АИРО-XXI, 2011. С. 149.

В.И. Ленин посвятил национальным проблемам специальную работу «О национальной гордости великороссов», опубликованную в газете «Социал-демократ» 12 декабря 1914 г. В условиях войны, когда в воюющих странах ощутимо поднялась волна патриотизма как в официальной пропаганде, так и среди населения, Ленин осуждает патриотизм как черту идеологии воюющих стран, видя в этом фактор усиления борьбы империалистического капитала за рынки. «Как много, – пишет он, – говорят, толкуют, кричат теперь о национальности, об отечестве! Либеральные и радикальные министры Англии, бездна “передовых” публицистов Франции (оказавшихся вполне согласными с публицистами реакции), тьма казенных, кадетских и прогрессивных (вплоть до некоторых народнических и “марксистских”) писак России – все на тысячи ладов воспевают свободу и независимость “родины”, величие принципа национальной самостоятельности»¹¹. Однако затем он ставит вопрос об отношении российских большевиков как носителей великорусской культуры – к собственному национальному чувству, т.е. к этнокультурной идентичности. Под великорусской национальностью Ленин понимает принятое в те времена обозначение русского этноса, восходящее к средневековому понятию «Великая Русь». Причем особенностью словоупотребления средневековой эпохи было не подчеркивание «величия» центральной и северной Руси против Малой и Белой, а указание на «обширность» территории, шагнувшей далеко за пределы исторического южного и западного ядра, колыбели русского этноса.

Впоследствии советская этнография датировала XVII веком окончательную трансформацию трех народностей в три связанных одной общей государственной и отчасти культурной судьбой *нации*, представителей которых в остальном мире обычно продолжали обобщенно называть *русскими*. Этноним «великоросс» воспринимался уже как устаревший позднее в СССР, также и вместо устаревшего «малоросс» стали говорить «украинец». В другой статье 1914 г. («К вопросу о национальной политике») Ленин употребляет наряду с привычным «русские украинцы» могущее показаться оксюморонным словосочетание «русские украинцы». Но в контексте статьи и в контексте самой эпохи ясно, что это украинские жители Российской

¹¹ Ленин В.И. Примечание «От редакции» к статье «Украина и война» // Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Ленин В.И. Полн. собр. соч. В 55 тт. Изд. 5-е. Т. 26, М.: Политиздат, 1969. С. 106.

Империи в отличие от «австрийских» и «польских» украинцев¹². Ленин не говорит в статье «О национальной гордости великороссов» об отрицании чувства национального достоинства как такового или отказе большевиков от сопричастности исторически сложившейся культуре, но объяснением естественной и «правильной» гордости великороссов служит у него один единственный фактор – их активное участие в революционной борьбе. В целом позицию Ленина и большевиков можно упростить до тезиса: Россия и ее великорусское ядро несет ответственность за крепостничество, за угнетение нетитульных этносов («тюрьма народов»), но с другой стороны, именно великороссы искупают эту вину тем, что они встали в авангарде всемирного рабочего движения.

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? – задается вопросом Ленин. – Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы *ее* трудящиеся массы (т.е. $\frac{9}{10}$ *ее* населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больше всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великороссов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс...»¹³. Читая эту статью, вспоминаешь рассуждения Бердяева (да и не его одного) об антиномичности русского характера. Так, Ленин в положительном ключе упоминает героя из романа Н.Г. Чернышевского, заклеившего русский народ фразой «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы»¹⁴. Однако тут же отмечает, что эта нация дала миру *самого* Чернышевского, ставшего гордостью революционного движения. Дескать, в конечном счете, психология рабства постепенно побеждается и будет побеждена благодаря русскому большевизму XX века.

¹² Ленин В.И. К вопросу о национальной политике // Там же. С. 67.

¹³ Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Там же. С. 107 (курсив оригинала – А. С.).

¹⁴ В оригинале романа «Пролог»: «Жалкая нация, жалкая нация! – Нация рабов, – снизу доверху, все сплошь рабы...». – *Чернышевский Н.Г.* Полное собрание сочинений в 15 т. Т. 13. М.: Гослитиздат, 1949. С. 197.

После победы революции 1917 г. в России, естественно, мысль о русских как авангарде революционеров всего мира укрепилась и стала частью идеологии. Но страх великорусского шовинизма в правительстве большевиков и у власти на местах после 1917 г. оставался, поэтому в дальнейшем вплоть до окончательного укрепления сталинского правления в новой идеологии существовал безоговорочный приоритет «советского» над «русским» в этнокультурном аспекте. Новая интернациональная пролетарская идеология должна была после гибели эксплуататорских классов объединить всех трудящихся общей новой культурой, в которой не исторические корни и кровь (биологический примордиализм), но коммунистическая идея и вытекающее из нее мировоззрение должны составить фундамент наднациональной общности (конструктивизм).

В целом перспективы национальной политики большевиков Ленин сформулировал следующим образом: «Для революции пролетариата необходимо длительное воспитание рабочих в духе полнейшего национального равенства и братства. Следовательно, с точки зрения интересов именно великорусского пролетариата, необходимо длительное воспитание масс в смысле самого решительного, последовательного, смелого, революционного отстаивания полного равноправия и права самоопределения всех угнетенных великороссами наций. Интерес (не по-холопски понятой) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев. Нашим образцом останется Маркс, который, прожив десятилетия в Англии, стал наполовину англичанином и требовал свободы и национальной независимости Ирландии в интересах социалистического движения английских рабочих»¹⁵.

В редакторском примечании к статье «Украина и война» в журнале «Социал-демократ» № 13 за февраль 1915 г. Ленин писал: «мы [большевики – А.С.] считаем буржуазным национализмом идею “культурно-национальной автономии”, мы не согласны с тем, что лучшим путем организации пролетариата является раздробление его по национальным куриям, мы не разделяем их взглядов на разницу между “анациональным”, национальным и интернациональным»¹⁶.

¹⁵ Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 110.

¹⁶ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 130.

В 1914 г. Ленин высказывается и по поводу государственного языка. Сегодня может показаться парадоксальной мысль, что государство может существовать без одного или нескольких языков, конституционно или иначе признанных государственными. Но строгий государственный Ленин в статье для газеты «Пролетарская правда» (№ 14 за январь 1914 года) под заголовком «Нужен ли обязательный государственный язык?»¹⁷ писал, что государственный язык – это наследие старого мира, от которого в грядущей свободной России нужно будет избавляться. Как бы забывая о том, что обязательность изучения государственного языка в школах полиэтнического государства вызвана целым рядом факторов, среди которых общее дело-производство, межэтническая коммуникация, доступ к информационным источникам и т.д., он ставит вопрос так: «Что означает обязательный государственный язык? Это значит практически, что язык великороссов, составляющих меньшинство населения России, навязывается всему остальному населению России»¹⁸. И далее протестует против *обязательного*, т.е., по Ленину, *принудительного* изучения русского языка в школах государства. Однако в заключение статьи Ленин соглашается с естественной необходимостью знания русского языка нерусскими народами. Где же тогда выход? Ленин формулирует его следующим образом: «Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен был изучать его из-под палки. Мы убеждены, что развитие капитализма в России, вообще весь ход общественной жизни ведет к сближению всех наций между собою. Сотни тысяч людей перебрасываются из одного конца России в другой, национальный состав населения перемешивается, обособленность и национальная заскорузлость должны отпасть. Те, кто по условиям своей жизни и работы нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без палки»¹⁹. Но ленинская формулировка «государственный язык» не совпадает с понятием государственного языка в мировой политике и этнологии.

В статье ощутим популизм, желание показать большевистское будущее России как абсолютную свободу. Другое дело, что в СССР действительно была создана сеть школ с преподаванием на языках

¹⁷ Ленин В.И. Нужен ли обязательный государственный язык? // Полн. собр. соч. Т. 24. М.: Политиздат, 1973. С. 293–295.

¹⁸ Там же С. 293.

¹⁹ Там же С. 295.

местных народов, и ребенок, а чаще родители, отдавая его в школу, могли выбирать между русским и родным языком. Представление о безграничной свободе, которую несет с собой пролетарская революция, владело умами и даже отразилось в первых документах Советской власти, хотя сегодня ясно, что это были в значительной мере декларативные заявления. Правда, в политике принуждения была своя историческая логика. Само существование советского государства и тот авторитет, который оно завоевало в мире, те экономические, технологические, научные успехи, которыми гордится, оглядываясь назад, современный россиянин, – все это было возможно только при существовании системы *принуждения* как универсального инструмента управления в СССР. Граждане принуждались к овладению грамотой, к получению образования, к службе в Вооруженных силах, к труду на благо общества (тунеядство каралось) и многому другому. Иначе было нельзя, раз Госпожа История выбрала именно такой путь для судьбы России на отрезке 1917–1991 гг. И необходимость перехода от обещаний 1914 и 1917 гг. к политике всестороннего жесткого принуждения по мере строительства советского государства, видимо, понимал после 1917-го и сам Ленин (возможно, понимал и ранее, но лукавил). Еще лучше это осознал Сталин, к анализу национальной и языковой политики которого мы обратимся далее.

Проблема понятия «советский» как маркера национальной идентичности влечет за собою необходимость выбора одного из подходов в терминологической традиции для трактовки самого понятия «нация». Известно, что до сих пор в широком узусе современного русского языка «национальность» понимается как этническая принадлежность, что восходит к традиции советской этносоциологии, а точнее, национальной политики, поскольку собственно науки этносоциологии в СССР не было. Лишь относительно небольшой сегмент современников, главным образом, специалистов-гуманитариев, различает сегодня понятие «этнического» как общности, восходящей преимущественно к общим кровнородственным корням, с одной стороны, и понятие «национального» – как имеющего характер принадлежности тому или иному *государству* (гражданский статус), с учетом того, что очень многие государства являются полиэтническими. Исходя из этого, несложно было бы определить «советский» как национальность, а «татарин», «русский», «мордвин», «якут» и другие идентичности как этническую принадлежность. Однако в советской

науке, следуя идеологии ВКП(б)-КПСС сложилось представление об СССР как «многонациональном» (а не полиэтническом) государстве, а применительно к некоей общей культуре всех этих народов использовался термин «новая историческая общность “советский народ”».

Таким образом, под, условно говоря, «советскостью» предлагалось понимать не просто гражданскую (по паспорту) принадлежность конкретному государству, но принадлежность некоей новой метакультурной общности, характерной только для СССР в силу специфики социального строя, породившего новый тип сознания. При этом надолго (по крайней мере, до сих пор) осталась путаница в употреблении термина «национальность», который понимают в одном случае как принадлежность индивида определенной нации (пункт в анкете или в прежнем, советском, паспорте). А с другой стороны, возможно различие «нации» и «национальности» как терминов, обозначающих разнородные понятия этничности: нация как исторически сложившаяся государственная общность (ключевое слово здесь «государственность»), а национальность – то, что мировая наука называет этносом. Встречается еще понимание национальности как «народности», то есть промежуточной стадии этногенеза.

Возможно, советское традиционное понимание «нации» восходит к одной сталинской статье 1912-13 гг. Тогда И.В. Сталин, главный специалист по национальному вопросу в партии большевиков, написал статью «Марксизм и национальный вопрос», ставшую по рекомендации В.И. Ленина программной для партии, а впоследствии для национальной политики СССР. Сталин дает там определение нации как исторической общности, характеризуемой общностью языка, территории, экономической деятельности и общностью «психического взгляда». Кратко определение звучит следующим образом: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры»²⁰. Сталин предлагает различать государственную общность населения, с одной стороны, и нацию, с другой, считая, что государства типа империи Александра Македонского не явили примера исторической устойчивости и остались конгломератом народов, не образовав еди-

²⁰ Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Сталин И.В. Сочинения. Т. 2. М.: ОГИЗ; Государств. изд-во политической литературы, 1946. С. 296.

ной нации. Также, по Сталину, ни Российская, ни Австро-Венгерская империи не образовали единой нации. Для образования нации необходимо, по его мнению, наличие всех перечисленных признаков.

Полемизируя с австрийскими социал-демократами Р. Шпрингером и О. Бауэром, Сталин доказывает, что мировоззренческая общность (Шпрингер) или общность исторической судьбы народа (Бауэр) не являются достаточными основаниями для выявления национальной общности. В советской науке фактически было принято сталинское определение, хотя после «развенчания культа» имя автора обычно не называлось. В то же время, очевидно, что взгляды австрийских ученых нашли поддержку у многих, от специалистов до простых граждан. Так, например, многие евреи в диаспоре ощущали и продолжают ощущать себя единым народом, и в силу общности мировоззрения, и исторической судьбы, и, главное, общих корней, а Сталин в статье утверждает, что русские, американские, грузинские и горские евреи единой нацией не являются²¹, поскольку нет территориальной и хозяйственной общности, да и единого языка нет. Таким образом, Сталин, говоря языком современной этнологии, стоит на позициях социального примордиализма, при этом отвергая примордиализм биологический (племенное родство в прошлом), если он не подкреплен общностью языка, экономики, психологии и территории в дальнейшем. «Итак, нация – не расовая и не племенная, а исторически сложившаяся общность людей», – заключает Сталин²².

В статье Сталина в одних местах национальность фактически означает этнос, входящий в состав нации, в других – между понятиями нации и национальности ставится знак равенства (национальность не как адъективное существительное, образованное от прилагательного, означающего принадлежность, а как номинатив). Например, в следующем отрывке речь идет о различении национальности как этноса и нации как «международного государства»: «Несколько иначе происходит дело в Восточной Европе. В то время как на Западе нации развились в государства, на Востоке сложились международные государства, государства, состоящие из нескольких *национальностей*. Таковы Австро-Венгрия, Россия. В Австрии наиболее развитыми в политическом отношении оказались немцы – они и взя-

²¹ Там же. С. 297.

²² Там же. С. 293.

ли на себя дело объединения *австрийских национальностей* в государство. В Венгрии наиболее приспособленными к государственной организованности оказались мадьяры – ядро *венгерских национальностей*, они же объединители Венгрии. В России роль объединителя *национальностей* взяли на себя великороссы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организованную дворянскую военную бюрократию»²³. Однако далее у Сталина читаем: «Развиваются торговля и пути сообщения. Возникают крупные города. Нации экономически консолидируются. Ворвавшийся в спокойную жизнь *оттесненных национальностей* капитализм взбудораживает последние и приводит их в движение, Развитие прессы и театра, деятельность рейхсрата (в Австрии) и Думы (в России) способствуют усилению “национальных чувств”. Народившаяся интеллигенция проникается “национальной идеей” и действует в том же направлении... Но проснувшиеся к самостоятельной жизни *оттесненные нации* уже не складываются в независимые национальные государства: они встречаются на своем пути сильнейшее противодействие со стороны руководящих слоев командующих наций, давно уже ставших во главе государства. Опоздали!.. Так складываются в нации чехи, поляки и т.д. в Австрии; хорваты и пр. в Венгрии; латыши, литовцы, украинцы, грузины, армяне и пр. в России»²⁴.

Как видим из последнего отрывка, словосочетания «оттесненные нации» и «оттесненные национальности» выглядят полными синонимами. Впрочем, может быть, автор *подразумевает*, что на каком-то этапе чехи, поляки, хорваты и др. будучи национальностями, начинают *ощущать себя нациями* и тогда становятся таковыми. Это логично, но противоречит самому сталинскому определению нации, где культурная самоидентификация не является достаточным признаком в формировании нации, а других изменений (экономика, язык) в положении чехов и хорватов в это время мы не находим. Возможно, под национальностью Сталин в данном случае понимал то, что в отечественной этнологии иногда называют народностью – промежуточной эволюционной общностью между племенем и нацией.

Так или иначе, но нам предстоит ответить на вопрос, являлось ли понятие «советский» устойчивым идентификатором в терминах

²³ Там же. С. 303–304, курсив наш – А. С.

²⁴ Там же. С. 304–305, курсив наш – А. С.

национального самосознания, поскольку налицо были территориальная общность (правда отчасти искусственная, помимо исторических корней); хозяйственно-экономическая общность и – совершенно в конструктивистском духе – стремление власти создать некую единую небывалую доселе общность – то ли гражданскую нацию, то ли нечто наднациональное. Культуры нет вне коммуникации, а значит, встает вопрос о языке – единым государственным языком сделали русский. В области культурного наследия мыслилось, что со временем наследие всех народов (этносов) будет восприниматься как общее достояние, физически это вылилось уже в 1970-е гг. в идею общего «Свода памятников истории и культуры СССР». Остается самое главное – коллективная психология. Сменил ли узбек, грузин, украинец, мордвин, якут и остальные²⁵ свою доминирующую этническую идентичность на «советскость» (прежде всего я *советский* человек!)? «Функционирование полиэтничного общества <...> во многом зависит от распространенности и доминирования общегражданской идентичности при сохранении этнической идентичности в различных сегментах населения региона. Имеется в виду приоритетность общенациональной, а не узкоэтнической ориентации людей (вспомним наполненные пафосом поэтические и песенные строки: “Читайте, завидуйте: я – гражданин Советского Союза!” или: “Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз!”). Начало спада такой гражданской идентификационной привлекательности советского общества приходится на начало 70-х гг. Распад СССР нанес сокрушительный удар по сочленениям культурных сегментов советского пространства»²⁶.

Однако в том и проблема, что, в конечном счете, этническая (и всякая прочая) культурная идентичность, определяемая в рамках научных школ (кстати, до сих пор не нашедших общего языка), неизбежно наталкивается на вопрос о самоощущении индивида и социальной группы (вопрос т.н. национального самосознания), а это способно оказывать серьезное воздействие на политическую ситуацию и соответствующие исторические события. При этом государственная идеология, безусловно, воспитывает чувство идентичности, как это было с внедрением в умы понятия «советского человека». «История как форма массовой пропаганды родилась накануне Первой мировой

²⁵ Всего по переписи 1989 г. в СССР было 128 «национальностей» – См.: URL: <http://demoscope.ru/weekly/2004/0155/tema02.php>. Online 12/08/2015.

²⁶ Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология... С. 197.

войны. В 1930-е гг. нормативные исторические предписания в качестве единой и вечной исторической истины стали защищаться всей мощью карательного механизма государства. В Германии появилась “народная история” (Volksgeschichte), в СССР – история формаций, революций и борьбы классов. Возникли сакрализованные книги по отечественной истории, заучиваемые наизусть, как Краткий курс истории ВКП(б) (1938)²⁷.

Понятие *культурной* идентичности является универсальным – по отношению к другим идентификаторам (этничность, религия, социальные, гендерные, возрастные особенности), но при этом остается проблема доминирующей идентификации и самоидентификации. При этом культурная самоидентификация индивида может не совпадать с представлениями окружающих и даже с научными представлениями. Так, на современной Украине политики, боящиеся «парада суверенитетов», не признают русинов как этнос, но сами русины считают себя совершенно равноположенными в этнокультурном плане по отношению и к украинцам, и к мадьярам, и к полякам. Проблема этнической идентичности осложняется т.н. смешанными браками, плоды которых нередко задаются вопросом «кто же я?».

Как же обстояло дело с национальной политикой в Советской России и СССР? Изначально в этом вопросе намечилось объективное противоречие. С одной стороны, тесное сближение этнических культур под крышей одного государства, провозгласившего приоритет социально-классовых идентичностей над национальными, и объединительная политика пролетарского интернационализма и дружбы народов вели к усилению внутренней миграции населения и увеличению процента смешанных браков, что ставило на повестку дня проблему создания новой наднациональной метакультуры. Но, с другой стороны, пришедшие к власти большевики постоянно ставили в вину Российской Империи пренебрежение к нетитульным народам России, к т.н. колониям (Туркестанский край), а значит, обещали способствовать не только экономическому подъему «национальных окраин», но и развитию национальных (т.е. этнических) культур.

Любопытно, что Сталин отметил две противоположных тенденции (стремление к общности и отход от нее в пользу национализма)

²⁷ *Ионов И. Н.* Проблемы современной макроистории. Статья I. Шаг вперед два шага назад? // Диалог со временем. 2015. Вып. 50. С. 50.

на примере ситуации в Российской Империи в период революции 1905 г. и последовавшей контрреволюции. Он писал: «Период контрреволюции в России принес не только “гром и молнию”, но и разочарование в движении, неверие в общие силы. Верили в “светлое будущее”, – и люди боролись вместе, независимо от национальности: общие вопросы прежде всего! Закралось в душу сомнение, – и люди начали расходиться по национальным квартирам: пусть каждый рассчитывает только на себя! “Национальная проблема” прежде всего!»²⁸. При этом Сталин подчеркивает (статья писалась в 1912–13 гг.), что большевики уже тогда увидели именно в идее *классовой* солидарности трудящихся единственную альтернативу растущему после 1905–1907 гг. национализму окраин Российской Империи. Проблема была в том, что основой для объединения виделся пролетарский интернационализм, а с пролетариями на этих самых окраинах дело обстояло плохо. Психология же непролетарских трудовых слоев страдала индивидуализмом и по существу была мелкобуржуазной.

Но здесь возникает принципиальный вопрос: а что такое этническая или национальная культура? Если понимать под ней только формальную сторону самовыражения этноса (язык, искусство, литература, обычай) – такое понимание наиболее широко распространено, – то это одно. Другое дело, понимать культуру, исходя из содержательных, т.е. мировоззренческих особенностей, которые и эксплицированы для исследователей в языке, литературе, искусстве, обычаях и проч. На наш взгляд, приоритет в поисках определения культуры стоит отдать именно системе убеждений – представлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о миссии человека на Земле и т.д. «Изучение существования – существования человека, народа, эпохи – начинается с обзора системы убеждений и в процессе его изучения должно быть выявлено прежде всего фундаментальное, коренное верование, поддерживающее и оживляющее все остальные верования»²⁹. Если принять во внимание эти коренные верования, то встает вопрос о невозможности выделения национального характера вне системы религиозных убеждений. Здесь у большевиков начинались сложности на пути объединения всех и вся под крышей новой общей идеологии,

²⁸ Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Сталин И.В. Сочинения. Т. 2. С. 290.

²⁹ Ортега-и-Гассет Х. История как система // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды / Сост. и общ. ред. А.М. Руткевича. М., 2000. С. 439.

поскольку важнейшей и определяющей чертой мировоззрения разных народов является религия, а был взят курс на жесткое внедрение в умы атеизма. Сами большевики и Ленин (да и не одни они в России) поругивали не только политическую систему Российской Империи, царя, эксплуататорские классы – но и русский народ, русских и саму «русскость» как коллективную психологию великороссов. Новая власть, у руля которой доля этнических русских оказалась явно не доминирующей, тем более опасалась великорусского шовинизма, а значит, советская идентичность должна была вытеснить русскую как таковую в пределах новой советской государственности.

«Советский» – и как формальная принадлежность «порту приписки» РСФСР-СССР, и как органичная и неформальная принадлежность новой культуре, новому мировоззрению – становился четким и однозначным маркером новой идентичности, что в послереволюционные годы и отразил В. Маяковский в «Стихах о советском паспорте». Казалось бы, на этом можно было поставить точку и двигаться в данном направлении дальше, но последующая история показала, что «русский» как актуальный этноним не сдал позиции, и тому было несколько причин.

Положительный перелом в отношении к «русскости», к русскому этносу, к проблеме преемственности советской государственности от традиционной культуры русских и от российской государственности произошел волею одного единственного человека. Этим человеком был Сталин. И этот перелом, по мнению ряда современных ученых, оказался решающим для сохранения советской государственности как таковой, для экономических и политических успехов страны и для победы в Великой Отечественной войне. При этом наиболее распространен взгляд на сталинский поворот к традиции русской культуры, к возрождению многого из того, что составляло «русскость» как идентичность, включая православие, под воздействием трагедии гитлеровского нападения и угрозы поражения СССР в войне. Современные историки обращают внимание на то, что наряду с памятью о борцах за дело революции и героях Гражданской войны (что составляло мемориально-просветительский базис до 1940-х гг.) в начале 1940-х произошло возрождение памяти о благоверных князьях Александре Невском и Димитрии Донском, о полководцах Российской Империи, восстановление Московского Патриархата, открытие целого ряда закрытых большевиками храмов и проч. Знаком этого

перелома в политике иногда считают знаменитую церковно-проповедническую форму обращения Сталина к народу в выступлении по радио 3 июля 1941 года «Братья и сестры»³⁰. В целом заметно стало смещение акцента с классовости на этничность (ощущение сопричастности национальной традиции). Джеффри Хоскинг, комментируя в своем учебнике по истории СССР выступление Сталина 6 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции, обращает внимание на произнесенные вождем призывы-лозунги «Нет пощады немецким захватчикам! Смерть немецким захватчикам!». «Теперь, – пишет он, – врагами стали не “фашисты”, а “немцы”. Ударение сталинского лозунга 1920 г. относительно “социализма в одной стране” переместилось со слова “социализм” на слово “страна”»³¹.

Но наиболее значимым видится исследователям в данном аспекте – тост Сталина «За русский народ», произнесенный на приеме в честь командующих войсками, состоявшемся в Кремле 24 мая 1945 г. До публикаций В. Невежина был известен лишь текст официального отчета о приеме, опубликованный тогда в газетах и в 1946 г. в сборнике «И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза». В.А. Невежин, посвятив несколько работ выступлениям Сталина, ввел в научный оборот архивные источники, опубликовал тексты разных редакций стенограммы этого приема и, в частности, тоста за русский народ, в т.ч. – с правками самого Сталина³².

Приведем целиком текст записи тоста за русский народ из официальной публикации 1946 года³³. Итак, Сталин сказал тогда: «Това-

³⁰ *Сталин И. В.* Выступление по радио 3 июля 1941 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 15. М.: Изд-во «Писатель», 1997. С. 56.

³¹ *Хоскинг, Дж.* История Советского Союза. 1917–1991. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Вагриус, 1995. С. 281.

³² См.: *Невежин В.А.* 1) Застольные речи Сталина. Документы и материалы. М.: АИРО-XX; СПб.: Дмитрий Буланин, 2003; 2) Триумф победителей: прием в Кремле командующих войсками Красной Армии (24 мая 1945 г.) // Проблемы российской истории. Вып. V. Магнитогорск, 2005. С. 358–392; 3) Сталин о войне. Застольные речи 1933–1945 гг. М.: Эксмо, Яуза, 2007; 4) Застолья Иосифа Сталина. Книга первая. Большие кремлёвские приёмы 1930-х – 1940-х гг. М.: Новый хронограф, 2011.

³³ Нет смысла цитировать этот текст купюрами, поскольку он достаточно емко отражает сталинское отношение к положительным чертам коллективной психологии русского народа, позволяющие ему специально оговорить роль русского народа, выделив его из советского народа в целом.

рищи, разрешите мне поднять еще один, последний, тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа, и прежде всего, русского народа (*Бурные продолжительные аплодисменты, крики “ура”*). Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было не мало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–42 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому Правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, – над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! За здоровье русского народа! (*Бурные, долго не смолкающие аплодисменты.*)»³⁴.

Владимир Невежин отмечает интересные места в правках, сделанных самим Сталиным по тексту тоста. Реально прозвучавший «здравый смысл» русского народа был заменен в авторской правке Сталина «ясным умом»; вместо фразы «русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся» появилась фраза «русский народ верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии»³⁵. Вслед за Е. Зубковой³⁶, В. Невежин обращает внимание на то,

³⁴ Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М.: Госполитиздат, 1946. С. 196–197.

³⁵ Невежин В.А. Сталин о войне... С. 265–268.

³⁶ Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М.: РОССПЭН, 1999. С. 36.

что ни в обращении к соотечественникам по случаю Победы 9 мая 1945 года, ни в тосте на приеме 24 мая Сталин ничего не сказал о руководящей роли партии. В своем знаменитом обращении к «соотечественникам и соотечественницам» 9 мая 1945 г. Сталин славит героическую Красную Армию, великий народ (без уточнения советский, русский или российский) и павших героев³⁷. Все так, однако нельзя слишком обольщаться на этот счет, так как вскоре Александру Фадееву попадет за недооценку роли партии в руководстве молодежным подпольем, как оно показано в романе «Молодая гвардия», из-за чего писателю придется переделывать первую редакцию романа.

Возможно, по мере отдаления во времени роль русского народа уже не воспринималась так остро, как в победном 1945-м. В дальнейшем проблема: что сыграло решающую роль в Победе, народный дух или сам факт партийного руководства *советским* народом – стала болезненным вопросом для послевоенных поколений. Естественно, приоритет роли партии постоянно акцентировался идеологической пропагандой в послесталинском СССР. Сталину же, в отличие от сменивших его на посту лидера партийных деятелей, действительно, не нужно было в последние годы его правления слишком беспокоиться о реноме партии, ибо его личный авторитет был на высочайшем уровне. Однако после его смерти по мере убывания успехов в деле строительства социализма и падения авторитета партии (Хрущев и Брежнев на фоне Сталина воспринимались народом, скорее, как герои анекдотов) нужно было роль партии идеологически повышать в глазах простых граждан. При этом именно Великая Отечественная война оставалась наиболее критической точкой на шкале народной памяти. Что, возможно, сыграло определенную роль в начавшейся в 1970-х гг. партийной кампании возвеличения Брежнева как героя войны. По мере приближения 1991 года ситуация лишь усугублялась. Высказывается даже категоричное и не лишённое основания мнение, что со временем «именно Победа фактически становилась единственной легитимацией советского строя»³⁸.

³⁷ *Сталин И.В.* Выступление по радио 9 мая 1945 года // Сталин И.В. Сочинения. Т. 15. С. 223–224.

³⁸ *Андреев Д., Бордюгов Г.* Пространство памяти: великая победа и власть // 60-летие окончания Второй мировой и Великой Отечественной: победители и побежденные в контексте политики, мифологии и памяти. М.: Фонд Фридриха Науманна; АИРО-XXI, 2005. С. 125.

В истории с романом Фадеева в редакции 1946 года мы не имеем документального подтверждения наличия личных сталинских указаний по «умалению» роли народа в пользу партийного руководства, так как с критикой романа выступила газета «Правда», но едва ли она сделала бы это без указания с самого верха. В то же время Е. Зубкова отмечает изменение в лексиконе Сталина по вопросу о народе уже в связи с появлением ставшего популярным особенно в постперестроечные годы образа советского народа как «винтика»³⁹. Е. Зубкова пишет: «Спустя месяц, 25 июня [1941 г. – А. С.], на приеме в Кремле в честь участников парада Победы в сталинской интерпретации появился новый нюанс – положение о “винтиках”. Несмотря на то, что этот тост часто цитируется, выхваченный из общего контекста публикации, он представляет ограниченное поле для анализа. Между тем контекст в данном случае не менее важен, чем содержание тоста. Сталин выступил в заключительной части приема – после того, как отзвучали здравицы в честь военачальников, организаторов науки, руководителей промышленности. Его речь как бы выбилась из общего ключа: Сталин предложил тост “за здоровье людей, у которых – чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают ‘винтиками’ великого государственного механизма, но без которых все мы – маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим (...). Это – люди, которые держат нас, как основание держит вершину”. Таким образом Сталин несколько скорректировал свой прежний тезис о единстве вождя и народа, построив отношения между ними на принципе “вершины” и “основания”, одновременно понизив статус “руководящего и великого народа” до народа – “винтика”. Тост заключал в себе и другой смысл: в нем Сталин не только устанавливал принцип иерархической общности между вождем и народом, но и одновременно противопоставлял “простых людей” – “начальникам”, сохранив за собой положение верховного арбитра, центра, где сходятся нити управления и массами, и руководителями»⁴⁰.

Г.А. Бордюгов и В.М. Бухараев также проанализировали литературу, которая выражает довольно широкий спектр мнений о смыс-

³⁹ Особенно после выхода книги М. Геллера «Машина и винтики. История формирования советского человека» (М.: МИК, 1994).

⁴⁰ Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество... С. 36.

ле выступления Сталина 24 мая 1945 года с тостом за русский народ, отметив его именно как знак поворота от социально-политических к этнокультурным факторам в творимой Сталиным мифологии⁴¹.

Зарубежные исследователи тоже часто отмечают изменение в отношении к «Святой Руси» в СССР во время войны. Упомянув о новом государственном гимне, сменившем французский «Интернационал» в 1943 г. (гимн начинался словами «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь...»), профессор Кембриджского университета Саймон Франклин пишет, что в это время «любые средства были хороши, включая обращение к прошлым героическим сражениям против неверных, будь то наполеоновские французы, татаро-монгольские орды Батгя или те древние “латинские” враги, которым дал отпор Александр Невский. Поэзия, кино, живопись в таких обстоятельствах получали разрешение пользоваться накопленным арсеналом образов, применять всю глубину исторической идентичности и даже своего рода заигрывание с религиозной идентичностью, чему нормальная советская риторика должна была бы противостоять»⁴².

Однако в последнее время появляются работы, авторы которых относят смещение акцента с классового на национально-державное в сталинской политике – на период предвоенный. Иногда об этом поначалу едва заметном по текстам советских учебников изменении говорят как о политическом «переломе», инициированном лично тем человеком, который находился на самой вершине властной пирамиды. При этом среди факторов, побудивших Сталина к таким политическим и мировоззренческим метаморфозам, можно выделить два наиболее общих. Первый – сугубо личные пристрастия, личное уважительное отношение Сталина к русскому народу, русской культурной традиции, национальному характеру, ибо, оставаясь этническим грузином и человеком культуры Закавказья, Сталин вполне ощущал себя причастным русской культуре и, в конечном счете, *носителем* этой культуры. А второй фактор – политическая необходимость раз-

⁴¹ Бордюгов Г.А., Бухараев В.М. Национальные истории в революциях и конфликтах эпохи. Сер. «АИРО – науч. доклады и дискуссии. Темы для XXI века» Вып. 5. М., 1999. С. 34.

⁴² Франклин, Саймон. Идентичность и религия // Национальная идентичность в русской культуре / Под ред. С. Франклина и Э. Уиддис. М.: РОССПЭН, 2014. С. 123.

вернуть политику прочь от идеи «мировой революции», т.е. от Троцкого и троцкистов, которых Сталин ощущает как основных конкурентов и врагов на своем пути к статусу «отца народов». Кроме того, совершая такой поворот, Сталин мог привлечь во внимание фактор настроения масс, вкусивших уже немало горького в ходе революционных преобразований, так что смена узкоклассового подхода на национальную идею с возвращением к ряду привычных традиционных ценностей действовала на массы конструктивно и вдохновляюще. Среди факторов смешанного – и личностного, и политического – характера также можно отметить стремление Сталина быть наследником Российской Империи, продолжив даже те внешнеполитические территориальные устремления, которые были когда-то предметом вождельний царской России (например, контроль над Черноморскими и Средиземноморскими проливами и др.). При знакомстве с известной книгой Феликса Чуева, содержащей беседы автора с В.М. Молотовым⁴³, невозможно отделаться от ощущения, что в оправдание политики присоединения земель к СССР (Прибалтика, Западные Украина и Белоруссия, Молдавия...) сам Молотов больше упирает на необходимость нанесения этим ударов мировому империализму (фактор классовой борьбы), в то время как Сталин явно ощущал себя продолжателем дела «собирания земель» вокруг Москвы. Это отмечает и Елисеев: «Сталин вовсе не был одержим утопической мечтой создать еще небывалое общество. На первых порах русская революция ставила перед собой совершенно нереальные цели трансформации общества в коммуну, которая подменит собой государство (точнее, отменит его) и в которой окажутся стерты различия между нациями, классами, городом и селом. Понятно, что такая цель Сталина не устраивала. Он не стремился создать что-то принципиально новое, но хотел продолжить то, что происходило уже в дореволюционной России»⁴⁴.

Среди других свидетельств нового самостоятельного курса Сталина – его письмо членам Политбюро (позднее публиковалось как статья) в связи с готовящейся по случаю 20-летия начала Первой мировой войны журнальной публикации статьи Ф. Энгельса «Внешняя

⁴³ Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева / После-словие С. Кулешова. М.: ТЕРРА, 1991.

⁴⁴ Елисеев А.В. Правда о 1937 году. Кто развязал «большой террор»? М.: Яуза, Эксмо, 2008. С. 99.

политика русского царизма». Сталин, проявляя должную корректность в отношении к основателям марксизма, в то же время делает вывод о нецелесообразности печатания такой статьи, если речь идет не о собрании сочинений Энгельса, а о «боевом» органе партии, каковым является журнал «Большевик». Ведь журнал, отмечает Сталин, это руководящий и направляющий орган для партийцев, а статья Энгельса не удовлетворяет своей русофобской направленностью, когда Россия выставляется по существу главным агрессором по отношению к другим европейским странам. «Энгельс, – пишет Сталин, – встревоженный налаживавшимся тогда (1890–1891 годы) франко-русским союзом, направленным своим острием против австро-германской коалиции, задался целью взять в атаку в своей статье внешнюю политику русского царизма и лишить ее всякого доверия в глазах общественного мнения Европы и прежде всего Англии, но, осуществляя эту цель, он упустил из виду ряд других важнейших и даже определяющих моментов, результатом чего явилась однобокость статьи»⁴⁵.

Е. Зубкова также, говоря о развороте идеологии в сторону ряда традиционных ценностей российской истории отмечает, что «поворот этот начался еще до войны, в середине 30-х гг., но война сделала его особенно очевидным»⁴⁶.

В. Невежин обнаружил в архиве, ввел в научный оборот и прокомментировал характерный документ по вопросу о новой сталинской политике, относящийся к еще более отдаленному прошлому – к началу 1930-х гг. Мы имеем в виду конспективную запись сталинского краткого застольного выступления 2 мая 1933 года, сделанную Р.П. Хмельницким и находящуюся в фондах РГАСПИ⁴⁷. В тот день на завтраке в Кремле, традиционно устроенном К.Е. Ворошиловым для участников Первомайского военного парада, Сталин, выступив с небольшой застольной речью, в частности, сказал: «Оставляя в стороне вопросы равноправия и самоопределения русские это основная национальность мира, она первая подняла флаг Советов против всего мира. Русская нация – это талантливейшая нация в мире...»⁴⁸. Далее

⁴⁵ Сталин И.В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма»: Письмо членам Политбюро ЦК ВКП(б) 19 июля 1934 года // Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. С. 23.

⁴⁶ Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество... С. 102.

⁴⁷ Невежин В.А. Сталин о войне. Застольные речи 1933–1945 гг. С. 10–11.

⁴⁸ Там же. Пунктуация, как у первого публикатора – А. С.

Сталин упоминает о том, что «русских били все», но «овладеть русскими» им так и не удалось. Публикатор этой записи, естественно, комментирует ее как записанную отрывочно с возможными искажениями, но для нас остается очевиден общий смысл сказанного. Он сводится к тому, что Русь-Россия многожды была объектом агрессии и несла страшные потери, но выстояла как таковая, сохранила себя, несмотря на плохое вооружение. Далее Сталин рассуждает о том, что, будучи вооружены современной техникой, русские становятся непобедимы. Таким образом, в этом комплиментарном выступлении Сталина в адрес русского народа содержится высокая оценка его стойкости и выживаемости как характерных национальных черт. А почему били? – потому, что прежний социальный строй не давал народу развиваться социально и оснащаться технологически.

Сам по себе речевой жанр тоста в обоих случаях значим потому, что Сталин – человек грузинской культуры, где тост является не поводом «опрокинуть рюмку», но играет серьезную роль в формировании отношений в социуме. Скажи Сталин комплимент русскому народу где-нибудь в беседе или даже – вскользь – в одном из выступлений, это уже не будет звучать столь акцентировано, как в случае тоста, причем в ситуации самой по себе знаковой и торжественной.

А.В. Пыжиков считает, что истоки формирования державно-патриотического курса Сталина нужно искать в переменах взглядов самого вождя, происходивших уже во второй половине 1920-х годов: «из типичного русофоба образца XII съезда РКП(б) (тогда, в 1923 году он мало отличался от своих соратников) генеральный секретарь постепенно предстает горячим поклонником всего русского. Правда, даже во второй половине 1920-х годов его русофильство оставалось латентным. Открытый разрыв со старой большевистской элитой тогда явно не входил в его планы. Первые публичные сигналы о своих новых предпочтениях вождь сделал на рубеже десятилетий»⁴⁹. В подтверждение такой датировки Пыжиков приводит эпизод осени 1930 года, когда Сталин разгневался на Демьяна Бедного, опубликовавшего в «Правде» фельетон «Слезай с печки», где высмеивал русских как носителей рабской психологии, ленивых и пустых по своей природе. При этом под удар Демьяна попал и русский патриотизм, и память о

⁴⁹ Пыжиков А.В. Корни сталинского большевизма. М.: ЗАО Издат. дом «Аргументы недели», 2015. С. 178.

героях российской истории. Сталин в специальном письме автору фельетона писал, в частности, что «революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, *русскому* рабочему классу, авангарду советских рабочих, как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран»⁵⁰. А. Пыжиков продолжает: «Внедрение патриотизма, восхваление российского прошлого вело к логическому завершению новой идеологической архитектуры. Русский народ провозглашался самым передовым <...>, объявлялся “старшим среди равных”, им гордятся, как гордятся своим старшим братом»⁵¹. Из передовиц «Правды» 1930-х годов автор работы приводит конкретные цитаты, сформировавшие на несколько десятилетий вперед позицию русского народа «как старшего брата». Кстати, весьма оригинальна концепция Пыжикова о происхождении сталинского советского социализма как такового, исследователь связывает его с традицией русского внецерковного (старообрядческого) православия.

Итак, мы рассмотрели ряд мнений о развороте идеологии и политики в СССР 1930-х гг. от идей мировой революции к идее русского патриотизма. В заключение приведем свидетельство одного из очевидцев и участников воплощения той самой сталинской политики. Советский дипломат С.В. Дмитриевский, в прошлом русский революционер, ставший в 1930 г. невозвращенцем, следующим образом охарактеризовал круг коммунистов, который существовал в партии уже к концу 1920-х гг., и на который должен был опереться в те годы Сталин. «В теории они часто сбивались. Некогда было ею серьезно заниматься. И они боролись не столько за отвлеченные принципы, сколько за родную землю, за ее независимость, богатство, мощь. Они называли себя коммунистами. Но коммунизм был для них не столько целью, сколько орудием национальной борьбы <...>. С такими идеями долгое время шли на борьбу, пробивались к власти народные, основные слои партии, по преимуществу ее второе, молодое поколение. За ними, тесно с ними сливаясь, шла масса еще более фанатично-русской, еще более пронизанной непримиримостью к Западу и к за-

⁵⁰ Сталин И.В. Товарищу Демьяну Бедному (Выдержки из письма) // Сталин И.В. Соч. Т. 13. М.: Госполитиздат, 1951. С. 24–25. (Курсив оригинала – А. С.)

⁵¹ Пыжиков А.В. Корни сталинского большевизма. С. 191–192.

падным идеям и людям молодежи, рожденной уже самой революцией. Вождем этих слоев был Сталин»⁵².

Тем не менее, на практике сразу отойти от идеологии и политики т.н. пролетарского интернационализма было непросто, и возвращение к «русскости» в идеологии пытались иногда «смягчить», вернув в лексикон слово «национализм», но подразумевая под национализмом советских народов некий новый, «советский» «здоровый» национализм. Ф.Л. Сеницын пишет: «Советское руководство пыталось каким-то образом связать “советский патриотизм” с “пролетарским интернационализмом”, от которого она не думала отказываться. В мае 1941 г. Сталин в беседе с руководителем Коммунистического Интернационала Георгием Димитровым сказал о необходимости развивать идеи сочетания здорового правильно понятого национализма с “пролетарским интернационализмом”, который должен опираться на этот национализм”. Однако политика балансирования между “пролетарским интернационализмом” и “патриотизмом” не была эффективной»⁵³. Все дело в том, считает этот историк, что накануне Великой Отечественной войны Сталин и его ближайшее окружение отдавали себе отчет в том, что никакой пролетариат в странах потенциального противника (будь то Германия, Италия, или страны Антанты) в случае военного конфликта не соберется массово выступить бок о бок с Красной Армией против собственных правительств за дело всемирной пролетарской революции. Однако в советском народе такая вера отчасти жила, промывание мозгов в духе неизбежности скорой революции в развитых странах Европы в течение двух десятилетий сделало свое дело. Анализируя руководящие партийные документы 1930-х гг. в части составления новых учебников истории в СССР, Г.А. Бордюгов и В.М. Бухараев отмечают, что «полиэтническая идея воссоздания не “русской истории”, а “истории Руси” с учетом истории народов, входящих в СССР (включая даже татар, башкир, мордву, чувашей), на основе “марксистского объяснения”, конфликтовала с русо-центристскими подходами...»⁵⁴.

⁵² Цит. по: *Лобанов М.П.* Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи. М.: Алгоритм, 2008. С. 71.

⁵³ *Сеницын Ф.Л.* «За русский народ!» Национальный вопрос в Великой Отечественной войне. М.: Яуза: Эксмо, 2010. С. 7.

⁵⁴ *Бордюгов Г.А., Бухараев В.М.* Вчерашнее завтра... С. 49.

Подведем некоторые итоги. Для Ленина заслуга русского народа состоит в том, что этот народ дал выдающихся борцов против прежней монархической власти, революционеров, и стал авангардом революционного движения в XX в. Сталин, не противореча в этом Ленину, в то же время отмечает несколько черт национального характера русских, которые призваны объяснить и иные, кроме революций, закономерности отечественной истории. Во-первых, по Сталину, «русских били все», но русские выстояли как нация, несмотря на неблагоприятные внешние и внутривнутриполитические условия и на отсутствие развитых технологий, доведя дело до победившей революции. Одна из причин тому, по Сталину – терпеливость и стойкость русского народа. Как мы помним, в тосте от 24 мая Сталин сам вдруг поднимает болезненную тему долготерпения у русского народа и тему доверия народа своему «правительству», а по существу, – самому *вождю* в критической ситуации лета и осени 1941 г. Здесь Сталин совершенно прав, на наш взгляд, ибо по большому счету не наступательный порыв (вроде воодушевления немцев «блицкригом» вермахта летом 1941 г.), а, говоря боксерским языком, – умение держать удар, – *в конечном счете* определяет физическую и моральную стойкость народа. Другое дело, что в советской исторической литературе все это отмечалось как качество *советского* народа, т.е. всех этносов СССР, Сталин же делает упор на русском этносе, заявляя, что русский народ «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». При этом отмечается и роль русского народа в Великой Отечественной войне как «руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны». Помимо стойкости и терпения, что позволило народу даже простить ошибки руководства на начальном периоде войны, Сталиным назван также «ясный ум» (первоначально, до авторской правки, «здравый смысл»).

В. Невежин⁵⁵ подробно проанализировал спектр мнений по поводу сталинского тоста 24 мая 1945 г., который уже тогда, в 1945-м, вызвал одобрение одних и обиду со стороны других. То же самое касается полемики вокруг тоста, развернувшейся в современной научной литературе. Одобрявшие позицию Сталина видели логику в том, что русский этнос в войну понес самые большие людские потери в *абсолютном* исчислении, в сравнении с любым из других этносов,

⁵⁵ Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Книга первая... С. 343–380.

населявших СССР. Но это логически вытекало из многочисленности самого русского этноса, составлявшего более 50% населения в СССР. Однако в относительном исчислении (если подходить статистически к вкладу народов в Победу, что не совсем корректно), необходимо учитывать прежде хотя бы отношение процента призванных на военную службу и погибших на фронте – к проценту представителей данного народа в народонаселении СССР. Ф. Сеницын⁵⁶ сопоставил официальные данные о национальном составе населения СССР, почерпнутые из официальных источников⁵⁷, и получил соотношение долей погибших (потери военнослужащих) и долей «национальностей» в общем населении СССР на период войны. Результаты показали, что наряду с русскими (самый большой процент потерь к общему числу населения), также имели большую долю в потерях, нежели доля в общем числе народонаселения СССР – мордовский и чувашский народы, очень высоким этот показатель был у татарского народа, а также у украинцев, башкир, грузин и армян... Поэтому использовать формальные показатели для выстраивания иерархии победителей не следует, чтобы не обижать представителей разных этносов, активно участвовавших в той войне на стороне Красной Армии и советского народа. Невежин приводит факты обиды и недовольства тостом Сталина со стороны тех, кто почувствовал себя ущемленным высказываниями вождя – в силу ощущения своей принадлежности иной, не русской, этнической культуре. Это касается и нашего времени, что показало т.н. «дело историков МГУ». Поэтому, еще раз повторим, на наш взгляд, очень трудно статистически рассуждать об особенностях национального менталитета. С другой стороны, можно только порадоваться, что и в наше время есть люди, которые не желают умаления роли своих народов в деле той Великой Победы. Хуже, что все больше становится на просторах бывшего СССР тех, кто ощущает себя по «ту» сторону фронта, маршируя с атрибутикой Германии эпохи Третьего рейха. Воодушевление же представителей собственно русского этноса сталинскими оценками его роли тоже легко объяснить и по-

⁵⁶ Сеницын Ф.Л. «За русский народ!» Национальный вопрос в Великой Отечественной войне. С. 353.

⁵⁷ Население СССР в XX веке: Исторические очерки. В 3-х тт. Т. 2. 1940–1959. М.: РОССПЭН, 2001. С. 15; Россия и СССР в войнах XX века. Потери Вооруженных сил: Статистическое исследование / Под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 238.

нять. Ведь еще недавно, в 1920-х, да и отчасти в 1930-х гг., большевистская идеология возлагала на русских вину за угнетение других народов, кроме того русские были носителями самой массовой в Российской Империи и потому самой опасной для большевиков религии – православия. Поэтому в тот период новой властью фактически свыше насаждалась русофобия. И проявляя заботу обо всех многочисленных народах СССР, неправильно было ущемлять чувство национального достоинства русских.

В. Невежин приводит также примеры недовольства со стороны тех, кто был обижен сталинским тостом от 24 мая 1945 года не за свое чувство национального достоинства, а за отступление Сталина от *принципов интернационализма* как основной политической линии большевиков. Впрочем, для Сталина важнее была сиюминутная политическая ситуация, а не традиционные лозунги большевиков из тех лет, когда он сам писал первые работы по национальному вопросу. В 1945-м это был уже другой человек. Вспомним, что еще перед войной Сталин воспротивился постановке булгаковского «Батума», при известной лояльности к иному творчеству Михаила Булгакова. Дело в том, что Сталину не нужен был на сцене юный Джугашвили, революционер, оказавшийся одним из разрушителей Российской Империи. Джугашвили и Сталин – не одно и то же: не случайно, как-то гневаясь на сына Василия уже в зрелые годы, вождь напомнил ему, что *тот не Сталин*, потому что Сталин может быть только *один* – это уже человек-символ. Нельзя здесь не вспомнить и известный пастернаковский образ вождя, каким он уже виделся *и поэту, и народу* к середине 1930-х: «За древней каменной стеной, / Живет не человек, – деянье, / Поступок ростом с шар земной...»⁵⁸. Джугашвили – разрушитель Российской Империи, Сталин – создатель новой империи. Сталин уже не конкретный индивид, это образ, знак, таковым он воспринимается и некоторыми нашими современниками, и воспринимался тогда. Многие проблемы в области сталиноведения возникают из-за непонимания этой простой истины.

Сталину было очевидно, что создавать свою новую империю легче всего на неразрушенном еще фундаменте прежней. А эта прежняя формировалась вокруг великорусской народности. Возможно,

⁵⁸ Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. II: Стихотворения 1930–1959. М.: СЛОВО/SLOVO, 2004. С. 402.

отсюда и его позиция по «национальному вопросу» плюс, безусловно, личная привязанность к богатейшей русской культуре. «В России, – писал он, – роль объединителя национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организованную дворянскую военную бюрократию»⁵⁹. Таким образом, очевидно, что если Ленину русский народ был дорог тем, что умел разрушать, то Сталину – тем, что умел терпеть и созидать.

К каким же выводам мы приходим в размышлениях о судьбе «советскости» и «русскости» как этнокультурных идентичностей? Можно попробовать развести представления о русской и советской государственности и культуре, представив существование российской цивилизации, внутри которой сформировалась *советская субцивилизация*, поначалу претендовавшая на то, чтобы вытеснить российскую и явить миру образец *совершенно* новой, построенной на общих идеологических установках марксизма (как его понимали советские идеологи в 1910–1930-х гг.) цивилизации. Однако историческая судьба сложилась так, что и «русскость» как этнокультурная идентичность, и сложившаяся вокруг Древней Руси российская государственность оказались прочнее, чем эта новая общность.

Автор настоящей работы последовательно проводит мысль о продуктивности рассмотрения того, что теперь называют советским периодом истории России, как цельного субцивилизационного цикла – в духе циклических концепций Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера, П.А. Сорокина, А. Тойнби, Ю.М. Лотмана... Причем, в отличие от других цивилизаций, существующих или существовавших столетиями и тысячелетиями, – советская прошла полный цикл в условиях сгустившегося времени, что вообще характерно для ускорения многих социальных и технологических процессов в XX веке.

Отношение к генезису этнокультуры в научном мире в целом неоднозначно, есть много разных мнений и наверняка будут высказаны новые в будущем. Так, например, Л.Н. Гумилев⁶⁰, выделяя свои фазы этногенеза, считал, что снижение пассионарного напряжения на определенной стадии, называемой им обскурацией, ведет или к полному разрушению этноса, или к превращению его в реликт (мемориальная фаза). Действительно, «советское» в современной России су-

⁵⁹ Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. 2. С. 303.

⁶⁰ Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Кристалл, 2001.

ществует именно как активно действующий, но по сути *мемориальный* фактор, при том, что еще живы люди, называющие себя советскими как воспитанники той эпохи и даже как адепты официальной советской идеологии. «Русское» в широком смысле – обогатилось за счет советской культуры, впитав ее в себя и поглотив эту субцивилизацию с ее декларированными «новыми историческими общностями». Поэтому, при всей трудности и жертвах советского периода истории, было бы нелепо рассматривать его как некую роковую ошибку истории, которой бы лучше было избежать. Всякая история есть история и жертв, и положительных свершений.

Очень образно сформулировал соотношение понятий культуры, народа и истории Георгий Гачев, писавший (заглавные буквы авторские): «Культура есть любовь Народа к Природе своей в супружестве Истории»⁶¹. И стало быть, «национальное есть итог исторического развития народа. Человек современный более национально своеобразен, чем древний. Достоевский – более русский, чем князь Игорь, Генри Форд более американец, чем Джордж Вашингтон, генерал де Голль более француз, чем рыцарь Роланд и т.д. Следовательно, радеющий о национальном своеобразии должен заботиться о прогрессе, об интенсивном развитии производства и техники, о цивилизации и культуре, о максимальном общении с другими народами, ибо лишь в ходе контактов и сравнений обнаруживается и шлифуется свое – то, чего нет у других»⁶².

Согласно Гачеву, многонаправленные межэтнические коммуникации в Советской России объективно могли только способствовать укреплению вошедших в СССР этнокультур, и с этим сегодня нельзя не согласиться. Сам процесс собирания народов вокруг великорусского этноса, формировавшегося на стыке вятичской и кривичской культуры с одной стороны, и мерянской – с другой, носил во многом естественный характер, и неправильно было бы видеть лишь насильственные аспекты в формировании русской государственности. Этнический характер русских отличается открытостью, здесь высок уровень коллективизма, веротерпимости, что уже в наше время показали и формализованные результаты исследований Гирта Хофстеде по т.н. шкалам культурных измерений⁶³. В пределах новой, уже *рос-*

⁶¹ Гачев Г. Ментальности народов мира. М.: Эксмо, Алгоритм, 2008. С. 30.

⁶² Там же. С. 31.

⁶³ URL: <http://www.geerthofstede.nl/>

сийской в широком смысле государственности многие нерусские этносы не только сохранили свою идентичность, но сыграли и продолжают играть очень заметную роль в экономике, политике, культуре России. Наличие плотного многовекового контакта с татарами и другими народами Поволжья дало много полезного и для собственно русской (в узком смысле) культуры. Одной из причин периодически возникавших в России т.н. авторитарных и тоталитарных режимов правления (большевики восстали против самодержавия, но Сталин вернул страну к самодержавию!) являлась историческая необходимость мобилизации российского народа на решение грандиозных военных задач. Парадокс в том, что именно с Запада в Россию шли не только идеи либерализма и свободы, но и прямая агрессия. Многого стоили русским последние три больших войны, начиная с 1812 года. Арнольд Тойнби был вынужден признать, что «если мы посмотрим на столкновение между Россией и Западом глазами историка, а не журналиста, то увидим, что буквально целые столетия вплоть до 1945 года у русских были все основания глядеть на Запад с не меньшим подозрением, чем мы сегодня смотрим на Россию»⁶⁴.

Привычка употреблять этноним Russian на Западе применительно с одной стороны, к т.н. великороссам; с другой – ко всем народам Российской Империи, СССР и ныне РФ, а теперь еще и включать в состав русских многочисленных внешних мигрантов на территории РФ сегодня, – служит порой не добрую службу. Так, например, 10 августа 2015 г. международное агентство финансовой информации Bloomberg опубликовало результаты исследований, проведенных Организацией экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development) по сравнительной эффективности труда европейцев и США⁶⁵. В результате самую низкую эффективность, измеряемую как соотношение валового внутреннего продукта (ВВП) и среднего количества часов, проводимых жителями страны ежегодно на работе, показала среди европейских стран Россия (25,9 USD за 1 час рабочего времени против среднеевропейского показателя 50 USD). Эту информацию ретранслировали ряд крупных российских СМИ, что вызвало реакцию в сети и в эфире. Некоторые

⁶⁴ Тойнби А.Дж. Мир и Запад // Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сб. / Пер. с англ. 2-е изд. М.: Айрис-Пресс, 2003. С 439.

⁶⁵ URL: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-10/russian-workers-vie-with-greeks-in-race-to-productivity-abyss>. Online: 12/08/2015.

отечественные эксперты и простые граждане обиделись за русских и россиян, доказывая, что примененная методика подсчета неэффективна и не отражает потенциала коренных жителей РФ. На наш взгляд, здесь нужно обратить внимание на два момента. Во-первых, снова все работники России чохом объединены одним показателем по этническому признаку «русские» или «россияне», поскольку заголовков статьи «Russian Workers Vie With Greeks in Race to Productivity Abyss» звучит как нечто вроде *«русские работники состязаются с греками, кто первый падет в пропасть низкой производительности труда»*. Но в ситуации нынешней неразберихи в России совершенно непонятно, где трудятся россияне, а где легальные и нелегальные мигранты из-за рубежа, которые не имеют никакого отношения к русской трудовой ментальности, но которых становится все больше, а как это учесть, никто не знает. И, во-вторых, категория «русские работники» взятая во всей полноте социальных и исторических особенностей, – достаточно широка и едва ли может быть охвачена каким-то одним социологическим исследованием с использованием строгих формализованных показателей.

Радиостанция «Радио Бизнес ФМ» в передаче, посвященной анализу указанной публикации Bloomberg⁶⁶, сообщила о недавнем исследовании эффективности использования рабочего времени персоналом ряда российских компаний, в результате которого выяснилось, что до 64% рабочего компьютерного времени у сотрудников офисов уходит на сидение в соцсетях, игры и просмотр сайтов, не связанных с производственной необходимостью. Добавим бесконечные перекуры (в США, например, курящих сегодня в разы меньше), разговоры и личные телефонные звонки. Как выяснилось, больше всего страдают от нежелания посвящать рабочее время работе юристы, бухгалтеры и менеджеры. Совершенно очевидно, что эффективность таких работников не имеет никакого отношения к эффективности работников научной или педагогической сферы, работников физического труда. Таким образом, было бы неправомерно идентифицировать русских и россиян как таковых, (как нацию или этнос) с конкретным поколением офисных клерков и многочисленных чиновников, возвращенным в постсоветской России – работников, которые получили образование на родительские деньги, устроились на

⁶⁶ URL: <http://www.bfm.ru/news/300101>. Online: 11/08/2015.

работу по родственным, клановым и прочим «кумовским» принципам и поэтому могут себе позволить работать спустя рукава.

Россия – не единственная страна, которая столкнулась с проблемой трансформаций культурной идентичности в рамках мультикультурной исторической общности. Известно, что корреляция этнонимов «британец», «британский» и, с другой стороны, «англичанин», «английский» в пределах внутрибританского языкового узуса и вне Великобритании вызывает вопросы, отчасти схожие с проблемой корреляции *советского* и *русского*, *российского* и *русского*. Нередко всех британцев называют англичанами (в т.ч. в русском языке). Последних это несколько не обижает, тем более, что в английской культуре до сих пор имеет место даже представление о том, что население земного шара состоит из двух народов: англичан и всех остальных – *иностранцев*. Интересен опыт британской историографии, вынужденной откликаться на изменения в социальных процессах последнего столетия. В работе, посвященной этой проблеме, Л.П. Репина пишет: «Историография XIX – начала XX в. внесла огромный вклад в сотворение мифа о Британской империи, последовательно игнорируя или выводя в тень “неудобные факты”. А на рубеже 1920-х и 1930-х гг. уже в ситуации системного кризиса Британской империи произошло оформление “имперской школы” историографии. Эта школа развалилась в 1960–1970-е гг. в результате распада самой империи (деколонизации) и под ударами критики со стороны ревизионистской историографии и постколониальных исследований. В 1970–1980-е гг. остро осознается проблема кризиса культурной идентичности (не случайно именно в это время создается Королевская комиссия по национальной идентичности). Постепенно формируется постимперская историография, ставящая задачу переосмысления истории Британской империи с точки зрения отхода от позиций англоцентризма и переформулирования понятия “британскости”»⁶⁷. В США этноним «американец» стал обозначать и гражданскую принадлежность, и особенности национального менталитета, и владение американским вариантом английского языка... Очевидно, что глубина собственного исторического опыта и формирования национальной идентичности

⁶⁷ Репина Л. П. От истории империи к истории Британских островов, или Как писать национальную историю в мультикультурном обществе // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2014. Т. 5. Выпуск 10 (33) – URL: <http://history.jes.su/s207987840000848-1-1>. Online: 09/08/2015.

в США сделали свое дело (ведь прежде «американец» относилось к коренному индейскому населению), а для семи с половиной десятилетий формирования «советскости» как культурной идентичности – этого оказалось недостаточно. Говоря сталинскими словами, СССР не проявил достаточной «исторической устойчивости», однако Россия вынесла и этот опыт, сохранив себя.

Для западной политологии остается актуальным вопрос: насколько русский народ ответственен за имперскую политику российской власти в разные эпохи. Для нас же очевидно, что искать истоки агрессивной политики в характере русского народа – неверно. Хотя, если следовать логике троцкизма в деле разжигания пожара мировой революции, а русский этнос признавать самым революционизированным (авангард мировой революции), то такой вывод можно было бы сделать. Однако, к счастью, русский народ – это также Достоевский и Толстой, это высокая культура Русского Зарубежья⁶⁸, сформировавшегося наиболее отчетливо именно в те самые 1920-е гг., это вся та богатейшая часть русской культуры, которая противится откровенному культу политики насилия в отношении других народов. Надо помнить, что формирование *любой* империи, начиная с «классической» Римской, выстраивало одинаковую схему взаимоотношений метрополии и колоний, центра и периферии. Впрочем, это касается не только империй. В.Л. Цымбурский верно заметил, что «при характеристике всех цивилизаций, о которых писали Тойнби и Хантингтон, приходится всякий раз указывать на тот ядровый народ или ту группу народов, которые в пору расцвета или возвышения данной цивилизации одновременно утверждали свою культурную и политическую гегемонию над другими областями и этносами, низводимыми до ранга зависимой периферии, часто открытой в чужеродный мир. При любых междоусобных дрязгах народы-гегемоны цивилизации объединяла сакральная вертикаль – религия и идеология, которая соотносила их культуру, геополитику и эволюционирующую социальную практику с трансцендентной высшей реальностью»⁶⁹.

⁶⁸ Пархоменко Т. А. Русское культурное присутствие в мире (к вопросу о создании энциклопедии «Российское культурное наследие за рубежом») // Вопросы культурологии. 2015. № 7. С. 12–17.

⁶⁹ Цымбурский В.Л. Народы между цивилизациями // Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. М.: РОССПЭН, 2007. С. 215.

На наш взгляд, в значительной степени причиной исторической устойчивости и приоритета этноидентификатора «русский», по сравнению с «советский», да и с «российский» – является богатейшее культурное наследие в области литературы и художественной культуры, которое во всем мире и в современной РФ, носит устойчивое название «*русской культуры*». Эта культура живет в веках, сохраняя преемственность от далекой эпохи формирования древнерусской государственности.

Профессиональная оценка исторических явлений невозможна вне диалектического мышления, которое было провозглашено методологической основой и в СССР, но которому на практике следовали недостаточно, раскрашивая подчас историю России в черно-белые цвета. Эта сторона советской историографии была подвергнута критике в 1990-х гг., однако сегодня мало что изменилось. Можно говорить об отрицательных явлениях в истории страны и культуры, но едва ли можно говорить о положительных и отрицательных *периодах, эпохах, этапах* истории. Тем не менее, рецидивы такого черно-белого мышления встречаются даже в официальных документах. Так, по итогам экспертного семинара, состоявшегося 20 июля 2016 г. в Российской академии образования, был принят и выложен для обсуждения Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Искусство» в средней школе (по предмету «История» такой концепции мы не обнаружили), где говорится о необходимости «целенаправленного отбора содержания *с упором на позитивные этапы развития отечественной художественной культуры*»⁷⁰. Как видим, в глазах авторов Проекта даже не отдельные периоды, но этапы истории культуры могут быть положительными или отрицательными, что в научном аспекте звучит совершенно нелепо.

Еще раз повторим, что в обострившейся международной обстановке и в условиях возрастающего внешнего политического и экономического давления на Россию проблема отношения к отечественной истории советского периода становится не только своего рода пробным камнем идейной самоидентификации граждан РФ, но проблемой патриотизма как такового, от которого в конечном счете зависит будущее страны.

⁷⁰ URL: <http://www.predmetconcept.ru/subject-form/art> – Online: 12/10/2016. (Курсив наш – А.С.)

В области исторических предпочтений Россия, как мы уже не раз отмечали, демонстрирует закономерности движения по теории маятника: безудержное славословие всего советского в то самое советское время – сменилось, как известно, резко негативным отношением к едва ли не ко всему советскому в 1990-х гг. Сейчас ситуация остается поляризованной: т.н. либерально-демократический лагерь по-прежнему старается дискредитировать все советское, а лагерь патриотический разделился на тех, кто видит себя патриотом досоветской России (монархисты, поклонники Древней Руси, ортодоксального православия и др.), и тех, кто считает советский период исполненным достоинства и величия или хотя бы уважения. Характерна, хотя возможно и не типична, беседа автора этой статьи с одним из радикальных русских монархистов, большим поклонником Распутина и последней императорской четы, который признался, что на недавних выборах в ГД РФ в сентябре 2016 года голосовал за... коммунистов, поскольку де «сегодня больше не за кого».

В целом в связи с ухудшением общего экономического, демографического и политического климата в Европе и в России очевидно, что за рубежом – в странах бывшего СССР, в Европе и в США – возросли и в определенной мере продолжают подогреваться антироссийские настроения. Общая тенденция пока ведет к изоляционизму в отношении России, а после событий на Украине Россия выставлена агрессором, которого следует опасаться. Сегодняшние «друзья» России также не внушают доверия, поскольку всегда исходят исключительно из своих интересов и способны попать любые принципы и договоры в случае собственной надобности (что хорошо продемонстрировал XX век). В таких условиях оказывается чрезвычайно опасным и неблагоразумным лить воду на мельницу русофобии, по крайней мере, тем из российских граждан (в т.ч. из профессиональных политиков, политологов и историков), которые связывают свое будущее с Россией и не уезжают за рубеж. Тем не менее мы становимся свидетелями новой кампании опорочения всего советского, а заодно и российского, под лозунгом угрозы возрождающегося сталинизма в современной России. Обращает на себя внимание тот факт, что журналисты и политологи, а подчас и профессиональные историки, увы, не озадачивают себя при этом приведением какого-то внятного определения самого термина «сталинизм» в приложении к современному состоянию массы умов в России.

Как нам приходилось уже не раз отмечать в наших публикациях⁷¹ и как отмечается в ряде других работ по истории формирования исторических образов⁷², – сознание, в том числе – коллективное, оперирует не реальными образами исторических личностей и эпох, но искусственно сложившимися в культуре в силу действия немалого ряда факторов. В связи с этим вспоминается ставший притчей эпизод из разговора Сталина с сыном Василием, когда вождь (не хотевший, чтобы Василий носил партийную кличку отца) спросил Василия Иосифовича: «Ты думаешь, ты Сталин? Ты думаешь, я Сталин? Вот – Сталин», – и указал на портрет усатого человека на стене. Таким образом, очевидно, что потребность со стороны как современников Сталина, так и наших современников в *образе* человека, явленного на портретах, скульптурных бюстах и монументах, имеет свои социокультурные корни, которые и надо раскрывать и изучать. А это делается явно недостаточно, так что российская публицистика и научная мысль в который раз демонстрируют какую-то внутреннюю антиномичность, проявленную в тяготении к крайностям. Вместо усилий по изучению путей формирования образа Сталина в культуре, в исторической памяти – вновь мы скатываемся, с одной стороны, к бездумному культу личности, а с другой – к демонизации образа вождя.

Величие трудового, а также военного подвига советского народа, и в той же степени – вина за массовые репрессии и всякую подлость в политике – в равной степени лежит и на отдельных лидерах, и на партии, и на самой народной массе (как верно заметил когда-то Сергей Довлатов, – ну, не мог Сталин написать 15 миллионов доносов!). Но проблема в том, что и сам народ при наличии, казалось бы, очевидной национальной (или этнической) специфики, не может быть мазан лишь белой или черной краской. Если считать бедой революцию, то коллективный «грех» массы людей, начиная с «будивших Герцена» декабристов и кончая русской интеллигенцией, «разбудившей» к 1917 году народ с топором, – отмечает собою вехи пути к пресловутым «сталинским репрессиям» 1930–1940-х гг. Но ведь хотели, как лучше... Однако Хрущеву и лидерам партии никак нельзя было рассуждать таким образом в 1956 г. Чтобы отвести удар от себя

⁷¹ См., напр.: *Святославский А. В.* История России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов. М.: Древлехранилище, 2013.

⁷² См., напр.: *Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной.* М.: «Кругъ», 2010.

лично и от партии, поскольку дискредитация ее грозила социальной катастрофой, – виновником всего выставили фактически одного Сталина, при том, что это совершенно противоречило марксистским представлениям о роли и месте личности в истории. Подобный шаг отодвинул, как казалось тогда, возможную катастрофу, но она грянула совсем – по историческим меркам – скоро, и мы потеряли государство, которое уже в 1990-х многие буквально возненавидели, чтобы потом, в XXI веке, начать ностальгировать по нему.

Наряду с целым комплексом причин ностальгии по сотворенному в отечественной культуре «мифическому» образу Сталина, который восстанет из гроба и одним махом искоренит все трудности сегодняшнего дня, есть одна реальная особенность характера и мировоззрения вождя, которая непосредственно связана с тематикой настоящей работы – отношением Сталина к русскому народу. Все приведенные здесь высказывания Сталина о русском народе, подкрепленные его политикой, ставят его личность под удар для тех, кто сознательно или подсознательно ненавидит все русское (русские дескать некультурный, дикий, агрессивный народ и т.д.). В советское время эта позиция маскировалась негативом со стороны Запада именно в отношении «советскости», теперь же, когда русский перестал быть советским, иначе как русофобией это не назвать. Однако, как уже не раз отмечали наиболее здравомыслящие эксперты на Западе, политика усиленного идеологического прессинга, нацеленная на выставление русских агрессорами (вспомним известное со времен «холодной» войны «Русские идут!»), естественным образом приведет к активному противодействию, когда и Запад, и либералы в России постепенно предстанут в массовом сознании россиян в образе врага. Раскол будет только углубляться, и неизвестно, как далеко пойдет этот процесс. По мнению целого ряда российских либералов и западных политических, общественных и религиозных деятелей, – русский патриотизм опасен по определению. Это же мнение стало идеологической платформой для воспитания населения в ряде стран бывшего СССР. Безотносительно того, оправдывать или осуждать политику Москвы в отношении Украины, очевидно, что еще задолго до крымских событий 2014 года – еще при Кравчуке, Кучме, Ющенко, Тимошенко – краеугольным камнем всей новой украинской идеологии стала русофобия. При всей парадоксальности этой установки, исходившей из того, что все русское – это советское, а совет-

ское по определению де противно духу Украины. Это при активном участии украинцев в революции, очевидном проукраинском духе политики Хрущева и во многом «украинском» составе брежневского Политбюро! То же можно сказать и о Латвии, где современные идеологи сделали вид, что латыши никакого отношения к русской революции и к тем страшным репрессиям 1920–1930-х гг., вина за которые повешена на русский этнос, – не имели! Таким образом, дискредитация всего русского и российского идет сегодня рука об руку с дискредитацией Сталина как политика, не скрывавшего своей высокой оценки роли русского народа в мировой истории.

К сожалению, дело не только в полной дискредитации личности Сталина. Для профессионального историка, да и для патриота России важно воспротивиться попытке навесить ярлык «сталинизма», понимаемого негативно, на целый период в национальной истории России, целиком и полностью очернив его. И тем самым, перечеркнув те жертвы, которые были принесены советскими людьми того времени ради сегодняшнего будущего. Характерно, скажем, только что появившееся на книжном рынке научное издание «История России. XX век. Эпоха сталинизма (1923–1953). Том II»⁷³, подготовленное как коллективный научный труд под редакцией доктора исторических наук А.Б. Зубова. Том объемом в 752 страницы представляет собой подбор фактов с комментариями, представляющими Россию советского периода концентратом всего самого ужасного, своего рода «чернухи», говоря обыденным языком⁷⁴. Так, например, весь период послевоенного восстановления мирной жизни в СССР представлен главой с характерным названием «Россия и подготовка Сталина к Третьей несостоявшейся мировой войне (1946–1953)» с соответствующим содержанием. Больше страна, дескать, ничем не занималась, кроме как готовила новую (мировую!) войну. Комментарии излишни. В главе, названной «Советско-нацистская война 1941–1945 гг. и Россия», всячески преувеличивается роль союзников в войне: «Многие люди <...> хранили признательность и благодарность к союзникам, несмотря на сдержанность, а потом враждеб-

⁷³ История России. XX век. Эпоха сталинизма (1923–1953). Том II / Под ред. А.Б. Зубова. М: Изд-во «Э», 2016.

⁷⁴ Характерно, что авторы (многие из них, естественно, находятся за рубежом) скрыли себя за общим списком – без уточнения авторства по конкретным главам и параграфам.

ность советской пропаганды»⁷⁵, а далее там же приведены рассуждения Г. Мирского о том, что *нас* [sic!] спасла тогда... американская тушенка. Стало быть, своя пропаганда мешала, а американцы помогли... Ощущение, что профессиональные историки не читали хотя бы давно изданной переписки Сталина с Рузвельтом и Черчиллем и не знают, каких усилий стоила эта помощь и, тем более, открытие второго фронта. И сколько предательства, малодушия бывало с *той* стороны (вроде знаменитой истории конвоя PQ-17). Ернически пишут авторы второй главы о выступлении Сталина по радио 3 июля 1941 года с обращением к советскому народу: «Впервые с начала войны русские люди узнали, что значительная часть СССР уже занята неприятелем. Утверждая, что “лучшие дивизии врага” разбиты, советский лидер призвал слушателей защищать родину и “советскую власть”, причинившую народу и России столько горя и слез, а, изгнав врага из пределов отечества, отправиться в Европу в освободительный поход...»⁷⁶. Далее Сталина осуждают за то, что он присвоил этой войне статус «отечественной».

Ни в коей мере не сомневаясь в том, что советская власть причинила немало бед народу, я и сам не раз писал об этом, но чего, спрашивается, ждет от Сталина (который здесь представлен перифразом «кровавый тиран») автор приведенного пассажа? Чтобы в этот кризисный момент вождь призвал народ сложить оружие и сдаться германской армии, так? Вообще немало негативного сказано в книге о советской пропаганде («пропагандистской машине»). Создается ощущение, что авторы жалеют о наличии ее как таковой. Однако совершенно очевидно, что всякая война ведется не только оружием, но и вдохновляющим бойцов словом. Такой же пропагандой занимался, например, американский генерал Дж. Паттон-младший, когда, выступая перед воинами 3-й армии США, отправлявшейся в Европу 5 июня 1944 года, говорил о том, что американцы должны защищать свои дома и свои семьи, что они никогда не проигрывали и никогда не проиграют войну. И это звучало вполне естественно.

Совершенно очевидно, что в российской коллективной ментальности немалую роль играет патернализм, и тот Сталин, который «на портрете», был создан при консенсусе народа и власти. И «под

⁷⁵ Там же. С. 461.

⁷⁶ Там же. С. 423.

знаменем Сталина», как это называлось тогда, были одержаны многие трудовые и боевые победы. Возможно кому-то покажется циничной наша позиция, но мы считаем, что в той ситуации важно было не только знамя, которое многим не дает покоя, но победа. Без нее не было бы сегодняшнего мира. Осмелимся привести цитату из рассуждений Л.Н. Толстого в романе «Война и мир», при том, что позиция этого автора признается многими историками методологически неверной, но мы видим в ней рациональное зерно. «Действия Наполеона и Александра, – пишет Толстой о начале войны 1812 года, – от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, – были так же мало произвольны, как и действия каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых это событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин»⁷⁷.

Бесчисленное множество разнообразных причин, среди которых очевидно были и первостепенные, привело к тому, что Истории было угодно, чтобы мир был освобожден от германского фашизма в первую очередь русским народом «под знаменем Сталина». И ничего с этим уже не поделать. Антиисторизм же то ли учебника, то ли монографии под редакцией А.Б. Зубова состоит в том, что пафос ее проникнут желанием, чтобы все произошло *не так*, а по-другому, – так как хотелось *бы* авторам книги (Зубов в предисловии считает это гражданской позицией ученого⁷⁸). Однако сама история не признает сослагательного наклонения.

⁷⁷ Толстой Л.Н. ПСС. Т. 11. М.-Л., 1932. С. 6.

⁷⁸ История России. XX век. Эпоха сталинизма (1923–1953). Том II. С. 9.

СОБЫТИЯ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ¹

Историческая память – ядро коллективного сознания общества, которое выполняет функции самоидентификации каждого отдельного человека и всего общества в целом, способствует включению индивида в пространственно-временной континуум прошлого – настоящего – будущего, определяя его место в современной реальности и обеспечивая преемственность настоящего с прошлым. Потеря исторической памяти (историческая амнезия) – показатель болезни общества, как и погруженность в прошлое. В этой связи возникает вопрос, как функционирует коллективная и индивидуальная память о прошлом, как формируется карта памяти, какие образы она включает и как они меняются с течением времени?

Историческая память как социокультурное явление

Содержание карты коллективной памяти непостоянно, она обновляется с каждым новым поколением, а возможно и чаще. Особое влияние на трансформацию образов прошлого оказывает государство / власть через систему образования и средства массовой информации. Большую роль играет информационная среда и информационные технологии, основной тренд изменения которых связан с постепенным, но вполне очевидным переходом от письменной культуры к визуальной, заменой текста образами, что влияет на структуру сознания и процессы запоминания / воспоминания.

Понятие «исторической памяти» рассматривается обычно в контексте «сознания» как его *функция, информационная основа и процесс*². Л.П. Репина характеризует историческую память как социо-

¹ Тема поддержана грантом РГНФ № 14-01-00352 «Визуальные репрезентации советской деревни в художественном кинематографе 1920-1980-х гг.: источноведческое исследование».

² Выделяются два основных подхода к оценке соотношения этих понятий: 1) более широкое распространение получил подход, в рамках которого память воспринимается как часть сознания, один из психических процессов (ощущение, восприятие, мышление, память), определяющих функционирование сознания, т.е. как более узкое понятие [см., напр.: Щербатых Ю.В. Общая психология. СПб, 2008 и др.]; 2) в контексте физиологического подхода сознание (сознательное)

культурное явление, нацеленное на *осмысление* исторических событий и их символическую *репрезентацию*³, подчеркивая общность *социальных функций* исторического сознания и памяти. С другой стороны, память – это психический *процесс*, связанный с запоминанием, сохранением и воспроизведением прошлого опыта человека, народа, страны и включением его в сферу сознания⁴. Память оперирует преимущественно *образами*, обладает способностью к ранжированию воспоминаний, регулирует их хранение: *оперативная память* содержит наиболее яркие и эмоционально окрашенные образы, актуальные для человека/общества. *Долговременная память* предназначена для хранения информации в данный момент неактуальной, она хранит не только образы, но и логические структуры (знание), т.е. содержит систематизированную информацию о прошлом. В обществе функции долговременной памяти выполняют наука, искусство, в определенной степени религия. Их основная задача состоит в познании и документировании текущих и прошлых событий, т.е. перемещение их образов в «хранилище долговременной памяти» – документы.

Для понимания особенностей функционирования исторической памяти не менее важны процессы мифологизации, поскольку миф является важнейшим элементом сознания и наши представления о прошлом неизбежно приобретают форму мифа. Особое значение для исторической памяти имеют архетипические категории мифа: *космогонические* (миф сотворения); *этиологические* (миф преобразования); *эсхатологические* – они составляют основу представлений о прошлом. С точки зрения самоидентификации важна героическая и ностальгическая мифология (миф о золотом веке). В совокупности все они составляют мифологический цикл, обеспечивающий полноту восприятия прошлого во взаимосвязи прошлого-настоящего, его объяснение и эмоциональное сопереживание.

В информационном плане историческая память обладает временной и пространственной структурой, содержит некоторые общие

рассматривается как понятие более узкое по отношению к памяти, так как она включает еще и бессознательное [см., напр.: Агафонов А.Ю. Понимание и память: сознание и бессознательное. URL: <http://andrey-agafonov.narod.ru/books/pp.htm>].

³ Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. М.: Кругъ, 2011. С. 414–415.

⁴ Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и новейшая история. 2000. № 4. С. 3–15.

координаты, символы и образы, объединяющие общество, обеспечивающие его ментальное единство. Обычно они связаны с наиболее значимыми событиями, ценность которых очевидна для всех. Эти события формируют координатную сетку исторической памяти, служат пространственно-временными ориентирами для сознания и определяют структуру исторического мифа.

Принято выделять индивидуальную и коллективную историческую память⁵. Коллективная память включает индивидуальную, но не как механическую сумму представлений отдельных личностей, а как обобщенный *образ* этих представлений, принимаемый и узнаваемый всеми. Если индивидуальная память регулируется механизмами психологической защиты личности, то коллективная память опирается на существующую в обществе информационную инфраструктуру и информационные технологии и, соответственно, поддается управлению и корректировке с использованием механизмов «забвения», «актуализации» и «интерпретации»⁶. Таким образом, на историческую память человека и общества в целом влияет несколько факторов, прежде всего это та коммуникационная и информационная среда, в которой он находится – система образования и масс-медиа, контролируемые в значительной степени идеологией и рынком; наука, литература и искусство. В современном мире большое значение приобретает формируемое обществом «историческое пространство», представленное местами памяти, в том числе праздниками, годовщинами и другими механизмами актуализации и стимуляции исторической памяти. Основным актором, заинтересованным в контроле над исторической памятью, выступает власть, а в недавнем прошлом еще и церковь.

Структурным элементом исторической памяти является *образ исторического события*. Он может отражать научную и/или ненаучную информацию, обращен к эмоциональной стороне сознания, выполняя функции объяснения прошлого. Историческая память содержит не один образ, а некоторое множество. Они формируют *карту памяти*, которая подвижна, т.е. находится в соответствии с естественными законами функционирования памяти и инструментами ее

⁵ См.: подробнее: Хальбвакс М. Коллективная и историческая память / Пер. с фр. М. Габовича // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М., 2005. URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>.

⁶ Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания / Под общ. ред. Л.П. Репиной. М.: Дрофа, 2004. С. 11.

конструирования. В нее могут включаться новые образы и исчезать старые, знаки могут менять свои смыслы.

Реконструкция исторической памяти как исследовательская проблема, предполагает решение ряда взаимосвязанных задач: выделение основных *информационных каналов* формирования исторической памяти сообщества; составление *карты памяти*, ее символов и пространственной иерархии образов (центральный, периферийный); реконструкцию и интерпретацию *исторических образов*.

Формирование исторической памяти: от знания к образу

Формирование индивидуальной исторической памяти тесно связано с процессами социализации личности и начинается с момента приобщения к ресурсам коллективной долговременной памяти – документам (литературе, фильмам, местам памяти), а также к устным источникам информации, основанным на личностном общении, в том числе – на воспоминаниях представителей старших поколений.

Начальный этап конструирования исторической памяти личности относится к периоду раннего детства и протекает во многом стихийно, историческая информация воспринимается человеком дозировано и мотивированно, преимущественно через каналы межличностного общения. Следующий этап – систематическое конструирование исторической памяти – связан со школьным образованием. Существует две модели исторического образования: линейная и концентрическая. Первая предполагает изучение исторического процесса последовательно с 6 по 11 класс, вторая – разделяет учебный процесс на 2 цикла: полный цикл – с 6 по 9 класс; и повторение на новом уровне осмысления истории в 10–11 классах. На практике первая модель способствует лучшему усвоению знаний новой и новейшей истории, близкой к современности; концентрическая система оставляет меньше времени для изучения событий новейшего времени, тем самым смещая исторический горизонт в отдаленное прошлое.

Основная задача школьного исторического образования – формирование каркаса исторической памяти, который в идеале должен включать представления о наиболее значимых событиях всемирной и отечественной истории. Их перечень задается образовательной программой⁷, но на практике номенклатура событий корректируется

⁷ Примерная основная образовательная программа основного общего образования по истории. URL: [http://edu.crowdexpert.ru/files/Результаты/ООО/История России. Всеобщая история \(в редакции от 14.03.2016\).](http://edu.crowdexpert.ru/files/Результаты/ООО/История России. Всеобщая история (в редакции от 14.03.2016).)

учителем и зависит от ряда факторов: объема выделяемых на изучение истории часов; системы поурочного планирования и внеурочных мероприятий по истории; познавательной активности субъекта. Акцент в обучении обычно ставится на изучении событий, наиболее важных для решения задач воспитания, т.е. истории войн, революций, реформ. Темы по истории экономики, культуры в учебном процессе уходят на второй план и редко изучаются в полном объеме⁸.

Меморизация исторической информации в школе опирается на приемы пассивного восприятия, заучивания, повторения, а также на проектные методы обучения. Последняя образовательная технология, основанная на деятельностном принципе получения знаний, оценивается как наиболее эффективный способ освоения исторической информации. Однако в настоящее время не он определяет образовательный процесс, а пассивные технологии. В результате к моменту окончания школы события прошлого в сознании школьника оставляют очень расплывчатый памятный след. Этому способствует также система подготовки к ЕГЭ, в основе которого лежат приемы тестового контроля, объективно влияя на мозаичность и фрагментарность усвоенной школьником исторической информации, нарушение пространственно-временных связей⁹.

На конфигурацию исторической памяти и ее структуру помимо учебного процесса влияют также дополнительные факторы, к которым можно отнести познавательную активность личности; государственную политику в области сохранения «исторической памяти»; плотность мест памяти; интересы масс-медиа; полноту, доступность и востребованность документальной памяти общества, в том числе архивов, научных и художественных текстов по истории. Эти факторы действуют в качестве раздражителей долговременной памяти, вычлениают из основного каркаса определенные события, придавая им актуальные смыслы и преобразуя их в чувственные образы.

Познавательная активность предполагает наличие мотивации – интерес к прошлому и осознание ценности исторического знания. Интерес к прошлому у ребенка формируется под влиянием учителя

⁸ Интервью с заслуженным учителем РФ С.Н. Вороновой, лицей 100 г. Екатеринбург, а также с учителями истории О.С. Шаклеиным и П.А. Тупикиным, средняя школа 67 г. Екатеринбург.

⁹ См.: Точка зрения: Проблема преподавания истории России в школе. 13 августа 2014. URL: <https://postnauka.ru/talks/26587>

в школе; в результате общения с представителями старшего поколения или сверстниками; под впечатлением просмотренного фильма или прочитанной книги, т.е. он опирается на чувственный опыт прикосновения к прошлому, близкий к потрясению. Отсутствие интереса превращает человека в объект манипуляций, его историческая память будет зависеть в большей степени от внешних факторов, в том числе от интересов общества, в соответствии с которыми проводится ревизия состава воспоминаний и их трансформация / мифологизация¹⁰. В современных условиях ведущим фактором конструирования исторической памяти становится государственная политика, которая задает вектор трансформации исторического сознания и определяет, как следует представлять прошлое, регулируя оценочные суждения об исторических событиях и вводя запреты на имена и темы.

Таким образом, карта исторической памяти молодого поколения опирается на школьные знания, но в окончательном виде моделируется под влиянием дополнительных факторов. Если мотиваторы обращения к истории (помимо учебы) отсутствуют, карта исторической памяти будет сжиматься до узкого круга событий, упоминаемых с постоянной частотой в новостной строке масс-медиа, представленных в окружающей среде в форме баннеров, мест памяти, отмеченных официальными праздниками.

Карта исторической памяти российской студенческой молодежи

Рассмотрим на основе социологического опроса студентов, проведенного в апреле 2016 года, карту исторической памяти молодого поколения и источники ее формирования¹¹. Выбор студентов в качестве респондентов был сделан неслучайно: во-первых, историческое сознание каждого поколения имеет свои отличия, во-вторых, историческая память молодежи в возрасте 18–23 лет представляет собой практически чистый вариант мифологической и гипотетиче-

¹⁰ Эти идеи были высказаны Хальбваксом (Halbwachs M. *Les cadres sociaux de la mémoire*. P.: Librairie Félix Alcan, 1925, p. 143–145) и прокомментированы в статье: Савельева И.М., Полетаев А.В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // *Феномен прошлого* / Ред. И.М. Савельева, А.В. Полетаев. М.: ГУ–ВШЭ, 2005. С. 170–220.

¹¹ В социологическом опросе приняли участие 273 человека из университетов городов Екатеринбурга и Оренбурга, отобранные на основе методов целевого отбора по принципу доступных случаев. Это студенты 1-4 курсов неисторических специальностей – технических, гуманитарных, естественно-научных.

ской памяти, слабо детерминированной личностным опытом¹². Изучение исторических представлений молодежи позволяет наиболее близко подойти к пониманию механизмов создания и функционирования образа прошлого.

Студенты представляют собой наиболее образованный и социально активный отряд современной молодежи. В 2009 г. в РФ насчитывалось 16 172 тыс. человек в возрасте от 18 до 24 лет, численность обучающихся в высших учебных заведениях составила 7 418,8 тыс. чел., т.е. 45,9%¹³. С 2010 г. по 2015 г. численность молодежи сократилась до 12 156 184 чел.¹⁴, соответственно уменьшилось количество студентов до 5 209 тыс. чел.¹⁵, но их удельный вес изменился незначительно (в 2015 г. он составил 42,8%). Таким образом, студенчество – это самый массовый отряд молодежи, остальные 57,2% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет представлены другими категориями – солдатами, рабочими и сельской молодежью, ментальные особенности которых определяются образом жизни, профессиональной деятельностью и нуждаются в самостоятельном изучении. Студенчество как социальная группа интересна еще и потому, что может рассматриваться как кадровый ресурс, обеспечивающий будущее общества.

В программе опроса были сформулированы несколько задач, в том числе выявление наиболее значимых с точки зрения респондентов событий истории России; ранжирование по 5-балльной шкале информационных каналов, формирующих представление о событиях истории; а также реконструкция образов двух событий, связанных с сельской историей нашей страны – коллективизацией и освоением целины. Первое можно рассматривать как событие национального масштаба, затронувшего судьбы большинства российских семей. Второе событие – более близкое по времени (т.е. находится в грани-

¹² В структуре исторической памяти в зависимости от близости прошлого и личного опыта принято выделять уровень реальной / живой, мифической и гипотетической памяти. – Кудряшов Н. О некоторых видах исторической памяти. URL: <http://www.proza.ru/2011/02/19/205>.

¹³ Молодежь в России. 2010: стат. сб. М.: Росстат, 2010. С. 9, 70. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat_ru/statistics/publications/catalog/0c5cc50045a16412aceff90e548526c

¹⁴ Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2015 года. М.: Росстат, 2015. С. 9.

¹⁵ Россия 2015: статистический справочник. М.: Росстат, 2015. С. 13. URL: Россия 2015: статистический справочник. М.: Росстат, 2015.

цах «живой памяти»), но имеющее региональное значение, соответственно, памятный след о целине должен быть глубже у жителей «целинных» районов. Оба события не являются объектами политики памяти государства и информационной политики масс-медиа. Причины попадания в зону «молчания» разные, поэтому есть возможность оценить особенности их меморизации.

Следует отметить, что все респонденты недавно закончили школу, прослушали университетский курс лекций по истории, т.е. их историческая память в известной степени была актуализирована занятиями и экзаменами, но одновременно деформирована большими объемами учебной информации, которые обрушиваются на студентов и способствуют ускоренной очистке памяти от неактуальной информации. Студенты 1 курса составили в выборке 48,7%; 2 курса – 30,8%; 3–4 курса – 20,5 %. По гендерному признаку студенты разделились почти поровну. Распределение по месту жительства до поступления в университет в целом соответствует структуре российского общества¹⁶: 70% респондентов являются горожанами; 30% – сельскими жителями. По направлениям подготовки в опросе участвовали следующие группы:

негуманитарное образование – всего 60,8%, в т.ч. 27,1% получают физико-математическое образование; 22,3% – техническое образование; 11,4% – естественно-научное (биология, география);

гуманитарное образование – всего 31%, в т.ч. 12,4% – экономическое; 11,7% – международные отношения; 6,9% – педагогическое; 8,2% – нет сведений.

Несмотря на небольшой объем выборки (273 анкеты), она позволяет судить об основных тенденциях формирования исторической памяти у молодого поколения и является вполне репрезентативной для решения задач реконструкции образа событий.

Ценность исторических знаний из числа опрошенных признают только 33,4% студентов, причем треть из них относятся к гуманитариям. 60,1% студентов отметили, что знание истории важно, но их интересуют больше другие вещи; 2,9% студентов указали, что прошлое их не интересует совсем; и чуть больше респондентов (3,3%) затруднились ответить на заданный вопрос. Таким образом, для

¹⁶ В 2015 г. в России горожане составляли 74%. – Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. М.: Росстат, 2015. С. 9.

большинства студентов характерно понимание *относительной ценности* исторического знания, интерес к которому, однако, находится на втором плане и не определяет их познавательную активность.

Карта исторической памяти студентов уточняется вопросом: «Какие события из истории России Вы считаете наиболее значимыми?». Отраженная в анкетах информация обычно состоит из перечня событий, реже – имен и дат, с которыми связаны победы, достижения, получившие признание мирового сообщества. Крайние позиции встречаются редко. Среди опрошенных 5,9% ничего не отметили в анкете или указали, что «нет таких» событий; 2,3% респондентов считают, что важны все события. В некоторых случаях приводятся комментарии: «чтобы *понять границы России*, нужно знать все важные события, начиная с Древней Руси и заканчивая современным положением». Обращение к современности встречается в анкетах достаточно часто: 12,8% респондентов отметили в качестве значимых для них событий «приход к власти Путина»; «падение курса рубля»; «олимпиаду 2014 г.» и др., в т.ч. 6,6% считают присоединение Крыма важнейшим событием российской истории.

Большинство респондентов (91,8%) перечислили от 1 до 8 событий, среди которых наиболее часто выделяются следующие:

- победа в Великой Отечественной войне (69,2% респондентов);
- распад СССР (26,7%);
- Революция 1917 г. (21,2%);
- Крещение Руси (20,5%);
- Отмена крепостного права (20,1%);
- Вторая мировая война (18,3%);
- Отечественная война 1812 г. (14,6%);
- Первая мировая война (9,5%).

Эти события занимают центральное место в историческом сознании современной молодежи. Их значение актуализируется государственной политикой сохранения памяти (Великая Отечественная война), юбилейными мероприятиями (Отечественная война 1812 года, Первая мировая война, Революция 1917 г.).

В особую категорию можно выделить события, приближенные к мировоззренческим аспектам личности и семейным историям – Великая Отечественная война, Крещение Руси и распад СССР. На периферии исторической памяти оказались события, значимость кото-

рых оценивается студентами на порядок ниже: «монголо-татарское иго» и «Куликовская битва» (7,8%), «перестройка» (4,8%), «Гражданская война» (4,8%), «смута» (1,5%).

В некоторых случаях события персонифицируются и связаны с упоминанием исторических личностей: на первом месте по частоте упоминания стоит имя Петра I (14,3%), реже – Александра II (4,02%), Екатерины II (3,3%), Романовых (3,3%), Сталина (2,9%), Путина (2,9%), Гагарина (2,2%), Рюрика (1,1%), Ивана Грозного, Ленина и Столыпина (по 0,7%). Встречаются анкеты, где событийный ряд задан только датами (например, 988, 1914, 1812, 1703, 1991, 1995) или указанием века, что свидетельствует об очень абстрагированном восприятии прошлого: значение имеет не событие, а время.

Итак, историческую память современной молодежи заполняют преимущественно образы из военной истории: слово «война» встречается в 78,7% анкет, слово «победа» – в 12,4%, в этот же ряд просится упоминание в ряде анкет о холодной войне (2,9%). Память о военном прошлом доминирует над другими событиями и во многом определяет не только историческое сознание, но и общую ментальность молодого поколения. Гораздо реже вспоминают события социально-экономической и культурной истории: слово «реформы» упоминается в 9,5% анкет, «культура» и «космос» – в 4,8% случаев.

Освободительные, победоносные войны и сражения наиболее важны для коллективного исторического сознания. Любая страна заинтересована в сохранении памяти о героическом прошлом. Задача меморизации таких событий облегчается тем, что в них присутствуют все необходимые элементы героического мифа: очевидная дихотомия основных действующих лиц (герой / враг), четкая локализация событий в пространстве и времени; героический нарратив / подвиг.

Интересно, что в число наиболее значимых событий каждый пятый студент включил отмену крепостного права. По мнению учителей-экспертов, борьба с крепостничеством и идеи отмены крепостного права пронизывают литературу и искусство XVIII–XIX вв. и приобретают для российского общества этого периода черты культурного кода, который передается современным поколениям через систему школьного образования¹⁷. Изучение коллективных представ-

¹⁷ Интервью с заслуженным учителем РФ С. Н. Вороновой, лицей 100 г. Екатеринбург, а также с учителями истории О. С. Шаклеиным и П.А. Тупикиным, средняя школа 67 г. Екатеринбург

лений об отмене крепостного права чрезвычайно интересно для понимания процессов меморизации событий невоенной истории. На карте памяти их немного: помимо отмены крепостного права студенты указывают еще крещение Руси; создание Древнерусского государства; смуту и приход к власти династии Романовых; реформы Петра I; гибель Романовых; распад СССР; полет в космос Ю. Гагарина.

Характерно, что все перечисленные выше события соотносятся с определенной категорией архетипического мифа, без которых общая картина исторического прошлого была бы неполной – это миф сотворения; миф преобразования; эсхатологический миф; героический миф. В этом, видимо, состоит один из основных механизмов меморизации прошлого – опора на архетипические мифологические образы. Если событие созвучно им и вписывается в структуру соответствующей категории мифа, то оно оставляет более значимый памятный след, конструируя в коллективном сознании подобие библейской истории, в центре которой находится государство и его историческая миссия. С точки зрения идентичности наиболее важен героический миф, на него преимущественно ориентируется государственная политика памяти и система образования, проводя селекцию исторических событий и кодируя их как символы национальной гордости.

Информационные каналы формирования исторической памяти

Характеристика роли информационных источников, связанных с формированием исторической памяти, опиралась на их оценку по 5-балльной шкале. Ранжирование проводилось на основе расчета среднего балла, что позволило выявить интересную закономерность: для формирования исторической памяти важен не столько сам источник, сколько способ передачи информации. Все источники разбиваются в рейтинговом перечне на 3 группы: устные, визуальные, письменные.

К первой группе относятся способы трансляции знаний по истории, связанные с преподаванием и основанные на межличностных коммуникациях и устном общении. Вторая группа объединяет визуальные источники – фильмы, а также топографические места памяти (музеи, выставки, мемориальные комплексы), опирающиеся на визуальные технологии восприятия информации и способствующие формированию образа прошлого с опорой на чувственный опыт. К третьей группе относятся преимущественно письменные тексты – научная и художественная литературы, мемуары и воспоминания (см. табл. 1). Последние два канала (теле-, радиопередачи, интернет-сайты), за-

вершают рейтинг и представляют собой в некотором смысле маргинальный способ получения информации по истории, поскольку опираются на технологии, *имитирующие общение* и *транслирующие преимущественно мнения, оценочные суждения о событиях прошлого*. Поэтому они не столько формируют образ, сколько маркируют его, присваивая те или иные смыслы. Исторические интернет-сайты, кроме того, представляют собой относительно новое технологическое явление. Пользователи обращаются к ним для получения необходимой информации по запросу, т.е. для удовлетворения уже сформированных информационных потребностей.

Таблица 1.

Рейтинги источников информации, формирующих историческую память

Источники информации	Средний балл
Устные источники	3,72
Уроки истории в школе	3,91
Лекции в университете	3,52
Визуальные источники	3,03
Документальные и научно-популярные фильмы	3,32
Музеи, выставки, мемориальные комплексы	2,89
Художественные фильмы	2,88
Письменные источники	2,81
Научная и научно-популярная литература	2,86
Художественная литература	2,85
Мемуары, воспоминания	2,73
Тематические телепередачи или радиопередачи	2,71
Интернет-сайты	2,64

Систематизация источников информации наглядно иллюстрирует этапы формирования в памяти образа прошлого. Их последовательность составляет определенную логическую схему/цикл: знание – образ – миф. Процесс конструирования исторической памяти начинается с усвоения гипотетических исторических знаний в ходе общения с носителями этого знания (преподавателями и/или очевидцами); затем они преобразуются в чувственный образ, благодаря эмоциональному соприкосновению с прошлым через визуальные источники – фотографии, фильмы, благодаря посещению музеев, памятных мест, участию в праздниках, связанных с историческими событиями; и на последнем этапе в ходе работы с текстами (научными и художественными) закрепляются в сознании в форме мифа – устойчивой

эмоционально окрашенной *системы* представлений о событиях прошлого. Любая из обозначенных стадий цикла может прерваться и образ прошлого останется незавершенным, неполным в информационном или эмоциональном плане. Одной из причин этого может быть отсутствие мотивации, интереса к прошлому, а также недоступность необходимых источников информации (визуальных и письменных).

Как показал опрос, для большинства студентов основным источником исторических знаний является школа. В дополнение к школьному курсу они прослушали лекции по истории в университете. Особенностью вузовского обучения является то, что лекции посвящены не столько описанию событий, сколько их интерпретациям и построены на оценочных суждениях. Такой абстрагированный взгляд нашел отражение в анкетах студентов при описании событий, связанных с коллективизацией и освоением целины.

Наряду с уроками и лекциями, высокий балл в качестве каналов исторической информации получили документальные и научно-популярные фильмы по истории. Этот информационный ресурс кооперирован с разными каналами информации. Он часто используется в учебном процессе, включен в экспозиционную музейную деятельность или может быть привязан к телевизионной сетке вещания. Роль документального исторического кино в формировании исторической памяти в настоящее время возрастает, благодаря появлению в телевидении специализированных каналов по истории («365 дней», «История», «Viasat History», «Время», «History HD» и др.). Они предлагают интересный и нередко качественный контент, но требуют от зрителя запроса на историческую информацию, сформированных навыков визуального восприятия научной информации. Поэтому аудитория этих каналов невелика. Так, например, за ноябрь 2015 – январь 2016 г. число зрителей канала «История» составляло 5131 тыс. чел., т.е. в 4,4 раза меньше числа зрителей самого популярного тематического канала российского телевидения ТВ1000 Русское кино¹⁸.

Чуть ниже в рейтинге находятся музеи, выставки, мемориальные комплексы, позволяющие непосредственно прикоснуться к прошлому, почувствовать его. Роль этого источника информации в значительной мере определяется доступностью и уровнем организации

¹⁸ Рейтинги каналов. URL: http://www.brandmedia.ru/serv__idP_51_idP1_68_idP2_2425.html

мест памяти. Памятники, входящие в перечень культурного и исторического наследия, менее доступны для сельских жителей, удельный вес которых в выборке составил около 30%, а также для жителей провинциальных центров. Вместе с тем каждое место (деревня, село, город) имеет свое историческое прошлое, которое сохраняется в материальной и культурной среде, активно используется школой для решения задач воспитания и влияет на подрастающее поколение. Так, например, в сельской местности дольше сохраняется память о событиях, затронувших судьбы жителей села – войнах, коллективизации, колхозах и проч. Влияние мест памяти следует рассматривать как самостоятельный канал информации, актуализирующий исторические знания и формирующий *локализованную* память.

В целом наибольшее доверие студентов вызывают «научные» источники информации, отражая особенности той информационной среды, в которой они находятся.

Художественное кино занимает более низкую позицию. Высокие баллы ему поставили 36,6% респондентов. Близкие к художественному кинематографу оценки получили письменные источники – это научная литература, а также художественные тексты. Но удельный вес респондентов, поставивших высшие баллы письменным источникам больше: 40,6% оценили на «4» и «5» научную литературу; 39,9% – мемуары и воспоминания; 38,8% – художественную литературу. Любопытно, что доверие к художественной литературе выше у гуманитариев (40,8%), художественное кино отметили как значимый источник информации только 34%. Такого разрыва нет у студентов естественнонаучных и технических направлений подготовки: 38,5% оценили кино на «4» и «5» баллов и 37,9% – художественную литературу. Можно предположить, что в нестуденческой молодежной среде, где интерес к научной информации меньше, роль художественного кино в формировании образа событий прошлого будет выше.

Письменные тексты (научные и художественные) замыкают рейтинг источников информации, к ним обращается 39,8% студентов. У неучащейся молодежи этот показатель будет ниже. Утрата книгой позиций основного источника знаний – один из базовых трендов современного общества: письменная культура постепенно уходит в прошлое, уступая место визуальной. Это влияет на скорость мифологизации школьных знаний о прошлом, поскольку образ в условиях господства визуальной культуры уже не дополняет, а замещает текст.

Коллективизация в памяти студентов

Для изучения механизмов формирования образа события был сделан срез представлений студентов по таким событиям национальной истории как коллективизация и освоение целины. Респондентам было предложено указать время; место; мероприятия, связанные с данным событием, а также оценить его значение.

Коллективизация занимает особое место в советской истории, поскольку сопровождалась многочисленными человеческими жертвами, коренной ломкой образа жизни крестьянства. Кроме того, она так или иначе затронула большую часть населения страны, оставшейся в 1930-е гг. преимущественно аграрной. События этого времени сохранились в семейных преданиях, но долгое время находились под запретом и были серьезно деформированы советской исторической наукой и искусством, которые в соответствии с принципом партийности доказывали историческую неизбежность и прогрессивность коллективизации, замалчивая ее трагические последствия и жертвы. Новую жизнь эта тема получила в условиях перестройки, став одним из открытий гласности и породив множество научных текстов¹⁹. В центре внимания историков оказались вопросы, связанные с причинами и реализацией политики раскулачивания, голодом 1932–1933 гг., особенностями колхозного строя²⁰.

Тема коллективизации была востребована обществом в 1990-е – начале 2000-х гг., но в последнее десятилетие интерес к ней упал, что отразилось на уровне информированности респондентов: 20,4% ниче-

¹⁹ Постсоветская историография коллективизации очень обширна. См., напр.: Коллективизация: истоки, сущность, последствия. Беседа за «круглым столом» // История СССР. 1989. № 3. С. 3–63; Современные концепции аграрного развития (теоретический семинар) // Отечественная история. 1992. № 5; 1993. №№ 2, 6; 1994. №№ 2, 4–5; 6; 1995. №№ 3, 4, 6; 1996. № 4; 1997. № 2; 1998. № 6.

²⁰ См., напр.: Земсков В.Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е годы // Социс. 1991. № 10. С. 3–21; Гуцин Н.Я. «Раскулачивание» в Сибири (1928–1934 гг.): методы, социально-экономические и демографические последствия. Новосибирск, 1996; Зеленин И.Е. «Революция сверху»: завершение и трагические последствия // Вопросы истории. 1994. № 10. с. 28–42; Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание. М., 1994. Данилов В.П., Зеленин И.Е. Организованный голод. К 70-летию крестьянской трагедии // Отечественная история. 2004. № 5. С. 97–111; Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 гг. в российской деревне. Пенза. 2003; Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни М., 2008; Безнин М.А., Димони Т.М. Аграрный строй России в 1930–1980-е годы (новый подход) // Вопросы истории. 2005. № 7. С. 23–44; и др.

го не могли сказать о коллективизации, еще 33,6% дали только приблизительную датировку («XX век», «начало XX века», «при большевиках», «после революции», «в СССР»), т.е. у более половины студентов нет в памяти полного образа события. Относительно точную датировку коллективизации привели только 12,8% студентов.

Аналогичная ситуация складывается с представлениями о содержании события: ни один студент не соотнес коллективизацию с семейной историей; 41,6% ответов презентуют образ, выражаемый через ключевые слова «объединение крестьянских хозяйств» «колхозы» и «раскулачивание»; 37,2% респондентов не дали ответа или указали в качестве мероприятий варианты «нэп», «вся земля крестьянам» и проч.; 21,2% студентов приводят абстрагированную картину события, описываемую через понятия «реформа», «модернизация», «индустриализация», «конфискация имущества», «подъем промышленности», «пятилетки», «развитие индустрии» и проч. В последнем случае коллективизация теряется как самостоятельное событие и включена в контекст более глобальных исторических процессов, что созвучно советской традиции презентации коллективизации как составной части плана строительства социализма.

Интересна оценка значения коллективизации: 22,6% в целом положительно охарактеризовали последствия коллективизации, указывая, что она способствовала подъему экономики, развитию промышленности и сельского хозяйства; 19,7% дали отрицательную оценку, отмечая в качестве последствий разрушение хозяйства, уничтожение крестьян, голод, репрессии, кризис сельскохозяйственного производства; 10,2% указали на положительные и отрицательные последствия; и 47,5% не отметили ничего или написали «не знаю».

В целом можно говорить, во-первых, о конфликтности образа события, когда в исторической памяти молодого поколения сталкиваются противоположные оценки и суждения. Эта конфликтность имеет тенденцию к сглаживанию: в ответах респондентов преобладают рационально окрашенные позитивные оценки, оправдывающие политику коллективизации как необходимого условия экономического развития страны, т.е. у респондентов возникает соблазн включить ее в контекст модернизации (миф преобразования), смягчив и оправдав негативные моменты.

Среди каналов информации о событиях коллективизации респонденты указывают прежде всего на школу и уроки истории –

79,9%. Кроме того, 23,0% отметили, что их представления основаны также на рассказах родственников/очевидцев событий; 18,2% знакомились с документами – воспоминаниями, фотографиями и проч., в т.ч. размещенными в интернет; 8,4% посещали музеи, выставки, мероприятия, посвященные данной теме; 5,1% писали рефераты на тему коллективизации; 2,6% читали книги и смотрели фильмы; 8,8% ответили, что им «не интересно» или не отметили ничего.

Таким образом, в анкетах отражен тот образ события, который формируется на уроках истории в школе. Его трансформацию на протяжении последнего десятилетия хорошо иллюстрируют школьные учебники: интерпретации мероприятий коллективизации находятся в прямой зависимости от времени издания учебника и запросов власти. Наиболее развернутая и критическая история коллективизации приведена в учебниках, изданных в 1990-е гг. Примером может служить учебная книга Л.Н. Жаровой и И.Д. Мишиной²¹, где изложены все основные мероприятия, начиная с кризиса 1928 г. и завершая голодом 1932–1933 гг. Текст организован по принципу гипертекста: изложение перемежается вопросами (ответы на них прямо не даны авторами); выдержками из архивных документов, воспоминаний; приведена биографическая справка о Н. Бухарине, введены подразделы «Факт», где приведена статистика раскулаченных, описаны факты голода. Учебник не содержит оценок и выводов, их должны самостоятельно сформулировать школьники. Характерно, что даты коллективизации были включены в базовую хронологическую таблицу учебника.

Изданный несколькими годами позднее, учебник В.П. Дмитренко, В.Д. Есакова и В.А. Шестакова уже предлагает оценочные суждения. Акцент в подаче фактографического материала делается на «антикрестьянской» политике и ее перегибах, приведших к аграрному кризису и голоду 1932–1933 гг. Вывод учебника содержит два основных тезиса: о раскрестьянивании, т.е. ликвидации крестьянства как самостоятельного класса, заинтересованного в эффективной работе на земле; о формировании колхозной системы, основными принципами которой стало огосударствление, бюрократизм, неэффективность использования земельных и прочих ресурсов. В целом, в учеб-

²¹ Жарова Л.Н., Мишина И.Д. История Отечества, 10 класс: Учебная книга для старших классов средних учебных заведений. М.: Просвещение, 1992. С. 280–287.

нике дана отрицательная оценка последствий коллективизации для судьбы российской деревни и всей страны²². Параграф по коллективизации включен в структуру главы IV «Сталинский поворот», наряду с сюжетами по индустриализации и репрессиям.

В начале 2000-х гг. была подготовлена новая линейка учебников по истории с цветной полиграфией, дидактическими элементами, включающими вопросы для обсуждения, хронологическую таблицу (в ней осталась только дата начала коллективизации – 1929 г.), выделенные в тексте выводы, которые следовало запомнить. Обращает на себя внимание, что объем материала, излагаемого по мероприятиям коллективизации, существенно сократился. Коллективизация рассматривается как составная часть плана сталинской модернизации и способ перекачки необходимых средств для финансирования строек пятилетки. В тексте сохранились сюжеты по раскулачиванию и голоду, часто без иллюстрации их статистическими данными и выдержками из документов. Общий вывод: «форсированная, принудительная коллективизация нанесла большой урон стране и ее экономике», – содержал критическую оценку результатов коллективизации, но вместе с тем реабилитацию ее целей и безальтернативность²³.

Серьезных изменений в трактовке событий коллективизации в рамках концепции «единого учебника» по истории не произошло. Коллективизация как самостоятельный сюжет сохраняется, ее включают в контекст мероприятий по созданию экономики СССР в предвоенный период, отмечая трагические последствия для сельского хозяйства и сельского населения²⁴.

При изучении образа коллективизации следует учесть еще один момент: в 1990-е – 2000-е гг. большую роль в формировании локали-

²² Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. XX век: Учебное пособие для общеобразовательных школ. М.: Дрофа, 1995. С. 225–236.

²³ См.: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – начало XXI в.: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. М.: ТИД «Русское слово», 2003. С. 170–174; Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России. XX– начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2003. С. 202–205; Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России. XX век: Учебник для 9 классов общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 2002. С. 210–217.

²⁴ См., напр.: История России. 10 класс. Ч. 1 / под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016. С. 135–141.

зованной исторической памяти школьников играл национально-региональный компонент. Как эксперимент, изучение региональной истории в школе начали практиковать с 1989 г., в Федеральных законах «Об образовании» 1992 и 2002 г. национально-региональный компонент был введен как обязательный элемент государственного стандарта, на который отводилось не менее 10% часов. Под реализацию этой задачи были разработаны учебники для средней школы по истории регионов. В них события российской истории, в том числе и коллективизация, рассматриваются в тесной привязке к локальной истории и апеллируют к местным символам и знакам, т.е. знакомому школьникам пространству²⁵. В 2007 г. национально-региональный компонент государственного стандарта общего образования был отменен²⁶. По мнению учителей, возможность изучения местной истории существенно сократилась. Региональная тематика используется в исследовательской работе школьников, но и здесь произошли серьезные изменения. Если в 1990-е – 2000-е гг. у школьников из сельской местности были популярны темы по истории раскулачивания, кулацкой ссылки, колхозов, раскрываемые на основе коллекций документов школьных музеев и семейных архивов, то в настоящее время преобладают другие событийные ориентиры, основным среди которых стала Великая Отечественная война.

Отдельные вопросы в анкете были посвящены уточнению гипотезы о влиянии кино и художественной литературы на образ события: 20,8% респондентов ответили положительно на вопрос «Видели ли Вы художественные или документальные фильмы по истории коллективизации?», но большинство из них (75,4%) затруднились указать название этих фильмов. Остальные указали на многосерийный фильм «Вечный зов» (1973–1983, реж. В. Краснопольский, В. Усков), фильм-экранизацию романа М. Шолохова «Поднятая целина» (1959–1961, реж. А. Иванов), также был упомянут фильм 1930-х гг. «Вражьи тропы» (1935, реж. О. Преображенская, И. Правов). В анкетах, кроме того, встречаются варианты: «А зори здесь тихие», «Тихий Дон» –

²⁵ См., напр.: История Брянского края. XX век/ Горбачев О.В., Колосов Ю.Б. и др. Клинцы, 2003. С. 139-155; История Урала. XX век. Кн. 2. / под ред. Б.В. Личмана, В.Д. Камынина. Екатеринбург: Изд-во «СВ-96», 1998. С. 133–143.

²⁶ ФЗ № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта».

фильмы-премьеры 2015 года, попавшие по неизвестным причинам в ассоциативный ряд с коллективизацией.

Аналогичная ситуация складывается с чтением художественной литературы: 21,5% указали, что читали книги по коллективизации, но 66,1% из них затруднились указать имя автора и название книги. Среди упомянутых литературных текстов лидирует роман М. Шолохова, а также указаны рассказ А. Солженицына «Матренин двор», романы В. Тендрякова «Пара гнедых», А. Платонова «Котлован», повесть А. Гайдара «Дальние страны».

Влияние просмотра художественных фильмов на формирование исторической памяти отражено в следующих показателях: из 57 человек, положительно ответивших на этот вопрос, 40,3% не смогли ничего вспомнить о коллективизации, 14,0% были носителями отрицательного образа события, остальные – положительного. Другая ситуация складывается с чтением художественной литературы: из 59 человек 23,7% не вспомнили содержание события и 27,2% дали ему отрицательную оценку.

Таким образом, из всего документального наследия художественного кинематографа относительно актуальными остаются несколько кинолент советского периода, где создается «положительный» образ коллективизации, в целом соответствующий советскому героическому мифу. Его дополняют часто демонстрируемые по каналам ТВ комедии И. Пырьева о счастливой колхозной жизни. Художественная литература в отличие от кино дает более разнообразный и критический взгляд на события 1930-х гг. и оставляет более глубокий памятный след. Из указанных в анкетах литературных произведений большинство изучается в школе, в том числе в списке книг, рекомендованных для чтения, значится роман М. Шолохова «Поднятая целина», поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия», рассказ А. И. Солженицына «Матренин двор». За пределами школы чтение серьезной художественной литературы было и остается элитарным занятием, и охватывает не более 10% населения, что подтверждает проведенный опрос: вспомнить и указать названия прочитанных книг смогли только 6,9% респондентов.

Итак, образ события в памяти молодого поколения зависит от комплекса внутренних и внешних факторов, которые определяют его конфигурацию, активизируют и закрепляют в оперативной памяти представления. Основную нагрузку в этом процессе берет на себя

система образования (школа, университет), которая в наибольшей степени подвержена внешним политическим факторам влияния. Важны и такие особенности внешней среды как информационная политика масс-медиа. Интересно, что 56,4% респондентов считают, что сохранять память о коллективизации необходимо, 39,9% сомневаются и 3,3% отметили, что помнить об этом нет необходимости.

С позиций мифологического прочтения, коллективизация пережила интересную трансформацию из героического советского мифа в эсхатологический²⁷ и этиологический (миф преображения). Такая перекодировка вызвана несколькими причинами: во-первых, в силу своей противоречивости коллективизация однозначно не соотносится ни с одним из мифологических архетипов, и поэтому стремится к смысловому упрощению; во-вторых, данное событие «неудобно» для официальной истории. Свой вклад в ремифологизацию события внесла политика «молчания» власти, а также уход из жизни носителей «живой памяти», воспоминания которых стали изучаться сравнительно поздно – только в 2000-е гг.; в-третьих, благодаря сформированной в советский период документальной памяти (фильмы, художественные произведения, научные труды), сохраняется советский миф, в основе которого лежит сюжет о героической борьбе коммунистов с кулаками и вредителями за счастливую колхозную жизнь. Следует учесть также и то, что трагедия коллективизации оказалась в тени героического мифа Великой Отечественной войны и рассматривается традиционно как один из источников победы.

Освоение целины в памяти молодежи

Целина в ряду событий новейшей отечественной истории занимает не самое важное место. Обычно в учебниках она входит в перечень аграрных мероприятий Н.С. Хрущева, а ее описание ограничивается указанием дат и самой общей характеристикой: «С 1954 года развернулась кампания по освоению целинных и залежных земель,

²⁷ Подобные интерпретации встречаются в трудах историков-аграрников, работающих с использованием технологий устной истории. См., подробнее: Лопатин Л.Н. Коллективизация 30-х гг. XX века и ее влияние на изменение социокультурного облика российской деревни по воспоминаниям очевидцев. Кемерово, 2005; Лопатин Л.Н., Лопатина Н.Л. Коллективизация и раскулачивание в воспоминаниях очевидцев. М., 2005; Нефедов С.А. Катастрофа 1933 года: гибель традиционного общества // Историческая психология и социология истории. 2013. Вып. 1. Т. 6. С. 5–30 и др.

главным образом в Северном Казахстане. По призыву партии и комсомола туда поехали сотни тысяч добровольцев. На голом месте возникло множество зерновых совхозов. За считанные годы они ввели в оборот 42 млн. гектаров пашни, где выращивалось к концу десятилетия до 40% всех зерновых. И все же урожайность на вновь поднятых землях была ниже общесоюзной, их освоение проходило при отсутствии научно обоснованной системы земледелия, влекло за собой эрозию почв и опустошительные пыльные бури»²⁸.

В 1960–1980-е гг. освоение целины трактовали как событие всесоюзного значения, во многом благодаря включению этого факта в биографию Генерального секретаря КПСС Л.И. Брежнева и «всенародному обсуждению» его книги «Целина», вошедшей в список для обязательного чтения. С приходом к власти новых лиц, интерес к данному событию снизился и сохранился преимущественно в рамках региональной науки и национально-регионального компонента стандарта образования. Активное изучение сюжетов по целинной эпопее ведется в местах освоения целины – Оренбуржье, Сибири, Казахстане²⁹. В связи с юбилейными датами в центральных СМИ появляются статьи и материалы, посвященные этому событию, но они, как правило, не ломают новостную повестку и не сопровождаются крупными мероприятиями, т.е. не имеют значимого резонанса в обществе³⁰. Таким образом, число информационных каналов, формирующих и поддерживающих в памяти образ целины, не велико. Но он хорошо знаком представителям старших поколений, особенно тем, кто прошел через студенческие стройотряды. Их появление было непосредственно связано с целиной и способствовало созданию

²⁸ Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России. XX– начало XXI века: Учебник для 11 класса... С. 291.

²⁹ См., напр.: Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С. Хрущева и сельское хозяйство. М., 2001; Ульянов Л.Н. В борьбе за освоение целины. Работа партийных организаций по освоению целинных и залежных земель Западной Сибири. М., 1959; Андреевков С.Н. Аграрные преобразования в Западной Сибири в 1953–1964 гг. Новосибирск, 2007; История советского крестьянства. М., 1988. Т. 4. Крестьянство в годы упрочения и развития социалистического общества. 1945 – конец 50-х гг.; Проекты преобразования аграрного строя Сибири в XX в. Выбор путей и методов модернизации. Новосибирск, 2015; Мотревич В.П. Освоение уральской целины // Проблемы истории регионального развития: население, экономика, культура Урала и сопредельных территорий в советский период: сб. ст. Екатеринбург, 1992. С. 50–57; и др.

³⁰ Подвиг или ошибка? // Российская газета. 13.03.2004.

особой молодежной субкультуры со своими традициями, языком, символикой³¹, существующей до сих пор и транслирующей образ целины новым поколениям студентов.

Что помнит о целине современная молодежь? Точные даты события привели только 9,2%, приблизительной датировкой (1950-е–1960-е гг.) владеют 24,9%; 59,3% не указали ничего, остальные ограничились догадками – в XIX в.; в XX в.; после войны; после революции и проч. Не менее интересна пространственная локализация события: 27,4% указали в качестве зоны освоения целины Казахстан, Урал, Сибирь; 51,3% не отметили ничего. В остальных анкетах упоминаются Поволжье, Дальний Восток, Юг России, Средняя Азия, Кавказ, Север и т.д. В целом большинство респондентов в данной категории ориентируются на ключевые слова «юг» и «азия».

Больше половины студентов не смогли вспомнить ничего о мероприятиях целины (56,0%). Около четверти респондентов (25,3%) описали событие, используя ключевые слова «переселение», «освоение/распашка новых земель», «образование совхозов», причем около половины из них могли среагировать на подсказку в формулировке вопроса («Что Вы знаете об освоении целины?»). Остальные ответы распределились следующим образом: 4,4% связали освоение целины с реформами Хрущева, указав на оттепель, кукурузу, импорт зерна и проч.; у 2,2% целина ассоциируется с комсомольско-молодежным призывом и студенческими стройотрядами; 12,1% респондентов связали освоение целины с коллективизацией, строительством Байкало-Амурской магистрали или ограничились невнятными формулировками (например, «для развития сельского хозяйства»).

Таким образом, относительно полное представление о событии имеют не более четверти респондентов. Интересно, что датировка целины у представителей Оренбургской области оказалась менее точной, чем в целом по выборке: 8,9% указали точные временные привязки, 21,8% – приблизительные. Но пространственная локализация была точнее: 38,5% оренбуржцев отметили в качестве места проведения целины – Казахстан, Урал, Сибирь, в т.ч. 23,3% из них указали Оренбургскую область. Выше также удельный вес тех ре-

³¹ Началом Движения студенческих отрядов считается 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились в Казахстан, на целину. URL: <http://www.shtabso.ru/13.htm>.

спондентов, которые дали корректное описание мероприятий события, он составил 39,7%, т.е. у жителей Оренбуржья, несмотря на размывание временных ориентиров, образ события сохраняется лучше.

Оценивая результаты освоения целины, 26,7% респондентов отметили положительные последствия – рост сельскохозяйственного производства, расширение площади пахотных земель, развитие экономики страны; 9,2% указали на отрицательный итог, в том числе подчеркнули разрушение плодородия почвы и эрозию, нарушение экологического баланса; 4,0% отметили положительные и отрицательные последствия; и больше половины студентов не высказали своего мнения по данному вопросу (60,1%). Среди оренбуржцев положительная оценка события встречается чаще – в 35,9% анкет; доля отрицательных оценок составляет 9,0%; и столько же указали на противоречивый итог; число не ответивших на вопрос среди жителей Оренбурга ниже, чем в основной выборке – 46,1%.

Как и предполагалось, освоение целины имеет более слабый и расплывчатый след в памяти молодежи, в целом позитивно окрашенный, сформированный преимущественно на уроках истории (69,6%) и на основе воспоминаний родственников/очевидцев (27,5%). Причем для жителей Оренбуржья роль устного канала в форме рассказов очевидцев существенно выше, его удельный вес составил 38,5%. Приобщение к истории целины через музеи, выставки, мероприятия отметили 6,6%. На роль документов (фото, архивных документов, воспоминаний) в формировании образа целины указали 12,8% студентов, во всех случаях этот источник информации сочетался с уроками в школе или рассказами очевидцев. Кроме того, 4,8% респондентов подчеркнули роль интернета, художественной литературы и фильмов в получении информации о целине.

На уточняющий вопрос о документальном или художественном кино положительно ответили 30,8% респондентов, но только 9% из них смогли вспомнить название фильма – «Иван Бровкин на целине», остальные или затруднились указать название или привели неверный вариант, в том числе указали на фильм «Поднятая целина». Удельный вес студентов, читавших художественную литературу по истории данного события, составил 19,4%, но автора и название книги не указал никто, либо отмечали все тот же роман М. Шолохова, название которого созвучно рассматриваемому событию и, видимо, поэтому вызывает ассоциации.

На необходимость сохранения памяти о целине указали чуть больше половины студентов (56,4%); 41% затруднились ответить на этот вопрос и 2,6% считают, что его не нужно помнить. Среди жителей Оренбуржья 64,1% высказались за сохранение памяти и только один человек (1,3%) высказался против меморизации.

Изучение образа целины в памяти студентов, позволяет сделать выводы о механизмах формирования памяти для событий разного уровня: в советский период целина входила в число событий национального значения, поэтому находилась в центре внимания СМИ, науки и искусства. Но все же главную роль в меморизации целины сыграло движение студенческих стройотрядов, а также включение этого факта в политическую биографию Л.И. Брежнева и отражение его в мемуарах, т.е. основная нагрузка по созданию образа ложилась на механизмы, связанные с функционированием мест памяти. В соответствии с классификацией П. Нора к ним относятся не только топографические и монументальные места, но и символические (коммеморативные церемонии, юбилеи, эмблемы), а также функциональные места (автобиографии, мемуары)³².

В постсоветский период целина теряет общенациональное значение и становится событием региональной истории. Коммеморативная инфляция события хорошо прослеживается по учебникам истории. Развернутый текст по истории освоения целины присутствует в учебных книгах середины 1990-х гг., где авторы стремились всесторонне описать и оценить ее значение и итоги³³. В 2000-е гг. данный сюжет сокращается до одного абзаца, а в ряде случаев вообще исчезает³⁴. Отсутствует он и в современных учебниках по истории. В региональных учебниках по истории Урала и Оренбуржья этому событию посвящены тексты в объеме от параграфа до главы³⁵. В учебных книгах по истории регионов, не связанных с освоением целины, эти сюжеты отсутствуют и не упоминаются даже в контексте аграрной

³² Le Goff J. History and Memory. N.Y.: Columbia U.P., 1992. P. 95–96.

³³ Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. XX век: Учебное пособие для общеобразовательных школ. С. 429–432.

³⁴ См., напр.: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – начало XXI в.: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. М.: ТИД «Русское слово», 2003.

³⁵ См.: История Урала. XX век. Кн. 2 / под ред. Б.В. Личмана, В.Д Камынина. Екатеринбург: Издательство «СВ-96», 1998. С. 200–203.

политики Хрущева³⁶. Исключение развернутого описания целины из базового учебника по истории актуализирует значение других каналов информации, в частности визуального канала. Одним из инструментов формирования следа памяти стала популярная комедия 1950-х гг. «Иван Бровкин на целине», которая периодически демонстрируется по центральным, а также по тематическим каналам ТВ.

Общенациональное значение освоение целина имеет для Казахстана, где оно заложило основы целой отрасли экономики и сыграла важную роль в развитии расселения и населения страны. Характерно, что в учебниках по истории Казахстана событие оценивается неоднозначно: одной стороны, «освоение целины стало решающим условием стремительного рывка с развитием сельскохозяйственного производства», в республике возникли 15 городов, сотни поселений, а с другой оно способствовало разрушению традиционных систем хозяйствования, основанных на развитии кочевого скотоводства³⁷. Характерно, что память о целине используется в республике для решения текущих задач экономического развития, в частности правительством была провозглашена политика «второй целины», нацеленная на рост производства хлеба³⁸.

Художественный кинематограф как инструмент формирования образа прошлого

С целью интерпретации полученных в ходе опроса результатов о роли художественного кинематографа обратимся к характеристике массива документальной памяти о коллективизации и освоении целины, а также к особенностям ее актуализации в современных условиях.

Роль визуальных источников в формировании следа памяти отмечена большинством респондентов, и она усиливается видовыми свойствами визуальных документов, активно воздействующими на эмоциональное восприятие информации. Возникает вопрос, как повлияли художественные фильмы, транслирующие исторические образы коллективизации и целины, на коллективную память о них.

³⁶ См., напр.: История Брянского края. XX век... С. 361-370.

³⁷ См., напр.: Козыбаев М.К., Нурпеис К.Н., Жукешев К.М. История Казахстана (с начала XX века по настоящее время). Учебник для 9 классов общеобразовательных школ. Изд. 3-е. Алматы: Мектеп, 2013. С. 149-156.

³⁸ Едут новоселы по земле целинной. URL: <http://www.tarih-begalinka.kz/ru/timetravel/page3444/>

Фильмография по коллективизации обширна и специфична. Всего за 1929–1940 гг. было выпущено 412 фильмов, из них 78 на сельскую тему (18,9%). В первой половине 1930-х гг. было снято 58 кинокартин о событиях коллективизации (55,1% от общего количества снятых фильмов), среди них такие произведения как «Старое и новое» (1929, реж. С. Эйзенштейн, Г. Александров), «Земля» (1930, реж. А. Довженко), «Одна» (1931, реж. Г. Козинцев, Л. Трауберг), «Гармонь» (1934, реж. И. Савченко), «Вражьи тропы» (1935, реж. И. Правов, О. Преображенская).

Фильмография периода коллективизации характеризуется ярко выраженной агитационной направленностью. Сюжеты с небольшими вариациями построены вокруг темы классовой борьбы и постепенного пробуждения сознания трудового крестьянства, превращения его в новый класс колхозников. В фильмах присутствует четкая дихотомия положительных и отрицательных образов, противостояние добра и зла. В качестве положительных героев в фильмах выступают учителя, рабочие, красноармейцы, комсомольцы / пионеры, т.е. носители классового сознания, приобщенные к марксистскому знанию. Они «руководят» процессом воспитания крестьянства и часто становятся жертвами классовой борьбы. Отрицательные герои – кулаки, подкулачники, попы, бывшие белогвардейцы и вредители, ненавидящие советскую власть. Весь кинонарратив тяготеет к структуре героического мифа, достигая в некоторых случаях эпической силы.

Примером такого прочтения реальности первой половины 1930-х гг. может служить фильм «Аэроград» (1935, реж. А. Довженко), в основе которого лежит сюжет о строительстве на Дальнем Востоке города-мечты, символизирующего будущее. Фильм отражает мир, расколотый на два противоборствующих лагеря: света и тьмы; добра и зла; своих и врагов. Свои – это люди, защищающие и строящие новый мир (летчики, охотники-бывшие партизаны, красноармейцы), враги – сектанты, китайские шпионы, кулаки, белые офицеры, сбежавшие и затаившиеся в тайге. Все герои фильма мифологичны, это – былинные герои, но одни светоносные и прекрасные (герои С. Шагайды, С. Столярова), другие – темные и ужасные (герои Б. Добронравова, С. Шкурата). Все они живут, сражаются и умирают, общаются друг с другом через сотни километров и со зрителем. Каждый лагерь в своей любви и ненависти выглядит единым. И это единство можно рассматривать как основную задачу аги-

тации и пропаганды этого периода. Страна превратилась в военный лагерь, чтобы сделать мощный рывок вперед. И в этой битве за новый мир оправданы любые жертвы.

Фильмы, снятые во второй половине 1930-х годов, уже другие, они ориентированы на показ успехов колхозного строительства, решение проблем становления нового образа жизни колхозников, частью которого стало социалистическое соревнование и ударная работа на полях. В фильмах еще присутствуют сюжеты о вредителях и врагах, но одновременно растет число комедий, приключенческих лент, мелодрам. Комедии И. Пырьева «Богатая невеста» (1937), «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), а также фильмы, снятые в жанре оптимистической драмы – «В поисках радости» (1939, реж. Гр. Рошаль, В. Строева), «Член правительства» (1939, реж. А. Зархи, И. Хейфиц), «Бабы» (1940, реж. В. Баталов), «Учитель» (1939, реж. С. Герасимов) и др., – закрепляли в сознании зрителей победу колхозного строя как условия счастливой богатой жизни. В результате героический миф, транслируемый фильмами первой половины 1930-х годов, дополняется мифом преобразования.

События коллективизации, канонизированные в «Кратком курсе истории ВКП(б)», получили художественное воплощение не только в фильмах, но и в литературных произведениях, среди которых выделяется роман М. Шолохова «Поднятая целина». По его мотивам было снято несколько фильмов. В 1939 г. экранизацию романа сделал режиссер Ю. Райзман, но наибольшую известность получил фильм А. Иванова, снятый в 1959–1961 гг. Благодаря замечательной игре актеров и талантливой режиссерской работе был создан яркий образ деревни времен коллективизации, уже не такой схематичный, как в фильмах 1930-х гг., а живой, полный энергии преобразования. Фильм до сих пор вызывает интерес зрителей, демонстрируется по телевидению, поддерживая советский миф. Тема коллективизации была в значительной мере исчерпана экранизацией романа М. Шолохова и в фильмографии 1950–1980-х годов встречается достаточно редко. Всего за 30 лет было снято 12 фильмов, в которых получила развитие героическая тема борьбы за становление колхозного строя³⁹.

³⁹ Сельская учительница, 1947, реж. М. Донской; Конец Чирвы-Козыря, 1957, реж. В. Лапокныш; Поднятая целина, 1959–1961, реж. А. Иванов; Хлеб и розы, 1960, реж. Ф. Филиппов; Счастье Анны, 1970, реж. Ю. Рогов; Великие голодранцы, 1973, реж. Л. Мирский; С тобой и без тебя, 1973, реж. Р. Нахапетов;

Среди фильмов, раскрывающих тему коллективизации, следует особо выделить сериалы, появившиеся в 1970-е гг. и получившие широкую известность. Это многосерийные фильмы «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов»⁴⁰, где коллективизация выступает одним из центральных событий, изменивших судьбы героев. Значение сериалов состоит в том, что они создают панорамный событийный ряд, увязывая факты советской истории (Гражданскую войну, коллективизацию, Великую Отечественную войну) в единый победный исторический процесс и соединяя их с семейными историями.

Альтернативные версии коллективизации в кино появляются только в конце 1980-х гг. на волне перестройки. С 1985 по 1991 гг. было снято 6 фильмов, трактовавших коллективизацию как трагедию разрушения крестьянского мира (апокалиптические мотивы). Все они сняты по литературным произведениям Б. Можаяева, В. Тендрякова, С. Антонова, В. Барки, М. Алексеева⁴¹. На фоне разоблачений перестройки эти фильмы прошли незаметными, не получив большого резонанса, несмотря на художественные достоинства и актуальную проблематику, разрушающую героический советский миф.

В 1990-е г. г. художественный кинематограф сначала из-за кризиса отрасли, а затем ориентируясь на интересы рынка, не обращался к теме коллективизации. В результате современные картины, посвященные этому событию, отсутствуют, что способствует процессам «забвения», поскольку молодежь не смотрит советское кино и интересуется преимущественно премьерными. В 2000-е гг. сложился новый стандарт потребления кинопродукции: интерес зрителей вызывает высокотехнологичное кино, отличающееся от старых фильмов по скорости смены кадра, динамике сюжета, спецэффектам, звуковому сопровождению и музыкальному оформлению и прочими инновациями. Эстетика советского кино и его технологические особенности часто служат для молодого поколения отталкивающим фактором. Тезис о том, что российская молодежь предпочитает смотреть совет-

Красный чернозем, 1977, реж. Л. Мирский; Вавилон XX, 1979, реж. И. Михайчук; Белый шаман, 1982, реж. А. Ниточкин; и др.

⁴⁰ Вечный зов, 1973–1983, реж. В. Краснополянский, В. Усков; Тени исчезают в полдень, 1971, реж. В. Усков, В. Краснополянский.

⁴¹ См.: «Хлеб – имя существительное», 1988, реж. Гр. Никулин; Из жизни Федора Кузькина, 1989, реж. С. Росточкин; Кончина, 1989, реж. М. Кошелев; Овраги, 1990, реж. В. Исаков; Ночь при дороге, 1991, реж. В. Шувагин; Голод тридцать третьего, 1991, реж. О. Янчук.

ское кино, выдвинутый в середине 2000-х гг.⁴², в настоящее время уже устарел и не подтверждается социологическим опросом⁴³.

Следует отметить роль телевидения в формировании образа коллективизации. Характерно, что в поле зрения опрошенных студентов попали только те фильмы, которые регулярно демонстрируются на популярных каналах – это преимущественно советские комедии о счастливой колхозной жизни или сериалы, способствующие формированию позитивного образа коллективизации и трансформации советского героического мифа в миф преображения.

Фильмография по истории целины включает по предварительным подсчетам около десятка (9) фильмов, снятых преимущественно в период с 1954 по 1964 г.⁴⁴ По жанровой стилистике среди фильмов преобладают драмы и повести, а фильм 1979 г. «Вкус хлеба» снят в жанре киноэпопеи, отражая «серьезность темы» и ее эпическую трактовку. Целине посвящали свои работы известные режиссеры – Б. Барнет, М. Калатозов, Л. Шепитько, С. Герасимов, Л. Кулиджанов, но наибольшую известность получила комедия И. Лукинского «Иван Бровкин на целине», рассказывающая о демобилизованных солдатах, по призыву комсомола приехавших в целинный совхоз, и их ударной работе. Будучи продолжением популярной комедии, вышедшей годом ранее, фильм передает радостную и героическую атмосферу целинных будней. Этот образ знаком современным студентам, благодаря частой трансляции фильма по телевидению.

Между тем, другие фильмы, малознакомые современному зрителю, транслируют иной, суровый образ целины – края, где герои, преодолевая трудности, иногда ценой своей жизни создают новый мир. В фильмах 1950-х гг. сделан акцент на героизме целинников, их человеческом становлении и росте. В 1960-е гг. на смену героическо-

⁴² Андреев А.Л. Студенты о кино // Мониторинг общественного мнения. 2006. № 4 (80). С. 41.

⁴³ Интервью с заслуженным учителем РФ С.Н. Вороновой, лицей 100 г. Екатеринбург, а также с учителями истории О. С. Шаклеинным и П.А. Тупикиным, средняя школа 67 г. Екатеринбург

⁴⁴ Надежда, 1954, реж. С. Герасимов; Первый эшелон, 1955, реж. М. Калатозов; Березы в степи, 1956, реж. Ю. Победоносцев; Это начиналось так... 1956, реж. Л. Кулиджанов, Я. Сегель; Иван Бровкин на целине, 1958, реж. И. Лукинский; Ленка, 1961, реж. Б. Барнет; Зной, 1962, реж. Л. Шепитько; Последний хлеб, 1963, реж. Б. Степанов; Вкус хлеба, 1979, реж. А. Сахаров.

му нарративу приходят философские и лирические мотивы, связанные с размышлениями о смысле жизни, о труде хлебороба, свойственные деревенскому кинематографу этого времени. Особо следует отметить фильм. Л. Шепитько «Зной», поставленный по мотивам повести Ч. Айтматова «Верблюжий глаз», в котором раскрывается вечная тема противостояния старого и нового, добра и зла. Окончив школу, герой фильма Кемаль приехал в Анахай осваивать целину. Он попадает в тракторную бригаду, где царят «байские» порядки. Работа трактористов по «подъему целины» идет ударно, они осваивают метод скоростной вспашки, что обеспечивает им премии, подарки, признание. Но одновременно они полны уверенности в бессмысленности предпринимаемых усилий, поскольку безводная степь ничего, кроме колючек, рожать не может. Кемаль со своим юношеским максимализмом и верой в силы человека, способного преобразить целину, нарушает установившийся порядок. В фильме целина приобретает черты символа, раскрывающего сущность человека: преобразить полупустыню доступно не всем. Целина покоряется только людям с открытым и чистым сердцем.

В целом фильмография целины содержит два основных мифологических сюжета – героический миф и миф преображения. Последний в силу особенностей современной медиасреды начинает преобладать в сознании молодого поколения. Следует учесть также и тот момент, что данное событие находится в пространстве реальной памяти и это придает ему черты ностальгического мифа, который опирается на позитивные оценки и интерпретации прошлого.

Выводы

Изучение образов событий прошлого в памяти молодежи позволяет выделить основные этапы его формирования, механизмы меморизации и трансформации. Первичное конструирование образа опирается на личностные информационные каналы, основной функцией которых является трансляция знания (официального и неофициального) – это, прежде всего, система школьного исторического образования. Она формирует каркас исторической памяти. Эти знания, благодаря дополнительным визуальным и письменным источникам, приобретают свойства образа (целостное представление о чем-либо или о ком-либо, в основе которого лежит эмоционально-чувственная оценка). След памяти становится более глубоким, в зависимости от частоты и силы влияния внешних раздражителей – по-

литики памяти, особенностей информационной среды. Наиболее устойчивой формой образа события прошлого, оставляющей глубокий след в памяти, выступает миф. Мифологизация события реализуется на основе использования в качестве модели существующих категорий–архетипов, среди которых выделяются мифы о сотворении, преображении, эсхатологический миф, героический миф. Под влиянием внешних факторов возможны трансформации мифов, в частности преобразование героического мифа в миф преображения, как это происходит с коллективизацией.

Наибольшую заинтересованность в конструировании исторической памяти по лекалам героического мифа проявляет государство, поддерживая в массовом сознании патриотические ценности, но противоречивость и неоднозначность исторических событий зачастую мешает реализации такой задачи.

Роль визуальных источников в формировании образа прошлого играет очень важную роль, но, как показывают результаты опроса, места памяти, связанные с личностным опытом познания, оставляют более глубокий след, чем визуальные документы. Вероятно, все дело в форме чувственного опыта (непосредственный / опосредованный). Что касается художественного кино, то, учитывая особенности визуальной культуры, для молодого поколения памятный след оставляют современные постановки или часто транслируемые по телевидению фильмы, преимущественно развлекательного характера. Фильмы прошлых лет, как и книги, требуют от зрителя / читателя особой мотивации и навыков видения / чтения. Они составляют документальную память общества, обращение к которой связано с уже сформированным интересом к прошлому и реализуется в форме изучения исторического наследия.

М. В. Кирчанов

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ГРУЗИИ ГРУЗИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ между “изобретенными традициями” и “большими нарративами”

«[М]еня особенно веселят разговоры о “смерти больших нарративов истории”, таких как “нации” или “классы”. Насчет классов не знаю, а вот нации вовсе не собираются сходить с подмостков историографической сцены, скорее, наоборот... Бурное строительство новых национальных версий истории отягощено не лучшими из генов “советскости”. Здесь и сервилизм, и специфическое отношение к источнику, и манера полемизировать... за исключением России, никто из новых стран не претендует на роль “великих историографических держав»¹.

Распад СССР и «новые» истории. Распад Советского Союза и появление новых национальных или национализирующихся государств на постсоветском пространстве спровоцировал процесс переписывания и пересмотра историй некогда бывших союзных республик. Истории в постсоветских странах оказались подвергнуты радикальной ревизии, а в некоторых из них были написаны заново, в качественно другой, отличной от советской, системе координат. В большинстве постсоветских стран в написании национальных историй начал доминировать нескрываемый этноцентризм. На смену историям союзных республик, которые в историографической иерархии СССР, имели локальное, а иногда и вовсе маргинальное значение, пришли национальные истории, выдержанные в преимущественно этноцентричной системе координат.

В постсоветских историографиях, которые несли в себе все родовые травмы советской историографии, стали нормой написание событийных политических историй реально существовавших государственных или попытки перенести современные идентичности на некогда существовавшие государственности, которые не имели отношения к тем или иным этническим группам, формирующим современные нации постсоветских государств. В такой ситуации наци-

¹ [Уваров П.] Свобода у историков пока есть. Во всяком случае – есть от чего бежать. Беседа Кирилла Кобрин с Павлом Уваровым // Неприкосновенный запас. 2007. № 55. – URL: <http://www.polit.ru/research/2008/01/30/uvarov.html>

ональные истории постсоветских государств писались как политические истории, событийные истории, а их авторами были историки, которые нередко получили историческое образование в советский период. Поэтому, современные исторические науки на постсоветском пространстве нередко характеризуются теми же особенностями, что и советская историография.

В политической жизни государств, которые относительно недавно обрели или восстановили собственную государственность, особую роль в идеологическом дискурсе играют нарративы, связанные с актуализацией суверенитета, традиций независимости, истории государственности. Эти практики в разных странах могут иметь диаметрально противоположные проявления, но практически везде правящие элиты поощряют и поддерживают различные практики и стратегии продвижения и культивирования идей государственности и независимости. В одних странах политический класс и интеллектуальные сообщества могут ограничиваться формальными декларативными практиками, связанными с поддержанием на должном уровне идей государственности и независимости, в других – идеи свободы и независимости, интегрированные в тело политического языка, оказываются более востребованными, что содействует их превращению в политически мотивированные изобретенные традиции, которые поддерживаются на государственном уровне, будучи интегрированы в сложный механизм социальных и культурно-политических практик, связанных с функционированием исторической и политической памяти. Среди таких изобретенных политических традиций особое место занимают концепты свободы, независимости и государственности, которые в одинаковой степени задействованы в воспроизводстве и развитии как этнических, так и политических идентичностей постсоветских государств, включая Грузию.

Новые национальные историографии оказались политизированными и идеологически выверенными, с тем лишь отличием от советской историографии, что формальное доминирование марксистско-ленинской методологии сменилось доминированием национальной парадигмы. В подобной ситуации история на постсоветском пространстве оказалась сферой ответственности не только истории, но и национальных политических элит, которые фактически выступали заказчиками новых национальных историй, написанных в качественном других системах политических координат, хотя методология со-

здания этих историографических продуктов фактически осталась без изменений. В такой ситуации на протяжении почти двух десятилетий, в 1990–2000-е годы новые исторические науки на постсоветском пространстве имели очень романтические отношения с национализмами, которые оказались политическими, культурными и интеллектуальными стимулами, определявшими основные векторы и траектории развития национальных историографий.

Методологические основания. Концепт «изобретенные традиции» (invented traditions) генетически связан с теорией «изобретения традиций» (invention of traditions), предложенной в первой половине 1980-х годов британскими историками Эриком Хобсбаумом и Теренсом Рейнджером. Основные положения этой теории сводятся к следующему: многие политические традиции только кажутся старыми и архаичными; политические традиции являются результатом новейшего мифотворчества, политических и интеллектуальных практик элит; в этом отношении политические традиции представляют собой изобретенные традиции и воображаемые сообщества. В целом, «изобретенные традиции – это совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил; их целью является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели – повторение»². Автор полагает, что концепт «изобретенных традиций» применим и трансплантабелен в контекст современной грузинской политической и интеллектуальной истории.

Одного национализма недостаточно: от национализма в историографии к исторической политике. На протяжении XIX–XX веков, связанных с универсализацией нации-государства, историки играли значительную роль в развитии национализма³. Комментируя

² The Invention of Tradition / eds. E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 1.

³ О национализме в теоретическом плане см.: გელნერი ე. ერები და ნაციონალიზმი / მთარგმნ. ნინო ცინცაძე; რედ. ივანე შატბერაშვილი. თბილისი: ნეკერი, 2003. 177 გვ. [gelneri e. erebi da nats'ionalizmi / mt'argmn. nino ts'int'sadze; red. ivane šatberašvili. t'bilisi: nekeri, 2003 / Геллнер Э. Нации и национализм / пер. Нино Цинцадзе, ред. И. Шатберашвили. Тбилиси: Неке́ри, 2003]; ანდერსონი ბ. წარმოსახვითი საზოგადოებანი: მოსაზრებანი ნაც. წარმოშობისა და გავრცელების შესახებ / ინგლ. თარგმნა რუსუდან გოცირიძემ. თბილისი: ენა და კულტურა, 2003. 307 გვ. [andersoni b. tsar-mosakhvit'i sazogadoebani: mosazrebani nats'. tsarmošobisa da gavrts'elebis šesakheb /

это предназначение историографии, Энтони Смит, с одной стороны, отмечал, что «историки внесли весомый вклад в развитие национализма... они заложили моральный и интеллектуальный фундамент для национализма в своих странах... историки, наряду с филологами, самыми разными способами подготовили рациональные основания и хартии наций своей мечты»⁴. С другой, он предполагал и то, что «роль националистически настроенных историков в пропаганде национализма до сих пор не стали предметом тщательного исследования»⁵, но лучшие времена для изучения этих связей, вероятно, прошли, так как современные политические процессы актуализируют в большей степени манипулятивную функцию истории в контексте исторической политики, политики памяти и проработки прошлого, вынуждая исследования, сфокусированные на отношениях историков с национальными проектами, мигрировать в сферу интеллектуальной истории как тихой гавани, пока не подверженной политизации в контексте актуализации сервилитских функций историографии.

ingl. t'argmna rusudan gots'iridzem. t'bilisi: ena da kultura, 2003 / Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления о происхождении и распространении национализма / пер. П. Гоциридзе. Тбилиси: Эна да культура, 2003]; სმითი ე. ნაციონალიზმი: თეორია, იდეოლოგია, ისტორია / ე. სმითი / თარგმ. ინგლისურიდან მარიამ ჩხარტიშვილისა; რედ. რუსუდან ამირეჯიბი-მალენი. თბილისი: არტანუჯი, 2004. 241 გვ. [smit'i e. nats'ionalizmi: t'eoria, ideologia, istoria / e. smit'i / t'argm. inglisuridan mariam c'khartišvilisa; red. rusudan amirejibimaleni. t'bilisi: artanuji, 2004 / Смит Э. Национализм: теория, идеология, история / пер. с англ. М. Чахришвили, ред. П. Амiredжиби-Малени. Тбилиси: Артануджи, 2004]; ჰებტერი მ. ნაციონალიზმის შექმნა / მ. ჰებტერი. თბილისი: CSS, 2007. 370 გვ. [heç'teri m. nats'ionalizmis šec'ereba / m. heç'teri. t'bilisi: CSS, 2007 / Хечтер М. Национализм. Тбилиси: CSS, 2007]; ჰობსბაუმი ე. ერები და ნაციონალიზმი 1780 წლიდან: პროგრამა, მითი, რეალობა / ე. ჰობსბაუმი / მთარგმნ. სანდრო გაბისონია; რედ. ლიანა გოგიჩაიშვილი. თბილისი: ილიას სახელმწ. უნ-ტი, 2012. 262 გვ. [hobsbaumi e. erebi da nats'ionalizmi 1780 tsldan: programa, mit'i, realoba / e. hobsbaumi / mt'argmn. sandro gabisonia; red. liana gogich'aishvili. t'bilisi: ilias sakhelmts. un-ti, 2012 / Хобсбаум Э. Нации и национализм с 1780 года: программа, миф, реальность. Тбилиси, 2012]; მორისო ნ. ნაციონალიზმი და რომანტიზმი: ევროპა XIX საუკუნეში / ნ. მორისი; რედ. ხათუნა ნონიაშვილი. თბილისი: პალიტრა L, 2013. 48 გვ. [morisi n. nats'ionalizmi da romantizmi: evropა XIX saukuneshi / n. morisi; red. khat'una noniašvili. t'bilisi: palitra L., 2013 / Морис Н. Национализм и романтизм: Европа в 19 веке / ред. Х. Нониашвили. Тбилиси: Палитра L, 2013].

⁴ Смит Э.Д. Национализм и историки / Э.Д. Смит // Нации и национализм / пер. с англ. М., 2002. С. 236.

⁵ Смит Э.Д. Национализм и историки. С. 260.

Новые тенденции в отношениях между историей и националистами⁶ в постсоветских государствах стали заметны в конце 2000-х – начале 2010-х гг., что было связано с политическими и идеологическими трансформациями на постсоветском пространстве. Во второй половине 2000-х российские политические элиты предприняли радикальную попытку пересмотреть ситуацию, сделав ставку на концепт «русского мира», что, разумеется, стало стимулом для ответной реакции в постсоветских странах, где успели у власти укрепиться национальные или национально ориентированные элиты, понимавшие, что внешнеполитические инициативы России направлены преимущественно на решение внутренних задач и чреваты для них потерей власти или сокращением влияния. В этой ситуации вновь оказалась актуализирована политическая роль истории и исторического знания

⁶ Национализму в грузинской историографии посвящена значительная литература. См.: ეთნიკურობა და ნაციონალიზმი / რედ: დავით მუსხელიშვილი და მარიამ ჩხარტიშვილი. თბილისი: ინტელექტი, 2002. 136 გვ. [et'nikuroba da mariam ch'khartishvili / red. davit' muskheleshvili da mariam ch'khartishvili. t'bilisi: intellek'ti, 2002 / Этничность и национализм / ред. Д. Мухелишвили, М. Чхартишвили. Тбилиси: Интеллекти, 2002]; დავითაშვილი ზ. ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია / ზ. დავითაშვილი. თბილისი: მეცნიერთბილისი: ბა, 2003. 446 გვ. [davit'ashvili z. nats'ionalizmi da globalizats'ia / z. davit'ashvili. t'bilisi: mets'nieroba, 2003 / Давиташвили З. Национализм и глобализация. Тбилиси: Мецниერоба, 2003]; ურუშაძე ლ. ერის რაობისა და ერთა თვითგამორკვევის შესახებ / რედ. გიული ალასანია. თბილისი: ენა და კულტურა, 2005. 40 გვ. [urusadze l. eris raobisa da ert'a t'vit'gamorkvevis shesakheb / red. giuli alasia. t'bilisi: ena da kultura, 2005 / Урушадзе Н. Нации и проблемы самоопределения / ред. Г. Аласания. Тбилиси: Эна да культура, 2005]; ჩხაიძე ი. ნაციონალიზმის მოდერნისტული თეორია და ქართული ნაციონალური პროექტი ("თერგდალეულები") / ი. ჩხაიძე / რედ. ნინო ჩიქოვანი. თბილისი: ახალი აზრი, 2009. 128 გვ. [ch'khaidze i. nats'ionalizmis modernistuli t'eoria da k'art'uli nats'ionaluri proek'ti: "tergdaleulebi" / red. nino ch'ik'ovani]. t'bilisi: akhali azri, 2009 / Чхаидзе И. Модернистская теория национализма и грузинский национальный проект: «тергдалеулели» / ред. Н. Чиковани. Тбилиси: Ахали азри, 2009]; სონღულაშვილი ნ. ქართული ერთობა და მისი იდენტობა XX საუკუნის პირველ ოცწლეულში პრესის მასალების მიხედვით: ჟურნალი "მოგზაური", გაზეთები "თემი" და "საქართველო" / ნ. სონღულაშვილი / რედ. მარიამ ჩხარტიშვილი. თბილისი: უნივერსალი, 2010. 144 გვ. [songhulashvili n. k'art'uli ert'oba da misi identoba XX saukunis pirvel ots'tseulshi presis masalebis mikhedvit': zhumali "mogzauri", gazet'ebi "t'emi" da "sak'art'velo" / red. mariam ch'khartishvili. t'bilisi: universali, 2010 / Сонгулашвили Н. Проблемы грузинского единства и идентичности в первые два десятилетия XX века в контексте материалов периодической печати: журнал «Могзаури» и газеты «Теми» и «Сакართველო» / ред. М. Чхартишвили: Универсали, 2010].

в укреплении национальных идентичностей и развитии национализмов, но с той разницей, что потенциала одного национализма, этнического или гражданского, было уже недостаточно для решения тех фактически политических задач, которые правящие элиты ставили перед интеллектуальными сообществами. Трансформация политической ситуации на постсоветском пространстве привела к появлению феномена исторической политики. Историческая политика в этом контексте явление относительно новое. Она была не нужна во времена авторитаризма XX века, когда правящим политическим группам было достаточно цензуры и подавления для того, чтобы направить развитие идентичности и нации в необходимом направлении.

Основные акторы исторической политики в Грузии. В современной Грузии в формировании, воспроизводстве и развитии концепта «независимость» как изобретенной традиции активно задействованы различные акторы. В качестве первого актора, вероятно, следует упомянуть средства массовой информации, включая телевизионные каналы, например – «Имеди». Канал «Имеди» периодически транслирует репортажи, которые в той или иной степени актуализируют концепт «независимость» и обслуживают общественно-политический дискурс. Практики и стратегии «Имеди» в воспроизводстве и продвижении концепта «независимость» крайне разнообразны. Кроме СМИ в обслуживании и воспроизводстве изобретаемых традиций в современной Грузии задействованы публичные политики. Вероятно, мы следуем констатировать существование негласного и неформального консенсуса между СМИ, публичными политиками и интеллектуалами в отношении темы «независимости», принципиальное значение и важность которой признается всеми сторонами.

Грузия: муки рождения исторической политики в одной конкретно взятой республике. Советская историография развивалась в условиях доминирования тенденции к последовательной унификации, что признается большинством исследователей советской исторической памяти. До распада СССР, как полагает австрийский историк Райнер Линднер, «не менялись содержательные, методологические и терминологические модели интерпретации истории»⁷. Исключений из этого правила быть не могло и поэтому историче-

⁷ Линднер Р. Нязменнасць і змены ў постсавецкай гістарыяграфіі Беларусі / Р. Линднер // Беларусіка / Albaruthenica. Мн., 1997. Т. 6. Ч. 1. С. 118.

ские исследования в Грузинской ССР развивались в контексте общих векторов и траекторий развития советской историографии.

По мнению татарской исследовательницы Д. Усмановой, «провозглашенная денационализация истории, целенаправленное создание истории классов и классовой борьбы, жесткий идеологический пресс, тотальный контроль, отрицание историографического наследия прошлого – все это делало априорно невозможным дальнейшее развитие исторической науки в направлении создания национальной истории»⁸, вероятно, не только в татарской, но и в других национальных историографиях Советского Союза. В Грузинской ССР идеологический контроль и диктат был не меньшим, чем в историографиях других союзных республик, тем не менее, грузинский национализм был важным фактором в культурной и интеллектуальной жизни, что вынуждало советские элиты бороться против «буржуазного национализма»⁹. Это освобождало национальные партийные элиты от проведения сознательной исторической политики, так как они не имели подобной необходимости в условиях сложных отношений интеллектуальных сообществ с местной национальной партийной элитой и периодически имевших место попыток соединить национальный и идеологический нарративы. Британский историк Д. Томсон в первой половине 1960-х гг. полагал, что «в эпоху национальных государств история обречена быть националистической»¹⁰.

Прогноз оказался правильным и исторические штудии как в советский период, так и в постсоветских национальных или национализирующихся государствах оказались тесно связаны с национализмом. Ситуация радикально изменилась в начале XXI в., когда стало

⁸ Усманова Д. Создавая национальную историю татар: историографические и интеллектуальные дебаты на рубеже веков // *Ab Imperio*. 2003. No 3. С. 350–351.

⁹ მუჯირი ა. ბურჟუაზიული ნაციონალიზმი იმპერიალისტური რეაქციის იარაღია / ა. მუჯირი. თბილისი: ზარია ვოსტოკა, 1955. 38 გვ. [mudžiri a. buržuazuli nats'ionalizmi imperialisturi reak'ts'iis iaraghia. t'bilisi: zaria vostoka, 1955 / Муджири А. Буржуазный национализм – орудие империалистической реакции. Тбилиси: Заря Востока, 1955]; ებრალიძე ა. საქართველოს ბოლშევიკების ბრძოლა ბურჟუაზიული ნაციონალიზმის წინააღმდეგ 1917–1921 წწ. თბილისი: საბჭ. საქართველო, 1965. 69 გვ. [ebralidze a. sak'art'velos bolševikebis brdzola buržuazuli nats'ionalizmis tsinaagmdeg 1917–1921 tsts. t'bilisi: sabčota sak'art'velo, 1965 / Эбралидзе А. Ведущая роль большевиков в борьбе против буржуазного национализма в 1917–1921 гг. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1965]

¹⁰ Thomson D. Must History stay Nationalistic? The Prison of Closed Intellectuals *Frontiers* // *Encounter*. 1968. Vol. 30. No 6. P. 27.

очевидно, что в результате политического транзита некоторые европейские общества оказались не в состоянии сформировать единые и унифицированные версии коллективных представлений о прошлом, которые составили бы твердое ядро и основу исторической памяти. Российский историк А. Миллер полагает, что «историческая политика – вещь ситуативная. Это то, что возникает в определенной, довольно специфической ситуации»¹¹. Грузия в условиях местной историографической ситуации и «ситуативности» отличалась от других постсоветских стран, так как утратила в 1990-е гг. контроль над негрузинскими территориями, сохранив картвельское территориальное ядро современной грузинской государственности.

В данном контексте историческая политика – это политика преимущественно манипулятивная, основанная на вмешательстве государства или исторического сообщества в процессы развития политических, социальных и культурных памятей, которые в Грузии оказались относительно гомогенизированы. По мнению Райнера Линднера, «великие времена историографии наступают во время распада империй»¹², но развитие постсоветских историографий, к сожалению, позволяет предположить, что небывалая, по сравнению с советским периодом, свобода исторического творчества закончилась относительно быстро и на смену неформальному плюрализму интерпретаций в исторических исследованиях приходит историческая политика, нацеленная на унификацию интеллектуального дискурса и его гомогенизацию. Современные политические классы и отдельные сегменты академического сообщества историков, воспринимающие сервильизм как центральную функцию истории, использовали имевшие место «противоречия между академическими и политическими мотивациями в изучении прошлого»¹³, существенно оттеснив историков-профессионалов и дополнив более ранний набор интерпретаций новыми оценками, в большей степени ориентированными на политические предназначения, а не академические функции истории.

¹¹ Миллер А. «Историческая политика уничтожает пространство для диалога» [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.delfi.lt/opinions/comments/amiller-istoricheskaya-politika-unichtozhaet-prostranstvo-dlya-dialoga>

¹² Лінднер Р. Нязменнасць і змены ў постсавецкай гістарыяграфіі Беларусі. С. 114.

¹³ Coakley J. Mobilizing Past: nationalist images of history // Nationalism and Ethnic Politics. 2004. Vol. 10. No 4. P. 533.

Манипулятивность исторической политики предопределяет то, что одни моменты и факты могут актуализироваться в рамках различных форм и стратегий проработки прошлого, а другие, наоборот, подвергаться сознательному забыванию и вытеснению. Грузия не оказалась исключением из универсальной логики взаимоотношений исторического знания, национализма и политических устремлений правящих элит. В 2000–2010-е гг. усилиями интеллектуальных сообществ и политического класса Грузии была выработана уникальная модель исторической политики Грузии, которая применяется и на современном этапе. Поэтому, в центре внимания в настоящей статье будут проблемы исторической политики в современной Грузии.

История слишком важна, чтобы оставлять ее историкам: институционализация исторической политики. Единого определения исторической политики в современной историографии не существует, но она уже успела стать раздражающим фактором для профессионального академического сообщества, так как большинство политико-исторических инициатив правящих элит носят явно выраженный популистский характер, что превратило их в предмет исследований историков¹⁴, вовлеченных в изучение сложных отношений между историей и национализмом. Большинство авторов, которые пишут на эту тему, солидарны в том, что историческая политика представляет собой совокупность интеллектуальных практик в контексте политически, идеологически и государственно санкционированных и стимулируемых манипуляций с историей, фактами исторического прошлого с целью легитимации тех или иных политических режимов, пребывания у власти социальных или этнических групп.

Предполагается, что впервые историческая политика в ее классических формах стала применяться в Польше (хотя в историографии высказывались ревизионистские точки зрения, основанные на локализации «прародин» исторической политики в культурных и интеллектуальных практиках Латинской Америке¹⁵), а позднее мето-

¹⁴ См. напр.: Миллер А. Россия: власть и история // Pro et contra. 2009. Май – август. С. 6–23; Касьянов Г. Голодомор и строительство нации // Pro et contra. 2009. Май – август. С. 24–42; Траба Р. Польские споры об истории // Pro et contra. 2009. Май – август. С. 43–64.

¹⁵ Кирчанов М.В. Приручение прошлого: историческая политика и политика памяти (европейский историографический опыт и латиноамериканские контексты) // Политические изменения в Латинской Америке. 2016. № 3 (21). С. 73–

ды исторической политики оказались восприняты политическими элитами в постсоветских государствах. Историческая политика в постсоветских странах имеет ряд особенностей, которые являются для нее системными. Эти особенности, как полагает российский историк А. Миллер, могут быть сведены к следующему: «создание специальных институтов, призванных насаждать определенные трактовки прошлого, выгодные той или иной политической силе; политическое вмешательство в деятельность средств массовой информации, манипуляция архивами, разработка и использование новых мер контроля над деятельностью историков»¹⁶.

Две другие особенности, по мнению автора статьи, в грузинской ситуации являются не столь важными в отличие от попыток проработки истории через создание специализированных учреждений и политически мотивированного вмешательства в деятельность СМИ в контексте освещения ими тех или иных исторических событий. Роль специального учреждения, аналогичного польскому или украинскому Институту национальной памяти, в Грузии играет Музей советской оккупации. Что касается СМИ, то исторический дискурс, представленный на их страницах, несет следы проработки прошлого, форматирования исторической и политической памяти с целью выделения и последующей мифологизации событий, которые претендуют на статус центральных в грузинской истории.

О чем эта статья. Эта статья является не первой, в которой актуализируются проблемы исторической памяти, исторической политики и взаимосвязи национализма с историографией в грузинском контексте, но, в отличие от более ранних публикаций¹⁷, она носит

86; Кирчанов М.В. Мигель Краснофф Марченко как объект чилийской исторической политики и контексты политики памяти // Политические изменения в Латинской Америке. 2016. № 3 (21). С. 87–96.

¹⁶ Миллер А. Вызов из прошлого. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/number/Vyzov-iz-proshlogo-15354>

¹⁷ Kirchanov M. “Europe” and “the West” in Georgia’s political imagination and nationalist discourse // Central Asia and Caucasus. Journal of Social and Political Studies. 2010. Vol. 11. No 2. P. 158–167; Idem. The Caucasian and Russian in contemporary Georgian nationalism // Central Asia and Caucasus... 2013. Vol. 14. No 4. P. 101–109; Кирчанов М.В. «Европа» и «Запад» в грузинском политическом воображении и националистическом дискурсе // Центральная Азия и Кавказ. Журнал социально-политических исследований. 2010. Т. 13. № 2. С. 179–189; Кирчанов М.В. Образы Грузинской Демократической Республики в современной идентичности Грузии

в большей степени обобщающий характер. Поэтому следует сделать несколько вводных замечаний.

По мнению немецкой исследовательницы Ю. Шеррер, «в последние два десятилетия в публичном общественно-политическом дискурсе, журналистике и исторических исследованиях в западных странах доминируют концепты исторической политики (Geschichtspolitik), политики прошлого (Vergangenheitspolitik), политики идентичности (Identitätspolitik) и политики памяти (Erinnerungspolitik)»¹⁸. Эти концепты, как полагает автор данной статьи, носят в значительной степени универсальный характер, и поэтому применимы для изучения аналогичных или близких процессов, связанных с использованием истории в политических целях в других странах, включая Грузию. Российский историк А. Миллер полагает, что в XXI веке произошло «взаимодействие западно- и восточноевропейской культур памяти»¹⁹, что, по мнению автора этой статьи, актуализирует проблемы изучения периферийного европейского опыта в деле исторической политики и проработки прошлого. Анализируя историческую политику как политику памяти, во внимание следует принимать и то, что это – не только политика вспоминания, но и политика забывания и забвения²⁰. По мнению ряда авторов, «в представлениях о прошлом отражается современное состояние группы»²¹, и Грузия не является исключением из этой универсальной логики позиционирования современных коллективных представлений на события про-

(на примере блогов и электронных СМИ) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 4. Ч. 1. С. 90 – 92; Кирчанов М.В. Концепт «советская оккупация» в современном грузинском национализме // Исторические, философские, политические и юридические науки... 2015. № 1. Ч. 1. С. 72–75; Кирчанов М.В. «Кавказское» и «российское» в современном грузинском национализме // Центральная Азия и Кавказ. 2013. № 4. С. 115–125.

¹⁸ Шеррер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Pro et contra. 2009. Май – август. С. 89–108.

¹⁹ Миллер А. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти. «Секьюритизация памяти»: историческая вина в руках политических антрепренеров. [Электронный ресурс]. – URL: <http://gefter.ru/archive/18391>

²⁰ Рифф Д. Культ памяти: когда от истории больше вреда, чем пользы. «Излишняя заикленность на памяти»: о пользе и вреде забвения. [Электронный ресурс]. – URL: <http://gefter.ru/archive/17958>

²¹ Thomson D. Must History stay Nationalistic? P. 27.

шлого, их изобретения и воображения в системе координат, определенной политической и идеологической конъюнктурой.

В современном мире, где нация-государство не собирается отмирать, но планирует еще долго оставаться среди политических универсалий, «история переместилась в центр политических дебатов»²², что сделало академические историографии чрезвычайно уязвимыми, институционализируя и актуализировав новые формы зависимости историков от чрезвычайно актуальной тематики националистических штудий²³, от политической и идеологической ситуации в обществах, членами которых они являются. Вероятно, историческая политика и стала «вторым изданием» зависимости, если, конечно, первым были

²² Lindner R. New Directions in Belarusian Studies besieged past: national and court historians in Lukashenka's Belarus // Nationalities Papers. 1999. Vol. 27. No 4. P. 631.

²³ კიკვიძე ზ. ენა, გენდერი და ნაციონალიზმი / ზ. კიკვიძე. თბილისი: უნივერსალი, 2010. 93 გვ. [kikvidze z. ena, genderi da nats'ionalizmi. t'bilisi: universali, 2010 / Киквидзе З. Язык, гендер и национализм. Тбилиси: Универсали, 2010]; ქართველი ერის დაბადება / რედ. გიგა ზედანია. თბილისი, 2009. 158 გვ. [k'art'veli eris dabadeba / red. giga zedania. t'bilisi, 2009 / Рождение грузинской нации / ред. Г. Зебаниа. Тбилиси, 2009]; იდენტობა და ნაციონალიზმი / რედ. თეიმურაზ ქარელი. თბილისი: ახალი აზრი, 2009. 120 გვ. [identoba da nats'ionalizmi / red. t'eimuraz k'areli. t'bilisi: akhali azri, 2009 / Идентичность и национализм / ред. Т. Карели. Тбилиси: Ахали азри, 2009]; ამირგულაშვილი მ. ნაციონალიზმის თეორია / მ. ამირგულაშვილი / რედ. თენგიზ გრიგოლია. თბილისი: თბილ. ღია სასწავლო უნ-ტის გამ-ბა, 2013. 268 გვ. [amirgulashvili m. nats'ionalizmi t'eoria / red. t'engiz grigolia. t'bilisi: t'bil. ghia sastsavlo un-tis gam-ba, 2013 / Амиргულაშვილი М. Теория национализма. Тбилиси, 2013]; დარჩაშვილი მ. მიხაკო წერეთელი ნაციონალიზმის ძირითადი ცნებების შესახებ / მ. დარჩაშვილი, რედ. მალხაზ მაცაბერიძე. თბილისი, 2013. 76 გვ. [darch'ashvili m. mikhako tseret'eli nats'ionalizmi dzirit'adi ts'nebebis shesakheb / red. malkhaz mats'aberidze. t'bilisi, 2013. 76 gv. / Дарчашვილი М. Михაკო Церетели и основные понятия национализма / ред. М. Мацабериძე. Тбилиси, 2013]; ბატიაშვილი ე. გლობალიზმი და ნაციონალიზმი / ე. ბატიაშვილი; რედ. ნაზი ბახტურიძე. თბილისი: ილია მართალზე, 2014. 44 გვ. [batiashvili e. globalizmi da nats'ionalizmi / red. nazi bakhthuridze. t'bilisi: ilia mart'alze, 2014 / Батиаშვილი Э. Глобализм и национализм / ред. Н. Бахтуридзе. Тбилиси: Изд-во Илии Марталзе, 2014]; კვანჭილაშვილი ე. ნაციონალიზმის სოციალურ ფსიქოლოგიურ ასპექტების განსაზღვრისათვის სამხრეთ კავკასიაში / ე. კვანჭილაშვილი. თბილისი: წიგნის სახელოსნო, 2008. 86 გვ. [kvanchilashvili e. nats'ionalizmi sots'ialur p'sik'ologiuri aspek'tebis gansazghvrisat'vis samkhret' kavkasiashi. t'bilisi: tsignis sakhelosno, 2008 / Кванчилашвили Э. Психосоциальные аспекты национализма на Южном Кавказе. Тбилиси: Цигнис сахелосно, 2008].

те отношения, которые существовали в рамках авторитарных режимов. Актуальная историческая политика в Грузии работает одновременно в двух режимах – режиме вспоминания и режиме забывания. Первый режим актуализируется в тех случаях, если речь идет о Грузинской Демократической Республике и ее советизации в 1921 году.

Именно проработка этих событий в современной грузинской исторической политике, различные тактики и стратегии воображения и изобретения этих моментов в современной грузинской исторической памяти будут в центре внимания в этой статье. Изучая формы исторической политики в современном грузинском контексте, автор проанализирует основные направления исторической политики, формы работы с прошлым, механизмы проработки прошлого, стратегии изменения исторической памяти в контексте ее секьюритизации, показав, как и почему в Грузии, подобно другим постсоветским странам, оказалась востребованной закрытая модель проведения и формирования исторической политики, а либеральные стратегии подверглись маргинализации.

«Грузинская Демократическая Республика» в грузинской исторической политике как место памяти и изобретенная традиция. Особое место в современной исторической политике Грузии занимают интеллектуальные практики и стратегии, связанные с развитием образа Грузинской Демократической Республики. Если ранее проблемы, связанные с историей Грузинской Демократической Республики, актуализировались преимущественно академической историографией, в рамках которой, наряду с публикацией источников²⁴, затрагивались вопросы источниковедения²⁵, а также политической²⁶,

²⁴ კვინიტაძე გ. მოგონებები: საქართველოს დამოუკიდებლობის წლები, 1917–1921 / გ. კვინიტაძე. თბილისი: ლომისი, 1998. წ. 1. 280 გვ. [Kvinitadze G. mogonebebi: sak'art'velos damoukideblobis tslebi, 1917–1921. t'bilisi: lomisi, 1998. ts. 1 / Kvinitadze G. Воспоминания о годах независимости 1917–1921. Тбилиси: Ломиси, 1998. Т. 1]; ჟორდანია ნ. ჩემი წარსული: მოგონებანი / ნ. ჟორდანია. თბილისი: სარანგი, 1990. 136 გვ. [Zordania N. č'emī tsarsuli: mogonebani. t'bilisi: sarangi, 1990 / Жордания Н. Мое прошлое: воспоминания. Тбилиси: Саранги, 1990]; რამიშვილი ა. ჩვენი შიკაძომები. 1918–1921 / ა. რამიშვილი. თბილისი: მისამი ასაკი, 2000. 129 გვ. [ramišvili A. č'veni šets'domebi, 1918–1921. t'bilisi: mesame asaki, 2000 / Рамишвили А. Наши ошибки, 1918–1921. Тбилиси: Месаме акаки, 2000].

²⁵ ჟვანია გ. როგორ მზადდებოდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაცია: დოკუმენტები / გ. ჟვანია. თბილისი: სამშობლო, 1992. 77 გვ. [žvania G. rogor mzaddeboda sak'art'velos demokratiuli respublikis

дипломатической²⁷, и экономической²⁸ истории ГДР, то в 2010-е годы, в условиях выработки грузинской версии исторической политики

okupats'ia: dokumentebi. t'bilisi: samšoblo, 1992 / Жвания Г. Подготовка оккупации Грузинской Демократической Республики: документы. Тбилиси: Самшобло, 1992].

²⁶ ჭანტურია ნ. ეროვნული საბჭო და მისი ბრძოლა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენისა და განმტკიცებისათვის / ნ. ჭანტურია / რედ. ვახტანგ ჯანჯღაჯა. თბილისი: უნივერსალი, 2006. 182 გვ. [čanturia n. erovnuli sabčo da misi brdzola sak'art'velos sakhelmtsip'oebriobis aghdgenisa da ganmtkits'ebisat'vis / red. vakhtang džandžghava. t'bilisi: universali, 2006 / Чантурия Н. Национальный Совет и его борьба за укрепление государственности / ред. В. Джанджгава. Тбилиси: Универсали, 2006]; აბუთიძე ო. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. 1918–1921 / ო. აბუთიძე. თბილისი, 1991. 148 გვ. [abut'idze o. sak'art'velos demokratiuli respublika, 1918–1921 / t'bilisi, 1991 / Абутидзе О. Грузинская Демократическая Республика, 1918–1921. Тбилиси, 1991]; კუხალაშვილი დ. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაცემა და მისი მიზეზები / დ. კუხალაშვილი / რედ. ვ. ბენიძე. თბილისი: სსუს-ს აკადემია, 2003. 23 გვ. [kukhalašvili d. sak'art'velos demokratiuli respublikis dats'ema da misi mizezebi / red. v. benidze. t'bilisi: ssus-akademia, 2003 / Кухалашвили Д. Демократическая Республика в Грузии и причины ее падения / ред. В. Бенидзе. Тбилиси: ВЕВ академия, 2003]; ურუშაძე ლ. ბოლშევიზმ-მენშევიზმი და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918–1921) / ლ. ურუშაძე. - თბილისი: განათლება, 1991. 51 გვ. [urušadze l. bolševizm-menševizmi da sak'art'velos demokratiuli respublika (1918–1921). t'bilisi: ganat'leba, 1991 / Урушадзе Л. Большевизм-меньшевизм и Грузинская Демократическая Республика (1918–1921). Тбилиси: Ганатლება, 1991]; ბენდიანიშვილი ა. საქართველოს პირველი რესპუბლიკა (1918–1921 წწ.) / ა. ბენდიანიშვილი. თბილისი: მემატიანე, 2001. 366 გვ. [bendianišvili a. sak'art'velos pirveli respublika (1918–1921 tsts.). t'bilisi: mematiiane, 2001 / Бендианишвили А. Первая Грузинская Республика (1918–1921). Тбилиси: Мематиане, 2001].

²⁷ კუხალაშვილი დ. უცხო ქვეყნების მტრული საქმიანობა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ / დ. კუხალაშვილი / რედ. ვ. ბენიძე. თბილისი, 2002. 16 გვ. [kukhalašvili d. uts'kho k'veqnebis mtruli sak'mianoba sak'art'velos demokratiuli respublikis tsinaaghddeg / red.: v. benidze. t'bilisi. 2002 / Кухалашвили Д. Иностранные враждебные действия против Демократической Республики / ред. Е. Бенидзе. Тбилиси, 2002]; კირთაძე ნ. საქართველოს დამოუკიდებლობა და ქართულ-ევროპული ურთიერთობები / ნ. კირთაძე. თბილისი: საქართველო, 1997. 111 გვ. [kirt'adze n. sak'art'velos damoukidebloba da kartul-evropuli urt'iert'obebi. t'bilisi: sak'art'velo, 1997 / Киртадзе Н. Независимость Грузии и грузино-европейские отношения. Тбилиси: Сакартvelo, 1997]; კირთაძე ნ. ევროპა და დამოუკიდებელი საქართველო (1919–1923წწ) / ნ. კირთაძე. თბილისი: იეროპისა და ამერიკის ს.ა.ი. 1997. 271 გვ. [kirt'adze n. evropa da damoukidebeli sak'art'velo (1919–1923tsts). t'bilisi: evropisa da amerikis s.k. i. 1997 / Киртадзе Н. Европа и независимая Грузия (1918–1923). Тбилиси: Европиса და Америкის СКИ, 1997]; ჟვანია გ. ევროპა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა (1917–1925 წწ.) / გ. ჟვანია / რედ.

и начала сознательной, целенаправленной проработки прошлого, вопросы истории и наследия ГДР в контексте перспектив континуитета и дискретности оказались вне поля академической историографии, ментально мигрировав и переместившись в сферу внимания форматоров и теоретиков исторической политики.

В этом контексте академическая историография Грузинской Демократической Республики стала жертвой политических манипуляций историей, институционализированных в форме исторической политики. Нарративные образы Грузинской Демократической Республики в современной грузинской исторической памяти тесно связаны с общими представлениями о государственности. «История является представлением о прошлом, тесно связанным с выработкой идентичности в настоящий момент»²⁹. В интеллектуальной ситуации, связанной с изменением общих траекторий и векторов государственного строительства и политического развития, рефлексия грузинских интеллектуалов и политического класса о Грузинской Демократической Республике как Первой Республике, или как первой попытке внедрения в грузинский политический контекст формально демократических институтов, обращение к опыту ГДР является логичным, но это неизбежно создает условия для соответствующей проработки прошлого, превращая ГДР в объект исторической политики.

По мнению Дж. Фридмэна, «объективно история, как и любая другая история, пишется в определенном контексте и представляет собой проект определенного типа... история – конструкция в значительной степени мифическая в том смысле, что она являет собой

იგორ კვესელავა. თბილისი: სამშობლო, 1998. 153 გვ. [žvania g. evropa da sak'art'velos demokratiuli respublikis mt'avroba (1917–1925 ts.ts.) / red. igor kveselava. t'bilisi: samšoblo, 1998 / Жвания Г. Европа и Грузинская Демократическая Республика (1917–1925 гг.) / ред. И. Квеселав. Тбилиси: Самшобло, 1998. 153 с.]; შარაძე გ. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა და საგარეო პოლიტიკა / გ. შარაძე / რედ. კახა სიხარულიძე. თბილისი, 2003. 284 გვ. [šaradze g. sak'art'velos pirveli demokratiuli respublika da sagareo politika / red. kakha sikharulidze. t'bilisi, 2003 / Шарაძე Г. Первая Грузинская Демократическая Республика и ее внешняя политика / ред. К. Сихарулидзе. Тбилиси, 2003].

²⁸ დღვილავა მ. საქართველო-გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობა 1918 წელს / მ.ღვილავა. თბილისი, 1996. 24 გვ. [dghvilava m. sak'art'velo-germaniis ekonomikuri t'anamšromloba 1918 tsels. t'bilisi, 1996 / Дгвилава М. Грузино-немецкое экономическое сотрудничество в 1918 г. Тбилиси, 1996].

²⁹ Friedman J. Myth, History, and Political Identity // Cultural Anthropology. 1992. Vol. VII. P. 195.

представление о прошлом, связанное с утверждением идентичности в настоящем»³⁰. Мифичность истории была умело использована грузинскими теоретиками и идеологами исторической политики, которые понимали важность концепта «государственность» для исторической и политической идентичности, что фактически ничем не ограничивало их в проработке прошлого, особенно того его периода, который оказался связан с Грузинской Демократической Республикой. История, по мнению ряда авторов, «всегда использовалась для легитимации политических процессов и состояний»³¹.

Вероятно, именно в силу этого обстоятельства в рамках грузинской политики памяти государственность, с одной стороны, идеализируется, но, с другой, признается наличие крайне незначительного современного политического опыта: «несмотря на внушительную историю государственности, для нас часто бывает трудно признать, что мы имеем очень ограниченный опыт современной государственности. Как известно, современная нация-государство, главным образом, является феноменом XIX века и значительно отличается от феодального государства»³². Современная историческая политика Грузии направлена на последовательную идеализацию и мифологизацию Грузинской Демократической Республики, а ее существование воспринимается как «непродолжительный, но славный период грузинской истории»³³, когда Грузия контролировала и территории, потерянные в результате августовских событий 2008 года³⁴, что имеет принципиальное значение в контексте попыток грузинского полити-

³⁰ Friedman J. History, Political Identity and Myth // Lietuvos etnologija. Lithuanian Ethnology. Studies in Social Anthropology and Ethnology. 2001. No 1. P. 41, 43.

³¹ Куско А., Таки В. «Кто мы?» Исторический выбор: румынская нация или молдавская государственность // An Imperio. 2003. № 1. С. 485.

³² საქართველოსთვის წართმეული დემოკრატია [sak'art'velost'vis tsart'meuli demokratia / Возвращение грузинской демократии] // თაბულა. 2010. 31 მაისი.

³³ დენის მაკშეინი: საქართველოს სტალინისტების გადაცემით დაშვებულ შეცდომას ბრიტანეთი ახლა ასწორებს [denis makšeiini: sak'art'velost'vis gadats'emit' dašvebul šets'domas britanet'i akhla astsorebs / Денис Макшеини: Британия в настоящее время исправляет ошибки, допущенные Сталиным] // თაბულა. 2012. 8 მაისი.

³⁴ ენმ: ზაქარეიშვილის განცხადება სახიფათოა, ის იმეორებს რუსეთის შეთხზულ ლეგენდას [enm: zak'areišvilis gants'khadeba sakhip'at'oa, is imeorebs ruset'is šet'khzul legendas / ЕНД: Заявление Закареишвили является опасным, оно повторяет ложную русскую легенду] // თაბულა. 2015. 30 ნოემბერი.

ческого класса и интеллектуального сообщества использовать историю как один из аргументов в стремлении доказать и легитимизировать грузинские исторические права на отторгнутые территории.

Современная грузинская историческая политика, с одной стороны, основана на идеализации Грузинской Демократической Республики, которая воспринимается как «первая страна на периферии Европы, где в 1918 г., начались важные реформы»³⁵. С другой стороны, современная грузинская историческая политика основана на актуализации европейских восприятий Грузинской Демократической Республики³⁶, что свидетельствует о стремлении грузинских интеллектуалов картировать Грузию на ментальных воображаемых картах Европы. Кроме этого подчеркивается, что Церковь позитивно отнеслась к независимости³⁷, что можно воспринимать как попытку интегрировать религиозные нарративы в современные стратегии проработки прошлого и формирования исторической памяти, что немаловажно, если принять во внимание ту роль, которая принадлежит Церкви в современном грузинском обществе³⁸. Публичные грузинские политики стали активными участниками исторической политики памяти и периодически актуализируют проблемы исторического и политического наследия Грузинской Демократической Республики.

Тенденция включения политиков в число форматоров исторической политики и интерпретаторов исторических событий универ-

³⁵ ზვიადაური ი. ლიბერალური რეფორმები უნდა გაგრძელდეს / ი. ზვიადაური [zviadauri i. liberaluri rep'ormebi unda gagrdzeldes / Звидаური И. Либеральные реформы должны продолжаться] // თაბულა. 2013. 22 მარტი.

³⁶ საქართველო 1920-იანი წლების უცხოურ პრესაში [sak'art'velo 1920-iani tslebis uts'khour presaši / Грузия 1920-х гг. в зарубежной прессе] // თაბულა. 2010. 1 აგვისტო.

³⁷ რწმენა და ცრურწმენა [rtsmena da ts'rurtsmena / Вера и предубеждение]. [Электр. რესურს]. URL: <http://www.tabula.ge/ge/tablog/102717-rtsmena-da-crurtsmena>

³⁸ Кирчанов М.В. Церковь в политической жизни Грузии: проблемы, противоречия, перспективы // Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований. 2014. № 1–2. С. 94–100; Кирчанов М.В. Религиозные партии в Грузии: политические платформы и идеологические трансформации // Центральная Азия и Кавказ. 2014. № 2. С. 106–112; Kirchanov M. The Church in Georgia's political life: problems, contradictions, and prospects // The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. 2014. Vol. 8. No 1–2. P. 85–90; Kirchanov M. Religious parties in Georgia: political platforms and ideological transformations // Central Asia and Caucasus. Journal of Social and Political Studies. 2014. Vol. 15. No 2. P. 94–100.

сальна, так как «власти неоднократно искали в новой версии прошлого легитимизации своих начинаний. Новая версия истории должна была воспитывать общество в духе восхищения перед властью и одобрения её действий, а совершенство правителей должна была доказывать усовершенствованная версия истории»³⁹. Грузинская ситуация отличается значительным диапазоном мнений относительно прошлого, авторство которых принадлежит политикам самого разного ранга. Тина Хидашели, например, декларативно заявляла, что «первая грузинская республика была демократическим государством, о котором мечтали многие поколения... даже в условиях оккупации она была эталоном для нас... в двадцатом веке грузинская политическая и военная элита единодушно заявили, что эта страна – Грузинская Демократическая Республика, которая основана на правах человека, свободе, равенстве»⁴⁰.

Образы ГДР, таким образом, принадлежат к числу системообразующих в современном грузинском историческом дискурсе, а исторический дискурс, по мнению ряда авторов, «нередко призван показать политическую независимость как возвращение к истокам»⁴¹. Современная грузинская историческая политика в той ее части, которая касается проработки прошлого в контексте истории ГДР, основана на идее континуитета и дискретного восприятия советского периода. В этой интеллектуальной ситуации представители грузинской политической элиты⁴² периодически вынуждены актуализировать образы ГДР как центральные и системообразующие для развития грузинской государственности. В историческую политику в Грузии активно вовлечены средства массовой информации, которые прини-

³⁹ Михник А. Историческая политика: российский вариант // Родина. 2006. № 6. [Электр. ресурс]. URL: http://istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1906&n=99

⁴⁰ ხიდაშელი: ყოველ 26 მაისს ყველანი ერთად ვეტყვიან არას ოკუპაციას [hidašeli: qovel 26 maiss qvelani ert'ad vetqvit' aras okupats'ias / Хидашели: 26 мая мы все вместе должны сказать «нет» оккупации]. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tabula.ge/ge/verbatim/108090-xidasheli-kovel-26-maiss-kvelani-ertad-vetkvit-aras-okupacias>

⁴¹ Ларюэль М., Пейруз С. Русские на Алтае: историческая память и национальное самосознание в Казахстане // Ab Imperio. 2004. No 1. С. 439.

⁴² პრემიერი: ვალდებული ვართ, გააფორმებოდეთ ჩვენის დამოუკიდებლობას [premeri: valdebuli vart', gavup'rt'khildet' k'veqnis damoukideblobas / Премьер-министр: мы обязаны защитить независимость страны] // თაბულა. 2015. 26 მაისი.

мают активное участие в идеализации политического опыта Первой Республики. грузинские СМИ развивают нарративы о том, что «26 мая 1918 года Национальный совет объявил о рождении нового мира. Первая Республика была событием, которое имело эпохальное значение»⁴³ потому, что ГДР «имела конституцию, парламентскую систему, свободную прессу, проводила выборы»⁴⁴. В современной грузинской исторической политике особое внимание уделяется тому, что Конституция 1921 года была очень прогрессивной для своего времени, так как предоставляла право голоса женщинам, отделяла Церковь от государства⁴⁵. Грузинские интеллектуалы предлагают такую модель исторической политики, которая воображает ГДР как первое современное грузинское государство, где возникли необходимые политические институты.

«Изобретенные традиции» и воображаемый континуитет. Концепт «независимость» как изобретенная традиция в современной Грузии апеллирует к исторической преемственности с Грузинской Демократической Республикой⁴⁶, которая воспринимается как прародина современного политического опыта и политических институтов⁴⁷. 1918 год в контексте «изобретенной традиции» независимости фигурирует в грузинском историческом воображении как символическая и сакральная дата, когда «в Грузию пришла свобода»⁴⁸. В этом

⁴³ 26 მაისიდან 25 თებერვლამდე [26 maisidan 25 t'ebervlamde / От 26 мая к 25 февраля] // თაბულა. 2010. 24 მაისი.

⁴⁴ თეორემა: ქართული პოლიტიკური კულტურა [t'eorema: k'art'uli politikuri kultura / Теорема: грузинская политическая культура]. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tabula.ge/ge/tv/teorema/83692-qartuli-politikuri-kultura>

⁴⁵ საქართველოში 1921 წლის კონსტიტუციის მიღების დღეს აღნიშნავენ [sak'art'veloši 1921 tslis konstituts'iis mighebis dghes aghnišnaven / День Конституции 1921 года в Грузии] // თაბულა. 2014. 21 თებერვალი.

⁴⁶ დამოუკიდებლობის დღე - მზადება 26 მაისისთვის და დაგეგმილი ღონისძიებები [damoukideblobis dghes - mzadeba 26 maisist'vis da dagegmili ghonisdziebebi / День независимости – подготовка событий, запланированных к 26 мая]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=69023>

⁴⁷ თეორემა: 98 წელი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან [t'eorema: 98 tseli damoukideblobis gamots'khadebidan / Теорема: 98 лет провозглашения независимости]. [Электр. ресурс]. <http://www.tabula.ge/ge/tv/teorema/108165-98-tseli-damoukideblobis-gamots'khadebidan>

⁴⁸ 1991–2010 დამოუკიდებლობის 19 წელი [1991–2010 damoukideblobis 19 tseli / 1991–2010: 19 лет независимости]. – <http://www.tabula.ge/ge/story/52379-1991-21-damoukideblobis-19-tseli>

контексте становится очевидным символический пласт «изобретаемых традиций», поскольку они представляют собой попытку актуализировать как исторический опыт, так и преемственность между различными формами грузинской государственности.

«Изобретенные традиции» представляют собой в значительной степени искусственные и современные новообразования, так как в стремлении современных грузинских интеллектуалов доказать континуитет между Грузинской Демократической Республикой и современной Грузией заметна попытка трансплантации и навязывания современных политических ценностей и коллективных представлений отдаленному прошлому. Поэтому в национальном воображении эта изобретенная традиция подвергается легитимации при помощи преимущественно символических и сакральных форм.

Концепт «советская оккупация» в грузинской исторической политике. Помимо Грузинской Демократической Республики в исторической политике Грузии особую роль играют стратегии, направленные на формирование коллективных представлений о советской оккупации. Польский историк Р. Траба полагает, что «когда “пишется” коллективная память, она отражает определенную политическую и общественную конъюнктуру, а не только повествует о давно минувших событиях»⁴⁹. Восприятие проблемы «оккупации» и стратегии работы с прошлым в этом направлении в современной Грузии актуализируют взаимосвязи и взаимозависимости между академической историографией и политическими манипуляциями историей.

Историческая политика в современной Грузии построена на отрижении и отрицании российского и советского исторического и политического опыта, который вообразается и описывается в категориях империи, наделяемой негативными политическими качествами и характеристиками. Грузия, как и другие постсоветские страны, мучительно переживали процесс «деимпериализации», определенный З.Е. Когутом, как «приспособление исторических схем и интеллектуальных концепций к факту распада империи»⁵⁰. В этом контексте грузинским интеллектуалам, вероятно, было несколько легче, так как распад СССР позволил актуализировать историю собственной

⁴⁹ Траба Р. Польские споры об истории. – С. 52.

⁵⁰ Когут З.Є. Історія як поле битви. Російсько-українські відносини та історична свідомість у сучасній Україні // Когут З.Є. Коріння ідентичності. Студії в ранньомодерній та модерній історії України. Київ, 2004. С. 218.

государственной традиции как альтернативы воображаемой «советской империи». Крах коммунизма в Грузии «представлял собой дезинтеграцию официальной коллективной памяти и артикуляцию ее многочисленных неофициальных нарративов»⁵¹, а самым неофициальным и опасным в советский период был нарратив об оккупации Грузии Советской Россией. При этом грузинскими авторами признается, что «советское наследие имеет глубокие корни в Грузии»⁵².

Для грузинской исторической политики характерен антиимперский нарратив, и поэтому грузинские СМИ, привлеченные к проработке исторической памяти, не упускают случая упомянуть, что «первая мировая война положила конец существованию Российской Империи», которая не смогла пережить конкуренции с «центробежными силами национализма»⁵³. В рамках стратегии деимпериализации формируется непривлекательный образ России, основанный на воспоминании преимущественно негативных моментов российской истории в кавказском контексте⁵⁴, как страны склонной к агрессивной внешней политике, территориальному ревизионизму⁵⁵ и ответственной за депортации и принудительные миграции населения, которое не принимало политику Российской Империи. В этом контексте грузинская историческая политика актуализирует проблемы и возможности деимпериализации интеллектуального пространства.

Комментируя подобные процессы, А. Миллер подчеркивает, что «тема империи – это прежде всего про реальную политику, это про то, как реально устроена история. И если мы шарахаемся в одну сторону – империя только плохая, ничего хорошего там не было, – то мы входим в состояние полной энтропии»⁵⁶. В такой ситуации со-

⁵¹ Аўтუჯიტ ჯ., რეი ლ. მადერნაწყ, პამაწყ ი პოსტკამუნიზმ // პალიტყნა სფერა. 2006. № 6. С.29.

⁵² ისტორია, რომელიც უნდა გვახსოვდეს [istoria, romelits' unda gvakhsovdes / История. Дни, которые надо помнить] // თაბულა. 2010. 27 ნოემბერი

⁵³ 26 მაისიდან 25 თებერვლამდე [26 maisidan 25 t'ebervlamde / От 26 мая к 25 февраля] // თაბულა. 2010. 24 მაისი.

⁵⁴ ომი დასასრულის გარეშე [omi dasasrulis gareshe / Война без конца] // თაბულა. 2012. 3 მარტი.

⁵⁵ გელავა ს. რუსული ომის ახალი მითოლოგია და მათი გავლენა საქართველოზე [gelava s. rusuli omis akhali met'odebi da mat'i gavlena sak'art'veloze / Желавა С. Новые методы войны России и их влияние на Грузию] // თაბულა. 2014. 18 ივნისი.

⁵⁶ Европейские войны памяти: кто взорвал консенсус истории и чем за это заплатит. Что такое «историческая политика» и чем опасно превращение исто-

вершено естественно негативные современные стереотипы активно транслируются на факты прорабатываемого и воображаемого прошлого. Одним из центральных нарративов в стратегии работы с прошлым в Грузии стала идея, что в 1921 г. Советская Россия напала на Грузию⁵⁷, а Российская Федерация, как преемник СССР, незаконно занимает грузинские территории. В этом плане не должно вызывать удивления, что современная грузинская историческая память активно использует негативные образы России, актуализируя то, что «с 1921 по 1954 год было расстреляно 200 тысяч человек... Грузия с ее населением в три миллиона потеряла десятую часть населения»⁵⁸.

Независимость как изобретенная традиция: гражданские основания. Концепт «независимость» в современном информационном грузинском дискурсе имеет устойчивые коннотации с европейскими идеями⁵⁹ и устремлениями политических и интеллектуальных классов, которые склонны к масштабным попыткам исторической коммеморации и продвижения независимости как изобретенной традиции. Современные грузинские авторы⁶⁰, культивируя изобретенную традицию независимости стремятся сравнивать политический опыт Грузии с теми постсоветскими странами, которые достигли больших успехов в европейской интеграции. Концепт «независимость» как «изобретаемая традиция» в современном политическом воображении Грузии часто соотносится с также изобретаемой традицией культурного и политического европеизма.

რივ в политический инструмент // Новая газета. 2015. № 57 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.novayagazeta.ru/politics/68655.html>

⁵⁷ ისტორიის ორი ტრაგიკული თარიღი [istoriis ori tragikuli t'arighi / Две трагические исторические даты] // თაბულა. 2010. 26 ოქტომბერი.

⁵⁸ საქართველოსთვის წართმეული დემოკრატია [sak'art'velost'vis tsart'meuli demokratia / Возвращение грузинской демократии] // თაბულა. 2010. 31 მაისი.

⁵⁹ დამოუკიდებლობის დღე – სხვადასხვა უწყებების სტენდები და საზეიმო ღონისძიებები ქვეყნის მთავარ გამზირზე [damoukideblobis dghe – shvadaskhva utsqebebis stendebi da sazeimo ghonisdziebebi k'veqnis mt'avar gamzirze / День независимости – различные учреждения главного проспекта стали трибуной для праздничных мероприятий]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=69912>

⁶⁰ ნონიაშვილი გ. დამოუკიდებლობა, როგორც მსხვერპლმწიფი / გ. ნონიაშვილი [noniašvili g. damoukidebloba, rogorc mskhverplshetsirva / Нониашвили Г. Независимость как жертва]. – <http://www.tabula.ge/ge/story/108101-damoukidebloba-rogorc-msxverplshetsirva>

В 2015 г. День независимости был ознаменован театрализованным концертом “მამული 2015”⁶¹, который был призван актуализировать непрерывность политического, языкового, культурного и исторического развития Грузии, преемственность различных поколений грузинской нации. В 2016 г. была предпринята попытка актуализировать традицию независимости радикальным образом, когда канал «Имеди» выпустил ролик, где представители различных возрастных, национальных, религиозных и этнических групп поздравляют Грузию с Днем независимости⁶², что стало попыткой актуализировать идеи грузинской гражданской политической нации, для которых независимость является одинаково важной и значимой «изобретенной традицией» и общей коллективной ценностью. «Независимость» как «изобретаемая традиция» активно использует и новые технологии: в частности, в 2015 г. компания Google представила для грузинских пользователей дудл⁶³, посвященный Дню независимости.

Изобретаемая традиция «независимость» активно содействует актуализации и других новых политических изобретаемых традиций, которые содействуют актуализации и визуализации национальных и государственных символов, например – грузинского флага⁶⁴. Послед-

⁶¹ "მამული 2015" – ქორეოგრაფიული კონცერტი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა ["mamuli 2015" – k'oreograp'iuli konts'erti sak'art'velos damoukideblobis dghes miedzghvna / «Родина 2015» – хореографический концерт ко Дню независимости]. – <http://www.imedi.ge/index.php?pg=nws&id=49962&tp=2>

⁶² იმედი გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს [imedi gilots'avt' damoukideblobis dghes / «Имеди» поздравляет с Днем независимости]. – <http://www.imedi.ge/index.php?pg=nws&id=69829>

⁶³ როგორ მიულოცა კომპანია Google-მა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე [rogor miulots'a kompania Google-ma sak'art'velos damoukideblobis dghe / Как компания Google поздравила с Днем независимости]. – <http://www.imedi.ge/index.php?pg=nws&id=50027&tp=2>; Google-ო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს [Google-i sak'art'velos damoukideblobis dghes ulots'avts / Google поздравила Грузию с Днем независимости]. – <http://www.tabula.ge/ge/story/96548-google-i-saqartvelos-damoukideblobis-dgheg-ulocavs>; დამოუკიდებლობის დღეს ქართველ ხალხს Google ულოცავს [damoukideblobis dghes k'art'vel khalkhs Google ulots'avts / Google поздравляет грузинский народ с Днем независимости]. – <http://www.imedi.ge/index.php?pg=nws&id=50032&tp=2>

⁶⁴ დამოუკიდებლობის დღე - რამდენიმე ქვიანაში ღიშესანიშნაობები საქართველოს დროშის ფერებში გაანათეს [damoukideblobis dghe – ramdenime k'veqanaši ghishesanišnaobebi sak'art'velos drošis p'erebši gaanat'es / День незави-

ние могут быть отнесены к изобретаемым политическим традициям, актуализирующим визуальные, символические или сакральные уровни и измерения грузинской национальной идентичности. Концепт «независимость» в информационном дискурсе «Имеди» воображается как общенациональное грузинское явление⁶⁵, символически и сакрально локализованное, в том числе, и на Проспекте Руставели⁶⁶, что содействует локализации «независимости» как изобретенной традиции в сакральном пространстве грузинской столицы, а также укреплению коллективных представлений о Проспекте Руставели как коллективном «месте памяти».

Изобретаемая традиция «независимость» содействует актуализации коллективных представлений о пантеоне отцов-основателей грузинской современной политической нации, в число которых вошел активист национального движения советского периода Мераб Костава⁶⁷. В этом контексте изобретаемая традиция «независимость» в форме политического ритуала – Дня независимости – содействует национальной коммеморации, выступая в качестве стимула исторической и политической памяти. Изобретенная традиция «независимости» актуализируется в контексте нарративов, призванных опи-

симости – несколько туристических достопримечательностей были окрашены в цвета национального флага]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=69910>

⁶⁵ როგორ აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის დღეს ბათუმში? [rogor aghnišnaven damoukideblobis dghes bat'umsi? / Как отпраздновать День независимости в Батуми?]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=31115&tp=2>; დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გორში კონკრეტული გაიხსნა [damoukideblobis dghisadmi midzghvnili ghonisdziebebi gorshi konts'ertit' gaikhsna / День независимости отметили в Гори]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=31118&tp=2>; დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ქუთაისში [damoukideblobis dghisadmi midzghvnili ghonisdziebebi k'ut'aishhi / События, приуроченные к Дню независимости в Кутаиси]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=31114&tp=2>; დამოუკიდებლობის დღე - საზეიმო ღონისძიებები რეგიონებში [damoukideblobis dghes - sazeimo ghonisdziebebi regionebsi / День независимости – торжественные мероприятия в регионах]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=69909>

⁶⁶ დამოუკიდებლობის დღე – საზეიმო გალა-კონცერტი რუსთაველის გამზირზე [damoukideblobis dghes - sazeimo gala-konts'erti rust'avelis gamzirze / День независимости – гала-концерт на Проспекте Руставели]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=69905>

⁶⁷ დამოუკიდებლობის დღე – მერაბ კოსტავას ხსოვნას პატივი მიაგოს [damoukideblobis dghes - merab kostavas khsovnas pativi miages / День независимости: память Мераба Коставы]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=69900>

сать и доказать историческую и политическую преемственность грузинской государственности.

Стратегии инструментализации «большого нарратива» – 1: День советской оккупации. В рамках современной исторической политики в Грузии развивается культ Дня советской оккупации (25 февраля), которому придается сакральное и символическое значение в контексте тех потерь и жертв, которые понесла грузинская государственность. Первые меры грузинской исторической политики в отношении советского периода были предприняты в 2010 г., когда Парламент Грузии принял постановление «О советской оккупации». «Постановление» декларировало, что начиная «с 26 мая 1918 года после восстановления суверенитета Грузинской Демократической Республики Советская Россия начал деятельность, направленную на оккупацию и установление советской власти в стране, для чего делалось следующее: с января 1921 года Советская Россия нарушала Московское соглашение от 7 мая 1920 года, в котором безоговорочно была признана независимость Грузии, ее суверенитет и невмешательство во внутренние дела; 25 февраля 1921 года Красная Армия России захватила Тбилиси и свергла правительство Грузии, которое было избрано на основе свободных и всеобщих выборов, в результате чего субъект международного права – демократическая республика – был подвергнут аннексии... С 1991 года, после восстановления независимости и распада Советского Союза как советской империи – Российская Федерация до сих пор не признает факт оккупации... В 1990-е годы РФ спонсировала вооруженные конфликты на территории Грузии, при ее поддержке и непосредственном участии были проведены этнические чистки в Автономной Республике Абхазии и бывшей Юго-Осетинской автономной области... в силу того, что Россия не приемлет демократическое развитие она не прекратила военное вмешательство в 2008 году, когда Автономная Республика Абхазия и бывшая Юго-Осетинская автономная область были подвергнуты оккупации и второй волне этнической чистки. 25 февраля является днем аннексии и оккупации поскольку Россия продолжает оккупировать часть грузинской территории. Поэтому Парламент Грузии объявляет 25 февраля как День советской оккупации»⁶⁸.

⁶⁸ საქართველოს პარლამენტის დადგენილება. «საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის შესახებ» [sak'art'velos parlamentis dadgenileb. "sak'art'velos sabcota

«День советской оккупации» в современной исторической политике представляет собой попытку инструментализации концептов «Грузинская Демократическая Республика» и «советская оккупация» как изобретенных традиций. 25 февраля в современной грузинской исторической памяти фигурирует как «один из самых трагических дней»⁶⁹ в истории Грузии. В формирование коллективных представлений о 25 февраля в исторической памяти активно участвуют и высшие государственные лица. А. Миллер полагает, что «о политизации истории можно говорить и в том случае, когда политики используют “исторические” аргументы в своих выступлениях. Это явление также распространено повсеместно и, по всей видимости, неистребимо»⁷⁰. Например, президент Грузии 25 февраля 2014 г. выступил с заявлением, в котором подчеркивалось: «мы пришли сегодня сюда, чтобы с грустью почтить память тех, кто в нашей стране боролись за независимость... это – пример мужества и проявление способности постоянно защищать нашу маленькую страну перед лицом мощной агрессивной империи, которая исторически постоянно нападала»⁷¹.

Спустя два года премьер-министр Гиорги Квирикашвили, комментируя роль Дня оккупации, определил другой вектор исторической политики в Грузии, связанный одновременно с актуализацией роли-жертвы и страны-победителя, которая смогла сохранить независимость в условиях европейского выбора, сделанного ее политическими элитами: «сегодня День советской оккупации... день, когда многие проявили героизм... и хотя эта борьба привела к потерям, сейчас мы обладаем суверенитетом... сегодня развивается грузинский флаг и мы можем принимать наши решения»⁷². День советской

okupats'iis šesakheb” / Постановление Парламента Грузии «О советской оккупации». [Электр. ресурс]. URL: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1020464>

⁶⁹ პარლამენტის ყოფილ და ახლანდელ შენობებზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა დაუმჯეს [parlamentis qop'il da akhlandel shenobebze sak'art'velos sakhelmtsip'o drosha daushves / Государственные флаги были подняты на бывшем и современном зданиях парламента] // თაბულა. 2014. 25 თებერვალი.

⁷⁰ Миллер А. Россия: власть и история. С. 7.

⁷¹ პრეზიდენტი: სამშობლოს ყოველთვის მცირერიცხოვანი გმირების ბრძოლით ვიცავდით [prezidenti: samšoblos qovelt'vis mts'irerits'khovani gmirebis brdzolit' vits'avdit' / Президент: Небольшая страна – это всегда герой в борьбе и обороне] // თაბულა. 2014. 25 თებერვალი.

⁷² პრემიერი: საქართველოს სუვერენიტეტის შენარჩუნებისთვის ომი მოგებულა [premeri: sak'art'velos suverenitetis shenarch'unek'ist'vis omi mogebulia

оккупации в инструментарии современной грузинской исторической политики имеет преимущественно политические и идеологические коннотации, будучи связанным с гражданским национализмом.

Поэтому историческая политика в современной Грузии предлагает и формирует националистический дискурс, но этот национализм является преимущественно гражданским, что актуализирует значительный потенциал грузинского общества, которое не допустило этнизации исторической политики. В этом контексте 25 февраля вообразается как изобретенная традиция, которая призвана актуализировать измерения жертвенности грузинской национальной истории. Грузинские СМИ, которые активно принимают участие в формировании исторической памяти, культивируют нарративы, согласно которым 25 февраля 1921 г. стало днем, когда «советская армия вторглась в независимую и свободную Грузию»⁷³, что привело к потере независимости, актуализировав тем самым дискретный характер развития современной грузинской государственности.

Публичные политики как обслуживающий персонал «изобретенных традиций». Грузинские политики периодически актуализируют концепт «независимость», содействуя укреплению и функционированию «независимости» как изобретенной традиции: в частности, заместитель премьер-министра Г. Каладзе 26 мая 2016 г. заявлял: «мы прошли трудный путь к независимости, очень долгий путь, и это было очень трудно восстановить свободу. В эту битву была вовлечена вся Грузия, сегодня наша страна является независимой, наша страна свободна, каждый гражданин свободен. Это очень важно для независимости и свободы продолжать работать для людей, которые имеют государственное мышление»⁷⁴. В 2016 г. Гиорги

/ Премьер-министр: Грузия выиграла войну за сохранение суверенитета]. URL: <http://www.tabula.ge/ge/verbatim/104986-premieri-saqartvelos-suverenitetis-shenarchunebistvis-omi-mogebulia>

⁷³ გასაბჭოების დღესთან დაკავშირებით, ოკუპაციის მუზეუმში ღონისძიება გაიმართა [gasab'oebis dghest'an dakav'shirebit', okupats'iis muzeumshi ghonisdzieba gaimart'a / В День советизации было проведено мероприятие в Музее оккупации] // თავულა. 2014. 25 თებერვალი.

⁷⁴ კალაძე: ძალიან მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობის, თავისუფლების შენარჩუნება [kaladze: dzalian mnishvnelovania damoukideblobis, t'avisup'lebis shenar'c'neba / Каладзе: Это очень важно для независимости, свободы]. – <http://www.tabula.ge/ge/verbatim/108092-kaladze-dzalian-mnishvnelovania-damoukideblobis-tavisuflebis-shenarchuneba>

Квирикашвили указывал на символическую роль независимости потому, что «мы построили нашу государственность и провозгласили цели, вокруг которых объединили нацию... мы – небольшое государство, и единственное, что нас спасает – это единство»⁷⁵.

Двумя годами ранее президент Гиорги Маргвелашвили декларировал, что «нет свободы без независимости... свобода страны – это сумма свобод ее граждан»⁷⁶, а премьер-министр Иракли Гарибашвили подчеркивал, что «день независимости – это одна из самых важных дат в нашей истории, это тот день, когда 96 лет назад история принесла свободу в нашу страну»⁷⁷.

В 2015 г. президент Грузии определил независимость как своеобразную квинтэссенцию «многовековой истории государства»⁷⁸. А премьер-министр, комментируя роль независимости, настаивал, что «наша страна является независимым и суверенным государством, самым большим достижением наших предков, наших людей, которые заплатили за это своей кровью. Мы все должны сохранять и защищать победу... защитить то, ради чего мы боролись в течение многих столетий... мы должны заботиться о нашей стране ради ее лучшего будущего. Сегодня наша страна находится на пути демократического развития... это – единственное грузинское государство, которое развивается в правильном направлении, которое приведет к единой европейской семье. Сегодня мы можем сказать, что мы гораздо ближе к конечной цели, чем когда-либо... Я уверен, что

⁷⁵ პრემიერი: საბოლოო ჯამში, საქართველომ ღირსეულად გაიარა ეს 25 წელი [premieri: saboloo jamshi, sak'art'velom ghirseulad gaiara es 25 tseli / Премьер-министр: потребовалось 25 лет...]. – <http://www.tabula.ge/ge/verbatim/108096-premeri-saboloo-jamshi-saqartvelom-ghirseulad-gaiara-es-25-tseli>

⁷⁶ პრეზიდენტი: ქვეყნის თავისუფლება არის თითოეული მოქალაქის თავისუფლებათა ჯამი [prezidenti: k'veqnis t'avisup'leba aris t'it'oeuli mok'alak'is t'avisup'lebat'a jami / Президент: свобода каждого гражданина есть сумма свобод других]. – <http://www.tabula.ge/ge/story/83618-prezidenti-qveknis-tavisufleba-aris-titoeli-moqalaqis-tavisuflebata-jami>

⁷⁷ ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯარისკაცებს 26 მაისი მიულოცა [irakli gharibashvilma jariskats'ebs 26 maisi miulots'a / Иракли Гарибашვილი поздравил с Днем независимости]. – <http://www.tabula.ge/ge/story/83621-irakli-gharibashvilma-jariskacebs-26-maisi-miuloca>

⁷⁸ პრეზიდენტი: დღეს მომავალ გამარჯვებებსაც ვზეიმობთ [prezidenti: dghes momaval gamarjvebsats' vzeimobt' / Президент: Сегодня мы отмечаем победы...]. <http://www.tabula.ge/ge/story/96556-prezidenti-dghes-momaval-gamarjvebsac-vzeimobt>

мы будем строить сильное государство, которое будет одинаково привлекательным для грузин, абхазов, осетин и всех народов и этнических групп, проживающих в нашей стране. Я считаю, что Грузия будет единой и наши абхазские и осетинские братья будут жить вместе с нами в едином, сильном грузинском государстве, которое займет достойное место среди развитых и демократических стран»⁷⁹.

Уполномоченный по правам человека Уча Нануашвили определил 26 мая как «символ свободы и независимости страны»⁸⁰. Министр культуры Михаил Гиоргадзе в 2016 г. в День независимости подчеркивал важность «сохранения достижений двадцати пяти лет» и необходимость «развития государственности»⁸¹. В целом, в политическом дискурсе Грузии «изобретенная традиция» независимости в значительной степени идеализируется, воспринимаясь как «праздник гордости»⁸². Тема независимости активно используется национальными грузинскими партиями, которые обслуживают изобретенную традицию «независимость». В частности, ЕНД в 2016 г. выступило с заявлением, посвященным очередной годовщине грузинской независимости, где подчеркивалось, что «98 лет назад, Национальный совет после 117-летнего российского господства провозгласил Грузию Демократической Республикой 26 мая 1918 года, что является важным символом... в течение краткого периода свободы Грузинская Демократическая Республика смогла создать рабочие

⁷⁹ პრემიერი: ვალდებულო ვართ, გაავრცობილოდით ქვეყნის დამოუკიდებლობას [premeri: valdebuli vart', gavup'rt'khildet' k'veqnis damoukideblobas / Премьер-министр: мы должны защитить независимость страны]. – <http://www.tabula.ge/ge/story/96545-premeri-valdebuli-vart-gavufirtxildet-qveknisdamoukideblobas>

⁸⁰ ომბუდსმენი: 26 მაისი ქვეყნის თავისუფლების სიმბოლოა [ombudsmeni: 26 maisi k'veqnis t'avisup'lebis simboloa / Уполномоченный по правам человека: 26 мая – символ свободы страны]. – <http://www.tabula.ge/ge/story/83607-ombudsmeni-26-maisi-qveknis-tavisuflebis-simboloa>

⁸¹ გიორგაძე: დღევანდელი დღი არის სწავლილი და ვალდებულება, რომ განვავითაროთ ქვეყანა [giorgadze: dghevandeli dghe aris stimuli da valdebuleba, rom ganvavit'arot' k'veqana / Гиоргадзе: Этот день является стимулом для развития страны]. – <http://www.tabula.ge/ge/verbatim/108095-giorgadze-dghevandeli-dghe-aris-stimuli-da-valdebuleba-rom-ganvavitarot-qvekana>

⁸² ხადური: დამოუკიდებლობა არის სიამყის დღესასწაული [khaduri: damoukidebloba aris siamaqis dghesastsauli / Хадური: независимость – праздник гордости]. – <http://www.tabula.ge/ge/verbatim/108094-xaduri-damoukidebloba-aris-siamakis-dghesastsauli>

демократические институты – напрямую избранный парламент, многопартийность, суд присяжных, вооруженные силы, Центральный банк... Грузия также получила международное признание и стала полноправным субъектом международного права. Успех на пути независимости был остановлен Советской Россией в 1921 году, когда было совершено вероломное нападение... независимость и суверенитет – величайшие достижения народа»⁸³.

Стратегии инструментализации «большого нарратива» – 2: Музей советской оккупации. Второй формой инструментализации коллективных представлений, выработанных в рамках современной грузинской исторической политики, следует признать попытки локализации исторической памяти о советском прошлом в форме институционализации Музея советской оккупации как реального и символического «места памяти», которому в проработке прошлого отводится роль актуализации как нарратива («советская оккупация»), так и события («День советской оккупации»). Развитие исторической памяти в форме ее музеефикации протекает одновременно с академическими штудиями⁸⁴ советского периода в истории Грузии, выдержанными в рамках воображения и изобретения пространства.

Особое внимание в такой интеллектуальной ситуации уделялось попыткам актуализации в исторической и политической памяти моментов невинных жертв⁸⁵, которые понесла грузинская нация в со-

⁸³ ენმ: დამოუკიდებლობის შენარჩუნება მხოლოდ ერთიანობით არის შესაძლებელი [enm: damoukideblobis šenarch'üneba mkholod ert'ianobit' aris šesadzlebeli / ЕНД: только в единстве возможно сохранить независимость]. – <http://www.tabula.ge/ge/story/108086-enm-damoukideblobis-shenarchuneba-mxolod-ertianobit-aris-shesadzlebeli>

⁸⁴ ზეორორის ტოპოგრაფია: საბჭოთა თბილისი / რედ. ნინო ლეჟავა, ლაშა ბაქრაძე. თბილისი, 2011. 184 გვ. [teroris topograp'ia: sabčot'a t'bilisi / red.: nino ležava, laša bak'radze. t'bilisi, 2011 / Топография террора: советский Тбилиси / ред. Нино Лежава, Лаша Баκραдзе. Тбилиси, 2011].

⁸⁵ ბეთანელი ჯ. განცდილი და გადატანილი: რეპრესირებული ბავშვები 1952 წ. თბილისი: მერანი, 1989. 136 გვ. [bet'aneli j. gants'dili da gadatanili: represirebuli bavšvebi 1952 ts. t'bilisi: merani, 1989 / Бетанели Д. Пострадавшие и перенесшие: репрессии против детей в 1952 г. Тбилиси: Мерани, 1989]; ხარჩილავა ვ. სისხლიანი ქრონიკები. თბილისი: მერანი, 1989. 160 გვ. [kharč'ilava v. siskhliani k'ronikebi. t'bilisi: merani, 1989 / Харчилава В. Чертовы хроники. Тбилиси: Мерани, 1989]; ლიპარტილიანი გ. სტალინიანი. თბილისი: მერანი, 1990. 82 გვ. [liparteliani g. stalini. t'bilisi: merani, 1990 / Липартелиани Г. Сталинец. Тбилиси: Мерани, 1990]; მგალობლიშვილი მ. 1937:

ветский период. К началу XXI века историография, основанная на воспроизводстве исторической памяти в форме текстов, вероятно, перестала удовлетворять политические элиты, что привело к утверждению новых форм проработки прошлого, одной из которых и стало

რეპრესირებული მოგონებები / რედ. ბ. შაჩაძე. თბილისი: მერანი, 1990. 80 გვ. [mgaloblišvili m. 1937: represirebulis mogonebebi / red.: n. šataidze. t'bilisi: merani, 1990 / Мгалобишвили М. 1937: вытесненные воспоминания / ред. Н. Шатаидзе. Тбилиси: Мерани, 1990]; ყენია ი. შიშის აჩრდილოკვეშ 1937: მოგონებები / რედ. მანანა სანადირაძე. თბილისი: მერანი, 1990. 175 გვ. [qenia i. šišis ač'rdilk'veš 1937: mogonebebi / red. manana sanadiradze. t'bilisi: merani, 1990 / Кения И. 1937: тень страха. Воспоминания / ред. М. Санадирадзе. Тбилиси: Мерани, 1990]; დაუშვილი ა. თბილისი 1937: მასობრივი რეპრესიები თბილისის სამრეწვ. შრომით კოლექტივებში. თბილისი: კეგელი, 1997. 188 გვ. [daušvili a. t'bilisi 1937: masobrivi represiebi t'bilisis samretsv. šromit' kolek'tivebshi / red. m. samsonadze. t'bilisi: kegeli, 1997 / Даушвили А. 1937: массовые репрессии в трудовых коллективах / ред. М. Самсонадзе. Тбилиси: Кегели, 1997]; კუჭავა მ. ლავრენტი ბერიას და მის თანამზრახველთა სასამართლო პროცესი. თბილისი: ინტელექტი, 1996. 64 გვ. [kučava m. lavrenti berias da mis t'anamzrakhvelt'a sasamt'lo prots'esi. t'bilisi: intelek'ti. 1996 / Кучава М. Суд над Лаврентием Берией и его сообщниками. Тбилиси: Интеллекти, 1996]; მჭედლური დ. ლავრენტი ბერიას მთავარი დანაშაული / რედ. ელა გოჩიაშვილი. თბილისი: გულანი, 1992. 63 გვ. [mčedluri d. lavrenti berias mt'avari današauli / red. ela goch'iašvili. t'bilisi: gulani. 1992 / Мчедლური Д. Главное преступление Лаврентия Берии / ред. Э. Гочиашвили. Тбилиси: Гулани, 1992]; ჩხეიძე რ. დაწვილობილი თაობა / რედ. ოთარ ჩხეიძე. თბილისი: ლომისი, 1995. 160 გვ. [č'kheidze r. datsqvilili t'aoba / red. ot'ar č'kheidze. t'bilisi: lomisi, 1995 / Чхеიძე Р. Проклятое поколение / ред. О. Чхеიძე. Тбилиси: Ломиси, 1995]; გვარიშვილი ო. ავადმოსაგონარი 1937 წელი: დოკუმენტური მოთხრობები, წერილები, სკაჩები, თარგმანები. ბათუმი: აჭარა, 1998. 244 გვ. [gvarišvili o. avadmosagonari 1937 tseli: dokumenturi mot'khrobebi, tserilebi, statiebi, t'argmanebi. bat'umi: ačara, 1998 / Гваришвили О. Несчастный 1937: рассказы, письма, статьи, переводы. Батуми: Ачара, 1998]; ვვერენჩილაძე რ. წამების გზა: დახვერტა, გადასახლება, დევნა. თბილისი: მერანი, 1999. წ. 1. 200 გვ. [kverenč'khilladze r. tsamebis gza: dakhvreta, gadasakhleba, devna. t'bilisi: merani, 1999. ts. 1. 1999 / Кверенчиладзе Г. Путь страданий: смерть, изгнание, преследования. Тбилиси: Мерани, 1999. Т. 1]; კირთაძე ნ. კვენ, სად არის ძმა შენი?!. ქართველთა ისტორიის სისხლიანი ფურცლები (1921–1930წწ). თბილისი: მერანი, 1998. წ. 1. 776 გვ. [kirt'adze n. kaen, sad aris dzma šeni?!: k'art'velt'a istoriis siskhliani p'urts'lebi (1921–1930ts). t'bilisi: merani. 1998. ts. 1 / Киртаძე Н. Каин, где твой брат? Крвавая история Грузии (1921–1930-е гг.). Тбилиси: Мерани, 1998. Т. 1]; შონია ვ. ბორტების სათავე, ანუ როგორ შეთითხნის "მიგრელთა საქმი" / რედ. ზორაბ ჩხონდია. თბილისი, 1994. 114 გვ. [šonia v. bortebis sat'ave, anu rogor šet'it'khnes "megrelt'a sak'me" / red. zurab ts'khondia. t'bilisi, 1994 / Шония В. Источник зла, или как сфабриковали «мингрельское дело» / ред. З. Цхондиа. Тбилиси, 1994].

открытие Музея советской оккупации 26 мая 2006 года. Формирование экспозиции, посвященной советской Грузии, было проведено путем почти механической замены экспонатов, что привело к упрощенной ревизии более ранних подходов к музеификации истории.

В связи с этим грузинский историк Иване Ментешашвили подчеркивает: «я думаю, что наступит день, когда в этом зале будут выставлены обе экспозиции, показывающие обе стороны недавнего прошлого Грузии. Однако я далек от мысли, что это произойдет в ближайшем будущем. Тема репрессий и угнетения в советской Грузии так долго была табуирована, что сейчас есть огромный спрос на скрывавшуюся тогда правду. Когда-нибудь общество пресытится таким подходом и выставка станет более, если можно так сказать, сбалансированной. Но пока она актуальна и востребована»⁸⁶. Постоянная экспозиция музея включает залы, где представлены экспонаты периода Грузинской ССР, начиная с этапа советизации. Особое внимание в экспозиции уделено антисоветскому национальному освободительному движению⁸⁷. Значительная часть экспонатов актуализирует проблемы, связанные с советскими политическими репрессиями.

Визуальный ряд представлен фото и видеодокументами, относящимися к советскому периоду истории Грузии. Музей советской оккупации использует разные способы коммеморации опыта Грузии в условиях авторитарного режима. В рамках проработки исторического прошлого, проводимой Музеем, выделяется «большевистская оккупация» (ბოლშევიკური ოკუპაციის) Грузинской Демократической Республики (февраль – март 1921 г.) и «советский оккупационный режим» (საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმის, 1921–1991)⁸⁸.

⁸⁶ Киградзе Т. Грузия: как пишут учебники истории [Электр. ресурс]. URL: http://www.bbc.com/russian/international/2013/11/131028_history_textbook_georgia

⁸⁷ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში საბჭოთა ოკუპაციის ამსახველი გამოფენა 2006 წლის 26 მაისს გაიხსნა... [sak'art'velos erovnul muzeuši sabcot'a okupats'iis amskhveli gamop'ena 2006 tslis 26 maiss gaikhsna... / Национальный музей советской оккупации был открыт 26 мая 2006 года]. [Электр. ресурс]. URL: http://museum.ge/?lang_id=GEOENG&sec_id=53

⁸⁸ საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი: საბჭოთა ოკუპაციის საგამოფენო დარბაზი მუზეუმის მესამე სართულზე მდებარეობს [sabcot'a okupats'iis muzeumi: sabcot'a okupats'iis sagamop'eno darbazi muzeumis mesame sart'ulze mdebareobs / Музей советской оккупации: Советская оккупация в выставочном зале третьего этажа музея]. [Электронный ресурс]. – URL: http://museum.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=69&info_id=1146

Мнения в грузинском обществе относительно создания и деятельности Музея оккупации разделились. Например, в 2012 г. министр культуры Юрий Мечитов указывал на то, что корректнее будет изменить название музея, которое ему казалось «абсурдным», но при этом подчеркивал, что в советский период «Грузия не была свободной страной»⁸⁹. Музей советской оккупации стал попыткой локализации исторической памяти в городском пространстве современного Тбилиси. Создание этого музея свидетельствует о попытке политических и интеллектуальных элит укоренить и легитимизировать концепт «оккупация» в грузинской исторической памяти как в территориально-географическом, локальном, так и в идентичностном измерении. Музеификация оккупации в рамках исторической политики призвана традиционализировать этот аспект в грузинской идентичности, интегрировав его в грузинскую историческую память.

Независимость как «изобретенная традиция» и воображаемое «национальное тело»: витальность, маскулинность, милитарность. Функционирование концепта «независимости» как изобретенной традиции основано на консенсусе основных политических партий, которые наравне с гражданским обществом и интеллектуалами, вовлечены в различные политические, интеллектуальные и коммеморативные практики, которые составляют основу публичного, символически значимого и сакрализованного применения «изобретенных традиций». «Изобретенная традиция» призвана актуализировать единство национального тела и его географическую цельность и неразрывность. Поэтому, грузинские СМИ активно культивируют независимость как изобретенную политическую традицию в контексте территориального единства Грузии с «окупированными территориями»⁹⁰, что содействует актуализации нарративов о едином национальном теле грузинской национальной государственности.

⁸⁹ მეჩითოვი ი. ოკუპაციის მუზეუმის დასახელება და არსი აბსურდია [iuri mech'it'ovi: okupats'iis muzeumis dasakheleba da arsi absurdia / Мечитов Ю. Музей оккупации – название по сути абсурдно] // თაბულა. 2012. 23 ნოემბერი; მეჩითოვი ი. ოკუპაციის მუზეუმი შეიძლება დარჩეს, მაგრამ სხვა სახელი ჰქონდეს [iuri mech'it'ovi: okupats'iis muzeumi sheidzleba darch'es, magram skhva sakheli hk'ondes / Мечитов Ю. Музей должен остаться, но под другим названием] // თაბულა. 2012. 13 ნოემბერი.

⁹⁰ როგორ ხადებიან დამოუკიდებლობის ძღვის ოკუპირებული რეგიონების სიახლოვის [rogor khvdebian damoukideblobis dghe okupirebuli regionebis siakhloves / Как встретить День независимости в непосредственной

«Независимость» как изобретенная традиция в современной Грузии в значительной степени подвергнута визуализации, что связано с развитием идентичности в условиях информационного общества. Примечательно, как визуальный ряд актуализирует «независимость» в качестве изобретенной традиции, наделяя ее другими визуальными и импрессионными характеристиками, призванными актуализировать идентичности. В такой ситуации изобретаемая традиция «независимость» поддерживается визуализированными образами детей с национальными флагами (актуализация будущего нации), сценами хорового пения (актуализация этничности), демонстрацией оружия и военнослужащих⁹¹ (актуализация маскулинных уровней национальной идентичности).

Милитаризация Дня независимости как изобретенной традиции стала особенно заметной в 2010-е гг.⁹², что связано с трансформацией национальной и политической грузинской идентичности в результате коллективной травмы, полученной в результате событий 2008 года. «Независимость» как изобретенная традиция в современной Грузии фактически актуализирует два уровня национальной идентичности, представленные собственно грузинскими национальными этническими основаниями и европейскими ориентирами современной грузинской государственности, которой надлежит «занять достойное место в европейской семье»⁹³. Поэтому, изобретаемая традиция «не-

близости от оккупированных территорий]. <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=50055&tp=2>

⁹¹ საქართველო დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს [sak'art'velo damoukideblobis dghes aghnišnavs / Грузия отмечает день независимости]. – <http://www.tabula.ge/ge/story/108083-saqartvelo-damoukideblobis-dghes-aghnišnavs>; დამოუკიდებლობის დღე ბათუმში [damoukideblobis dghe bat'umši / День независимости в Батуми]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=69866>; დამოუკიდებლობის დღე – ფიცის დადების ცერემონიალი [damoukideblobis dghe - p'its'is dadebis ts'eregoniali / День независимости – церемония приведения к присяги]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=69887>

⁹² დამოუკიდებლობის დღე – შეიარაღებული ძალების ახალი შემადგენლობის ფიცის დადების ცერემონია 12 საათზე გაიმართება [damoukideblobis dghe – šeiaraghebuli dzalebis akhali šemadgenlobis p'its'is dadebis ts'eregonia 12 saat'ze gaimart'eba / День независимости – новый состав вооруженных сил будет приведен к присяге в 12 часов]. – <http://www.imesi.ge/index.php?pg=nws&id=69904>

⁹³ პრემიერი: საქართველოს აქვს ამბიციის, რომ გახდეს ლიდერი რეგიონში [premeri: sak'art'velos ak'vs ambits'ia, rom gakhdes lideri regionši / Премьер-министр: Грузия имеет амбиции стать региональным лидером]. –

зависимость» одновременно содействует актуализации и других изобретаемых традиций. В этом контексте активность СМИ, которая затрагивает самые разные уровни концепта «независимость», носит сервилистский характер, но сервилизм СМИ в подобной ситуации является фактически неизбежным, свидетельствуя только об их глубокой интеграции в те механизмы, которые в современной Грузии задействованы в формировании и воспроизводстве визуальных образов, связанных с концептом «независимость».

Стратегии инструментализации «большого нарратива» – 3: расчлененное национальное тело. День советской оккупации в грузинской исторической политике носит инструментальный характер. Аналогичные функции приписываются и соответствующему Музею. С одной стороны, будучи вовлечены в процесс актуализации в исторической памяти моментов, связанных с «советской аннексией 1921 года», а, с другой, развивая нарративы о континуитете советской и российской политики в отношении Грузии, грузинские национально ориентированные интеллектуалы содействуют формированию образов универсальных Других, на статус которых претендует Россия. Кроме этого в вину российскому фактору ставится территориальная редукция картвельского исторического пространства.

День советской оккупации призван содействовать легитимации коллективных представлений о Грузии как жертве, которая утратила ряд территорий, в т.ч. Абхазию⁹⁴, в силу политики, по мнению ряда грузинских интеллектуалов, проводимой Российской Федерацией. Историческая политика в отношении ГДР актуализирует региональное и территориальное измерение грузинской истории. Грузинская историография имеет развитые традиции изучения истории Абхазии и Южной Осетии⁹⁵, но для ряда текстов характерна острая полемика-

<http://www.tabula.ge/ge/story/83608-premieri-saqartvelos-aqvs-ambicia-rom-gaxdeslideri-regionshi>

⁹⁴ გასვიანი თ. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და აფხაზთა აგრესიული სეპარატიზმის სათაღიბი / თ. გასვიანი / რედ. სერგო ვარდოსანიძე. თბილისი, 2003. 227 გვ. [gasviani t'. sak'art'velos demokratiuli respublika da ap'khazt'a agresiuli separatizmis sat'aveebi / red. sergo vardosanidze. t'bilisi, 2003 / Гасвиани Т. Грузинская Демократическая Республика и истоки абхазского агрессивного сепаратизма / ред. С. Вардосанидзе. Тбилиси, 2003].

⁹⁵ ნადარეიშვილი თ. სეპარატიზმის პრობლემა საქართველოში: ისტორია და თანამედროვეობა. თბილისი: აკადემია, 2003. წ. 1. 332 გვ. [nadareishvili t'. separatizmis problema sak'art'veloshi: istoria da t'anamedroveoba.

ская направленность⁹⁶, а некоторые из них интегрированы в политический язык лозунга⁹⁷, что делает такие тексты чрезвычайно удобными для их применения в исторических манипуляциях и кампаниях.

Территориальная проблема всегда крайне болезненно воспринималась грузинскими интеллектуалами, что превратило эти сюжеты в чрезвычайно манипулятивные в контексте исторической политики и связанной с ней проработок прошлого. Развитию исторической политики, а не академической историографии, содействует и то, что образы Грузинской Демократической Республики в современной коллективной памяти актуализируют мифические представления о единстве национального грузинского политического тела, так как история ГДР в мифологизированной системе координат предстает как история Грузии, которая включала в себя исторически картвельские регионы с некартвельским населением.

От изобретенных традиций к исторической политике. Концепт «независимость» в современной Грузии составил основу политической, государственной и гражданской идентичности. «Изобретенные традиции» играют значительную роль в существовании и воспроизводстве политической идентичности в современной Грузии, как и в любом государстве-нации, где сама идея «нации» и концепт «государственность» стали следствиями принудительной авторитарной модернизации, а концепт «независимости» был реализован позднее, в отложенной форме уже после того как более ранние традици-

t'bilisi: akademiа, 2003. ts. 1 / Надареишвили Т. Проблема сепаратизма в Грузии: история и современность. Тбилиси: Академия, 2003. Т. 1]; ლომოური ნ. ძირძველი ქართული მხარის-აფხაზეთის ისტორიისათვის / რიკო. ვალერი ასათიანი, ზურაბ პაპასკირი. თბილისი, 2008. 182 გვ. [lomouri n. dzirdzveli k'art'uli mkharis-ap'khazet'is istoriisat'vis / red. valeri asat'iani, zurab papask'iri. t'bilisi, 2008 / Ломоური Н. К истории одной из древнейших грузинских областей / ред. В. Асатиани, З. Папаскири. Тбилиси, 2008].

⁹⁶ მიბჭუანი თ. აფხაზური სეპარატიზმის სისხლიან ნაკვალავზე / რიკო. ვალერიან ზუხბაია. თბილისი: ჯიბიაი, 1994. 112 გვ. [mibch'vani t'. ap'khazuri separatizmis siskhlian nakvalevze / red. valerian zukhbaia. t'bilisi:džisiai, 1994 / Мибчүани Т. Кровавые следы абхазского сепаратизма / ред. В. Зухбая. Тбилиси: Джизиаи, 1994].

⁹⁷ გენოციდისა და ეთნიკური წმენდის პოლიტიკა აფხაზეთში (საქართველო) – აგრესიული სეპარატიზმის მთავარი იარაღი. თბილისი, 1999. 24 გვ. [genots'idisa da et'nikuri tsmendis politika ap'khazet'shi (sak'art'velo) – agresiuili separatizmis mt'avari iaraghi. t'bilisi, 1999 / Геноцид и политика этнической чистки – главное оружие агрессивного абхазского сепаратизма. Тбилиси, 1999].

онные сообщества успели трансформироваться в нацию, способную воспроизводить свои собственные политические институты, связанные, в том числе, с независимостью.

Формирование политических традиций, практик и ритуалов, связанных с актуализацией, воспроизводством и продвижением грузинской идентичности, началось в период между двумя мировыми войнами. Непродолжительное обретение Грузией независимости и ее существование в форме Грузинской Демократической Республики до советизации стало стимулом для формализации разного рода националистических практик и стратегий. Формально будучи новым государством, но с развитыми политическими традициями государственности и независимости в историческом контексте, Грузинская ССР как форма государственности выработала свои политические изобретенные традиции, но они, как правило, носили формальный и имитационный характер, выполняя почти исключительно символические функции и не содействуя воспроизводству политической гражданской грузинской идентичности. Распад СССР привел к актуализации качественно новых тенденций в развитии независимой Грузии, которая объективно столкнулась с дефицитом легитимности.

Эта ситуация уникальна, поскольку в исторической перспективе Грузия была среди тех немногих постсоветских наций-государств, которые в прошлом имели развитые политические и государственные традиции и могли их вполне успешно интегрировать в политические мифы современности. Тем не менее, изобретение и воображение новых политических практик, традиций и ритуалов было призвано этот вынужденный пробел в исторической преемственности, политическом континуитете грузинской государственности ликвидировать и преодолеть, тем самым, двойственную дискретность, унаследованную от советского периода, со средневековой и современной (Грузинская Демократическая Республика) государственностью.

Вероятно, именно «изобретенные традиции» составляют основу политической идентичности, связанной с позиционированием современной Грузии как нации-государства, а грузин в качестве политической нации, хотя альтернативные (по сравнению с универсальностью ценностей и мифов, олицетворяемых модерным национальным государством) основания грузинской идентичности (грузинский язык, грузинская этничность, православие) также принадлежат к факторам, определяющим основные направления развития грузинского полити-

ческого и интеллектуального дискурса. Анализируя особенности функционирования и политически мотивированного применения новых гражданских «изобретенных традиций» в Грузии, во внимание следует принимать целый ряд факторов. «Изобретенные традиции» в современной Грузии носят преимущественно секулярный, светский характер и практически не пересекаются с альтернативными религиозными идентичностными проектами, основанными на актуализации традиционных ценностей и связанных с ролью Церкви, хотя роль последней в грузинском обществе остается значительной.

«Изобретенные» традиции в грузинской культурной, политической и интеллектуальной ситуации отличаются разнообразием и в значительной степени являются «изобретаемыми», актуализируя общую незавершенность процессов национальной консолидации в Грузии, где нация представляет собой сообщество не только «воображенное», но и «воображаемое», отягощенное значительными традициями и периодами политической и государственной истории, авторитарным политическим экспериментом, уникальным опытом, полученным в рамках демократического транзита, перехода от авторитаризма к демократии, этническими конфликтами, радикальными политическими реформами, направленными на запоздалую, но решительную и последовательную европеизацию и вестернизацию политического и правового пространства. В подобной ситуации под «изобретенными традициями» следует понимать не только различные формальные ритуалы и светские церемонии (военные парады, вступление в должность), но и разного рода интеллектуальные практики, связанные с написанием и конструированием национальной истории, продвижением и изобретением пантеона «отцов нации», навязыванием относительно современных политических или этнических идентичностей отдаленному прошлому. В этом отношении современная грузинская политическая нация практически не отличается от аналогичных наций-государств, которые исторически возникли как политические конструкты националистически ориентированных интеллектуалов XIX–XX столетий.

Поэтому «независимость» и оказалась среди наиболее востребованных и получивших развитие политических «изобретенных традиций». В подобной ситуации «изобретенные традиции» и связанные с ними политические ритуалы и символы в современной Грузии оказались призваны содействовать укреплению светских и граждан-

ских трендов, а также стимулировать коммеморативные практики и интеллектуальные стратегии, связанные с написанием / описанием истории Грузии в националистической системе координат. Функционирование воображаемых политических традиций и связанных с ними политических и гражданских ритуалов, а также разного рода практик, указывают на то, что грузинский национализм и националистический политический проект нации-государства в целом развивался в рамках западной, светской системы координат.

В этом контексте грузины как политическая нация и Грузия как нация-государство могут восприниматься и анализироваться в той системе координат, центральными ориентирами в которой являются «воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции», что актуализирует имажинативное измерение современного грузинского политического проекта, его принадлежность к большому западному интеллектуальному и политическому дискурсу, позволяя рассматривать Грузию как совокупность коллективных исторических, культурных и политических памятей, разного рода коммеморативных практик и политических ритуалов, призванных актуализировать исторический, государственный и политический континуитет, содействовать преодолению политической дискретности и исторических разрывов. В основе функционирования и воспроизводства этих универсальных практик политического воображения лежат интеллектуальные стратегии конструирования как самого современного грузинского национализма, так и его неизбежных исторических производных – нации и идентичности – институционализированных в регулярно воспроизводимом концепте «независимость».

От исторической политики к поиску компромиссов: предварительные выводы. Подводя итоги статьи, во внимание следует принять ряд факторов, связанных с развитием исторической политики в современной Грузии. Генетически стратегии современной грузинской исторической политики связаны с более ранними советскими формами и тактиками работы с прошлым и исторической памятью, хотя историческая политика как явление в советский период не получила развития, так как ее функции выполняла развитая система цензуры и идеологического контроля над историографией. Историческая политика в постсоветской Грузии унаследовала почти все родовые травмы постсоветской грузинской историографии, в частности – этноцентричные доминанты в историографии.

В такой ситуации история в постсоветской Грузии развивалась как почти исключительно история Грузии с некоторым вкраплением в воображаемый и изобретаемый исторический грузинский процесс негрузинских элементов, несмотря на то, что политические элиты Грузии в начале 1990-х утратили контроль над негрузинскими (осетинской и абхазской) территориями. Историческая политика в Грузии 2000–2010-х гг. развивается в условиях частично формального и отчасти неформального консенсуса между политическими классами и интеллектуальными сообществами, которые достигли компромисса и тщательно пытаются поддерживать согласие по принципиальным проблемам грузинской истории и современности.

Историческая политика, в отличие от традиционных отношений «история – национализм», имеет дело преимущественно не с нациями и идентичностями, столь активно конструируемыми традиционными, ортодоксальными националистами, но различными формами и версиями исторических и политических памятей, которые характерны для тех или иных государств, сообществ или групп. В этом плане современная историческая политика в Грузии очень отличается от более ранних отношений, форм и модуса сосуществования и софункционирования между историей и национализмом. Эти более ранние отношения были отношениями в значительной степени идеальными или идеализированными, почти романтическими: общество в лице формально представлявших его политиков, формировавших национальный правящий класс или национальную партийную бюрократию, артикулировало свой запрос на ту или иную историю, а профессиональное историческое сообщество такую историю для того или иного общества писало, а позднее и тиражировало через среднюю и высшую школу. Историческая же политика, наоборот, сводит роль профессионального исторического сообщества к минимуму, делая его почти ненужным, потому что историческое знание в современном мире нередко артикулируется не профессиональными историками, а профессиональными политиками, которые считают, что история настолько важна, что допускать к ней историков не только не имеет смысла, но и небезопасно и нецелесообразно.

Историческая политика вносит определенные изменения и коррективы в то, что не успели завершить, или, по мнению современников, сделали не так, как было нужно, националисты, политические группы и историки прошлых лет. Историческая политика не только

создает и формирует памяти, она инициирует их ревизии, внося те или иные коррективы в коллективные и устоявшиеся представления общества о его прошлом, которое описывается, конструируется и воображается в категориях национальной истории. Историческая политика реформатирует памяти, обучая и вынуждая сначала образованные классы, а позднее и общество в целом, иначе понимать, воспринимать и воображать историю. Историческая политика предлагает не историю и тем более не множественные, а порой и альтернативные, истории. Историческая политика освобождает общество от необходимости иметь историю в ее традиционном позитивистском линейно-событийном восприятии.

Историческая политика предлагает коллективные представления, которые могут имитировать формы академического историописания, интегрированные в официальный политический и идеологический дискурс. Среди центральных моментов исторической повестки дня – идея наличия великой грузинской государственности, отрицательное восприятие периода российского доминирования, позитивный исторический миф о Грузинской Демократической Республике, идея о негативной роли советизации Грузии, позитивный миф о национальном движении. К этим историческим мифам добавляются и политические, связанные с воображением и изобретением Абхазии и Южной Осетии в грузинском историческом контексте, неприятие их потери, культивирование идеи о российской оккупации и «оккупированных территориях». В такой ситуации историческая политика, работа с исторической и политической памятью, политическая проработка прошлого составляют историографическую повестку дня в современной Грузии.

Выбор этих общественно значимых тем привел к тому, что грузинские политические элиты сделали выбор в пользу закрытой модели работы с памятью, что содействует актуализации функции сэкьюритизации в контексте проведения исторической политики. Выбор именно закрытой модели обусловлен событиями 2008 года, потерей осетинских и абхазских территорий, что можно воспринимать как историческую и политическую травму современной грузинской идентичности. В этой ситуации историческая политика и современные грузинские попытки проработки прошлого призваны выполнять несколько функций, а именно – формировать и предлагать политически и идеологически безопасные модели национальной

истории, которые не травмировали бы общество и память, но, наоборот, содействовали бы его консолидации, противопоставляя грузинскую историю историям других сообществ, воспринимаемых как политические и исторические конкуренты и противники.

Модель исторической политики, основанная на секьюритизации памяти чрезвычайно удобна в силу своего значительного адаптивного потенциала для правящих политических элит, но она фактически ограничивает возможности для интеллектуального маневра современного грузинского исторического сообщества. Восприятие национальной истории в контексте исторической политики, основанной на секьюритизации памяти, фактически помещает ее, с одной стороны, в прокрустово ложе истории, написанной в этнической системе координат. С другой стороны, эта версия исторической политики содействует редукции национальной истории Грузии до истории национальных травм и катастроф, связанными с кризисами и крахами исторических форм грузинской государственности, советизацией Грузии в начале 1920-х годов, территориальными потерями 1990-х и их институционализацией в 2008 г.

Тактика написания истории как истории жертвы, конечно, является эффективной и действенной, но вопрос в том, как долго грузинское историческое сообщество будет воспринимать эту модель исторического воображения как приемлемую. Современная историческая политика в Грузии отражает и основное противоречие эпохи историографического пост-пост-модерна: как соединить преимущественно примордиальные и этноцентричные историографические мифы с фактически доминирующим в современной историографии конструктивистским подходом. Эта проблема представляется актуальной для Грузии в контексте ее евроатлантического выбора, который влияет и на гуманитарные исследования, в т.ч. – на выбор их теоретико-методологических оснований. Политические элиты Грузии в своем стремлении предложить компромиссное видение добились того, что современный политический дискурс сочетает этнические картельские стереотипы с попытками переноса в грузинский исторический и политический контекст представлений об институтах и свободах, которые явно заимствованы из западного интеллектуального дискурса. В этом контексте перспективы и направления развития и изменения исторической политики в современной Грузии продолжают оставаться как спорными, так и актуальными...

«ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ» СРЕДНЕВЕКОВОГО ГЕРОЯ МАХАРАНА ПРАТАП В НАРРАТИВАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ*

Если история – это зеркало, в котором общество «вовсе не ищет... некий аутентичный образ минувшего, а именно *смотрится* (выделено автором – *Е.В.*) в него, пристально вглядывается в собственный лик»¹, то Индия схожа с человеком, который не расстается с зеркалом, постоянно разглядывает себя и пытается найти в прошлом модель для своего нынешнего бытия, а если зеркало показывает что-то «не то», в гневе бросает его, спеша заменить новым. Вторая по численности населения страна современного мира, известная как достижениями, так и тяжелейшими проблемами, постоянно погружена в диалог с историческим прошлым. Причем диалог этот в большинстве случаев напоминает не мирную и вежливую беседу, а странный, доходящий порой до скандала, спор.

Школьный и вузовский курсы истории – скучные и нелюбимые многими индийцами предметы; их наскоро «проходят», чтобы погрузиться в совсем иной исторический мир: устных, печатных и онлайн-нарративов, фильмов, телевизионных сериалов, предлагающих «правильную» и, главное, комфортную версию событий. Они представляют прошлое таким, каким оно, в соответствии с политическими, идеологическими или психологическими потребностями той или иной группы, должно было быть. Иными словами, необходимо увидеть в зеркале прошлого образ, совпадающий с представлениями о настоящем и будущем. Все, что противоречит этим потребностям, воспринимается как «оскорбление исторических чувств»² и вызывает истерическую реакцию, вплоть до массового насилия. Ученый-историк, автор исторических романов, создатель фильмов или сериалов о

*Статья подготовлена в рамках проекта «Историческая память как фактор национальной идентичности: опыт сравнительно-исторического исследования» по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историческая память и российская идентичность».

¹ Репина Л.П. Память о прошлом и история // Диалоги со временем. Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2008. С. 9.

² См. подробнее: Ванина Е.Ю. Индия: история в истории. М.: Наука – Восточная литература, 2014. С. 259–293.

событиях прошлого – это в Индии, без преувеличения, опасные профессии, чреватые для избравшего их возможностью превратиться в мишень для массового гнева, если предложенная им трактовка покажется «неправильной» влиятельным персонам или же сообществам. И никакие ссылки на археологические и документальные источники не помогут: их либо проигнорируют, либо объявят фальсификацией – прошлое должно быть таким, каким оно востребовано в качестве модели для настоящего и будущего. Это и есть жизнь в «туго натянутом пересечении прошлого, о котором помнят, и будущего, которое ожидают»³. «Пересечение» порой натягивается столь туго, что разрывается ткань гражданского мира, на улицу с протестами против «неправильной» интерпретации прошлого выходят агрессивные толпы, знающие историческую истину на уровне «чувств», а парламент откладывает обсуждение насущных проблем современности и погружается в горячие дискуссии о событиях многовековой давности.

В богатейшем историческом наследии Индии есть немало персонажей, которые обзавелись, уже после смерти, второй историей – историей интерпретаций, подчас не менее драматичной, чем история их жизни. Один из таких персонажей – отважный воин, *махарана*⁴ Пратап Сингх Сисодия или просто *махарана* Пратап (1540–1597).

Как это было

В 1526 г. началась история крупнейшего государства на территории Южной Азии – империи Великих Моголов. Ее основатель, тимурид Захир уд-дин Мухаммад Бабур (1483–1530), талантливый полководец и поэт, завоевал Северную Индию, воспользовавшись царившей там раздробленностью. Однако вскоре новая династия столкнулась с мощным сопротивлением старой, утвердившейся еще при предшественниках Моголов, делийских султанах, мусульманской знати, так что сын и наследник Бабура, Хумаюн, был изгнан мятежными братьями и афганскими феодалами в Иран, где провел 12 лет и вернулся в Дели, лишь чтобы вскоре умереть (1556 г.). Подлинным строителем империи стал сын Хумаюна, Акбар (1556–1605), – этого выдающегося правителя-реформатора по праву считают величайшим из Моголов. Его политика была направлена на превращение Моголь-

³ Rüsen J. History: Narration, Interpretation, Orientation. Oxford ; N.Y.: Berg-hahn Books, 2005. P. 1–2.

⁴ *Махарана (рана)* – княжеский титул, вариант более привычного русскоязычному читателю «махараджа» («раджа»).

ской державы из аморфного образования, созданного по типу Золотой орды и иных раннесредневековых империй, в сильное централизованное государство⁵. Для территориальной и политико-административной интеграции империи в единое целое одним из приоритетов было решение раджпутской проблемы.

Раджпуты – военно-феодалное сословие Северной, Западной и Центральной Индии, рыцарство индийского средневековья⁶. Особенно мощными были раджпутские княжества в Западной Индии, на территории, которая в средние века была известна как Раджпутана, а в настоящее время составляет штат Раджастан. Мусульманским завоевателям – сначала «тюркам», основавшим Делийский султанат в конце XII – начале XIII в., а затем Моголам, стоило больших трудов и крови подчинять себе раджпутские княжества. Как правило, раджпутская крепость оказывалась в руках врага лишь после того, как, убедившись в невозможности ее защиты, женщины устраивали во дворце или храме коллективное самосожжение (*джаухар*), а мужчины, уверенные в том, что их жены и дочери не будут, даже мертвыми, опозорены прикосновением врага, надевали праздничные одежды и выходили на последний рукопашный бой, чтобы пасть всем до единого и в компании небесных дев вознестись в райские чертоги. Победителю доставались лишь развалины, пепел и трупы. После ухода карательной армии раджпутские князья восстанавливали свою власть – до нового похода мусульманских войск.

Так начинал свою раджпутскую политику и Акбар, но вскоре он понял бесперспективность карательных мер и предпочел союз с раджпутами – один из нечастых в мировой истории опытов взаимодействия двух этнически и конфессионально различных элит. На союз с Моголами некоторые раджпутские князья, начиная с влиятельного Бхармала Качххахи из Амбера, пошли добровольно: страдая от постоянной вражды с соседями-раджпутами, мятежниками из собственных кланов и прочими недругами, они нуждались в защите сильного и благожелательного имперского центра. Другие были

⁵ Ванина Е.Ю. Мусульманский фактор: продвижение и укоренение // Глушкова И.П. (рук. проекта), Сидорова С.Е. (отв. ред.). Под небом Южной Азии. Движение и пространство: парадигма мобильности и поиски смыслов за пределами статичности. М.: Наука–Восточная литература, 2015. С. 103–107.

⁶ Ванина Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант. М.: Восточная литература, 2012. С. 167–190.

подчинены с помощью дипломатии или принуждены силой. Объявив себя вассалом Моголов, Бхармал Качхваха скрепил договор свадьбой своей дочери с Акбаром, что инициировало длительную, почти двухсотлетнюю, традицию могольско-раджпутских браков.

Поскольку раджпутский обычай требовал, чтобы клан невесты становился вассалом клана жениха, Моголы, вступая в браки с раджпутскими принцессами, получили верных и надежных вассалов-родичей. Результатом каждого такого союза (заключавшегося, кстати, по мусульманским и индусским канонам; жены-индуски получали право и в гареме падишахов-мусульман сохранять свою религию) было поступление на могольскую службу на равных основаниях с мусульманской знатью братьев, кузенов и иных родичей раджпутских невест. Многие из раджпутов сделали великолепную карьеру при могольском дворе: им жаловали высочайшие служебные ранги и ленные владения, превышавшие размеры их собственных вотчин, назначали на посты наместников провинций и верховных главнокомандующих. Вечные враги мусульманских правителей стали «опорой трона» крупнейшей мусульманской империи в Южной Азии, а сама правящая элита империи стала могольско-раджпутской: два падишаха из династии Великих Моголов, Джахангир (пр. 1605–1627) и Шах-Джахан (1627–1658) были сыновьями раджпуток. Политика союза с раджпутами позднее была вписана Акбаром и его окружением в более широкий контекст: его основой стала концепция надконфессионального государства, в котором монарху надлежало руководствоваться не догмами религии, а требованиями «всеобщего блага»; подданные получили свободу вероисповедания.

Политику интеграции раджпутских феодалов в могольскую элиту приняли многие, но далеко не все раджпутские князья. Одним из наиболее упорных противников такой политики был прославленный род Сисодия, правивший мощным княжеством Мевар. В отличие от других раджпутских князей, *махарана* Мевара Удай Сингх Сисодия категорически отказался признать сюзеренитет Моголов. Когда Акбар отправился на охоту близ границ Мевара, Удай Сингх стал демонстративно укреплять свою столицу – мощную крепость Читтор, стягивать туда войска. Акбар осадил Читтор; поручив защиту крепости верным вассалам, Удай Сингх перебрался с семьей в недавно основанный им город Удайпур, ставший новой столицей княжества. После многомесячной кровопролитной осады войска Ак-

бара овладели Читтором (март 1568 г.), разбив осадными пушками стены форта⁷. Однако до покорения Мевара было еще далеко. Удай Сингх продолжал сопротивление, а после его смерти (1572 г.) борьбу против Моголов продолжил его сын, *махарана* Пратап. Он отказался признать суверенитет Акбара и, скрываясь с отрядом в горах, вел против Моголов партизанскую войну.

Акбар пытался использовать дипломатические методы для замирения Мевара, но все шесть направленных им к Пратапу миссий оказались безрезультатными. Особенно дерзко вел себя Пратап в отношении амберского принца Мана Сингха Качхвахи, которому падишах поручил возглавить одно из посольств. Меварский правитель, согласно этикету, пригласил посла на обед, но демонстративно отказался делить с ним трапезу, заявляя, что, вступив в брачный союз с Моголами, род Качхвахов осквернил себя⁸. Это публичное оскорбление своего посла, верного слуги и племянника (по линии жены, амберской принцессы) Акбар игнорировать не мог.

18 июня 1576 г. близ Халдигхати, узкого прохода в горной цепи Аравалли, состоялась битва между могольскими войсками под командованием Мана Сингха Качхвахи и армией Мевара, которой руководил *махарана* Пратап. В могольской армии против Пратапа сражались и три его сводных брата, давно перешедших на сторону Акбара. Пратап смог сплотить под своим знаменем нескольких мелких раджпутских князей, связанных с Меваром вассальными и родственными отношениями, а также пехоту из племени бхиллов и наемников-афганцев. Несмотря на отважное сопротивление превосходящим силам противника, войско Пратапа было разгромлено; сам он, согласно устной традиции, спасся благодаря своему верному коню Четаку, который, истекая кровью, вынес раненого хозяина из битвы и лишь после этого испустил дух. Поражение не сломило доблестного воина: с остатками преданной ему дружины он ушел в горы и продолжил сопротивление, время от времени отбивая у Моголов ту или иную свою

⁷ См. подробнее: Ванина Е.Ю. Монумент врагу? Раджпутские статуи в могольских столицах // Глушкова И.П. (рук. проекта), Прокофьева И. Т. (отв. ред.) Под небом Южной Азии. Портрет и скульптура: визуализация территорий, идеологий и этносов через материальные объекты. М., 2014. С. 389–403.

⁸ Talbot C. The Mewar Court's Construction of History // Williams J. (ed.). Kingdom of the Sun. Indian Court and Village Art from the Princely State of Mewar. St Francisco: Asian Art Museum, 2007. P. 21–24.

крепость. Еще один, последний, поход против *махараны* возглавил сам Акбар. Военные действия сопровождались дипломатическими: Акбару удалось склонить на свою сторону союзников Пратапа. Но тот продолжал сопротивляться вплоть до смерти в 1597 г.⁹ В исторической памяти жителей Раджпутаны, особенно Мевара, *махарана* Пратап запечатлелся как удалец, отказавшийся покориться падишаху; в традициях героического эпоса оба противника – *махарана* и падишах – представлялись равно мужественными и благородными. Возникло множество нарративов о том, что Акбар, несмотря на многолетнюю вражду, высоко ценил доблесть Пратапа и, узнав о его смерти, публично, со слезами на глазах, восславил доблестного противника¹⁰. Уже после смерти Акбара, сын Пратапа, Амар Сингх, объявил себя вассалом Моголов и поступил на службу к новому падишаху, Джахангиру.

Как это должно быть

В колониальный период индийская элита «открыла» свою историю, изучая труды британских ориенталистов и их версии прошлого покоренной страны. Раджпуты оказались в центре внимания после выхода в 1828 и 1832 г. книги полковника Дж. Тода «Анналы и древности Раджастхана». Неоднократно переизданная и переведенная почти на все индийские языки, эта работа талантливого шотландского индолога приобрела особую популярность в Индии, поскольку, вопреки догмам колониальной пропаганды, рисовавшей индийцев как покорных и «женственных» рабов, Тод воспроизвел (частично создав заново) историко-героические традиции раджпутов и даже осмелился сравнить их социальное устройство с европейским феодализмом, что вызвало шквал критики британских индологов¹¹. *Махарана* Пратап стал для Тода любимым героем, борцом против чужеземных захватчиков, достойным сравнения с высшими для европейца XIX в. образцами – воинами Фермопил¹². Ранние «просветительские истории», создававшиеся местными авторами на различных индийских языках в

⁹ Chandra S. Medieval India: From Sultanat to the Mughals. Part II. Delhi: Har-Anand Publications, 2005. P. 121–122.

¹⁰ Ванина Е.Ю. Монумент в рагу?.. С. 406; Hooja R. A History of Rajasthan. Delhi: Rupa & Co., 2006. P. 475; Sarasvat R. Dursā Ādhā. Delhi: Sahitya Akademi, 1983. P. 32–33.

¹¹ См. подробнее: Ванина Е.Ю. Индия: история в истории. С. 101–106.

¹² Tod J. Annals and Antiquities of Rajasthan of the Central and Western Rajput States of India. Vol. I. Oxford: Humphrey Milford; OUP, 1920. P. 387–406.

течение XIX в., в целом, следовали средневековым интерпретациям, изображая противостояние Пратапа и Акбара как битву равных по доблести и, что важно, статусу, храбрцев¹³. Но ситуация кардинально изменилась с развитием в колониальной, а затем и в независимой Индии, идеологии и практики национализма.

Давно отмечена необходимость для любого национализма конструировать прошлое «воображаемого сообщества»¹⁴. Индия – не исключение: со второй половины XIX в. вплоть до наших дней идеологи и политики пишут и переписывают историю в соответствии с собственными представлениями о том, что есть индийская нация и из кого она состоит. Они сначала «открывали» прошлое, а затем интерпретировали его в соответствии с той моделью будущего, которую избирали для конструируемой ими нации: «от “прошлого-каким-оно-могло-быть”, через “прошлое-каким-ему-надлежало-быть” к главной цели: “прошлому-каким-оно-будет”»¹⁵.

В индийском национализме противостоят два направления. Инклюзивный, или общегражданский национализм утверждает, что индийская нация – это все граждане Индии, независимо от этноса, религии, касты или иных видов идентичности; при всех различиях они дополняют друг друга, создавая «единство в многообразии»¹⁶. Эксклюзивны, или коммуналистский (религиозно-общинный) национализм приравнивает к нации воображаемую «религиозную общину» (индусскую, мусульманскую, сикхскую и т.д.); представители же всех прочих «общин» рассматриваются как враждебные чужаки¹⁷. Под каждую из этих концепций подгоняются интерпретации прошлого – и, соответственно, модели будущего.

¹³ См., например, первую «просветительскую историю» Мевара: Shyamaldas Kaviraj. *Vir Vinod*. Pt. II. Delhi: Motilal Banarasidass, 1986. P. 145–165.

¹⁴ Anderson B. *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Development of Nationalism*. L.: Verso, 1983. P. 13–14; Hobsbawm E.J. *Ethnicity and Nationalism in Europe Today // Mapping the Nation / Ed. by Gopal Balakrishnan, introd. by Benedict Anderson*. L.: Verso, 1996. P. 255.

¹⁵ Chatterjee P. *The Nation and its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories*. Delhi: Oxford University Press, 2001. P. 255.

¹⁶ Этот лозунг стал национальной идеей независимой Индии. О непростом его воплощении см.: Глушкова И.П. Индия: культура и религия как стражи / нарушители общественного порядка (с 1980-х гг. по начало XXI в.) // *Разговор с Мариной и Олегом Плешовыми: политические символы и реалии Южной Азии / Отв. ред. Е.Ю. Ванина, С.Е. Сидорова, А.В. Устенко*. М.: ИВ РАН, 2010. С. 300–355.

¹⁷ Ванина Е.Ю. *Монумент врагу?..* С. 153–203.

Общегражданский национализм, наиболее известными идеологами которого были М.К. Ганди, Дж. Неру, А.К. Азад и др., являлся мощным течением в национально-освободительном движении и, на протяжении нескольких десятилетий, господствующей доктриной в независимой Индии. Конструируемая им история была историей единства, и крупные империи, включая Могольскую, оценивались, как правило, позитивно – как исторические предшественники единой суверенной Индии. Акбара, с его политикой консолидации индусской и мусульманской элит, Неру прямо называл «отцом индийского национализма», который «намеренно возвысил идеал общеиндийской нации над претензиями сепаратистской религии»¹⁸. При таком подходе противники Акбара воспринимались либо как фанатичные консерваторы, либо как эгоистичные сепаратисты. В «Открытии Индии» Дж. Неру, своего рода манифесте общегражданского национализма, *махарана* Пратап удостоился всего трех строк: Акбару не удалось «сломить гордый и непоколебимый дух раны Пратапа из Мевара, который предпочел жить преследуемым в джунглях, но не покориться тому, кого он считал иностранным завоевателем»¹⁹.

В школьных учебниках и трудах историков, придерживавшихся общегражданского национализма, Пратап, вкупе с другими вождями антимогольского сопротивления, рассматривался как сепаратист; отдавая должное его личной отваге, авторы подчеркивали «бесплодность» и «бессмысленность» его противостояния Акбару или видели в действиях меварского хабреца эгоистичную заинтересованность в сохранении личной власти и контроля над ресурсами княжества²⁰. Непременно (и в полном соответствии с историческими фактами) подчеркивалось, что противостояние Пратапа и Акбара не было религиозным конфликтом: на стороне Пратапа сражались мусульмане, в армии Акбара – раджпуты. В учебнике «Наши прошлые времена», рекомендованном НСИПОО²¹ (7 класс), раздел «Могольская империя» вообще не упоминает *махарану* Пратапа, зато сообщает о том, что «раджпуты Сисодия долгое время отказывались признать суве-

¹⁸ Nehru J. Glimpses of World History. V. I. Allahabad: Kitabistan, 1934. P. 481.

¹⁹ Nehru J. The Discovery of India. Delhi: Oxford Univ. Press, 1985. P. 259–260.

²⁰ Chandra S. Medieval India... P. 121–123.

²¹ НСИПОО – Национальный совет по исследованиям и подготовке [кадров] в области образования (National Council of Educational Research and Training, NCERT), основанная правительством Индии «автономная» организация, отвечающая за организацию образовательного процесса и разработку учебников.

ренитет Моголов. Одержав над ними победу, Моголы, однако, отнесли к ним с уважением и пожаловали им их собственные земли в лен». Тут же сообщается о том, что Амар Сингх (сын Пратапа, имя которого не упомянуто) поступил на службу Джохангиру²². Для авторов учебника победа Моголов и присоединение Мевара к единому государству важнее, чем история меварского сепаратизма.

Совсем иначе мыслят представители эксклюзивного или коммуналистского национализма. С самого начала это направление не уступало общегражданскому национализму, а подчас и превосходило его по популярности. Если в колониальный период коммуналистский национализм был представлен двумя вариантами – индуским и мусульманским, то с разделом страны в Индии, по сути, остался лишь индуский национализм, а мусульманский превратился в государственную идеологию Пакистана и ряда радикальных мусульманских течений в Индии. Для индуских националистов индийская нация – это «индусская община» объединенная «кровью», религией, культурой и *хиндутвой* (букв. «индусскостью»), а вся история страны – это противостояние индусов чужеземным завоевателям и подрывным элементам из собственной среды. Средневековый период однозначно рассматривается как борьба индусов – «детей земли» и мусульман – агрессивных чужаков, видевших смысл жизни в уничтожении индусов, их веры и культуры. В таком контексте *махарана* Пратап – уже не удалец, на равных сражавшийся с не менее удалым Акбаром, не сепаратист, а герой «индусской нации».

В.Д. Саваркар (1883–1966), один из основоположников и классиков индуского национализма, категорически отвергал средневековые представления о Пратапе и Акбаре как равно благородных и доблестных воинах: «Мы, индусы, можем выражать уважение, благодарность и любовь либо к ране Пратапу, либо к его заклятому врагу Акбару. Как нам уважать обоих? Как поклоняться богу и дьяволу одновременно?»²³. А М.С. Голвалкар (1903–1977), главный идеолог РСС²⁴, утверждал: «За тысячу лет нашей борьбы с этими агрессора-

²² Our Pasts – II. Textbook in History for Class VII. Delhi: NCERT, 2007. P. 51. (<http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm?gessl=4-10>).

²³ Savarkar V.D. Six Glorious Epochs of Indian History. Delhi: Bal Savarkar, 1971. P. 332. (www.savarkar.org).

²⁴ РСС (*Rāṣṭrīya svayamsevak sangh*, Союз национальных добровольцев) – индусская националистическая организация, созданная в 1935 г. врачом К.Б. Хедгеваром для «защиты индусов от чужеземных угнетателей», к которым, прежде

ми (мусульманами – *Е.В.*) мы никогда не признавали их суверенных прав ни на один кусок нашей земли. Даже когда значительная часть нашей страны была в их руках, как при Акбаре и Аурангзебе, не проходило ни дня, чтобы какой-нибудь рана Пратап, гуру Гобинд Сингх, Чхатрасал или Шиваджи²⁵ не бросил им вызов для достижения нашей национальной свободы»²⁶.

В независимой Индии *махарана* Пратап был поднят индусскими коммуналистскими организациями на щит как один из национальных героев и, главное, образец для истинного патриота Индии. В 2003 г. П. Тогрия, генеральный секретарь ВХП²⁷ по международным делам, заявил: «все индусы являются последователями не Ганди, а *махараны* Пратапа и *чхатранати*²⁸ Шиваджи»²⁹. Таким образом, современные индийцы должны мыслить не как Махатма Ганди с его общегражданским национализмом и призывами к единству индусов и мусульман, а как средневековые борцы против империи Моголов. Появилось множество околонуучных и популярных книг, в которых опровергались концепции «непатриотичных» историков, представлявших Пратапа как сепаратиста и выдвигался совсем иной образ – борца за свободу родины, воевавшего с чужеземцами за отечество и веру. То, что многие раджпуты верно служили Акбару и сражались против меварского князя, объяснялось «коварной политикой» падишаха, который «намеренно стравливал между собой» раджпутов, дабы покорить индусов³⁰.

всего, относились мусульмане. Голвалкар сменил Хедгевара на посту руководителя РСС. До наших дней почитается в организации как «учитель» (*гуруджи*).

²⁵ Аурангзеб (пр. 1658–1707) – могольский падишах, прославившийся мусульманским фанатизмом. Гуру Гобинд Сингх (1666–1708) – десятый и последний гуру сикхов, возглавил борьбу единоверцев против Аурангзеба. Чхатрасал Бундела (1649–1731), правитель княжества Бунделкханд; выступил против Моголов и освободил от их власти свое княжество и ряд соседних районов. Шиваджи Бхосле (1630–1680) – национальный герой маратхов, возглавил борьбу с Моголами.

²⁶ Golwalkar M.S. *We or Our Nationhood Defined*. Nagpur: Bharat Publ., 1939. P. 125.

²⁷ ВХП (*Viśva hindū pariṣād*, Всемирный союз индусов) – основанная в 1964 г. организация, входящая в «семью РСС» (систему профсоюзных, молодежных, женских, образовательных и социально-благотворительных организаций, направленных на пропаганду *хиндутвы* в различных сферах общества).

²⁸ *Чхатранати* (букв. «владыка зонта») – царский титул, принятый Шиваджи Бхосле в 1674 г.

²⁹ Sify News, 27.02.2003.

³⁰ Paliwal D. *Mahārāṇā Pratāp Mahān.Jīvan-vṛtt aur kṛtittva*. Jaipur: Rajasthan Grantha Nagar, 1998. P. 98.

В современной Индии индусский национализм в том или ином его варианте, от «мягкого» до радикально-шовинистического, является основой идеологии целого спектра организаций и партий; среди последних главенство принадлежит БДП³¹. В штатах, где данная партия находится у власти, *махарана* Пратап давно стал культовой фигурой. Это находит отражение в школьных учебниках³². Так, учебник истории для 9 класса, изданный в штате Мадхья-Прадеш, сообщает, что «перед раджпутами стоял выбор: сдаться и жить в мире или сохранять независимость, защищая честь своей **нации**» (выделено мной – Е.В.) и рисует Пратапа как образцового индусского героя, который «сокрушил гордость Акбара»³³.

В Раджастхане, особенно в родном для Пратапа регионе – Меваре, доблестный князь усилиями БДП давно превратился в «наше все»³⁴. Его конные статуи возвышаются на городских площадях; его именем названы городские проспекты и районы, Университет сельского хозяйства и технологии, аэропорт в Удайпуре, частный университет в Джайпуре, который с 1727 г. был столицей злейших врагов Пратапа, Качхвахов из Амбера. В ранг национального героя возведен и верный конь Пратапа Четак, удостоенный памятника и площади в Удайпуре: в честь этого доблестного животного названы железнодорожный экспресс Дели – Удайпур, производимый индийской компанией «Хиндустан аэронотикс лимитед» по французской лицензии вертолет и одна из марок мотороллеров. Культ Пратапа уже давно вышел за пределы Раджастхана. Памятники *махаране*, названные в его честь объекты встречаются во многих городах Северной и Центральной Индии, куда нога доблестного раджпуты никогда не ступала. В индийской столице именем меварского князя названы микро-

³¹ БДП (*Bhāratīya janatā pārtī*, Партия индийского народа) основана в 1985 г. Возглавляет правительства ряда штатов, в 2014 г. на всеобщих парламентских выборах одержала победу и сформировала правительство Индии во главе с Н. Модии.

³² Школьное образование находится в компетенции штатов. Учебники, разработанные НСИПОО, обязательны лишь для 10–12 классов; для других штатов имеют право использовать учебные материалы, разработанные собственными агентствами.

³³ <http://www.mptbc.nic.in/books>. См. также: Hindustan Times 22.06.2007; The Sunday Express 22.7.2007.

³⁴ Аналогичную роль в Махараштре играет Шиваджи Бхосле. См. подробнее: Глушкова И.П. Шиваджи: проблемы историографии // Вопросы истории. 2005. № 6. С. 104–119.

район и станция метро. В 2007 г. конная статуя *махараны* Пратапа была установлена в здании парламента республики³⁵.

В превращенном в музей Городском дворце махараджей Мевара (Удайпур) туристов обязательно ведут в специальную Галерею *махараны* Пратапа. Вывеска при входе гласит: «Махарана Пратап, великий воин свободы, провел с успехом множество битв, особенно битву при Халдигхати 18 июня 1576 г. против войск императора Акбара». У знакомого с историей посетителя этот текст вызывает удивление: ведь известно, что Пратап битву проиграл. Но эта история не устраивает коллектив музея и большинство его гостей. В галерее экспонируются подлинные доспехи Пратапа и его верного коня, оружие, личные вещи героя и предметы, относящиеся к той эпохе, а главное – множество картин художников XIX–XX вв. (прежде всего Рави Вармы³⁶) на темы его подвигов. Особый раздел посвящен битве при Халдигхати: подробно рассказано о подвигах отважного князя, гибели его соратников и Четака (коню-спасителю отдана особая мини-галерея) – но ни слова о поражении князя и его войска. У посетителей не должно быть сомнений, что Пратап битву выиграл: прочитанное в школьных учебниках давно забыто, да и вспоминать о нем не хочется: представленная музеем версия гораздо приятнее.

Как это будет?

В Индии уже давно введено в употребление понятие «поп-история». Оно означает не просто предназначенные для массового потребителя романы, фильмы, сериалы и произведения визуального искусства на исторические темы, а особый подход к интерпретации прошлого. События и персонажи ушедших эпох востребованы, как уже отмечалось, для моделирования настоящего и будущего. Для тех,

³⁵ О памятниках и портретах национальных героев в здании индийского парламента и о политической борьбе вокруг них см.: Семенова Е. Круг почета: памятники и портреты выдающихся индийцев в парламенте страны // Под небом Южной Азии. Портрет и скульптура... С. 155–168.

³⁶ Раджа Рави Варма (1848–1906) – индийский художник, автор работ на мифологические и исторические сюжеты. Изображения им персонажей индийской истории, воспроизведенные множеством календарей, альбомов и прочей общедоступной продукции, воспринимаются в Индии как подлинные. Изображений Пратапа до нашего времени не дошло, но именно портрет кисти Рави Вармы считается аутентичным изображением меварского героя. См.: Калинина Ю., Прокофьева И. Такие похожие портреты, такие красивые боги. Художник Рави Варма // Под небом Южной Азии. Портрет и скульптура... С. 512–531.

кто исповедует общегражданский национализм и межконфессиональный мир, достойный подражания герой – Акбар, его политика служит в качестве образца для современной и будущей Индии. Для тех же, кто приравнивает индийскую нацию к «индусской общине», герой и образец – Пратап; его противостояние императору-мусульманину – образец для «индусской нации». Именно индусский национализм и его версия истории господствуют в настоящее время на множестве интернет-ресурсов, где не обремененные знаниями школьники, студенты и убивающий рабочее время «офисный планктон» могут найти понятную, простую и, главное, комфортную версию прошлого. Например, популярный сайт «Индусское пробуждение» рисует Пратапа рыцарем без страха и упрека, борцом за «освобождение родины» от злобного и коварного Акбара³⁷.

«Поп-история» не затрудняет себя доказательствами. Руководствуясь главной целью – «воспитанием чувств» в духе индусского национализма, – история переписывается и, как в случае с Пратапом, обычная для позднего средневековья борьба объединяющего центра против феодалов, стремившихся сохранить свою власть и не уступить ее формирующемуся централизованному государству³⁸, превращается в сагу о противостоянии «борца за свободу» – индуса и «жесточкого варвара» – мусульманина. Для этого реальные факты подстригают, словно парковые деревья; все ненужное удаляют, сложности и противоречия реальных событий, поступков и характеров спрямляют до сценария примитивного боевика: «хорошие парни» против «плохих парней», индусы против мусульман. Подобная трактовка требует «забыть», что на стороне Пратапа сражались афганские наемники-мусульмане, а под могольскими знаменами против меварского героя воевали многие индусы-раджпуты, включая его собственных братьев (раджпутом был и главнокомандующий могольской армии – Ман Сингх Качхваха). Об этих фактах посетители удайпурской галереи, как и читатели многочисленных сочинений в жанре «поп-истории», так и не узнают. И самое важное: «поп-история», как боевик, должна всегда иметь хороший конец, даже если в реальной жизни такого

³⁷ www.hindustantimes.com/india/akbar-was-the-great-maharana-pratap-was-the-great-of-greats-rajnath/story-usA2CuYX7T7ePmgy8bUOowK.html

³⁸ Например, вряд ли кто-либо считает «борцами за свободу» в России – тверских и рязанских князей, противостоявших объединительной политике Москвы, а во Франции – Карла Смелого.

конца не было, поэтому и галерея, и многие популярные издания объявляют Пратапа победителем в битве при Халдигхати (в случаях, когда подобное невозможно, заявляют о «моральной победе»).

Махарана Пратап давно занял место в официальной идеологии БДП и в предвыборной кампании, приведшей партию в 2014 г. к победе, а ее кандидата Н. Моды – на пост премьер-министра. 29 мая 2012 г. в Гуджарате торжественно отмечали день рождения Пратапа. Формальным обоснованием проведения праздника именно в этом штате, а не в «родном» Раджастане, где в то время у власти был Индийский национальный конгресс (ИНК), по словам Н. Моды, тогда главного министра Гуджарата, были гуджаратское происхождение матери героя и даже принадлежность его любимого коня Четака к катхиварской (гуджаратской) породе.



На торжественном собрании Н. Моды обвинил правящий ИНК в «замалчивании» подвигов героев, подобных Пратапу и Шиваджи, которые «жертвовали жизнью ради матери-Индии»³⁹. Здесь была очевидная (для всех, кто хотел видеть) подмена: ни Пратап, ни Шиваджи категориями единой «матери-Индии», разумеется, не мыслили: один боролся, чтобы не допустить власти Моголов в родном Меваре, другой – в Махараштре. Сама идея «матери-Индии» возникла

³⁹ <http://www.ibtl.in/news/states/1929/centre-can-forget-valour-sacrifices-of-maharana-pratap-but-the-nation-will-not--modi>

значительно позже, в идеологии национально-освободительного движения колониальной эпохи⁴⁰.

Став главой правительства, Н. Моди объявил о необходимости отмечать дни рождения героев, подобных Пратапу и Шиваджи, на национальном уровне. В Раджастане и ряде других штатов день рождения Пратапа уже объявлен выходным. «Я ничего не имею против того, чтобы называть Акбара великим, – заявил министр внутренних дел Индии Р. Сингх на церемонии открытия очередной статуи меварского героя, – но какие могут быть возражения против того, чтобы считать Пратапа величайшим из великих – это выше моего понимания». А главный министр штата Раджастан, В. Радже, заявила о необходимости внести в школьные учебники истории «правильную» главу о Пратапе⁴¹. Главного министра поддержали члены законодательной ассамблеи (парламента) штата от БДП, а также ряд министров: они в самом категорическом тоне потребовали изменения школьных и вузовских программ. И процесс уже начался: в список учебного материала для курса по истории, несмотря на протесты известнейших ученых страны, местный университет включил книгу на хинди некоего Чандрашекхара Шармы «Сокровище нации: махарана Пратап» (2007; в 2014 г. книга вышла на английском под названием «Махарана Пратап: пионер национальной свободы»). В этой книге удайпурский князь прямо называется «победителем» роковой битвы при Халдигхати; его бегство с поля битвы названо «стратегическим маневром с целью начать партизанскую войну»⁴².

Направление ветра, еще до прихода к власти БДП, почувствовали кино и телевидение. В 2012 г. был снят фильм с характерным названием «Махарана Пратап – первый борец за свободу (*Maharana Pratap, The First Freedom Fighter*)». Фильм успеха не имел (как заявляли создатели, из-за финансовых проблем, а на самом деле, видимо, из-за весьма невысокого художественного уровня), но характерно

⁴⁰ Gupta S. Samaj, Jati and Desh: Reflections on Nationhood in Late Colonial Bengal // *Studies in History*. 2007. Vol. 23. No. 2. P. 177–203; Deshpande P. *Creative Pasts. Historical Memory and Identity in Western India 1700–1960*. N.Y.: Columbia University Press, 2007. P. 126–143.

⁴¹ Hindustan Times, 18.05.2015 (www.hindustantimes.com/india/akbar-was-the-great-maharana-pratap-was-the-great-of-greats-rajnath/story-usA2CuYXT7ePmgy8bUOowK.html).

⁴² Ziya us-Salam. *Twisting History* // *Frontline*. 31 March 2017. См. также: *The Times of India*. 23.02.2017.

его название: Пратапа приравнивали к борцам за свободу (*freedom fighters*) – категории, к которой в Индии до сих пор причисляли не персонажей средневековой истории, а участников национально-освободительного движения. С мая 2013 г. по декабрь 2015 г. на телеканале «Сони» с успехом шел сериал «Махарана Пратап, доблестный сын Индии (*Mahārāṇā Pratāp, Bhārat kā Vīr Putra*)», в котором *махарана* – образец отваги и благородства, а Акбар – злобный и похотливый тиран, вражда которого к меварскому князю вспыхнула, по воле авторов, из-за страсти к некоей раджпутской принцессе, которая предпочла *махарану* падишаху.

Трансформация образа *махараны* Пратапа – лишь один из примеров того, как в современной Индии реконструируют историю в политико-идеологических целях. По сути, меварский храбрец обрел третий после окончания своей реальной жизни образ. В средневековье – доблестный воин, боровшийся с равно доблестным падишахом. В идеологии общегражданского национализма, которая доминировала в первые десятилетия независимости, пока у власти был ИНК и важную роль в политике играли левые партии, – храбрый, но ограниченный и недальновидный сепаратист, противостоявший прогрессивным объединительным тенденциям. В идеологии индусского национализма, который при правлении ИНК был маргинальным, затем, в условиях идеологической деградации ИНК и отступления левых партий стал мощным оппозиционным течением, а в настоящее время претендует на доминирующую роль, – национальный герой, первый борец за свободу. Параллельно трансформировался и образ антагониста, Акбара: мудрый, толерантный и великодушный правитель средневековой литературы и фольклора – предтеча общегражданского национализма – злобный иноверец-завоеватель.

Вопрос, разумеется, не в том, что разные эпохи переписывают историю и представляют ее персонажей на собственный лад – подобное имеет место в абсолютном большинстве стран мира. В условиях многоконфессиональной, этнически и культурно многообразной Индии, в которой процесс формирования нации, общепринятой концепции национализма, да и в определенной степени самой государственности, далеко не закончен, критически важно, какой облик своего настоящего и будущего увидят индийцы, заглядывая в зеркало истории. От этого зависят и модель государства, и гражданский мир, и, в значительной степени, перспективы дальнейшего развития страны.

ОБ АВТОРАХ

АЙЗЕНШТАТ МАРИНА ПАВЛОВНА, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра истории исторического знания Института всеобщей истории РАН.

ВАНИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН.

ДОРОНИН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор исторических наук, профессор кафедры истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Санкт-Петербургского университета.

ЗАИЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра истории международных отношений Института всеобщей истории РАН.

КАРНАЧУК НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры английской филологии Факультета иностранных языков Национального исследовательского Томского государственного университета.

КИРЧАНОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, доктор исторических наук, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран Факультета международных отношений Воронежского государственного университета.

ЛЕОНТЬЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА, доктор исторических наук, профессор кафедры Российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

МАЗУР ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой документационного и информационного обеспечения департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.

РЕПИНА ЛОРИНА ПЕТРОВНА, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, руководитель Центра интеллектуальной истории и сетевой лаборатории «Исследования исторической памяти и интеллектуальной культуры» Института всеобщей истории РАН; зав. кафедрой Теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета.

РУМЯНЦЕВА МАРИНА ФЕДОРОВНА, кандидат исторических наук, доцент, доцент Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики».

СВЯТОСЛАВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических наук, доктор культурологии, профессор Филологического факультета Московского педагогического государственного университета.

СЕЛУНСКАЯ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.

СУЛТАНОВ КАЗБЕК КАМИЛОВИЧ, доктор филологических наук, профессор МГУ, заведующий Отделом литератур народов РФ и СНГ Института мировой литературы РАН.

СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ, ПАМЯТИ И НАРРАТИВАХ ИДЕНТИЧНОСТИ

Под редакцией Л. П. Репиной

Корректор *М.М. Горелов*
Дизайн обложки *И.Н. Граев*

Подписано к печати 01. 09. 2017
Формат 60х90/16

Гарнитура Times. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 25. Тираж 600 экз.

Издательство «Аквилон»
Тел.: +7 (968) 924–97–30
e-mail: aquilopress@gmail.com

Отпечатано с оригинал-макета в типографии
Onebook-ru ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»
Москва, 109316, Волгоградский пр., дом 42, Технополис МОСКВА
Тел. +7 (495) 545–37–10
Электронная почта: info@onebook.ru
Сайт: www.onebook.ru

ISBN 978–5–906578–23–5

ISBN 978–5–906578–23–5



9 785906 578235